

# Ночь не наступит

Лишь час опасности —  
проверка для мужчины.  
*Ф. Шиллер*

## ПРОЛОГ

5 мая 1907 года

**Петербург, Моховая ул., д. 28 —  
пять часов утра**

Антон проснулся от душераздирающего крика и острого, вонзившегося в сердце удара. Сел на кровати, ошалело огляделся. И понял, что это кричал во сне он сам: снова увидел руки, беспомощно взметнувшиеся над толпой, а потом, когда толпа отхлынула, — тело, вдавленное в камень, в мостовую на площади у Техноложки.

«Не могу!.. — он стиснул зубы так, что заныло в скулах. — Не могу!..»

Подошел к окну.

Уже брезжило. По пыльному стеклу, оставляя прозрачный след, скользила последняя капля ночного дождя.

Он прижался лицом к стеклу. Холодило лоб. Паркет жег босые ступни.

Внизу дворник, поводя плечами как косарь, скреб метлой мостовую.

«Что же я?.. Ведь решил... Неужели трушу?..»

**Авчала Тифлисской губернии —  
семь часов**

Семен перекатил из ладони в ладонь чугунный шар, похожий на кегельный, подбросил. Шар был тяжел, пригнул к полу руку.

— Сумасшедший! — вскрикнула девушка.

— Боишься, Джавоир? — Семен рассмеялся.

Глаза у него были светло-карие, круглые, бесшабашно-веселые. А голос — неожиданно сиплый, как у закоренелого курильщика.

— Зачем боишься, сестренка? Запала ведь нет.

— А детонация?

— Эх, учу тебя, учу — никакого толку! Здесь, — он постучал костяшками пальцев по оболочке, — не гремучая ртуть, а панкластит, он без запала спокойный — это не гремучка.

Но все же бережно опустил ядро и вкатил его в узкую щель меж камнями стены. В углублении матово поблескивали черные спинки таких же ядер.

— Сколько уже?

— Пятнадцать, — ответила девушка, влюбленно глядя на брата.

— На сегодня хватит.

Он камнем заложил отверстие хранилища, провел ладонью по темно-русым, распадающимся на две пряди волосам. Пальцы левой руки были неестественно выпрямлены.

В узкое незастекленное окно вливался свежий воздух. Он выветривал острый запах серной кислоты, наполнял комнату ароматом пшата. Дом был на краю селения. Из окна просматривалась дорога. Она спускалась в долину, к подвесному мосту, переброшенному через шумную речку. Ледяная вершина противоположной горы уже сверкала под утренним солнцем.

Семен глубоко вздохнул и потянулся, разминая отяжелевшие плечи.

— Больше не надо, Джавоир, хватит, — устало повторил он. — Пойдем спать.

### **Петербург, Васильевский остров, Двадцатая линия, дом Власовых — восемь часов утра**

Ольга вышла на крыльцо — и остановилась пораженная: вчера еще в палисаднике все было голо, только набухали почки на ветвях, а сейчас куст сирени окутала зеленая дымка, блестели листки на березе и спавшая с зимы осина — чудо! — ожила, задрожала под неуловимыми токами воздуха, роняя с изумрудно-огненных язычков хрустальные капли. «И сладкий трепет, как струя, по жилам пробежал природы...» — всплыло в уме давнее, радостное и грустное.

Скользнув взглядом по резным филенкам перил, женщина спустилась с крыльца. Одной рукой она поддерживала таз, краем упирившийся в бедро. Поставила таз у березы и начала развешивать мокрые тряпицы на веревке, протянутой от столбика крыльца к осине. Встряхнула полотенце, вышитое пунцовыми петухами. «А у нас вишни уже белым-белые...».

Она вернулась в дом. Егор встретил ее восторженным взглядом. «Надо же! Глупый мальчишка...»

— Пора за работу, — строго сказала она.

Юноша открыл крышку сундука, вынул хлам. Вместо днища в сундуке была еще одна крышка, ведущая в подпол. Егор поднял и ее.

Ольга спустилась первой. В подполе было холодно и сыро. Лампа едва освещала черные стены.

— Будем расширять в ту сторону, — показала женщина.

В углу, за тюками, что-то зашуршало.

— Мыши! — испуганно воскликнула она. — Ужас как боюсь мышей!

— А я... — начал Егор и осекся. — И я тоже боюсь.

Его глаза все так же светились восторгом:

— Мне... Мне хочется называть вас Софьей. Только не дай вам бог ее судьбу.

— Сплюньте через левое плечо! — легко рассмеялась она. — А где сейчас ваша невеста, Егор?

— В Гельсингфорсе, у родичей, — упавшим голосом проговорил юноша.

— Я слышала — очень красивая девушка, — сказала Ольга.

Она по-крестьянски поплевала на ладони, взялась за черенок лопаты:  
— Ну, начнем! Нам надо подготовить побольше места: завтра транспорт уже прибудет.

### Москва, Бутырская следственная тюрьма, камера 163 — десять часов

Скрипнула заслонка «глазка». Затем трижды визгливо провернулся в замочной скважине ключ.

— Номер сто шестидесят третий, пожалте-с на прогулку, — прогудел надзиратель.

Леонид Борисович поднялся с привинченного к полу табурета, направился к двери, потом — по коридорам, переходам, лестницам...

Загон для прогулок был пуст. Леонида Борисовича и на воздух выводили одного. Не давали газет, не позволяли свиданий.

«Какое сегодня число? Четвертое?.. Нет, пятое. Бесспорно, пятое. Какая глупость, какая нелепица! Уже шесть дней, как там, в Копенгагене, идет борьба, а я здесь прохлаждаюсь...»

Над головой светился квадрат не по-майски холодного неба.

Почему арестовали? На единственном за все эти дни допросе жандармский полковник лишь многозначительно постукивал карандашиком и ворошил замусоленные страницы «дела», явно не имеющего касательства к Леониду Борисовичу, задавал пустые вопросы.

«Арестовали, чтобы помешать поездке в Копенгаген? Что-то разнюхали?.. Кто еще арестован?»

Отполированные тысячами подошв булыжники глухо вбирали в себя сердитые удары его туфель.

«Сегодня же — протест прокурору. Не поможет — голодовка. По крайней мере, объяснят причину ареста. А пока есть свободное время, надо использовать его рационально: привести в порядок дела».

Да, неторопливо и методично разобрать, рассортировать, спрятать в сейфы памяти. «Итак, начнем с Северо-Запада: с Аахи-Ярве, Выборга, Хаапалы...»

### Петербург, Фонтанка, д. 16 — час пополудни

Директор департамента полиции приоткрыл дверь:

— Разрешите, Петр Аркадьевич?

Столыпин ладонью показал Трусевичу на кресло у стола и прикрыл лежавшие перед ним машинописные страницы чистым листом. Движение это не укрылось от Максимилиана Ивановича. «Таит от меня, — с почтительной обидой подумал он. — Что?» И, еще не подойдя, не сядя, приступил к докладу:

— Срочное донесение из великого княжества: в селении Хаапала нашими чинами во взаимодействии с чинами Выборгского гофгерихта захвачена большая лаборатория взрывчатых веществ и метательных снарядов, принадлежащая РСДРП. Десять арестованы, двое скрылись. Розыск объявлен.

— Наш?

— Оставлен в числе арестованных. Для освещения.

— Правильно. Улики?

— Обнаружены оболочки снарядов, нитроглицерин, пироксилин, гремучий студень, двенадцать сортов динамита. Запрещенная литература.

— Вполне достаточно, — нетерпеливо прервал Столыпин. — Подготовьте на имя финляндского генерал-губернатора отношение о немедленной выдаче злоумышленников.

— Будет исполнено, ваше высокопревосходительство.

— О Лондоне что-нибудь новое поступило?

— Никак нет, ваше высокопревосходительство. Ожидаю депеши из Парижа с часу на час. Доложу немедленно.

— Хорошо. Что еще?

— Полковник Герасимов энергично возражает против произведенного в Москве фон Коттеном ареста Инженера. Утверждает: преждевременно. И Гартинг ходатайствует, — директор достает из папки телеграфный бланк. — «Ввиду недавнего ареста в Москве Никитича, имею честь покорнейше просить ваше превосходительство не отказать сделать распоряжение о непредъявлении этому лицу в виде обвинений фактов, выясненных при посредстве известного сотрудника, дабы не повредить и не провалить последнего».

— Стоит того «последний»?

— Речь идет о Ростовцеве. Это один из опытнейших осведомителей. Ныне он внедрен на съезд социал-демократической партии в Лондоне.

— Что ж, придется освободить Инженера, — неохотно соглашается министр, но добавляет: — Надеюсь, он от нас не уйдет?

— Можете не беспокоиться, ваше высокопревосходительство, обложен со всех сторон.

— Если у вас все, уважаемый Максимилиан Иванович, я вас больше не задерживаю.

Когда дверь за Трусевичем закрылась, Столыпин снова пододвинул страницу с машинописным текстом. Начал читать, каждое слово как бы выверяя на звук и на вкус:

«Мы — представители тех войсковых частей, которые стоят в Петербурге и на которых первых будет опираться правительство при столкновении с Государственной думою. Эти части двинет вперед правительство, чтобы раздавить рабочее восстание, если рабочие по вашему призыву подымутся на защиту рабочих представителей. Эти части должны перейти на сторону народа, чтобы здесь, в Петербурге, где стоят друг против друга Государственная дума и царский дворец, чтобы здесь победило народное дело. И когда столкнутся народные представители с царским правительством, на нас, представителях этих частей, будет лежать трудная задача — сказать всем солдатам, что нужно им делать. И мы сделаем это, хотя бы нам пришлось первыми пасть в этом деле и не увидеть его торжества...»

Недурно. Но достаточно ли он вжился в их фразеологию?.. Сойдет. К тому же поздно, копия пошла к исполнителям.

Петр Аркадьевич откинулся в кресле, привычным движением покрутил, загибая в кольцо, ус. Любопытно: что подумает какой-нибудь умник, скажем, через столетие, когда с вершины грядущего будет оценивать этот документ и весь этот акт? Скажет: «Неслыханная провокация!» — или поймет: он, премьер-министр империи, должен был поступить именно так?.. Цель оправдывает средства. Да, провокация. Но во имя укрепления пошатнувшегося престола, во имя России!..

«И мы сделаем это...» — Столыпин скользнул взглядом по строке и жестко усмехнулся.

### **Лондон, Саутгейт-Род, церковь Братства — пять часов пополудни**

Шло одиннадцатое, вечернее заседание съезда.

Он только что вторично выступил с трибуны, а сейчас сидел на одной из задних скамей. Лицо его было осунувшееся и безмерно усталое: сказалось невероятное нервное напряжение последних месяцев, бессонные ночи уже здесь, в Лондоне, обсуждение проектов резолюций во фракции, подготовка предложений от имени большевистской делегации, заявлений, поправок... Но больше всего изматывали споры на самих заседаниях. Казалось бы, слепому видно: деятельность ЦК, в котором верховодили меньшевики, шла вразрез с классовыми интересами пролетариата, шла против воли громадного большинства партии. В

ответственнейший момент истории ЦК стал инициатором раскола революционных рядов, пытался приспособить пролетарскую политику к политике либеральной буржуазии, а либералы, напуганные размахом народного движения, только и мечтали о прекращении революции! И вот теперь, на съезде, меньшевики хотят снять с обсуждения все общепринципальные вопросы — не следует, видите ли, определять основ тактики, а надо плестись за ходом событий, решая от случая к случаю. Во имя «партийного мира» скроем наши разногласия. Нет уж, увольте! Пусть Георгий Валентинович, ваш идейный вождь, вещает с умиротворенностью патриарха: «Нам необходимо рассмотреть спорные вопросы спокойно, *sine ira et studio*»<sup>1</sup>. Будто речь идет о бумажках с резолюциями, а не о судьбах рабочего класса! Нет, недостойно рабочей партии скрывать разногласия, прятать их. Большевики пришли на съезд бороться за свою линию, бороться против обанкротившейся политики оппортунизма — и с гневом, и с пристрастием! Да, предстоит борьба по каждому теоретическому и практическому вопросу, ибо это борьба за роль партии в будущих боях!..

Он обвел взглядом беленые, аскетически строгие стены с прорезями стрельчатых окон, с черными балками перекрытий. Впереди, за кафедрой, холодно мерцал орган. Острые линии. Резкие углы. Как соответствует настроению тех, кто собрался под этими сводами. «Церковь Братства». Он потер ладонью лоб. Повернулся к соседу:

— Сидеть нам здесь долго, дорогой Алексей Максимович, в намеченные сроки не уложимся. А надо платить и церковному приходу за аренду, и за гостиницу, и, худо-бедно, — за хлеб насущный.

— Понимаю, — басисто, с характерными волжскими «о» отозвался мужчина. Выступающие скулы его рдели туберкулезным румянцем. — Есть на примете один художник знакомый, Мошелес. Известен. Богат. Поборник прогресса. Может, вместе и заглянем на огонек?

— Время дорого. Но придется.

— Есть на примете еще один толстосум, некий Джозеф Фелз. Однако капиталист чистой воды, владелец мыловаренных предприятий. Как? — он посмотрел выжидательно, весело прищурившись.

— Если так пойдет и дальше, придется бить челом и мыловару. У вас уже есть опыт, дорогой Алексей Максимович!..

Прямо над ними, на хорах, были отведены места для немногочисленных гостей съезда. Здесь в первом ряду, у барьера, сидел круглолицый человек в очках с толстыми стеклами. Он внимательно слушал оратора, выступавшего с кафедры, делал легкие неразборчивые пометки в записной книжке и в то же время старался не упустить разговора на скамье внизу. Но улавливал лишь его обрывки.

Тесно подпирая его плечом, нетерпеливо ерзал сосед — крупноносый, с пышными усами и буйной смоляной шевелюрой.

— Как тебе это нравится, Яков! — налегая, прогудел он. — Как отмежевываются они от отрядов боевиков, от боевых групп партии!

— Да, да... — неопределенно отозвался тот, отстраняясь: сосед мешал ему слушать и писать.

— Чтобы выслужиться перед либералами, они готовы оплевать даже героизм пролетариата, признать бессмысленными его жертвы. Не выйдет!

Усач стукнул тяжелым кулаком по перилам. Они глухо загудели.

— Да, Феликс, да, — согласился мужчина в очках с толстыми стеклами. — Кстати, ты не знаешь, кто этот оратор, кто его делегировал?

— Не знаю. Большевик, — презрительно бросил сосед.

---

<sup>1</sup> «Без гнева и пристрастия». Это латинское изречение было приведено Г. В. Плехановым в речи при открытии V съезда РСДРП (Ред.).

**Петербург, Невский проспект, д. 92 —  
восемь часов вечера**

— Господин пристав велели уведомить: нижние чины, курсистка и студент уже удалились, вашбродь! — зычно прошептал, подбегая, околоточный. .

Левой рукой он придерживал у бедра шашку с болтающимся черным темляком, а другую тянул к фуражке. Он мог бы и не козырять: Додаков был не в форме, а в партикулярном. Но околоточный-то знал, что перед ним высокий чин из столичного охранного отделения.

Додаков стоял вполоборота у витрины магазина «Парфюмерия Мюге». Мимо по тротуару текла по-субботнему нарядная, по-весеннему возбужденная толпа, катили коляски с откинутым верхом, резко всхлипывали клаксоны автомобилей. Предприимчивый Мюге прямо на стекле витрины рекламировал «Крем «Чары любви» из белых лилий для белизны и нежности кожи». В стекле меж буквами рекламы отражался противоположный, ничем не примечательный четырехэтажный дом № 92, по первому этажу которого располагалась банкирская контора «Волков и сыновья».

— Господин пристав, вашбродь, велели передать: обозначенные личности двадцать минут как удалились! — в растерянности повторил полицейский, приближая к лицу Додакова губастый рот с нестерпимым луковым духом.

Додаков не удержался, поморщился. «Пора?.. Это как при стрельбе по движущейся мишени: надо успеть прицелиться, но и не промедлить — иначе мишень скроется, и тогда — «баранка»...»

— Еще десять минут.

Околоточный несогласно пожал плечами, но козырнул и торопливо зашагал через проспект, под арку, ведущую во двор дома № 92.

Городовые затопали по лестнице. Задребезжал звонок — будто соскользнула с подноса посуда.

— Га-аспада, пра-а-шу не двигаться с мест! — пророкотал начищенный и выутюженный пристав. — Вот ордер на производство обыска!

Додаков вошел последним и неприметно стал в стороне, у окна. Вечернее солнце красным огнем било в стекло, и большое хрящеватое ухо его алело против света, как сигнальный фонарь. Ротмистр сжимал в руке, засунутой в карман, вчетверо сложенный листок плотной бумаги.

Собравшиеся в комнате отступили к стенам, угрюмо молчали. На столе и по полу рассыпались листки, конверты.

— Га-аспада, пра-а-шу ничего не трогать! — пристав обернулся к городовым. — При-и-ступить! Обыскать каждого!

— Не имеете права, — сказал мужчина в косоворотке, подпоясанной узким ремешком. — Мы — депутаты Государственной думы и пользуемся неприкосновенностью личности.

Додаков ощупывал в кармане листок и решал: бросить или не бросить в кучу тех, которые уже рассыпались по паркету? Уловил на себе настороженные взгляды. «Бросить или не бросить?..»

**Париж, авеню Гренель, д. 79 —  
девять часов вечера**

Он прочел донесение, только что полученное из Лондона, и взял из стопки чистый лист бумаги с водяным знаком Меркурия. Начал писать:

«Ваше Превосходительство,  
милостивый государь Максимилиан Иванович.  
Имею честь доложить, что в Бюро съезда Российской  
социал-демократической рабочей партии в Лондоне избрано 5 человек:

- 1) От большевиков Ленин.
- 2) От меньшевиков Дан.
- 3) От поляков Тышко.
- 4) От бундовцев Виницкий-Медем и
- 5) от латышей Азис (кажется, Озоль — член Государственной думы).

Первое заседание, 13 мая<sup>2</sup>, ушло всецело на выборы бюро...

Второе заседание происходило 14 мая...

Третье заседание происходило 15 мая...

Из ораторов выступали: от большевиков Ленин... от меньшевиков Плеханов,  
Мартов, Мартынов, Троцкий...

...Ленин — самый блестящий оратор на съезде. Стоит он на крайне революционной точке зрения, говорит с необыкновенным жаром и захватывает даже своих противников. Он крайне резко разбил все доводы и оправдания меньшевиков и очень резко ответил Троцкому и центру за их метание от одной стороны к другой, за их шатания и нерешительность и предлагал всем присоединиться к резолюции большевиков...

Получены сведения, что Центральный Комитет находится без средств. Он хотел послать Максима Горького к кое-каким английским богачам достать взаймы 25 тысяч рублей, но Горький отказался иметь дело с меньшевистским Центральным Комитетом. Большевики также находятся без денег, но они должны получить из Петербурга от Никитича, и, кроме того, их поддерживает Горький.

Я выеду на день или два в Лондон для помощи агентуре.

*Заведывающий заграничного агентурою...»*

Он внимательно перечитал текст донесения и аккуратно вывел свою подпись: «Гартинг».

### **Петербург, Выборгская сторона, Арсенальная ул., дом Пахомовых — десять часов вечера**

— Вы к дедушке? — пропел голосок в сенах.

Пригнув голову, чтобы не задеть за притолоку, в горницу вошел парень. Его куртка с петлицами железнодорожника была в масляных пятнах и отсвечивала угольной пылью, ввевшейся в сукно.

— Хювяя илтаа, дедуска Захара! — парень поставил на пол чемоданчик и протянул поднывающимся навстречу старику обе руки.

— Добрый вечер, Эйвар, — с теплом в голосе ответил старик. — Все в порядке?

— Кюлля... Да, — юноша показал на чемоданчик. — Здесь двести стук «Пролетарий» номер сестнадцать. Остальные на багажной станции, вот квитанция. Большой тючок.

Парень был белобрысый, широколицый. И если бы не этот характерный финский акцент — ни за что бы не отличить его от русака.

— Молодец, получим, — старик аккуратно сложил квитанции и спрятал их за икону.

Не удержался, открыл чемоданчик, достал пачку, развернул, начал разглядывать тонкий, полупрозрачный газетный лист. Повторил:

— Молодец.

Эйвар помялся:

---

<sup>2</sup> 30 апреля по старому стилю.

— Мой поезд назад в Гельсингфорс идет завтра утром... Разреси, дедуска Захара, на Васильевский пойти. Один девуска письмо просила передать. Там у нее пойка... жених, студент.

— Только будь осторожней, — неохотно ответил старик.

— Буду, буду! Някемийн!

— Счастливо, сынок! — пожал ему руку старик.

## **Петергоф, Нижний дворец — одиннадцать часов вечера**

Прежде чем отойти ко сну, Николай спустился в кабинет, вынул из ящика письменного стола книжицу дневника, обтянутую шагреновой кожей, с алыми муаровыми форзацами, перебрал в памяти события дня — такого буднично-серого — и записал:

«День стоял тихий. Завтракали д. Алексей, Сандро и Волконский (деж). Погулял. Принял доклады. Принял депутацию уральских казаков, приехавших с икрой. К обеду приехала мама#769;. Вечер провели все вместе. Недолго погулял. Пришлось долго читать мама#769; и Алис вслух. От этого ослаб головою...»

Николай подумал, что бы еще записать. Но ничего значительного так и не вспомнил — и поставил точку, она расплылась маленькой кляксой.

Всем, кто оказался связан с событиями того дня — 5 мая 1907 года, — предстояло спустя некоторое время принять участие в драматической истории, которой и посвящено повествование.

## **КНИГА ПЕРВАЯ. БОЕВИКИ**

### **ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. КОНСПИРАТИВНЫЕ КВАРТИРЫ**

#### **ГЛАВА 1**

На Гренадерском мосту Антон замедлил шаги. Остановился. Навалился грудью на холодный литой поручень.

Ветер звенел в натянутых тросах моста, как в вантах. Гудел и вибрировал настил под ногами. Вода в Большой Невке была высокая, быстрая, мутная.

Из-под моста с пронзительным клекотом взмыла чайка. Антон следил за ее полетом. Птица парила, распластав большие крылья. Вдруг, как ястреб, ринулась вниз, грудью в



волну — и снова взвилась, жадно заглатывая серебристую рыбу. И полетела к Петропавловке, в сторону Васильевского острова.

«Что там, на Васильевском? — подумал Антон. — Как по-дурацки все вышло!.. Нет, просто струсил!..»

Он поперхнулся влажным воздухом. Отвалился от поручня. Устало побрел с моста.

Да, струсил. Теперь, на узких улочках Выборгской стороны, среди домов с уютными палисадниками, ощущение опасности сменило омерзительное чувство собственного ничтожества. Может, ребенок случайно задел ту филенку на крыльце — она и выпала. Остальное-то все в точности: форточка левого окна отворена, правого — прикрыта, на бельевой веревке — полотенце с петухами. Только вот эта дощечка...

Дядя Захар сказал: «Не забудь! Когда «гороховые» обкладывают, они загодя высматривают наши предупредительные знаки. И когда устраивают засаду, точно их восстанавливают. А про филенку они не могут знать. Если, упаси бог, наши провалятся, хоть один непременно ногой выдавит, когда будут выводить, — вроде нечаянно».

Значит, Антон поступил правильно. Одной дощечки под перилами не доставало, и с улицы пустота зияла как щербина во рту. Не замедлив шага, он прошел мимо калитки и затесался в толпу прихожан, тянущуюся к церкви. Потом юркнул в переулок и бросился по задворкам, вспугивая сизарей на голубятнях, пока за мостами не остался Васильевский.

Он все объяснит. Дядя Захар даже похвалит за осторожность. «Голова — не карниз, не приставишь!» — любимая присказка старика. А он-то сам? Он-то понимает: струсил. Как увидел, так сердце покатилося... Те, на Двдцатой линии, без него, конечно, обойдутся, возьмут другого. А как теперь жить ему?.. Никто же его не тащил, он сам неделю назад пришел сюда, на Выборгскую, отыскал дядю Захара: «Не могу! Дайте дело! Есть же у вас боевая группа, я знаю!» — «Но тогда знай, что за кружок твой на дровяном, за листовки самое большее — высылка. А боевику, сынок, самое малое — этап и каторжные работы». — «Я решил». — «Ну что ж... — сказал старик. — Поглядим».

Прошло несколько дней. Студент из их же Техноложки нашел Антона после лекции и сказал, что его ждут вечером на Гребецкой.

Там, на конспиративной квартире, Антон снова встретился с дядей Захаром. «Ну что ж, — сказал старик, будто продолжил прерванный минуту назад разговор. — Попробуем, коли так. Запомни адрес: Васильевский, Двдцатая линия — это ближе к выгону Смоленского поля... — он описал дом. — Там будет товарищ Синица. Он предупрежденный. Пойдешь под его команду. Коль отсутствует — будет товарищ Ольга. Она тоже в курсе. Ждут тебя в воскресенье, в восемь».

Антон вышел рано. По дороге пытался представить Синицу, Ольгу. Какие они, боевики? Боевики — самые испытанные, самые смелые. И если попадают они в лапы охранке — да, тут уже не ссылкой пахнет. «Готов я вот сейчас?.. Готов!»

Двдцатая линия — неширокая прямая улица, обсаженная чахлыми липами. Вот и дом. Он увидел отворенную форточку. Полотенце с красными петухами на веревке, натянутой от осины к столбику крыльца. И вдруг — черный просвет в ряду резных филенок! Если это случайность, что подумают товарищи-боевики? Может, он нужен как раз сегодня, сейчас, для какого-то важного дела? Но самое главное — почему он струсил? Эта проклятая дрожь в коленях!..

На Арсенальной, недалеко от дома дяди Захара, начинался и на целый квартал тянулся дровяной склад. За черным забором громоздились березовые поленицы, пахло сосной. Юноша хорошо знал этот склад. Сколько раз он пробирался туда через лазы в ограде; в закоулках, на бревнах его ждали члены кружка, рабочие с Металлического. Почему же тогда он не боялся? Значит, в глубине души понимал, что, если и схватят, ничего особенно страшного не грозит? А теперь, выходит, испугался за свою бесценную жизнь? А как же т о, на мостовой у института? И Костя...

«Снова, без разрешения, иду сюда, — уже приближаясь к знакомой калитке, подумал студент. — Сколько промашек за одно утро... Вернуться на Васильевский? Нет, время явки

прошло. Ох и натворил же я!..»

Он отодвинул щеколду. Направился по тропке к дому. Девчонка мыла в сенях пол. Антон увидел в сумраке белые ноги.

Девчонка распрямилась, оглянулась. Отвела ладонью волосы с раскрасневшегося лица.

— Вы к дедушке? — и пропела: — Деда-а!

Уже из дверей комнаты позвала:

— Заходите!

Чтобы не натоптать на еще сыром янтарном полу, он на цыпочках прошел в горницу.

От стола поднялся дядя Захар. Лицо его было землистым, густо проступили оспины.

— Вернулся, — проговорил он.

— Понимаете: филенка... — виновато начал студент.

— Слава богу, хоть ты, — старик тяжело опустился на скамью. — Жандармы схватили наших на Васильевском. Четверых. Ночью. Такого же студента я послал раньше. И его тоже...

Антону почудилось, что пол, как настил моста, завибрировал под ногами. Он оглянулся. В распахнутую дверь было видно: босая девчонка мыла крыльцо.

— Все равно, дядя Захар, — он перевел дыхание. — Все равно я решения своего не переменял.

По Петербургу неслись слухи.

В салоне «Северной Пальмиры» — промышленно-коммерческого клуба — громко спорили:

— Право, страхи неосновательны, господа: правительство не решится нарушить законы, не поднимет руку на Думу!

— Вы не знаете Петра Аркадьевича: железный человек. Убирает с дороги всех, кто ему неугоден. А уж Дума!..

— Молод и прыток, Россия не знала таких молодых премьеров. Но сам государь торжественно изрек — воспроизвожу дословно: «Манифест, данный 17 октября, есть полное и убежденное выражение моей непреклонной и непреложной воли и акт, не подлежащий изменению».

— Ну и память у вас, батенька! Профессорская!

— Благодарю, я еще приват-доцент. Однако ж осмелюсь сказать: идти против исторического процесса так же нелепо, как воевать с ветряными мельницами. Демократизация жизни русского общества началась, и никакими искусственными мерами ее не остановить!

— Позвольте полюбопытствовать: не означают ли карательные экспедиции генерал-адъютанта Орлова в Прибалтику и генерал-адъютанта Ренненкампа в Восточную Сибирь именно этой демократизации?

— Зачем брать крайности, господа? У моего тестя у самого имение под Пензой спалили!

— А Орлов в Лифляндии под сто деревень подпустил петуха!

— Не бунтовало бы мужичье — не пришлось бы и жечь!

— Мы отвлеклись от темы, господа. Меня интересует конкретный вопрос: распустят вторую Думу или не распустят?

— Туда ей и дорога. Дума — красный платок перед глазами разъяренного быка.

— По-вашему, русский народ — это разъяренный бык?

— Не ратуйте за весь народ, любезнейший. Благоговение перед самодержавной властью, сокрытое в тайниках русской души, неколебимо. А бунтуют инородцы и анархисты.

— Нет уж, извините! Я не инородец и не анархист! Но свобода, завоеванная нами семнадцатого октября...

— Виноват-с, запомнил, что вы теперь октябрист!

— Ошибаетесь, я конституционный демократ!

— Успокойтесь, господа. Зачем так горячо? Стоит ли тратить нервы, право? Дух времени — распад и деморализация, пропади все пропадом. По мне, что парламент, что абсолютизм, что анархия а-ля князь Кропоткин.

— Действительно, какая разница, если в ресторане у Палкина сегодня стерлядка?

— Превосходная идея!

— И я не откажусь.

— Так не будем, терять времени, господа! Петровская отлично идет к стерлядке!

— Едем с дамами?

— Со своими пряниками в Тулу? Какой вы, право, приват-доцент!..

Петр Аркадьевич волновался. Он понял это, вдруг увидев, что бессмысленно передвигает с места на место лупу, ножницы, футляр от очков. Глупо... Нервы.

В голове его вертелась фраза. То разрастаясь на всю комнату, от стены до стены, то уменьшаясь до размеров булавочной головки. Петр Аркадьевич знал цену изреченному слову. Все материальное со временем превращается в прах. Свидетельства тому — руины Афин, развалины римского Форума. В истории остаются деяния великих людей. Но даже когда забываются и деяния, остаются произнесенные ими слова. *Vae victis!*<sup>3</sup> Кто помнит того галла — каким он был, что сделал? А фраза вечна. Так и его слова останутся в истории, и через столетия их будут повторять неведомые ему потомки. Поэтому он готовится к каждому выступлению с трибуны, как к турниру на ристалище. И каждая произнесенная им фраза — его мысль, предназначенная для скрижалей. И эта тоже. Он произнесет ее после паузы. А потом, усилив голос, повторит в конце речи.

Он вышел из-за стола, остановился у зеркала, занимающего весь простенок. Безукоризненно черный галстук с бриллиантовой булавкой, жесткий воротник. Лицо выразительное, суровое: высокий, с огромной залысиной, лоб, коротко стриженная густая борода лопаткой и усы, закрученные кольцами. Прямые густые брови. Строже свести их. Еще строже... Он вскинет руку так... Нет, короче и энергичней. Вот так:

— Вам нужны великие потрясения — мне нужна великая Россия!

Он прислушался к своему голосу. Да, именно так.

Вернулся к столу. Достал из сейфа скрепленные шивателем листы.

«1907 года, мая 31 дня. Судебный следователь по важнейшим делам Санкт-Петербургского окружного суда Зайцев, рассмотрев настоящее дело, нашел следующее:

5-го мая 1907 года Охранное отделение при Санкт-Петербургском градоначальнике получило сведения о том, что тайное преступное сообщество, именуемое себя «военной организацией Российской социал-демократической рабочей партии», выработав текст наказа от чинов войск Петербургского гарнизона социал-демократической фракции Государственной думы, организует депутацию, составленную из нижних чинов войск, находящихся в Петербурге, которая должна вручить этот наказ социал-демократической фракции, имеющей свои заседания во фракционной квартире под № 4 дома № 92 по Невскому проспекту, занимаемой членом Государственной думы Иваном Петровым Озол.

Наружным наблюдением, учрежденным за квартирою Озола, было установлено, что 5-го мая в промежуток от 6 до 8 часов вечера в квартиру Озола вошли и через некоторое время из нее вышли: матрос гвардейского экипажа с известною девушкою, лицо, состоящее под наблюдением и известное полиции в качестве ответственного организатора военной организации, один нижний чин и пять человек переодетых солдат.

Ввиду сего и в целях задержания как депутации от нижних чинов, так и других членов тайного сообщества военной организации, находившихся в квартире

---

<sup>3</sup> Горе побежденным! (*латин.*). Восклицание вождя галлов Бренна, обращенное к побежденным римлянам.

Озола, полиция 2-го участка Литейной части в 8 часов 40 минут вечера 5 мая вошла в квартиру Озола и за отсутствием судебного следователя предъявила требование о производстве обыска и задержании лиц, участвовавших в незаконном собрании...»

Так. Лаконично. Убедительно. Петр Аркадьевич переворачивает страницу:

«Во время задержания этих лиц на полу комнаты, в которой они находились, найдены были выброшенными неизвестно кем именно из задержанных следующие документы...»

Столыпин пробегает взглядом перечень этих документов. Вполне достаточно. Даже с лихвой. Как говорил великий кардинал Ришелье: «В каждом двух строчках можно найти, за что повесить их автора». А тут кошунственных строчек наберется на каждого по две сотни. И стержень всего — «Наказ депутации частей войск Петербургского гарнизона». Да, он — российский Ришелье при российском бездарном Людовике. «Представлю следователя Зайцева к Владимиру и пожизненной пенсии, — решает Петр Аркадьевич. — Заслужил».

И нажимает кнопку электрического звонка, бросает адъютанту:

— Пригласите Павла Георгиевича.

Командир отдельного корпуса жандармов, он же товарищ Министра по министерству внутренних дел Курлов вошел, остановился, не доходя стола. Вскинул белые глаза. Петру Аркадьевичу потребовалось усилие, чтобы не скривиться, как от оскомины. Он полуприкрыл веки, чтобы не видеть лицо своего первого помощника и первого врага — анемичное, застывшее, как маска. «Так берегут себя стареющие дамы, чтобы не было морщин», — язвительно подумал Столыпин. И ровно проговорил:

— Прошу, Павел Георгиевич.

— Объявлено обязательное постановление Санкт-Петербургского градоначальника о положении чрезвычайной охраны, распространяющемся на всю территорию столицы с пригородами. Корпус и все войска, расквартированные в столице, приведены в боевую готовность. Кроме того, в город из лагерей переброшены Финляндский, Павловский, кавалергардский и кирасирский полки, а также три пехотные бригады и два казачьих полка — лейб-гвардии Атаманский и Донской, — четко, без интонации выговаривая каждое слово, доложил Курлов. — Депутаты и члены кабинета министров в Таврический дворец собраны.

— Благодарю.

Петр Аркадьевич стоял, не давая тем возможности сесть и Курлову и вынуждая его смотреть снизу вверх: командир корпуса жандармов был на две головы ниже.

— Как с боевиками с Васильевского?

— Препровождены в «Кресты». Пока молчат.

— Отправьте в Кронштадтскую крепость. Дайте от моего имени указания председателю военно-полевого суда фон Эрлиху: задержка с производством расследования нам нежелательна. Мера — основная.

— Будет исполнено.

Премьер взял со стола папку, спросил любезно:

— Не знаете ли, Павел Георгиевич, мой экипаж не подан?

Судорога змейкой скользнула от челюсти к скуле Курлова: в этой фразе он уловил недопустимо оскорбительное — так барин осведомляется у своего камердинера.

— Экипаж уже ждет, господин премьер-министр, — зрочки его растворились в студенистой белизне глазниц.

«Садист», — подумал Петр Аркадьевич.

Улицы утреннего предсубботного Петербурга были пустынно. Чем ближе к Шпалерной, тем чаще усиленные наряды полиции и армейские патрули.

Неприметная черная карета с зашторенными окнами остановилась у бокового, с

Потемкинской, подъезда Таврического дворца.

Столыпин быстро прошел зал, поднялся на свое место, сел, оглядел полукружья кресел. Зал необычно полон, только пусты хоры — места для публики. Ненавистная Дума! Отныне труп, хотя еще и подает признаки жизни.

Он усмехнулся, прикрыв веки, чтобы не выдать мстительного блеска глаз: пусть кричат и бьют себя в грудь. В его сейфе на Фонтанке лежит манифест, подписанный государем еще два дня назад. Он вспомнил, как царь, даже не дослушав его доводов, поспешил вывести «Н», потом подвел к иконе и сказал: «Вот, Петр Аркадьевич, образ, перед которым я часто молюсь. Осените себя крестным знамением и помолимся, чтобы господь помог нам обоим в нашу трудную, быть может, историческую минуту». И сам же перекрестил его. Да, с таким государем... Как бы там ни было, сегодня он начинает писать новую главу в истории России. «Вам нужны великие потрясения — мне нужна великая Россия!» — он приготовил свою фразу и повернулся прокурору судебной палаты Камышанскому, ждавшему его команды, чтобы начать доклад.

Утром, когда Леонид Борисович шел на службу, его перехватил на Невском инженер Кокушкин из товарищества по эксплуатации электричества «Шуккерт и К°».

— Слышали? С сего числа столица снова на положении чрезвычайной охраны! — он покрутил пуговицу на сюртуке собеседника. — Но я думаю: нет ни малейшего основания пугаться, *je vous assure, mon cher*?<sup>4</sup> Как полагаете?

Пуговица от сюртука осталась в пальцах Кокушкина.

— Поживем — увидим, — уклончиво ответил Леонид Борисович, отбирая ее и опуская во внутренний карман, чтобы не потерять.

«Что скрывается за всеми этими слухами? Что за подозрительная история с налетом охраны на квартиру нашей фракции в начале мая? — думал он по дороге на Малую Морскую. — Неужто Столыпин решил разогнать и вторую Думу?». Двадцать месяцев назад, 17 октября 1905 года, народ вырвал у царя манифест, которым Николай II обещал даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов, общего избирательного права и гарантировать, что отныне ни один закон не может войти в силу или быть отменен без одобрения народными представителями. Но уже и тогда, на самом подъеме революции, большевикам было понятно: обещания Николая — блеф. Недостаточно подорвать или ограничить царскую власть. Монарх делает уступки, когда натиск революции усиливается, и отбирает «дарованное», если этот натиск ослабевает. Этому учит история революционного движения. Да, манифест оказался ловушкой. Но что происходит в Питере ныне? Не пролог ли к государственному перевороту сверху, к отказу царя от всего того, что было завоевано пролетариатом в кровавой борьбе? Если это так, то наступает черное время. Страну ждет шабаш контрреволюции, перед которым померкнет белый террор версальцев...

«Общество электрического освещения 1886 года» помещалось в самом центре Петербурга — на Малой Морской, недалеко от Невского проспекта, в солидном доме серого гранита с затейливыми флюгерами на крыше. Леонид Борисович поднялся на третий этаж, своим ключом отворил дверь в контору.

Кабинет первого инженера был просторен, а стол загроможден бумагами, техническими справочниками, словарями. Ничто не могло так поглотить время, как цифры и формулы. Как все закономерно и прекрасно в инженерии и технологии!.. Леонид Борисович ушел от тревог дня.

От работы оторвал его ворвавшийся в кабинет коллега из фирмы «Гелиос». Жизнерадостный, пышущий здоровьем толстяк замер на пороге в трагической позе. Леонид Борисович понял, что его прямо распирает от новостей.

---

<sup>4</sup> Я вас уверяю, мой дорогой! (франц.)

— Уже знаешь?

— О чем?

— Ах, Леня, сидишь в своей берлоге и ничегошеньки не знаешь! — проговорил он, драматически округляя глаза, но в голосе звучали ликующие ноты. — Сорок восемь депутатов Думы привлекаются по обвинению в государственном преступлении — в создании тайного сообщества для насильственного ниспровержения строя и учреждения демократической республики! Прокурор судебной палаты объявил об этом на заседании Думы!

Толстяк выпалил единым духом, и Леонид Борисович подивился мощи его легких.

— По квартирам депутатов социал-демократов уже идут обыски, и в рабочих предместьях, и у студентов. У интеллигенции тоже!..

Коллега замолчал, предвкушая ожидаемый эффект.

— Надеюсь, нас с тобой это не касается, — равнодушно ответил Леонид Борисович.

— Не касается?.. А главный совет «Союза русского народа» уже выпустил обращение ко всем своим организациям: призывает отслужить молебны, провести крестные ходы и послать государю адреса с выражением верноподданнических чувств... — упавшим голосом продолжил коллега.

— Ну и отслужи, и пошли. А меня все это не касается. Моя крепость — мой дом, как говорят англичане, — инженер посмотрел на часы. — Заработался. Пора к своим пенатам.

— Сердечные приветы Любви Федоровне и поцелуй деток, — коллега из «Гелиоса» нахлобучил шляпу — он уже торопился в другие дома, туда, где по достоинству оценят потрясающие новости, которые он разузнал первым. — Всех благ!

Леонид Борисович собрал бумаги. Написал и оставил на бюро секретарши записку для председателя правления — предупредил, что завтра с утра едет на строительные участки за Невской заставой. И, не заходя домой, отправился на Финляндский вокзал.

Поезд погрохатывал мимо деревянных платформ, дачных поселков. Наступала пора белых ночей, и все за окном таяло в серебристо-сиреневом свечении то ли позднего заката, то ли ранней зари.

В вагоне пассажиров было немного. Инженер предполагал, что после майского ареста слежка за ним продолжается. Кто же из попутчиков филер? Ключущий носом толстяк, чиновник в мундире почтового ведомства или хорошенькая круглолицая женщина, в полутьме колдующая спицами? То, что Леонид Борисович едет с Финляндского вокзала, не должно вызывать подозрений: с весны он арендует дачу в Куоккале, и сейчас там вся семья, Любаша с детьми. Но вот как оборвать «хвост» в самой Куоккале?

За Белоостровом, на границе с Финляндским княжеством, по вагону прошли таможенники и чины пограничной стражи, проверили документы. Большинство пассажиров сошло, с ними и те трое — толстяк, почтовый служащий и дама с вязаньем. Подсели несколько новых. Может быть, филер кто-то другой? Или передал слежку сменщику?.. Уж кому-кому, а Леониду Борисовичу отлично известно, насколько квалифицированы агенты охранных отделений. Особенно того, к которому он «приписан», — Петербургского.

Перед Куоккалой он вышел в тамбур. Ближе к станции за ним потянулись еще несколько человек.

Остановка, Он сошел на перрон. Направился вдоль поезда торопливой походкой горожанина, спешащего к семье после дневных тягот. Достал папиросу, остановился, прикуривая. Его обгоняли, кто-то тащился позади. Пробил станционный колокол. Инженер подождал, пока поезд тронется, начнет набирать скорость, и, когда поравнялся с ним тамбур последнего вагона, рывком вскочил на ступеньку. Увидел, как метнулась к вагону неразличимая в сумраке фигура. Ага, не успел, голубчик!

Он постоял на ступеньке, затянулся, отшвырнул красный огонек в темноту и мягко спрыгнул на гравий.

Сегодня Люба его не ждет. Дочки скучают. «Па-по! Па-по!..» Смешная малышня. Он

счастлив с Любой. Счастлив, если эта высшая мера духовной и физической близости и есть формула счастья. Хотя Люба почти ничего не знает о его второй жизни. Но даже и того, что известно, ей достаточно, чтобы верить ему и верить в то дело, которое он считает необходимым для себя и для России.

Вот обрадуется Любаша его неожиданному приезду!..

Но сейчас он торопился не к ней. Сбежав с насыпи, Леонид Борисович углубился в лес и зашагал назад к поселку. Под сводами сосен и елей воздух был настоян на разогретой за жаркий день смоле и горьковатых запахах разнотравья. В сумраке меж стволами темнели замшелые гранитные валуны.

Лес поредел. Леонид Борисович увидел справа переезд: полосатый шлагбаум, неяркий фонарь. Несколько шагов — и меж стволами сосен проступили контуры дачи с темными окнами. «Спят. И, наверное, ничего еще не знают...»

Он привычно нащупал задвижку, тихо открыл калитку. Пусть несет он недобрые вести, но он так рад предстоящей встрече!..

Здесь, на даче «Ваза», после возвращения с Пятого, Лондонского съезда, закончившегося две недели назад, жили «Иван Иванович» — Владимир Ильич Ленин и «Катя» — Надежда Константиновна Крупская. Леонид Борисович не видел Владимира Ильича без малого полтора месяца — с тех пор, как Ленин уехал отсюда в Копенгаген, где предполагалось открытие съезда. И теперь инженер торопился на дачу, чтобы наконец-то услышать его рассказ о том, что происходило в церкви Братства, обсудить последние петербургские новости и получить указание: что делать дальше.

## ГЛАВА 2

Часы в углу кабинета пробили половину двенадцатого. Медный перезвон курантов повис в воздухе, будто диск маятника выкатил его из футляра.

Леонид Борисович поднял глаза от исписанного листа, словно бы прослеживая движение звука, а на самом-то деле возвращаясь из плена цифр и формул к тому тревожному, что нес ему этот сигнал времени. Он досадливо потер указательным пальцем переносье, как делал это, когда кто-то непрошенный отрывал от дела.

Звон курантов расплылся в тишине. Мысли инженера все еще были в распоряжении символов, обозначающих мощность двигателей, их силу, электрическое напряжение, но взгляд уже искал с раздражением помеху, вносящую неорганизованность в методичную, деловито последовательную работу ума. И он нашел. Это была вспухшая стопка просмотренных утром газет. Сложенный вчетверо лист «Биржевых ведомостей» обрывал на сгибе жирный заголовок: «Высочайший Ма...», и ниже строчкой: «Божиею милостию Мы...»

Во всех столичных газетах — от степенных «Биржевых ведомостей» до скандального «Петербургского листка» — на первых страницах чуть ли не аршинными буквами было напечатано:

«Высочайший Манифест. Мы, Божию милостию, Николай Второй, Император и Самодержец Всероссийский, Царь Польский, Великий князь Финляндский и прочая, и прочая, и прочая, объявляем всем Нашим подданным...»

Значит, свершилось. Как и предполагал Ильич, царь пошел на гнусное преступление, на государственный переворот сверху. Что ж там, в Петергофе, реально оценили обстановку: революционная атака захлебнулась, пролетариат обескровлен и сейчас не в силах будет дать отпор.

И все же это не катастрофа, не крах. Это отступление. Невыносимо тяжелое, с

огромными потерями. Однако поражения в бою часто учат лучше, чем победы. Владимир Ильич говорил вчера там, на даче: ни один из коренных вопросов, вызвавших революцию, не решен. Значит, пробьет час — и недовольство народа вспыхнет с новой силой. Значит, надо готовить к этому часу партию, готовить пролетариат. Готовить даже в дни отступления. Как?.. Переводить партийные организации в глубокое подполье — и одновременно усиливать работу в легальных рабочих организациях. Что же касается боевых групп, самое главное — сохранить кадры, а все оружие укрыть на тайных складах. Более того: надо продолжать накапливать оружие. Опыт показал, что без вооружения масс победы не достичь. Ильич спросил: «Как у вас с деньгами, министр финансов? Переход партии в подполье потребует немалых средств. И в Лондоне, чтобы завершить съезд, пришлось залезть в долги, получить заем у одного мыловара». — «Партийная касса совершенно пуста, — ответил Леонид Борисович. — Конечно, мы будем изыскивать возможности, Владимир Ильич».

На свою дачу он так и не попал, хотя от «Вазы» до нее было рукой подать, — за разговором встретили утро, а потом в Куоккалу разными путями, чтобы не навести на след шпииков, стали приезжать большевики — депутаты Думы, и Владимир Ильич провел с ними накоротке совещание, предложил направиться на заводы и фабрики Питера, рассказать рабочим правду о происходящем. Днем отлучаться с «Вазы» инженер не хотел — боялся у своей дачи подхватить «хвост». Вечером же пора было возвращаться в город: на воскресенье намечено было несколько конспиративных встреч.

Со стороны могло показаться: вырвавшийся из семейных оков господин инженер отдал себя во власть воскресных соблазнов. Начал Леонид Борисович с дальнего Крестовского острова. Поутру вдоль его зеленых берегов соревновались невиданные ранее российской столицей моторные лодки. Потом тут же, в «Аквариуме», при небывалом стечении высшего общества открылись состязания по женской борьбе. В перерывах прямо на ринге давала представления знаменитая испанская мимистка Лола Монтез и пели сербские цыгане. Леонид Борисович раскланивался со знакомыми — инженерами, приват-доцентами, профессорами. Столь же обычной выглядела и встреча за столиком кафе с уважаемым господином, неторопливо cedившим ледяную сельтерскую из запотевшего стакана и меж глотками пузырящегося напитка сообщившим, сколько оружия осталось на базовом складе «Германа Федоровича» в Аахи-Ярве. Леонид Борисович распорядился о переброске его на уральские базы. «Для этого понадобятся деньги», — сказал уважаемый господин.

Воскресную прогулку инженер завершил в саду «Наметти». Здесь он получил новые сведения о товарищах с Васильевского — Ольге, Синице и еще двоих, схваченных неделю назад. Все четверо теперь в Кронштадтской крепости, им угрожает военно-полевой суд.

«Что можно сделать для их спасения?» — спросила Надежда Константиновна, когда ночью, на «Вазе», он сообщил об их аресте. Ольга была близкой подругой Кати. «Если понадобятся вещи, они у меня, все приготовлено. Я скоро буду в Питере и привезу», — сказала Крупская, и он почувствовал, сколько тревоги в ее голосе.

— Всем четверым предъявлены обвинения по статьям 241—245, — сообщил теперь товарищ. — Иного от Столыпина нельзя было и ожидать.

В саду на эстраде исполнялся пикантный сюжет — «Веселый пансион», потом шло обозрение на злобы дня «Современный пижон», и над стриженными деревьями в луче прожектора, на струной натянутом тросе совершала полет красавица мисс Зефора в развевающихся прозрачных одеждах. Было необычайное скопление публики. Улыбались рты, играли лорнетки, трепетали страусиными перьями веера...

Леонид Борисович возвращался поздно. Несмотря на вступившее в силу положение о чрезвычайной охране, в центре города по-прежнему сверкали огни у подъездов ресторанов и ночных клубов, было многолюдно на улицах. Единственно пустынными были тротуары у молчаливого Таврического дворца. Лишь пешие патрули и наряды конных жандармов дефилировали от угла до угла Шпалерной и Тверской. И в этот же час лейб-гвардии уланские, кирасирские и казачьи полки окружали рабочие окраины — Большую и Малую



Охты, Полуострово, район Пороховых заводов.

И вот — утренние газеты.

Леонид Борисович развернул «Биржевку»:

«...Только Власти, даровавшей первый избирательный закон, исторической Власти Русского Царя, довлеет право отменить оный и заменить его новым. От Господа Бога вручена Нам Власть Царская над народом Нашим. Перед Престолом Его Мы дадим ответ за судьбы Державы Российской. От верных же подданных Наших Мы ждем единогодушного и бодрого, по указанному Нами пути, служения Родине, сыны которой во все времена являлись твердым оплотом ея крепости, величия и славы.

Дан в Петергофе в 3-й день июня, в лето от Рождества Христова тысяча девятьсот седьмое, царствования же Нашего в тринадцатое...»

Какие тошнотворно выпренные слова! Но что бы там ни было, гнетущее состояние неопределенности разрядилось, словно угольные стержни, через который пропускался все более напряженный ток, наконец раздвинули — и произошла вспышка. И эта вспышка высветила намерения самодержца и его камарильи.

Ильич сказал вчера: «Будем продолжать борьбу. Будем готовить новое наступление». Как продолжать, как готовить?.. Если бы можно было вывести формулу, а потом вместо иксов и игреков проставить цифры, сделать поправку на прочность и получить единственно точный ответ. Но увы, этот инженерный метод неприменим к борьбе классов, к расчетам революционных движений масс. Наука социальных битв сложнее в сто крат — и нет однозначных ответов на ее задачи. Хотя, опыт минувших битв должен многому научить и выявить закономерности...

Леонид Борисович застегнул сюртук и вышел в приемную.

Контора «Общества электрического освещения» помещалась в просторной жилой квартире, сдаваемой в наем богатым домовладельцем-винооторговцем. Приемная-гостиная и теперь не утратила уюта жилой комнаты: весело-золотистые обои, зеркало в резной раме над камином, персидский ковер на полу. Кроме дверей кабинета Леонида Борисовича, сюда выходили двери кабинетов председателя правления Ивана Евграфовича Адагурова и директора-распорядителя Александра Карловича Арндта. У окна, за американским бюро, восседала на высоком стуле секретарь, уже по первому впечатлению оставлявшая ощущение некоего очаровательного снежно-батигового существа. Инженер предпочел бы видеть за бюро преклонных лет даму, синий чулок, знающую, однако, делопроизводство и сторожащую порядок в переписке с фирмами и клиентами. Это же юное создание, неистощимое на томные улыбки, жмурящее глазки, в отсутствие кого-либо было сосредоточено, без сомнения, на единственном занятии — разглядывании в зеркало своих прелестных достоинств. Но Зинокку принял на должность директор-распорядитель, какие Александр Карлович имел на то резоны, Леонида Борисовича не заботило, однако приходилось мириться и с сумбуром в папках «дел», и с кружевами. Впрочем, Зиночка была и в самом деле очаровательна.

Сейчас инженер лишь рассеянно скользнул взглядом по ее лицу:

— Зинаида Андреевна, до обеда я никого не принимаю.

— Хорошо, Леонид Борисович, — девушка сделала досадливую гримаску: по имени-отчеству инженер называл ее, когда бывал не в духе. — Но... тут звонили подрядчики с Охты. Я не хотела вас беспокоить и сказала...

— Уже и сказали, — в его голосе чувствовался укор.

— Да. И они едут... Будут к двенадцати.

— Бог с вами, сударыня. Их приму, но более — никого, срочное поручение от Ивана Евграфовича, — он кивнул на дверь председателя.

— Ни и ни! Больше никого! — решительно подтвердила Зиночка.

Леонид Борисович вернулся в кабинет. За невымытым с осени, в кляксах просохших дождевых капель стеклом струился голубой, солнечно-прозрачный день. По широкой мостовой катили редкие экипажи, по тротуару вышагивали бездельники с тросточками. Напротив, через улицу, свежими красками пестрела реклама на здании управления страхового общества «Саламандра». Рядом, у магазина «Венский шик», щеголь в цилиндре помогал даме сойти с подножки кареты.

В сторону Невского прогарцевал жандармский полуэскадрон. Но тоже буднично, неторопливо. Лошадь под замыкающим всадником подняла хвост. К шлепнувшемуся на камень катушам уже спешил из ворот дворник с метлой и совком.

Справа, со стороны Невского и Гороховой, приближался извозчик. Кучер понукал гнедую кобылу с шорами на глазах. Экипаж остановился у резного чугунного козырька парадного входа дома № 14. С сидений прыгнули два бородача. Один держал круглый футляр для бумаг. Другой, постарше, в картузе на кудлатой голове, деловито расплатился, похлопал по блестящему крупу кобылы, что-то, хохотнув, сказал кучеру. Тот приподнял над головой шапку, неторопливо потянул вожжи.

«Они?» — Леонид Борисович привычно скользнул взглядом из конца в конец Малой Морской. Улица была безлюдна.

Бородачи уже входили в приемную, и старший что-то шумно-весело спрашивал у Зиночки.

Инженер отошел от окна, сел и откинулся на спинку кресла, широко уперев в край стола руки.

— Позвольте беспокоить? — в дверь просунулась косматая голова.

— Входите, господа.

Старший бородач пропустил младшего, плотно прикрыл дверь и, повернувшись от нее, широко и весело улыбнулся: «Хороши, а?» Был он крутолоб, с крупным носом; под густыми, вразлет, бровями хитрые, в прищуре, глаза; пышные усы сплелись с пышной, в проседи, бородой, закрывавшей полгруды.

Леонид Борисович быстро встал, подошел к нему и молча крепко обнял. Не удержался — дернул за бороду. Потом обнял и молодого. И громко, так, что Зиночка вполне могла услышать, проговорил:

— Прошу, господа. Так какие у вас заботы?

И, выглянув в приемную, попросил:

— Не соблаговолите ли распорядиться, чтобы подали чаю, сударыня?

Потом снова с интересом оглядел посетителей:

— Артисты! По глазам только и узнать. Как величать-то на сей раз?

— Меня-с? Дормидонтом Онуфриевичем, ваше благородие. А его-с — Тиграном Самвеловичем.

— Нельзя бы полегче? — улыбнулся инженер. — Язык в штопор превратится. Ладно, Феликс, выкладывай.

— Погоди. Ты был у Ивана Ивановича? Как он? В Лондоне ему пришлось без сна и отдыха...

— Да, выглядит неважно. Однако условия там превосходные: солнце, море, сосны. Думаю, скоро восстановит силы.

— Что говорил об этом? — Феликс кивнул на окно — туда, в сторону Дворцовой площади.

Леонид Борисович кратко пересказал разговор с Ильичем.

— Да, промедления не последовало. — Феликс взял со стола «Биржевку», развернул, прочитал:

— «Мы, милостию пушек и нагаек, Николай последний, убийца и насильник всероссийский, палач польский, клятвопреступник финляндский и прочая, и прочая, и прочая преступления совершивший, объявляем всем нашим маловерным подданным...»

Голос его звучал торжественно. Инженер не удержался, рассмеялся:

— Самая пора для шуток!

— Ничего, Никитич, — сразу посуровев, проговорил Феликс и отшвырнул газету. — Всякое мы видели. Однако на Руси не все караси, есть и ерши. Еще поглядим, кто кому первый могилку выкопает.

— А вы с чем пожаловали? — поторопил его Леонид Борисович.

— Докладывай, Семен, — кивнул Феликс своему спутнику.

Аккуратно подстриженная темно-русая борода старила молодое бледное лицо Семена, делала его простоватым. И впрямь подрядчик, сколачивающий на бирже артели землекопов. Но инженер сейчас пристально вглядывался в его глаза, и Семен под этим взглядом невольно опустил голову.

— Что случилось?

— Пустяки, о чем говорить? — парень сделал досадливое движение левой рукой, и Леонид Борисович увидел, что два пальца на ней неестественно выпрямлены.

— Что случилось? — сердито переспросил он.

— Э-а, о чем говорить? — потряс рукой юноша. Голос у него был с хрипотцой, как у заядлого курильщика. — Ну, понимаешь, капсула взорвалась, туда-сюда немножко попало. Совсем мало, чего волнуешься?

Инженер отклонился вправо:

— Видишь меня?

— Конечно! — воскликнул Семен. Но тут же признался: — Мало... Ну, немножко плохо вижу.

— Что ты еще выкинул?

— Честное слово, ничего. Просто взорвалась, понимаешь?

— Как это — «просто взорвалась»?

Он хотел было сказать: «Осторожней надо, не с хлопучками дело имеешь!» — но лишь досадливо потер переносье: бесполезно говорить прописные истины тому, кто уверовал, что на семь дней раньше черта родился. А Семен — этот уверовал.

— Ладно, выкладывайте, что задумали?

Из приемной донесся легкий шум. Дверь приоткрылась. Вошла горничная с подносом.

— Не откажетесь, господа? — пригласил к чайному столику инженер. — Или что покрепче желаете?

— Жарковато для крепенького и рановато! — хохотнул старший. — А чайку, коли изволите!

Он потер руки.

Горничная разлила по стаканам густой пахучий чай. Вышла. Леонид Борисович глянул на часы, кивнул: «Приступайте».

Семен нагнулся к нему через столик, понизил голос:

— Главпочтамт в Тифлисе получает много денег для банка наместничества. Верный человек сказал. Очень много денег.

— Ну и что?

Парень даже привстал со стула:

— Не нужны?

— Вы не учитываете всех факторов, — сказал Леонид Борисович.

— Не учитываем? — мрачно переспросил Феликс. — Лады... А они, — он кивнул на окно, — они учитывают?

— Поймите: наша главная задача — организовать отступление. Без паники, но — отступление. Действия же боевых групп в нынешних условиях могут лишь внести дезорганизацию в наши ряды. Поймите: они могут породить у пролетариата иллюзию, что борьбу с царизмом можно успешно вести и так — отдельными наскоками. Да, Ильич так и сказал: организованно отступить — во имя будущего наступления.

— Нет! Нужно нанести сильный удар, чтобы доказать: партия жива! Не уснула! — воскликнул Семен.

— Во-первых, потише, — заставил его сесть Феликс. — Во-вторых, не кипятись. Никитич прав. Да, наши главные задачи, задачи боевиков — учить партийцев и пролетариат методам борьбы во время вооруженного восстания, готовить кадры, технику, запастись оружием. Так мы и говорили на нашей военно-боевой конференции. Но... — теперь он уже обращался к Леониду Борисовичу. — Но конкретная операция — совсем иное дело. Волк сбросил овечью шкуру и разинул пасть. А мы будем ждать, пока он нас слопаёт? Нет! — рубанул он ладонью. — Цели наши неизменны, а тактику мы всегда умели приспособлять к обстоятельствам.

Феликс шумно отхлебнул чай, выпил стакан не отрываясь, до дна, снова налил, подул, остужая.

— Что сейчас, да, да, при отступлении, нам особенно нужно? — он поднял широкопалую пятерню. — Пропагандистская литература нужна? Больше, чем прежде. Значит, транспорты из-за границы, — он загнул большой палец. — Новые типографии на местах, — он загнул указательный. — А спасать товарищей из тюрем, с этапов, с каторги? А поездки нелегалов? А помощь местным комитетам? А оружие? Для подготовки нового наступления, о котором говорит Ильич! — Он сжал кулак: — Вот для чего нам нужны деньги. У тебя они есть?

«Да, деньги нужны как никогда, а касса партии пуста...» В душе Леонид Борисович понимал: Феликс прав.

— Рассказывайте, что и как, — после паузы сказал он. — Но учтите: без согласия товарищей я «добро» не дам.

Феликс с видом победителя погладил бороду. Сказал Семену:

— Докладывай, динамитный генерал!

Семен открыл футляр, вынул один из рулонов, развернул. На листе был вычерчен тушью план Охты пунктирными линиями обозначены трассы электрокабельной сети. А поверх тонким карандашом нанесены кружочки и значки.

— Вот это, — парень повел пальцем по карандашному кругу на бумаге, — Эриванская площадь. Как обычно, деньги поедут утром, отсюда — сюда, с Лорис-Меликовской на Сололакскую...

— Не торопись, — остановил его инженер. — Как их повезут?

— Обычно: впереди казаки, потом фаэтон, позади еще казаки. И по бокам тоже, наверно.

— Насколько я помню, — разглядывая схему, сказал инженер, — на Эриванской площади находятся штаб военного округа, полицейский участок, городская управа. А рядом с площадью дворец наместника?

— Молодец, хорошо знаешь!

— Значит, в этом районе будут еще и обычные казачьи патрули и полицейские наряды?

— Какая разница? Бомб у нас на всех хватит, я тебя уверяю. Да они не успеют и глазом моргнуть!

— Так ты считаешь? Может быть, у них вместо винтовок палки? — Леонид Борисович сердито посмотрел на юношу. Тот счел за лучшее промолчать. — Ладно, рассказывай дальше. Где вы хотите нанести удар?

— Вот здесь. На повороте с площади на Сололакскую. Охрана проедет за угол, а деньги — еще здесь. Мы и возьмем их.

— Как?

— Сам знаешь, обычно: бросим бомбы, трам-тарарам, дым-огонь!

— Откуда бросите? На какое расстояние? Сами от осколков не пострадаете? Что будет потом? — со злостью начал забрасывать вопросами инженер.

— Ну что ты как тигр? Не сердись. Много сердисься — быстро старым станешь. «Откуда куда?» Как я могу сейчас сказать? На месте посмотрю.

— На месте? Вот молодец! — Никитич прижал ладонью лист. — Нет, милый, хватит кустарщины. Себя не бережешь — о товарищах подумай. Вот так вы и «Зару» загубили.

— Ну, знаешь ли! — теперь обиделся и Феликс. — Откуда мы могли знать, что она попадет в шторм и сядет на мель?

— А надо было бы знать. И о том, что осень на Черном море — время штормов. И о том, сколько баллов сможет выдержать шхуна. Имей мы оружие прошлой осенью, еще неизвестно, какой была бы нынешняя весна.

Да, с «Зарой» получилась нелепая, глупейшая история. В канун прошлого года на Кавказе боевики Семена экспроприировали двести тысяч рублей в Квирильском казначействе. Все деньги Большевистский центр решил использовать для закупки оружия за границей. Осуществить операцию партия поручила Феликсу. В помощь ему дали нескольких товарищей, в их числе и Семена. Винтовки, пулеметы и пистолеты приобрели в Бельгии, оттуда переправили в Болгарию. Из-за несогласованности действий, а особенно из-за того, что вмешались меньшевики, операция затянулась. Только осенью шхуна «Зара», которую купили в Болгарии, вышла из Варны. Капитаном был бывший потемкинец Ковтуненко, а Семен — одним из членов экипажа. В середине декабря прошлого года у берегов Румынии шторм разбил шхуну, она затонула. Моряков спасли. Феликс попытался заполучить хоть часть оружия — те ящики, которые удалось вытащить на берег. Он выехал в Румынию. Однако о «Заре» и ее грузе пронюхали в российском посольстве. По требованию Петербурга шхуна и все, что осталось от груза, было конфисковано. Румынские власти намеревались выдать Семена царской охранке, но ему удалось бежать, и он вернулся в Россию нелегально. Так плачевно закончилась черноморская эпопея.

Конечно, всегда нужно делать поправку на случайности. Однако провал столь успешно начавшейся операции — серьезный урок. Как ни обидны были упреки Никитича, они справедливы. Меньшевики, погода, плохая шхуна — все объяснить можно. И все же искать в этих звеньях оправдания нельзя — чересчур дорога цена ошибкам.

— Хватит кустарщины, — повторил инженер. — Хватит «авось», «небось» да «как-нибудь»! Сколько человек нужно для захвата транспорта? Пути отхода? Средства прикрытия?

Каждый вопрос он сопровождал прихлопыванием ладони по листу. Семен побледнел. Феликс сопел в усы.

— Обижаетесь? Обижайтесь. Но пора бы и понять: нам нужны не только пламенные революционеры-агитаторы и бесстрашные революционеры-бомбисты, нам еще больше нужны педантичные революционеры-техники и революционеры-бухгалтеры. Все должно поддаваться расчету и учету.

Он резко повернулся к Семену:

— И эта твоя капсула, которая «туда-сюда» без глаза тебя чуть не оставила, — тоже от «авось» да «небось», не возражай, пожалуйста.

Никитич поднял руку, и ватман сам свернулся в рулон.

— Что же ты предлагаешь? — спросил Феликс.

— Семену — немедленно возвращаться в Тифлис и готовить все так, чтобы комар носа не подточил.

Губы парня начали расползаться в улыбке.

— Только готовить. Без разрешения Центра ничего не предпринимать. Сообщишь мне, что и когда. Телеграфом на контору как обычно. А я посоветуюсь с товарищами, и мы решим. Но готовиться самым тщательным образом. Знаешь, наверно, как дом строят? Перекос на сантиметр — и все рухнет. Какого типа бомбы делаете в Авчальской лаборатории?

— Те самые, по рецепту профессора Эллипса.

— Учти: взрывная мощь панкластита огромна. Чтобы ни товарищей-боевиков, ни прохожих не задеть! Часть панкластита замени бертолетовой солью по старому рецепту. Больше шуму и дыму и безопасней.

Они обсудили другие вопросы, связанные с захватом транспорта. Потом Леонид Борисович снова оглядел Семена, его поврежденный глаз и раненую руку:

— В больницу тебе надо, а не с казаками воевать.

Но сам подумал: «Удержишь его! К больничной койке приковать — вместе с койкой убежит...»

— Конечно, в больницу! — с готовностью согласился юноша. — Сделаем дело — и в больницу! Согласен, дорогой, со всем согласен!

— Так я тебе и поверил, — инженер махнул рукой. И обратился к Феликсу. — Вчера я узнал: Ольге, Синице и другим товарищам с Васильевского предъявлено обвинение по 241—245-й статьям «Уложения». Сам знаешь, что это такое: по каждой статье — смертная казнь. Из «Крестов» товарищей перевели в Кронштадтскую тюрьму.

— Да-а... — Феликс погрузил пальцы в бороду. — В самой крепости и в экипажах после прошлого лета, после восстаний в Кронштадте, Свеаборге и Ревеле, почти всех наших выбили... — он как бы раздумывал вслух. — Да, единственная реальная возможность спасти — если отправят по этапу. Или, на самый крайний случай, по пути к месту... — Он осекся. — Мне известно, что в самой крепости приговоры в исполнение не приводятся. Но вот куда отправляют? Никак не можем выследить.

Он тяжело вздохнул:

— Как считаешь, Никитич, сколько у нас в запасе времени?

— Очень мало. Скорострельные суды не утруждают себя соблюдением процессуального кодекса. Но...

— Не говори мне: «надо». Я сам знаю.

— Понимаю... — Никитич встал, прошелся по кабинету. «Синица — один из самых давних, самых близких его друзей...» Инженер снова сел к чайному столику. — Ладно. Введи в курс дела: как перебрасывается оружие на базы хранения.

Антон появился в приемной в тот момент, когда горничная выходила из кабинета инженера с пустым подносом. Он прислушался к голосам, заглушенным плитой двери, и поинтересовался:

— Господин инженер занят?

— Очень и надолго, — сухо ответила Зиночка.

— Эх, а мне так нужно... — он огорченно вздохнул. — По личному вопросу.

— Ни и ни! — решительно заявила секретарша. — Сегодня господин первый инженер более не принимает, нельзя, и не просите.

Но студент был не такой уж простак во взаимоотношениях с прекрасным полом. А секретарша явно произвела на него впечатление, хотя ее блестящие серые глаза с длинными тонкими ресницами поглядывали из-под челки отнюдь не доброжелательно: он успел заметить, что короткая стрижка весьма ей к лицу; и вздернутый, хоть и лопаточкой, нос премил, а чистейшие, скошенные зубки делают ее похожей на зверька. Антон не стал тратить времени: с постным лицом, выражавшим покорность судьбе, он удалился, но тотчас предстал перед секретаршей с красно-бархатной голландской гвоздикой, которую держал в пальцах за тон кий стебель.

— Доставьте мне удовольствие!

— Что вы, сударь! — потупила взор Зиночка и снова взглянула на него из-под челки, но уже совсем иначе. — Не подумайте, ради бога, что именно вас я не хочу допустить. Вообще никого не велено. К тому же у господина инженера сегодня дурное настроение, и если вы по личному...

Далее разговор пошел совсем в другой тональности. Оторвавшись от лицемерия собственной персоны в темном старинном зеркале над камином, юная секретарша убедилась, что молодой человек в форменной студенческой куртке с синими бархатными петлицами — обладатель курносого энергичного лица с раздвоенным подбородком, может быть, излишне выступающим, но в то же время свидетельствующим о силе воли. В контраст с подбородком светлые глаза его были доверчивы и открыты, а неусмирные вихры подтверждали: их обладатель не чрезмерно заботится о своей внешности. Приятное впечатление производили и

его руки — большие, с сухими нервными пальцами, находившимися в сдержанно-беспокойном движении. И Зиночка, сведя все эти разрозненные впечатления воедино: «весьма симпатичный», — сменила неколебимость на соучастие.

Но вот дверь кабинета отворилась, и в приемную вышли бородачи-подрядчики, раскрасневшиеся и взмокшие от чаепития.

— Счастливо, господа, сообщайте о ходе работ, — проводил их до середины комнаты Леонид Борисович, на прощанье пожимая руки.

— Благодарим, благодарим, господин инженер! Беспременно уведомим! — откланялся старший, с могучими усами.

Младший же повел взглядом по комнате, по американскому бюро и восседающей за ним Зиночке и на мгновение задержался на лице молодого человека. Не столько бледно-смуглое, обрамленное русой бородкой лицо его, как странное выражение глаз обратило на себя внимание Антона. Но студент глянул на подрядчика лишь мельком. Он повернулся к инженеру и буквально остолбенел: «Не может быть!..»

И Леонид Борисович, посмотрев наконец на посетителя, свел брови и насторожился. Тут же его лицо приняло прежнее, замкнутое выражение.

Подрядчики были уже в прихожей. Выходная дверь гулко захлопнулась за ними.

— Вот, Леонид Борисович, — виновато сказала Зиночка, качнув головкой в сторону студента. — Тоже к вам.

— Я же просил. Я же сказал: не располагаю временем.

— Я и не пускала, но...

— Не пускала, — рассеянно пробормотал юноша.

— Но он целый час вас дожидался, надеялся, — вступилась Зиночка.

— Вот как? — усмехнулся инженер. — Ладно, ради вас, сударыня.

И, обернувшись к студенту, сухо сказал:

— Проводите меня до Невского, по дороге изложите ваше дело. Но после обеда я уже никого не приму.

Они вышли: инженер впереди, молодой человек за ним следом.

— Я... Я не думал, что это вы, Леонид Борисович, — пробормотал Антон, когда они оказались на улице. — Вы меня не узнали?

— Ты не обижайся, Антон, я рад тебя видеть, — сказал инженер. — Все тянешься. Уже, поди, ростом отца обогнал? Шестой семестр закончил?

— Пятый, — вяло уточнил юноша.

— Ах да, полгода бунтовали! — в голосе Леонида Борисовича послышался смешок. — И что же собираешься делать летом? На Волгу, на побережье — или надумал поработать? Ко мне-то ты по какому делу?

Антон помедлил:

— Вас должны были предупредить... Если я не ошибся... Если вы — это... — Он замолчал, повторил про себя адрес явки. «Нет, все верно». — Я от дяди Захара.

— Ты? — теперь настал черед изумиться Леониду Борисовичу. — Погоди-ка!

Он вспомнил: несколько дней назад один товарищ из городского комитета действительно предупредил его: есть кандидатура в боевую группу — студент Технологического, выполнял партийные задания по распространению литературы, вел кружок на Металлическом. Парня рекомендует Выборгский райком. Леонид Борисович решил познакомиться со студентом лично: пусть пришлют на Малую Морскую; ищет, мол, на лето работу в «Обществе». Назначил день и час. За всеми последними событиями запамятовал. Да, именно в понедельник, в двенадцать с половиной...

— Меня предупредили, — кивнул он. — Но я не знал, что речь шла о тебе. Тем лучше. Но ты хорошенько подумал?

— Поймите, иначе я не могу!

— Меньше эмоций, — нахмурился инженер. Эта вспышка ему не понравилась. — Что не можешь? И почему не можешь?

— Я должен отомстить, понимаете! Когда я увидел его на мостовой... Когда это случилось, я места себе не находил. Будь у меня пистолет, бомба — я бы им в ноги! А потом понял: кто это они — «они»? Те, что были у института? А другие такие же останутся. Дядя Захар говорит: это с поганок шляпки сбивать, а надо вырвать всю поганую грибницу!

Они шли по Малой Морской. Улица будто вымерла. Только далеко впереди плелись прохожие.

— Ты знаешь, Антон, твой отец был моим другом еще со студенческой скамьи. Без его помощи я, может быть, и не получил бы диплом инженера... Ну да дело не в этом. Его смерть нелепа и случайна. Эти громилы черносотенцы убили бы любого, окажись он в тот миг на месте твоего отца.

— Не надо! Я хочу думать иначе!

— Нет, я не разубеждаю тебя. Просто хочу, чтобы ты понял: не только тот герой, кто совершил двенадцать подвигов Геракла, а уже и тот, кто решил бороться — пусть он и погиб в первом же бою. Ты вправе гордиться своим отцом.

Он помолчал. Продолжил:

— И твое решение — свидетельство гражданской зрелости, мужества. Но пойми — наше дело, дело большевиков движимо не мезтью и не ненавистью, а любовью — любовью к трудовому народу. Мы работаем не только во имя разрушения старого, а и во имя созидания нового. Поэтому любое задание партии, пусть самое будничное, очень важно для этого общего дела. И то, чем ты уже занимался, — распространение литературы, кружок — не менее ответственно, чем работа в боевой группе.

— Я понимаю. Я думал обо всем этом, но твердо решил стать именно боевиком, — сдерживая голос, с жаром проговорил студент. — Но что толку в словах? Поручите мне дело — и вы убедитесь.

И это говорит сын Владимира!.. Поглядывая сбоку на юношу, Леонид Борисович угадывал в его лице, в нетерпеливых движениях рук черты отца. Владимир Евгеньевич был так же нетерпелив. Одержимый поиском научных истин, он не хотел вмешиваться в политику. Он много преуспел в лабораториях, его имя стало известно в Европе. Владимир Евгеньевич был убежден, что одного прогресса в науке и технике достаточно, чтобы исправить мир... Почему же в тот день он оказался среди студентов на улице? Случайно? Антон думает, не случайно. Не надо разубеждать. Возможно, так оно и было, кто теперь узнает? А для сына великое счастье — чувствовать духовную общность с отцом...

Они свернули направо, и вскоре перед ними открылась набережная Мойки. Липы вдоль канала дремали под солнцем.

«Я и не знал, что сын Владимира решил вступить в партию, — думал инженер, медля с ответом. — Впрочем, на подъеме революции кто только не записывался в эсдеки — стало модным. Листовки, кружки — все это хорошо. Пылкости и искренности его можно поверить. И все же не порыв ли толкнул его на решение? Хватит ли у него сил и страсти на годы, на всю жизнь?..»

По набережной Мойки они вышли на Невский. И здесь пешеходов и экипажей было немного. Бросалось в глаза обилие мундиров городских. Инженер придержал шаг у подъезда соседнего с его домом «Волжско-Камского коммерческого банка». Сейчас и у банковских чиновников наступил обеденный перерыв. Путь в вестибюль был прегражден изящной, однако же достаточно надежной кованой решеткой.

Мысли инженера перенесли на недавний разговор в его кабинете. Да, партийная касса пуста. Единственная реальная возможность — пополнить ее за счет самой царской казны. И он, руководитель боевой технической группы при ЦК партии, «министр финансов» большевиков, — за осуществление плана, предложенного Семеном и Феликсом. Свою точку зрения он и будет отстаивать перед Ильичем.

Он повернулся к притихшему, ждавшему его решения юноше:

— Скажу тебе прямо, Антон: нам нужны люди, нужна молодежь. Но не случайные попутчики, которые готовы были вчера лезть на рожон, а завтра первыми полезут в щели.



— Я клянусь!

— Не надо таких слов, — он недовольно поморщился. — Я хочу верить, что ты принял решение с полной ответственностью. Возможно, в скором времени представится возможность испробовать тебя.

— Что же мне теперь делать? — растерянно спросил Антон.

— Пока ничего. Ждать.

— А как долго?

— Не знаю. Когда понадобится. Но больше в контору не приходи. Я сам тебя разыщу. И прекрати всякую иную партийную работу: ни листовок, ни занятий с кружком. Я предупрежу районный комитет. А остальным, кто знал, скажешь: отошел от революционеров.

— Что вы!

— Так надо. Надо оборвать все прежние связи. Забудь о доме Захара. И чтоб близко ноги твоей не было у Металлического!

«Как же смотреть в глаза товарищам?..» — понурил голову юноша.

— Это первая проверка. Пожалуй, самая трудная, — понял его мысли инженер. — Но так надо. Надо. А теперь прощай. Кланяйся матери. Если кто полюбопытствует, о чем мы беседовали, скажешь: приходил наниматься на сезонную работу.

— Приняли? — с надеждой поднял на него глаза Антон.

— Жди.

### ГЛАВА 3

Зиночка привычно вошла в растворенные ворота большого обшарпанного дома на Лиговке. Было без нескольких минут восемь вечера, если можно назвать вечером это петербургское июньское чудо, когда солнце, умерив жар, но с прежним блеском сияет на небосводе, воздух прозрачен, листва свежа и голубые длинные тени лишь рельефней лепят карнизы и фризы. Впрочем, эта часть проспекта не искушала глаз разнообразием фасадов. К тому же время подточило их, где содрал облицовку, где обнажив кирпич или изъев ржой железо. Однако в ярком свете и голубых тенях и эти свидетельства скупоści одних и нищеты других выглядели как театральные декоративные лохмотья.

В глубине ворот, под аркой, подпирали стену двое забулдыг. Один сосал «казенную» из горлышка бутылки, другой нетерпеливо ждал черед. Увидев девушку в шляпке и пелерине, оба уставились на нее рачьими глазами.

— М-мадам!.. — засипел тот, который еще только готовился пригубить.

— Тшш! — остепенил его второй, отрываясь от штофа. — Не замай, оне благородные!

— Ах, держ-жи меня! — пьяница попытался преодолеть притяжение стены. — Мамзеля на пятый бегит, к жердюю тому, знаешь? Ох, охочий он до мамзелиев, так и шастают!

Зиночку передернуло. Но она презрительно и горделиво пронесла головку мимо пьянчуг, и каблучки ее сердито простучали под сводом арки.

Она взбежала на пятый этаж, позвонила и, когда дверь тихо отворилась, с облегчением перевела дух.

Мужчина открывший ей, — высокий, худощавый, дружелюбно улыбнулся, принял пелерину и шляпку и повел в комнаты. Он пропустил девушку вперед и шел за ней, немного прихрамывая и продолжая хранить на лице улыбку. Квартира была тиха, безукоризненно чиста. Сверкал темный паркет, поблескивали стекла шкафов, и хрустальные подвески люстр разбрызгивали по стенам цветные блики. В столовой на крахмальной, с заостренными складками, скатерти был накрыт ужин на двоих и в ведерке со льдом холодилась бутылка

сухого вина.

— Прошу вас, Зинаида Андреевна, — мужчина предупредительно отодвинул стул, а затем с привычной изящной легкостью подставил его, когда девушка села.

Зиночка оглядела стол и нашла его безукоризненным. Посмотрела на мужчину. Из головы ее не шло прилипчивое: «жердьяй». Она вспомнила присказку — детскую, еще из бабушкиной деревни: «Стоят вилы, на вилах. — грабли, на граблях — махало, на махале — качало, на качале — зевало...» Невольно улыбнулась: «Право, о вас, сударь!» Как это она не обращала внимания раньше? Уши шире плеч, хрящеватые, торчком, и нос как будто суставчатый, и длиннющая шея — жираф, да и только, а кадык челноком ходит вверх-вниз, даже когда он не открывает рта. Забавно! Сколько лишних костей послал бог одному человеку, на десятерых бы хватило!.. Но нет, мужчина не вызывал у нее антипатии. Одет в отличный костюм, в манерах чувствуется благородство... Она приветливо улыбнулась, обнажив острые скошенные зубки:

— Ух, хорошо!.. А там, в подворотне, какие-то пьяницы сказали, что я шлюсь на пятый — к любителю мадмуазелей.

Она опустила кличку, которой наградили его забулдыги.

— Мы виделись с вами здесь только дважды, и уже... — с огорчением проговорил мужчина. — Квартира вне подозрений, Зинаида Андреевна, в этом вы можете быть уверены вполне. Единственное, что они могут подумать...

— Это меня мало заботит, Виталий Павлович, — быстро сказала девушка и добавила, дернув плечом: — Хотя все же и неприятно.

— Понимаю. В следующий раз приходите, пожалуйста, на Стремянную, дом пятнадцать, Шабровых, второй подъезд со двора, квартира три в бельэтаже.

— Пятнадцать, три в бельэтаже, — согласно повторила Зиночка.

Виталий Павлович откупорил бутылку, обтер салфеткой горлышко, налил вино.

Они поужинали, перебрасываясь незначительными фразами. Если бы кто-нибудь наблюдал за ними со стороны, то так бы и потерялся в догадках: что свело в этой прохладной квартире девушку и уже немолодого, лет тридцати пяти, мужчину? Любовники — не любовники, и на родственников не похожи. Сослуживцы? Сомнительно...

После ужина мужчина проводил Зиночку в соседнюю комнату, в кабинет, предложил девушке пахитоску, предупредительно распечатав коробку и поднеся зажженную спичку. И спросил:

— Если не возражаете, приступим?

Она с удовольствием затянулась, выпустила дым тонкой струйкой и кивнула:

— Да, конечно.

— Прежде всего меня интересует, что говорят у вас в конторе о высочайшем манифесте и о самой особе государя императора в этой связи.

Зиночка сморщила нос, сосредоточиваясь:

— И ничего особенного. Ну, Александр Карлович вас не заботит. Иван Евграфович, когда я принесла свежие газеты, сказал: «прохвост» или «прохвосты» — я точно не расслышала.

— Это весьма существенно, Зинаида Андреевна. От единственного или множественного числа зависит, к кому сие относилось.

— Я думаю — к сощьялистам. Иван Евграфович терпеть их не может, особенно после бунта, когда станция целый месяц бастовала.

— Может быть, может быть... А что заведующий кабельной сетью?

— Леонид Борисович молчит. Очень не в духе сегодня был. Полный день работал и почти никого не принимал.

— А кого же все-таки принял?

— Поутру были инженеры из «Гелиоса», с Новгородской, потом с Галерной, из «Всеобщей компании Электричества». Наши все никак не поделят с ними подряды, и они спорили и шумели, но о высочайшем манифесте — ни и ни, не было никакого разговору,

точно знаю: они дверь не закрыли.

— А кто именно был?

— Вот тут у меня все и записано, я их знаю каждого.

— Дальше... — подсказал Виталий Павлович.

— Потом Леонид Борисович работал до двенадцати, потом приезжали подрядчики с Охты, оба незнакомые.

— Точно ли подрядчики?

— Наверное. Инженер принимать их не хотел, я посодействовала. Эти тоже все о деле и о деле говорили, — Зиночка немного подумала. — Вот и все до обеда. Был еще один, студент, с синими петлицами, однако инженер его и не принял... А после обеда он работал и работал, строго повелел никого не пускать. Только вот одна просительница и была.

— Что за просительница?

— Хлопочет за своего родственника, какого-то Ивана Ивановича, пенсию или страховку, кажется. Вот, более ничего.

Зиночка улыбнулась и мягко посмотрела из-под низкой челки на Виталия Павловича.

Мужчина достал из внутреннего кармана сюртука небольшой аккуратный альбом. На страничках из сурового полотна были наклеены портреты-фотографии.

— Будьте любезны, посмотрите внимательно — никого из этих личностей не было у вас в конторе, особенно у господина первого инженера?

Зиночка не торопясь стала перелистывать странички. Некоторые лица были сняты и анфас, и в профиль, кто даже бритый наголо с дощечками-номерами на груди. Она листала, и взгляд ее не задерживался ни на ком. Разве чуть замедлился на фотографии широколицего мужчины с пышными черными усами и гладко выбритым круглым подбородком. Его глубоко сидящие под надбровными дугами глаза смотрели пристально и сердито. «Тот, старый с Охты?..»

— На кого похож? — насторожился наблюдавший за нею Виталий Павлович.

— Не знаю, вроде бы немножко на сегодняшнего подрядчика. Только тот не так черен, и борода, и веселый, а этот как филин. Нет, пожалуй, и не он.

Мужчина пометил в тетради:

— Проверим.

Зиночка продолжала переворачивать полотняные странички. И вдруг увидела фотографию той самой женщины, которая приходила к Леониду Борисовичу. Она! Гладко зачесанные, взятые в узел на затылке волосы, открывающие прямой лоб, темные брови, немного выпуклые светлые глаза, верхняя губа выступает, образуя характерный рисунок рта. И овал лица, широкий в скулах и обостряющийся к подбородку... Точно она!

— Вот эта дама-просительница и была.

— Не ошибаетесь? Приглядитесь получше, весьма важно.

— Она, она — ни и ни — никаких сомнений.

Мужчина благожелательно улыбнулся:

— «Учительница». Очень хорошо! А о чем они говорили?

— Этого и не знаю. Дверь в кабинет была плотно притворена. И, по совести, я и не интересовалась.

— Напрасно. Да не беда. Важен сам факт... Молодцом, молодцом, Зинаида Андреевна! — он оживился. — А точно ли она?

— Не сомневайтесь, сударь, как сейчас вижу.

— Вот и отлично. А теперь я попрошу вас все подробненько изложить. Как всегда, от третьего лица. Так и начинайте: «Источник сообщает, что...» и далее. Вот бумага, вот и перо.

Зиночка присела к письменному столу, взяла ручку, по-детски помусолила кончик ее во рту и, опершись грудью о край стола, начала старательно писать.

К регулярным встречам с «источниками» — секретными сотрудниками — ротмистр отдельного корпуса жандармов Виталий Павлович Додаков относился как к неприятной, но

необходимой служебной обязанности. Он прекрасно понимал, что политический розыск, а тем более секретный надзор за лицами, которые подают повод к недоверию со стороны властей, без этого инструмента совершенно неэффективен. Общение с подобными личностями не делало чести его голубому офицерскому мундиру. Но что поделаешь — служба. И Виталию Павловичу приводилось на рассеянных по Петербургу конспиративных квартирах общаться с гимназистами и курсистками, чиновниками и студентами, мастеровыми и коммерсантами и с каждым вести беседу, приноравливаясь к лексике и фразеологии, к образу мышления «источника», входить в круг его интересов. С одним — запанибрата, с другим — снисходительно, с третьим — предупредительно, уважительно, а с женщинами — обычно и с оттенком интригующей, отнюдь не служебной, заинтересованности, легкой увлеченности, граничащей с флиртом. Как на обязанность смотрел он на необходимость такого перевоплощения, в душе отмечая свои немалые артистические способности, но и испытывая одновременно чувство гадливости.

Ничего не поделаешь. «Жестокая необходимость», — говорил Сергей Васильевич Зубатов, первый учитель Додакова на поприще охранной службы. Имя Зубатова российская общественность связывала с так называемым «полицейским социализмом», который Зубатов пытался распространить по всей империи. Но лишь узкий круг жандармских офицеров и несколько сугубо доверенных лиц знали, что еще значительней его заслуги в разработке системы осведомительной службы. Он был как бы создателем научной школы, стройного учения о вербовке, пестовании и организации деятельности секретных сотрудников — тех, кого в простонародье и даже в обществе презрительно обзывают «слухачами».

— «Я, офицер, должен якшаться с наушниками и соглядчиками», — так, наверное, с презрительным чувством думаете вы. Но важны не сами по себе явления и факты, а ваша точка зрения на них, — наставлял Сергей Васильевич своих подручных, а в их числе и Додакова — в ту пору еще совсем зеленого поручика, начинавшего службу в Московском охранном отделении. — «И сказал Господь Бог Моисею: «Пошли людей, чтобы они обозрели землю Ханаанскую...» И послал их Моисей обозреть землю Ханаанскую, и сказал им: подите в эту южную страну и взойдите на гору; и осмотрите землю, какова она, и народ, живущий на ней, силен ли он или слаб, малочислен он или многочислен? И какова земля, на которой он живет, хороша она или худа? И каковы города, в которых он живет, в станах или в городах укрепленных?..» Как видите, сам господь поучал пророков своих собирать информацию. Начало секретного розыска восходит к библейским временам. А уж что не зазорно господу, то подавно похвально нам, греховным сынам его.

Охранение общественной безопасности невозможно без политического розыска, политический же розыск без информации — гончая без нюха, — поучал полковник. — Жизнь меняется. При Иване Грозном преступников четвертовали, при нашем государе мы поставлены на порог парламентаризма. Но как при Грозном, так и при нынешнем августейшем монархе невозможно выкорчевать оппозицию правительству и революционные тенденции. Однако быть в курсе деятельности оппозиционеров и революционеров — наш долг. Быть в курсе — и наносить неожиданные удары. И единственное решительное средство для этого — иметь своих людей в каждой ячейке общества. Внутренняя совершенно секретная и постоянная агентура — главное и единственное основание политического розыска. И задача жандармского офицера, поставленного государевой службой охранять державные столпы и благоденствие империи, главная забота — организовать сеть секретных осведомителей во всех слоях общества.

— Пути поиска таких людей различны, но метод один: офицер охраны должен быть человеком, — делился своим опытом Зубатов. — А знать человека, как справедливо говорил мудрый Дизраэли, — это знать его слабости. К чему наиболее слаб человек? К деньгам. Гоните прочь «штучников», которые за рубль несут вам протухший слухок, но не скупитесь на тех, кои, будучи поколеблены в пользу своей революционной деятельности и в то же время нуждаясь в деньгах, хотя и не изменяют коренным образом убеждений, однако ради звона злата согласны информировать вас о деятельности своих сотоварищей.

Еще ценнее для нас те, чье самолюбие было чем-либо ущемлено, кто считает себя по способностям и заслугам достойным более высокого положения в сообществе, однако не признан, — таковые готовы по злопамятности и мести выдавать сотоварищей. Однако, — Сергей Васильевич назидательно поднимал палец, — наиболее важны деятели партий, превращенные путем убеждений в действительных сотрудников на жалованье. Такие служат наиболее усердно, и я знаю немало их, сделавших завидную карьеру в обществе. Получив такого сотрудника, принимайте все меры, чтобы проводить его из низов организации в самые верхи. Как? При посредстве арестов более сильных работников, однако не хватая всех, а оставляя около вашего человека нескольких из более близких и менее вредных, или давая ему возможность заранее уехать по делам партии, или, в крайнем случае, арестовывая и его самого, а затем освобождая вместе с несколькими другими якобы по недостатку улик. Жалованье вашему сотруднику за время ареста должно быть не только сохраняемо, но и увеличиваемо.

Почему обо всем этом я говорю именно вам? Потому что его фамилию должны знать только вы. Остальные чины отделения, в том числе и я сам, будут знать лишь его псевдоним или номер. И никто, кроме вас, не должен видеть его в лицо. Вы будете встречаться со своими осведомителями на тайных, конспиративных квартирах — как если бы работали во вражеской стране.

Повторяю и повторяю, — заключал Зубатов, — не смотрите на дело приобретения сотрудника как на рыночную куплю-продажу. И ни в коем случае не относитесь к вашему человеку небрежно или, того хуже, с презрением, коего он, возможно, и заслуживает, ибо никто из нас не станет оправдывать Иуду, продавшего Христа. Однако упрячьте эти мысли и чувства поглубже и смотрите на сотрудника как на любимую женщину, с которой вы находитесь в тайной связи. Берегите ее как зеницу ока. Один неосторожный шаг — и вы ее опозорите. Помните это, относитесь к этим людям так, как я вам советую, и они поймут вас, доверятся вам и будут работать с вами честно и самоотверженно.

Тогда, семь лет назад, в начале своей жандармской карьеры, Додаков принимал на веру поучения Зубатова. Для того были основания. Из доверительных бесед со своим наставником, из рассказов сослуживцев поручик узнал некоторые черты биографии Сергея Васильевича. Начальник Московского охранного отделения сам в юности, еще лицеистом, входил в народовольческий кружок, а затем «по велению души» стал осведомителем департамента полиции и сразу же обратил на себя внимание эрудицией, знанием революционного движения, редкостной настойчивостью, памятью и работоспособностью. Кроме того, Додаков имел возможность сам убеждаться, как после групповых арестов полковник беседовал с теми, кого, судя по всему, намечал к сотрудничеству. Нет, это были не допросы с пристрастием, которые проводились в подвалах охранного отделения на Гнездиновском с помощью унтеров, чьи доблести концентрировались в зубодробительных кулаках. Зубатов принимал арестованных в своем чистом и уютном кабинете на втором этаже. И сам допрос был скорей беседой равных — за чашкой чая, в споре, без протокола, — что, конечно, не исключало — в случае несовпадения точек зрения — и подвалов.

Такой образ мыслей и действий Сергея Васильевича делал работу по розыску чрезвычайно интересной для Додакова и увлекательной, не притуплял, а, напротив, развивал способности Виталия Павловича. И все же, повседневно общаясь с людьми, по убеждению или за деньги предававшими своих товарищей, Додаков поначалу испытывал чувство, будто сукно его мундира пятнали липкие пальцы. Но Сергей Васильевич — вот уж воистину знаток страстей человеческих! — внимательно следил за сменой настроений своего способного помощника и ученика и в трудную минуту отеческим увещанием или убедительной аналогией мог снять остроту его переживаний.

— Разве не вынужден был такой заступник дела святой церкви, как Игнатий Лойола, даже тайну исповеди использовать для получения сведений о замыслах еретиков? — сочувственно поблескивал очками Зубатов.

Ссылка на авторитет таинственного генерала ордена иезуитов, кумира всех молодых жандармских офицеров, была самым убедительным аргументом для новичка охранной службы. После таких бесед мрачные мысли о жандармском ремесле приходили Додакову все реже и со временем оставили лишь желание после очередного обмена рукопожатиями с секретными сотрудниками хорошенько вымыть руки. Да, что поделаешь: жестокая необходимость. К тому же это «дно», персонифицированное в отдельных личностях, не всегда являло собой отвратительный лик язв человеческих.

Вот и сейчас, наблюдая за Зиной, приналегшей на стол и старательно выводящей округлые строчки очередного доклада на листе белой плотной бумаги, он не мог не залюбоваться и нежной покатостью ее плеч под тонким батистом, и белой, в лебяжьем изгибе, шеей с невинно рассыпанными по чистой коже родинками, и мочкой уха, выглядывающей из густых, коротко стриженных волос.

Что побуждает это ясноглазое существо приходить вечерами в полицейские квартиры?.. Дочь мелкого классного чиновника, с приданным, полную гимназию окончила... Зиночка перешла к Виталию Павловичу «по наследству» — от предшественника Додакова в Петербургском охранном отделении. Завербована она была испытанным методом: романтическая любовная история, связь с бомбистом, социалистом-революционером. Бомбиста «замели». В тот вечер у него в доме оказалась и эта девица. Ему — Петропавловка. Ей на выбор: высылка из столицы — или раскаяние и содействие охранной службе. Словом, ловля рыбки на блесну. Девица испугалась — скорее всего не высылки, а отцовского гнева. И согласилась. Все это было до зевоты банально. Не укладывающимся в «табель» Зубатова оказалось другое. Память о бомбисте, осужденном на вечную каторгу, выветрилась из ее головки весьма быстро, и служить она стала с рвением, усердно и изобретательно.; Ради денег? Нет. Деньги, правда, берет, но с гримаской, будто одолжение делает. Тогда во имя какой своей мечты она с утра до вечера высидивает в скучной технической конторе, а потом с усердием строчит донесения, вместо того чтобы переписывать в альбомчики с розочками вирши поэтов или сочинять любовные послания?.. Загадка...

— Все, кажется, — с облегчением вздохнула Зиночка, распрямляясь и вытирая кружевным платком нос.

«Вульгарно, — в который раз подумал Виталий Павлович. — Да что с нее взять?»

Ротмистр взял листы, быстро проглядел их:

— Превосходно. Поставьте число и подпишите. Как всегда, псевдонимом.

Девушка вывела: «Антуанетта».

— Поздравляю вас, в появлении сегодняшнего манифеста государя — и ваша заслуга.

Зинаида Андреевна зарделась. «Ну, твоя-то заслуга ничтожна, — подумал, продолжая благодушно улыбаться, Додаков. — А вот моя бесспорна. С обнародованием манифеста начинается новая эпоха в истории России, и нам наконец-то развязаны руки. Большой день!..»

Додаков собрал бумаги, сложил и спрятал во внутренний карман — портфелям он не доверял.

— Итак, Зинаида Андреевна, до следующего понедельника. В это же время, на Стремянной, номер пятнадцать...

— Квартира три в бельэтаже, — повторила, кивая, девушка.

— Совершенно верно. И у меня к вам просьба: попытайтесь расположить к себе господина первого инженера.

— Что вы хотите этим сказать? — Зиночка открыто посмотрела в лицо Додакову.

Он слегка смутился:

— Видите ли... Поймите меня правильно. В определенных обстоятельствах самый неприступный мужчина, вспомните хотя бы филистимлянку Далилу...

— Кажется, это та, которая стала любовницей Самсона и срезала его волосы?

— И он лишился своей силы. Слабая женщина победила титана.

— Значит, и я должна стать любовницей инженера? — глаза ее простодушно глядели из-под челки.

— Ну, зачем же так упрощать? Есть пределы...

— А почему бы и нет?

Она улыбнулась, так что обнажились скошенные чистейшие зубки.

«Ого! Вот это зверек! Темна вода во облацех... Далеко ты пойдешь, прелестница Далила, — оценивающе посмотрел на нее Виталий Павлович. — Далеко».

Он поглядел на часы, поднялся:

— Вас проводить до извозчика, сударыня?..

Того же четвертого июня около полуночи в полуподвале серого дома на Петербургской стороне, на Александровском проспекте проходило еженочное собрание. В круглой комнате с низким, поддерживаемым двумя колоннами потолком сошлось десятка три мужчин, по виду своему — приказчиков, мастеровых, дворников, половых и извозчиков. Многие стояли, подперев стену и расставив натруженные ноги, кое-кто сидел на скамьях, упершись ладонями в колени. Курили махру.

За единственным в комнате столом располагался грузный краснолицый мужчина — рыжебородый, с золотой цепочкой, провисавшей на жилете, с массивными кольцами на толстых пальцах. На столе слева от него возвышалась стопка тетрадок, правый ящик стола был немного выдвинут, и в нем поблескивала горка серебряной мелочи — гривенники и пятиалтынные, ворохом лежали рублевки.

— Голубь!.. Лапоть!.. — выкрикивал рыжебородый, и мужики, отрываясь от стены, по очереди подходили к столу, выпрастывали из карманов зипунов замусоленные тетрадки, переступая с ноги на ногу, листали их и докладывали:

— Принял я Залетнова у Пассажа в восемь. От Пассажа он поехал на Галерную, в дом Онуфриева. Пробыл до часу пополудни. Оттуда пехом до Почтовой. Осторожничал, в витрины глядел, петлял...

— Умник полный день отсиживался дома, на фатере. В десять тридцать к нему пришел известный Штоф, а следом дамочка незнакомая, назвал ее Канарейкою... В час с четвертью оба вышли с товаром, взяли ваньку — вон его, Тимофеича, он поддежуривал — и отбыли. А Умник так все и отсиживался, пока я смену передал.

— Доставил я их, ваше благородие, Штофа и птичку, на Перинную, к дому мещанина Фомкина, — подхватывал Тимофеич, поигрывая кнутовищем в заскорузлых пальцах. — Там у меня взял их вот он, Сучок...

Каждый, отчитавшись, с угрюмой почтительностью клал свою тетрадку на стол. Рыжебородый заглядывал в нее, переспрашивал:

— Сколько, гришь, срасходовал? Трешницу? Ого-го, мотягой стал, разорить нас совсем хочешь. Куда срасходовал? На билет конки... так, билет в наличии, на чайную — это изыдем... Плюс... Плюс... Минус... Получай два с полтиной и бога не гневи, — он запускал руку в ящик, доставал бумажки и серебро, отсчитывал на сукне, наблюдал, как мужик, жадно торопясь или медленно, с достоинством сгребает в ладонь деньги, и вызывал следующего.

Это был ежесуточный сбор филеров — агентов наружного наблюдения Петербургского охранного отделения. Филерская служба существовала в столице и по всей Российской империи издавна, можно сказать, издревле, и дополняла собой службу секретных агентов-осведомителей. О филерах в народе знали. Им дали кличку: «гороховые пальто», — дали ошибочно, полагая, что они состоят на службе в управлении полиции на Гороховой, и не подозревая о сером доме на Александровском проспекте, рядом с Петропавловской крепостью. Вряд ли догадывались в народе и о том, какой густой была эта сеть. Не считая сотрудников, которые персонально прикреплялись к наблюдаемым личностям, а также специального летучего филерского отряда и извозчичьего двора с экипажами и «ваньками», ничем не отличавшимися от всех прочих «ванек» и экипажей, множество агентов несли дежурство на столичных улицах. На Невском за день сменялось сорок пять постов, на

Морской и у арки Генерального штаба — двадцать четыре, в районе департамента полиции — двенадцать. И так по всему Санкт-Петербургу. И это не считая особой службы по охране двора и царствующих особ. Здесь, у дворцов, в районах загородных резиденций, в императорских театрах и прочих посещаемых августейшей фамилией местах их была тьма-тьмушая.

Служба у филеров была вроде бы попроще, чем у внутренних агентов. Однако и у этой профессии существовали свои сложности и хитрости. Филеру не нужно было знать ни фамилии человека, за которым он следил, ни кто он — подозрительный интеллигент, социалист или, напротив, преданнейший государю предприниматель или даже князь. Агент, приставленный к интересующему начальство лицу, должен был или неусыпно следить за его домом, или «принять» его у назначенного пункта и не упускать из виду, пока не сдаст своему сменщику. А это очень часто оказывалось совсем непростым делом, требовавшим сноровки, лисьей осторожности, ловкости, опыта и недюжинной физической выносливости: у филера должны были быть крепкие ноги, отличное зрение, превосходный слух, цепкая память и такая невыразительная внешность, которая, как гласила инструкция, «давала бы ему возможность не выделяться из толпы и устраняла бы запоминание его наблюдаемыми». И однако же, дом на Александровском проспекте располагал мастерами наружного наблюдения в достаточном количестве: всем требованиям удовлетворяли бывшие тюремные надзиратели и раскаявшиеся уголовники, хотя согласно той же инструкции департамента полиции филеры должны были набираться исключительно из запасных унтер-офицеров гвардии, армии и флота по предъявлению отличных рекомендаций от войскового начальства.

Правителем этих мрачных теней был восседавший за столом рыжий бородач Евлампий Пахомыч Железняков — такой же, как и его подчиненные, полуграмотный мужик, в прошлом сам надзиратель из «Крестов», хитростью, умом и бульдожьей хваткой дослужившийся до одной из главных должностей в отделении, до классного чина и ордена Владимира, давшего ему права потомственного дворянства и фамильный герб.

В этот час в стороне, у стены, на мягком стуле сидел и Виталий Павлович, молча слушавший доклады филеров и изредка делавший пометки в своей записном книжке.

— Я к Инженеру приставлен, — начал очередной филер по кличке Пчела. — Нонче спокойный он был. Проводил его утром от дому, что на Невском, 42, до службы, на Малую Морскую, 14. До обеда он и не выходил. Народу много в контору шло. Вот тут перечислено, кто да кто. В двенадцать ровно приехали двое, с виду подрядчики. Одного, старшего, я нарек Весельчаком, а другого — Косым, правым глазом он чтой-то не зрит. Здесь их приметы, — он погладил обложку тетрадки. — У ваньки, который привез, выспросил: с Охты ехали, все о какой-то траншее под кабель гутарили. В час с четвертью они отбыли, передал их Кузьмичу, он на выезде за углом поддежуривал.

— На Охту и отвез, там, где землю лопатят, — буркнул от стены филер-кучер.

— В свой час доложишь, — осадил его Евлампий Пахомыч и пристукнул ладонью по сукну. — Продолжай, Пчела.

— В час двадцать Инженер на обед пешком пошли, сопровождал их молодой вьюноша, высокий такой, русский, в куртке Технологического, я его Студентом нарек. Гутарили тихо, об чем — не слышал. Инженер отвадили студента у своего дома, ручку жали. До трех пополудни они отдыхали, обедали, видать, в квартире. Потом снова в контору возвратились. Под самую мою смену только одна дамочка приехала. Уже примеченная, Учителькой значится по альбому, под номером семнадцатый — «секретный надзор, особое наблюдение»...

Железняков достал из глубины стола альбом с парусиновыми страницами, полистал, нашел фотографию под номером 17. На ней была запечатлена женщина лет тридцати пяти, темнوبرовая, с гладко зачесанными назад, взятыми в узел волосами. Додаков заглянул через плечо Евлампия Пахомыча, удовлетворенно кивнул.

— Не тяни kota за хвост, что далее? — поторопил

Пчелу шеф филеров.



— В шесть вечера ровно я передал пост Тыкве, Учителька еще не выходила, — закончил Пчела и положил на сукно свою тетрадку.

— Тыква! — нетерпеливо повертел могучей шеей Железняков. Приземистый квадратный мужичок придавил каблуком окурок самокрутки и нерешительно, боком, семенящими шажками двинулся к столу. Глаза его были опущены, и по скулам наливались бурые пятна.

— Ну? — доброжелательно понудил его к рассказу Евлампий Пахомыч.

— Я, значит, как сказать, принял в шесть... И, тово, как сказать, до положенного часу... — начал мужичок, но голос его неожиданно оборвался на фальцет, и он замолк.

— Когда ушла мадам, куда направилась, кому передал? — с мягкой улыбкой посыпал вопросами Железняков.

— Я, значит, как сказать... Не видел... Как сказать, не выходила! Никого не видел!.. — зачастил, словно бы заголосил мужичок и опять неожиданно замолк.

— Не видел, значит, как сказать? — продолжая улыбаться, передразнил Евлампий Пахомыч, задвигая ящик и поднимаясь из-за стола.

Пружинистыми шагами он приблизился к Тыкве, повел носом в его сторону, пригнувшись, и резко, со всего маха, ударил его пудовым кулаком:

— Не видел, сволочь? В кабаке дежурил?

Он левой рукой сгреб мужика за воротник и, не давая ему увертываться, стал правой методично тыкать в зубы, пока у того на губах не запенилась сукровица. Мужик не отстранялся, лишь вертел головой, таращил глаза и мычал.

— Не видел, так тебя растак? А знаешь, сволочь, кого ты упустил? Стною, раздавлю, как клопа вонючего!

Кончив бить, Железняков встряхнул мужика:

— Ну?

— Виноват, Пахомыч! Бес попутал!

— Попутал — так признавайся, а не финти! Мне брехунов не надобно. Филер должен быть честней святого Петра, у нас служба государева!

Он воздел красный палец к потолку, потом оттер а крови руки скомканной бумагой, отбросил ее на пол вернулся к столу:

— Ступай, упырь. Штрафу с тебя — десять рублей и два суточных наряда, попробуй хоть глазом моргни! Кто там следующий?

«А, черт, — с досадой подумал Додаков, — опять оборвалась ниточка...»

Как правило, с утра полковник Герасимов никого не принимал, даже ближайших сотрудников. Дежурный офицер к его прибытию подготавливал вечерние и ночные сводки происшествий по городу, Железняков (когда он только успевал?) — выписки из наиболее важных донесений филерской службы, заведующие другими частями — не терпящие отлагательства бумаги в кожаную папку «К докладу». И начальник отделения, запершись, погружался в работу.

Утром пятого июня он также не изменил установленному порядку. Неторопливо и тщательно изучив бумаги, одни оставив без внимания, на других начертав разнообразные, предельно лаконичные резолюции, он растасовал их по папкам, по синему полю обширного стола, оставив перед собой лишь несколько листков, наиболее его заинтересовавших. Затем, совершив хитроумные манипуляции с ключами и кнопками, отворил массивную дверцу сейфа и достал оттуда несколько прямоугольных квадратов белого картона с нанесенными на них значками, а из ящика стола — циркули, линейки и флаконы с цветной тушью.

Если бы не сияние эполет, пуговиц и аксельбантов на мундире полковника и не дорогой, в лепной раме, портрет императора на стене за его креслом, то вполне можно было бы предположить в этом сосредоточенном седеющем мужчине с аккуратно стриженными серыми усами и бородкой а-ля Скобелев ученого, исследователя. Собственно, Василий Михайлович Герасимов ученым себя и считал. Злоумышленники, тайные сообщества,

государственные преступления были для него некой абстракцией, и, хотя они олицетворялись в конкретных исполнителях, имевших имена и фамилии, сталкивался полковник с нарушителями общественного благоденствия чрезвычайно редко, в исключительных случаях, предпочитая ограничивать знакомство с ними заочным изучением их подноготной по рапортам, доносам, докладам, протоколам допросов и обвинительным заключениям. И так же, не глядя в их глаза, он решал судьбу их — кого рекомендовал к виселице, кого к каторге или ссылке в места отдаленные, хотя, по опыту зная неисправимость профессиональных революционеров, предпочитал ограничиваться первыми двумя мерами.

Некоторые либеральствующие его коллеги считали полковника жестокосердным, кровожадным, чуть ли не вампиром. Но он, выслушивая подобные нарекания (не лично от коллег, конечно же, а от сотрудников осведомительной службы), лишь досадливо морщился.

Охранная служба была призванием Герасимова. Она была предопределена всей его жизнью, кругозором и мировоззрением. Его прадед еще при Николае I и графе Бенкендорфе начал службу в только что созданном тогда корпусе жандармов, и с тех пор голубой мундир стал семейной униформой, передаваемой от отца к сыну, от сына к внуку. И сама фамилия Герасимовых превратилась в нарицательную при определении достоинств жандармского офицера, не щадящего живота своего во славу престола и отечества. Герасимовы смотрели на свою династическую профессию не как на синекуру, а как на тяжелую и важную работу.

Вот и сейчас Герасимов-пятый, вооружившись циркулем и пером, флаконами с тушью и разноцветными карандашами, работал. На белом картоне он чертил картограмму. В центре листа многими днями ранее был выведен кружок, в котором значилась подлинная фамилия, а также агентурная кличка наблюдаемого. От этого кружка расходились два ряда эллипсов, также состоящих из кружков несколько меньшего диаметра. Кружки первого эллипса означали учреждения и общественные места, которые поднадзорный посетил, кружки второго — лиц, с которыми он встречался. Кроме фамилий и полицейских кличек, в этих кружках проставлялись даты и часы свиданий, что позволяло судить об активности взаимоотношений. Своей графической завершенностью и симметрией картограмма напоминала изображение солнечной системы. От «солнца» к «планетам» были прочерчены разноцветные линии, каждая имела свой смысл. Подобные картограммы составлялись на основе донесений филерской службы и представляли собой «наружное освещение» интересующего охрану лица. Однако такое «освещение» выявляло лишь внешнюю сторону его жизни. А надо было «осветить» и изнутри. Для этого в наиболее перспективных «точках» внедрялись секретные сотрудники. Они и раскрывали, с какой целью проводятся встречи и что на них обсуждается. В результате картина представала полной. К тому же сведения от «источников» и филеров, поступавшие по разным каналам, давали возможность перепроверять донесения и тех и других. В результате никакой ошибки быть не могло. Составляя картограммы, Герасимов с удовлетворением думал: если через столетия историкам понадобится восстановить времяпрепровождение и круг знакомств кого-либо из общественных деятелей, попавших в поле зрения охранной службы, они смогут сделать это по полицейским документам с точностью до пяти минут — плюс-минус.

Смогут сделать это и в отношении лица, над картограммой которого он сейчас трудится, — господина заведующего кабельной сетью, первого инженера «Общества электрического освещения 1886 года» Леонида Борисовича Красина. Однако и они, будущие дотошные историки, так и не узнают, кто из окружения инженера доносил на него, ибо имена и клички осведомителей тоже обозначены кружками на схемах наравне с именами и кличками злоумышленников и случайных людей, и за каким из этих кружков скрывается секретный сотрудник, неведомо даже ему, начальнику охранного отделения. Да и зачем ему ведать? Для него важно другое: судя по картограмме, господин инженер продолжает свою преступную деятельность.

Василий Михайлович взял синюю карточку, которая была прикреплена к картограмме:

«Красин Леонид Борисов.

Партийные клички: «Никитич», «Зимин», «Винтер», «Финансист». 1870 года рождения. Сын надворного советника. Православный. Уроженец г. Кургана.

1891 г. — исключен из СПб Технологического института за участие в студенческой демонстрации, а затем сослан в Нижний Новгород под гласный надзор полиции.

1892, 1894 гг. — подвергался арестам за революционную пропаганду среди рабочих.

1895 г. — сослан на 3 года в Иркутск по делу «Московского тайного кружка» — так наз. «Временного организационного исполнительного комитета».

1902—1904 гг. — агентурные данные о революционной деятельности в Баку, на нефтяных промыслах.

Делегат III и IV съездов Российской социал-демократической рабочей партии. В настоящее время — член ЦК (фракция большевиков).

Приметы: роста среднего, стройный, худой, темный шатен (совершенно темно-каштановый), волосы мягкие, борода вокруг всего лица, усы того же цвета, нос чуть-чуть вздернут, на лбу и под глазами морщины, имеет на вид лет 40... Проходит по следующим циркулярам ДП...»

Ох уж эти бумагоизводители в департаменте! Из-за этих циркуляров ретивые московские служаки, не спросясь совета, месяц назад арестовали Красина в первопрестольной. Выкормыши дурака фон Коттена чуть было не разорвали сеть, которую Петербургское отделение плетет вот уже без малого полный год. Еле уговорил Максимилиана Ивановича самолично распорядиться, чтобы Коттен выпустил инженера на свободу, извинился перед ним и впредь не совал носа в его, Герасимова, огород.

Посадить инженера за решетку полковник и сам может в любую минуту: тягчайших улик хоть отбавляй, а Красин и не таится, устроил из своей конторы на Малой Морской явочную квартиру, расхаживает по улицам, в воскресенье даже гулять изволил в злых местах. Семью, правда, отправил на дачу. Но весь Петербург среднего достатка переселяется на лето на песок и сосны. Арестовать инженера — пальцем шевельнуть. А результат? Инженер, безусловно, — звезда первой величины. От нее тянутся пестрые лучи к другим звездам. Что ни день, на картограмме появляются новые кружки, ждущие своей расшифровки, «освещения» снаружи и изнутри. Кто эти Весельчак и Косой, обозначенные как подрядчики с Охты?.. И Студента проверить!..

Но главное направление розыска — Учительница. В кружке на схеме проставлено: «Крупская Надежда Константиновна». На синей же карточке с приклеенными к ней двумя фотографиями — анфас и в профиль — отмечено:

«...Партийные клички: «Катя», «Минога», «Рыба», «Мимоза», «Шарко», «Саблина». 1869 года рождения. Дворянка, дочь офицера, мать — из гувернанток.

1896 г. — привлекалась в СПб по делу «Союза борьбы за освобождение рабочего класса»: устраивала рабочие кружки. Сослана на 3 года в Уфимскую губернию под гласный надзор полиции. Последующее запрещение проживания в столицах впредь до распоряжения, в университетских городах и фабричных местностях — на 1 год.

1901 г. — выбыла в Австрию. Проживала со второй половины 1901 г. за границей, вела из разных городов конспиративную переписку со всеми действующими в России комитетами РСДРП и занимала центральное положение в заграничной организации «Искры».

1905 г., октябрь — вернулась в Россию. Находится на нелегальном положении. Установлено многократное появление в Петербурге.

Помещена в следующие циркуляры ДП...»

Да, о том, что Крупская где-то здесь, в столице, свидетельствуют пометки в кружке на картограмме. А обрывающаяся красная линия должна вывести полковника Герасимова к

главному объекту — к ее мужу Владимиру Ульянову — «Николаю Ленину», лидеру большевиков, неведомо где укрывающемуся. Еще год назад департаментом полиции было возбуждено дело об аресте Ульянова. Однако при всей тщательности розыска, при умноженной активности филерской и внутренней агентурных служб никак не удается установить его местонахождение. Что ни день поступают донесения о деятельности Ленина, о выступлениях его и встречах с руководящими работниками партии. Но все сведения — постфактум, а сам Ульянов вновь и вновь исчезает, не оставляя следа. Дважды за последнее время агенты отделения выходили на Учительницу, но оба раза теряли нить. И оба эти раза она встречалась с Красиным. Какие основания сомневаться, что она объявится на Малой Морской и в третий раз?

Недавно Герасимов снова получил отношение департамента на имя прокурора Петербургской судебной палаты: «г. Ленина департамент полагал бы необходимым подвергнуть безусловному содержанию под стражей и в этом смысле долгом считает просить соответствующих распоряжений и уведомления о последующем».

Распоряжения даны. Но результатов пока нет.

Что ж, терпение и терпение! Наступит день — и замкнется линия, которая должна соединить два кружка, и тогда на листе можно будет поставить крест. И сдать картограмму в архив — для грядущих историков, которым еще предстоит с трепетом исследовать это гениальное порождение российской инквизиции, затмившей славу жрецов аутодафе. А пока терпеливо и методично, считая петли, плести и плести сеть, не комкая начатое расследование ради того, чтобы скорее испытать сладостную радость победы, а руководствуясь мудрым принципом *festina lente* — торопись медленно. *Festina lente!*

## **ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЭКСПРЕСС ИЗ ТИФЛИСА**

### **ГЛАВА 4**

Знал бы Леонид Борисович, какой вихрь чувств вызвало в душе Антона одно короткое слово: «Жди».

Слома голову примчался он домой. Слонялся, не находя места, по квартире, и это слово жгло его. Наконец-то! Наконец призовут его к настоящему делу! Он бросится в гущу битвы, он встанет под пули! Револьвер в руку — и один на один, кто кого! Да, он готов и на гордую смерть, на кандалы и каторгу: выше революционной деятельности быть ничего не может, она — святое дело. Только бы скорей!..

Но дни шли, а от инженера вестей не было. Антон начал тревожиться. «Жди», «жди» звучало все неопределенней. «Поверил! — с тоскливым ехидством думал он. — Я-то поверил, а с какой стати Леонид Борисович должен верить мне? Что я такое совершил, чтобы можно было мне поверить? Вот и тогда, на Васильевском, как струсил!..»

Он перебирал в памяти события своей жизни. Ничего стоящего. Гимназические годы — вообще пустота. Он жил, как и большинство ровесников его круга, детей из семей столичной интеллигенции, оберегаемый от острых вопросов и тревог времени. В старших классах, правда, ходили по рукам гектографированные брошюры со словами о несправедливости, неравенстве, нищете и борьбе. Он читал, мало что понимая, хотя и наполняясь тревожным

чувством какой-то большой несправедливости в мире, который находился за пределами его буднично-спокойной повседневности.

Но, перешагнув порог института, он разом оставил позади детство и вступил в мир взрослых. Произошло это роковой осенью 1904 года. В ту пору российская армия терпела одно поражение за другим в поединке Японией. Уже всем было ясно: война проиграна. Волны ура-патриотизма отхлынули, обнажив гнилые сваи самодержавной власти. Известия о поражениях на Дальнем Востоке мрачным эхом отозвались в Питере. Даже в высших сферах началось брожение. А что уж говорить об интеллигенции, студенчестве, тем более о питомцах именно их института?

Технологический был, пожалуй, самым «простонародным» из всех высших учебных заведений Российской империи. И основал-то его Николай I в конце 20-х годов минувшего века именно для подготовки мастеровых высокой квалификации. «Принимать в него крепкого телосложения молодых людей, не дворянского происхождения и не купеческого звания!» — указал царь. Но ход истории диктовал свои требования: многие дворяне и сами становились фабрикантами и заводчиками, и звание «инженер» даже в высшем обществе начинало звучать как титул. Отпрыски знатных родов все чаще останавливали свой выбор на Технологическом. Но все равно и в начале XX века наиболее многочисленными здесь оставались посланцы «податного сословия», выходцы из семей мещан, крестьян и рабочих. Почти все студенты старших семестров принадлежали к различным союзам и партиям. Наибольшей популярностью пользовались в Техноложке идеи социал-демократии. В институте была даже обширная подпольная библиотека революционных изданий. Во время лекций на задних скамьях в открытую читали нелегальную литературу, упоенно излагали собственные дерзкие проекты социальных преобразований. «Старая Россия умирает. На ее место идет свободная Россия!» — читал Антон в социал-демократической листовке.

В конце ноября, на традиционном студенческом балу кто-то в актовом зале прикрепил к портрету Николая красный флаг. На полотнище было написано: «Долой самодержавие! Долой войну!» Такого даже в этих стенах не бывало. Антон задумывался все чаще: а кто он, какая у него высшая цель в жизни?.. Вспоминал деда, угрюмого бровастого старика, вечно сидевшего у окна. Дед умер, когда Антон был совсем маленьким, бабушку он не помнил. Отец как-то рассказал, что они были крестьянами, крепостными в родовом имении Столыпиных. Значит, если бы крепостное право не отменили, он, Антон, был бы дворовым? Даже вообразить такое нелепо и смешно! Его отец — профессор, известный ученый. И как ни пытался Антон, не мог в своем воображении облачить его в армяк и лапти.

— У твоего деда, Тошка, была мудрейшая голова, второй Михайло Васильевич Ломоносов в нем зачах, — с болью сказал однажды отец. — Он был неграмотный, крест ставил вместо подписи, а умудрялся проникать в самую суть вещей и к языкам способности имел — дай бог нам с тобой на двоих. Мы уже в Питере жили, в нижнем этаже дома немец магазин держал. Дед приехал и через пару месяцев с ним по-немецки говорил. Мадмуазель Жаннет с тобой возилась, дед только краем уха ловил, а потом мог по-французски... Твоему деду я обязан всем.

Наверно, были у Антона родственники и по линии матери. Но никогда в семье о них не вспоминали, и он рано понял, что эта тема запретна. Став старше, начал мучиться догадкой, что с матерью связана какая-то тайна. Мать была русоволосая, голубоглазая, с тонкими чертами лица и чудесно свежей кожей. Она выглядела так молодо, что, когда оказывалась с Антоном среди незнакомых людей, ее считали старшей его сестрой. Это когда он был еще ребенком. Теперь же, на две головы выше матери, нескладный угловатый мужчина, он уже и сам мог сойти за старшего брата. Антон любовался ею, следил, какое впечатление она производит на окружающих — а она должна была непременно вызывать восхищение.

Мать он любил. Но был на свете другой человек, не видя которого даже день Антон начинал не то что скучать — тосковать; человек, в которого он верил безоглядно. Это был его отец. Внешне чудаковатый, с покатыми плечами, короткой шеей, копной спутанных волос и такой же спутанной бородой, неустанно подметавшей лацканы сюртука. Торчащие

на пол-ладони крахмальные манжеты к вечеру всегда были изломаны, а левая к тому еще исчеркана цифрами и формулами: за дурную привычку писать на манжете ему изрядно попадало от матери.

И Антону, особенно в детстве, частенько доставалось от матери, переменчивой в настроениях и вспыльчивой, могущей сгоряча и шлепнуть, и больно ущипнуть. Отец же никогда и ни за какой проступок не ругал, даже не корил. И ни к чему не принуждал своим родительским правом и авторитетом. Точнее, побуждал — добродушно-насмешливой улыбкой, советом, но высказанным таким тоном, что, мол, это мое мнение, а ты поступай как знаешь. Когда Антон стал студентом и его неотвратимо вовлекло в круговорот сходов, собраний, диспутов, отец не стал отговаривать:

— Решай сам, Тошка. Чужими советами не проживешь. Но я считаю, что студент все силы должен отдавать учению. Сколько ни кричи на сходах, сколько ни бунтуй, человек без знаний — полый шар, уколят — пшик от него останется.

Однако же как-то сказал сыну и другое:

— Сейчас все, на кого ни погляди, называют себя революционерами. Разобраться в теориях, которые каждый провозглашает, нет никакой возможности. Но если бы мне пришлось выбирать, я бы взял в пример Леонида Борисовича Красина. Мы вместе начинали с ним в Техноложке. Блестящего дарования человек. Я убежден — это второй Менделеев. Я был уже приват-доцентом, а он еще студентом из-за своих перерывов на отсидки и ссылки — и студентом построил превосходную электростанцию в Баку. Мы ходатайствовали перед министром просвещения, чтобы его вновь допустили в институт. Но Красин, хотя и революционер, блестящий инженер и в будущем выдающийся ученый.

Однажды в гостях у коллеги отца Антон был представлен Леониду Борисовичу. Инженер задал юноше обычные вопросы об учебе. Антон оробел. Весь вечер он просидел в сторонке, слушая. Однако Красин никаких революционных теорий не развивал. За крахмальной скатертью, хрусталем и водками говорили исключительно на научно-технические темы.

Потом Антон еще несколько раз видел Красина, но тоже на людях. Леонид Борисович заинтересованно расспрашивал об их общей альма-матер, сам рассказывал об институте, называя в разговоре имена Бруснева, Кржижановского, Радченко, Ванеева. Но для Антона они мало что значили, хотя краем уха он уже слышал, что эти питомцы их Техноложки были членами революционного «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». Первокурсник собирался было расспросить о них подробнее, да все было некогда, все не удавалось поговорить по душам.

А затем наступило 9 января. В тот день Антон тоже был на улице. Не у Дворцовой площади, а еще на пути к ней. На Садовой студентов перехватили уланы. Они врезались в толпу. На миг юношу прижало к потному боку коня. Над головой нависла морда с оскаленными желтыми зубами. С закушенного, раздирающего губу мундштука слетала пузыристая пена. Студент едва увернулся от нагайки.

С того дня шквал всеобщей ярости подхватил его и понес. Сразу же после Кровавого воскресенья в Технологическом по предложению «Объединенной социал-демократической организации студентов Петербурга» собралась сходка. На ней приняли резолюцию:

«Мы, студенты-технологи, собравшись 10 января, выражая борющемуся пролетариату нашу солидарность, решили: немедленно прекратить занятия и призвать всех товарищей к объединению для борьбы во имя политических и экономических требований, выставленных рабочими».

Тут же объявили сбор средств в пользу раненых и на вооружение рабочих. Антон выложил все, что у него было в карманах, — четыре рубля с копейками. За Технологическим забастовали и университет, и Электротехнический, Горный, Лесной институты. Скоро стало известно, что прекратили занятия почти все высшие учебные заведения России.

Хотя конспекты были заброшены, студенты что ни день собирались в аудиториях.

Оказалось, что среди будущих инженеров не счесть Демосфенов и Цицеронов. Неизвестно, к каким берегам принесло бы Антона: к социалистам-революционерам, конституционалистам или анархистам, если бы не стал его кумиром второкурсник с механического отделения Константин Романов, парень с воспаленными глазами, с взъерошенной колючей шевелюрой и впалыми щеками. «Революция, восстание народа, рабочих масс — только оно в силах смести деспотию!» — с несдерживаемой страстью выступал он с кафедры. Это была перспектива!..

Они подружились. Как-то Константин спросил: «Знаешь, где Металлический на Выборгской стороне?» Антон знал. Еще осенью первокурсников водили на этот завод, первым в России осваивающий выпуск паровых турбин. Долго после той экскурсии он не мог отделаться от впечатления, что побывал за воротами огнедышащего ада. «Сможешь отнести этот тючок?» — Константин протянул пакет. Антон согласился. «На углу заводской ограды, с Полюстровской набережной, будет ждать парень в лисьей шапке. Скажет: «От дяди Захара». Ему и передашь. Надо быть там в три пополудни». По дороге Антон заглянул в сверток. В нем оказалась стопа листовок. «Свобода покупается кровью. Свобода завоевывается с оружием в руках, в жестоких боях!..» — прочел он. На листке стояла подпись: «Петербургский комитет РСДРП». Значит, Костя социал-демократ? А что это такое? В чем их отличие хотя бы от социалистов-революционеров, которые тоже призывают бороться с самодержавием с оружием в руках?..

На следующий день он отыскал Романова, сказал, что поручение выполнил, сам забросал вопросами. «Суть в том, — попытался объяснить второкурсник, — что эсеры защищают интересы зажиточных крестьян, кулаков и враждебно относятся к рабочему классу, к марксизму. Понятно?» Антон ничего не понял. «Надо будет с тобой серьезно подзаняться». — «Но они ведь тоже против царя?» — «Да, но они — за индивидуальный террор. А это все равно что стрелять лягушек в болоте. Две-три лягушки убьешь, но болото таким же и останется. Вот в прошлом году эсер Сазонов ухлопал министра внутренних дел Плеве, а что изменилось в империи Российской?.. Нет, только миллионы восставших пролетариев могут сокрушить самодержавие. И мы, социал-демократы, отстаиваем интересы революционного рабочего класса».

Потом Костя сам нашел Антона: «Не читал эти книги: «Коммунистический Манифест», «Развитие капитализма в России», «К вопросу о монистическом взгляде на историю»?.. Простудируй, полезно...»

Спустя какое-то время снова попросил: «Можешь устроить на надежную ночевку одного товарища?» Антон ответил: «Конечно», хотя ни о каких «ночевках» не знал, и как устраивать на них — не ведал. Просто было приятно, что второкурсник считает его за своего. Антон повел «товарища» — молчаливого парня — к себе домой, на Моховую. Матери и отцу сказал: «Мой приятель». «Приятель» ушел утром, еще до завтрака. Больше они не виделись, даже имени его не узнал. Только осталось доброе ощущение от слова «товарищ».

Что ни день Костя приносил новые и новые книги, спрашивал мнение о прочитанном. И однажды сказал: «Кое в чем ты уже начал разбираться. — И предложил: — Хочешь вести кружок по политической экономии у рабочих? Им нужно, да и тебе полезно». Антон заколебался, но отказаться не отважился. «Все товарищи — с Металлического. На Арсенальной, четвертый дом по левой стороне за дровяным складом, спросишь дядю Захара. Узнаешь сразу: он рябой».

На Арсенальной дядя Захар — старик с изъеденным оспой лицом — посоветовал больше в студенческой шинели на Выборгской стороне не появляться. Показал лазы в заборе склада. Сюда и будут приходиться рабочие на занятия кружка.

Антон подготовился, как к экзамену. Думал, народу соберется человек сто. Напротив Выборгской, у моста Александра II, жил его дружок-однокурсник Олег. Антон притащил к нему старое, дедово, пальтецо, потертый картуз, сапоги. Сочинил историю: приглянулась девица-красавица из предместья. Маскарад — чтобы выборгские парни не побили студента. Любовная история с переодеванием пришла к Олежке по вкусу: по этой части он и сам был

не промах. Нахлобучивая картуз, он давал наставления, провожал по черной лестнице. Антон выскальзывал проходным двором на набережную и ступал на Александровский мост уже Мироном: под таким именем его и знали рабочие. Слушателей оказалось всего шестеро. В сумерках они рассаживались на бревнах среди многометровых полениц. Где-то повизгивали пилы и ухали топоры, а Антон — Мирон пересказывал товарищам прочитанные книги, растолковывал непонятное, отвечал на вопросы.

Приближался сентябрь. Встречаясь, студенты горячо обсуждали: начинать учебу или не начинать? Константин сказал: «Мы, большевики, против продолжения забастовки в институтах. Скоро решающая схватка. Надо собрать силы для удара. Студенты должны объединиться с рабочими». Технологи решили: занятия начнем, но откроем двери института и для рабочих митингов, превратим институт в очаг революции, в трибуну восставшего народа!

Да можно ли было усидеть на лекциях, если что ни день сходки и в городе события развертываются с потрясающей быстротой? В первых числах октября в Питере забастовали железнодорожники, за ними — рабочие крупнейших заводов. Объявил стачку и персонал городских электростанций. Тогда военные власти установили на башне Адмиралтейства мощный морской прожектор. Его слепящий луч бил вдоль Невского. Это было фантастическое зрелище: казалось, что черные дома подождены голубым огнем.

В Технологичке митинги проходили при керосиновых лампах, при свечах. Костя отыскал в скопище народа Антона: «Будешь стоять в патруле у физической аудитории». Тех, кто направлялся в физическую, студенты «передавали» по цепочке. У входа Антон каждого спрашивал:

- Вам куда?
- На собрание рабочего совета.
- Пароль?
- Маркс и Энгельс.

Это собирался 13 октября на заседание городской стачечный комитет, провозгласивший в тот день Петербургский Совет рабочих депутатов. Среди полномочных посланцев пролетариата Антон узнал, к величайшему своему изумлению, Леонида Борисовича и одного из слушателей своего кружка, дядю Мишу. Этот пожилой рабочий с Металлического, угрюмый, с черными, изувеченными металлом руками, держался во время занятий на дровяном складе молчуном, только слушал. Сам студент стеснялся спрашивать его, боясь обидеть. Считал: неграмотный, тугодум. А оказывается, не разглядел самого важного — ведь неспроста товарищи избрали дядю Мишу своим депутатом.

Заседания Совета продолжались в физической аудитории и в следующие два дня. Политическая стачка охватила чуть ли не весь Питер. Студенты снова прекратили учебу. Перестали посещать уроки и гимназисты. По городу афишами запестрело «Извещение», подписанное генерал-губернатором Треповым. В нем неприкрытая угроза: «холостых залпов не давать и патронов не жалеть». Трепов запретил митинги и собрания в высших учебных заведениях, а еще через сутки распорядился закрыть институты и оцепить их войсками.

Многие студенты Технологического отказались покинуть здание, забаррикадировали двери. Костя и Антон были среди оставшихся. Готовились к рукопашной. Понимали: что они смогут кулаками против штыков и пуль? Поэтому каждый чувствовал себя героем — Кибальчичем или Соловьевым. Было упоительно и страшно. Нервы напряжены до предела. Сидеть и ждать уже не хватало сил. За окнами, внизу, темной массой солдаты Семеновского полка. Не выдержали: распахнули окно, выставили древко с красным флагом.

Внизу, на площади, бабахнуло. Раздался крик. Взвилась раненая лошадь. Что? Бомба? Но никто из студентов не бросал да и не было ни у кого бомб. Значит, провокация?.. Не успели сообразить, как в темени, за деревьями, сверкнуло. Брызнули в окна стекла. Кое-кого поцарапало. Раненные осколками стекла украсились повязками. Антону было досадно — его не задело. Однако, что бы там ни было, начинается!..

Обстрел продолжался долго, час или два. Сейчас начнется штурм? Но тут неизвестно



откуда появился среди студентов директор института профессор Воронов. Сказал: градоначальник уведомил его, что все, кто находится в институте, будут истреблены, а само здание будет стерто с лица земли — уже присланы насосы, баки с керосином, подходит артиллерия. Директор просил по телефону самого премьер-министра графа Витте защитить институт от нападения войск, но премьер сказал, что он уполномочивает градоначальника вести все переговоры. Чтобы избежать кровопролития и уничтожения Техноложки, студенты должны пропустить градоначальника в здание.

Студенты уважали Воронова — либерального директора, известного ученого. И их страшила участь, уготованная этим стенам. Они открыли двери. Вслед за градоначальником в институт ворвались семеновцы. Всех «смутьянов» объявили арестованными, заперли по аудиториям, у дверей стали солдаты с винтовками наперевес. С площади на окна были наведены стволы пушек. Это происходило в ночь с семнадцатого на восемнадцатое октября.

И вдруг снята осада. К Техноложке движется ликующая толпа. Красные флаги. Красные банты. Сон? Мираж? Нет, царь подписал манифест! Вот он; во всех газетах, на листах, на устах. Свобода! Победа! Оковы самодержавной тирании пали безвозвратно!..

На толпу ринулся эскадрон улан. Семеновцы обстреляли демонстрантов, которые шли с «Марсельезой» по Загородному проспекту к институту, нескольких убили.

Но и эти инциденты были, лишь как пятна на солнце. Народ валом валил к Зимнему. «Марсельезу» сменяла «Варшавянка». У Адмиралтейства, у решеток Александровского сада, где был расстрелян рабочий люд в Кровавое воскресенье, все сорвали с голов шапки и запели:

Вы жертвою пали в борьбе роковой,  
В любви беззаветной к народу...

Антон буквально потерял голову. Забыл, когда ел, когда спал и вообще был дома. Красный бант на куртке. В руках то листовки, то газеты. От Кости поручение за поручением.

Но как раз теперь его стали одолевать сомнения. Все предшествующие месяцы первокурсник принимал слова старшего товарища на веру. А тут, когда Константин сказал: «Манифест — подлый обман, надо готовиться к большой драке!» — он засомневался: зачем драться, когда победа уже завоевана? Вот, даже отменено в Питере положение о чрезвычайной охране, ликвидировано генерал-губернаторство, и Трепов, ненавистный и грозный Трепов смещен с должности и переведен в дворцовые коменданты. И пусть среди свобод, дарованных царским манифестом, не названа свобода печати, Совет рабочих депутатов ввел ее собственным декретом. Отныне только те газеты могут выходить в свет, редакторы которых будут игнорировать цензурный комитет. За невыполнение декрета — стачка в типографии, конфискация издания. И вот уже открыто выходят газеты всех революционных направлений и партий, политические сатирические журналы — «Пулеметы», «Фугасы», «Вилы», «Набаты»! Бесцензурная печать в России! Это ли не свидетельство полного триумфа?.. Костя не разделял ликования своего друга. «Поживем — увидим», — сказал он.

Через десять дней после оглашения манифеста до Питера дошли слухи, что в Кронштадте кроваво подавлено выступление матросов; из разных городов хлынули известия о еврейских погромах, о бесчинствах черносотенцев и полиции. В ноябре снова забастовали рабочие питерских заводов. В начале декабря министр юстиции разом закрыл все левые газеты. В тот же день было оцеплено войсками помещение Вольно-экономического общества, где шло заседание Петербургского Совета, и депутаты, около трехсот человек, были арестованы и под конвоем отправлены в Петропавловскую крепость и «Кресты». Снова начались аресты в предместьях и обыски по квартирам интеллигенции. Фабриканты и заводчики выбросили на улицу сто тысяч пролетариев — участников стачек. «Видишь теперь, Антон, кто из нас был прав?» — спросил Константин.

Путко наведалься на Арсенальную, возобновил занятия кружка. Двух недосчитывалось в

кружке — дяди Миши, депутата Совета, и молодого веселого слесаря Ивана — того схватили на демонстрации.

Арест Совета подорвал руководство революционным движением в Питере. Центр борьбы переместился в Москву. Когда там, на Пресне, началось вооруженное восстание, из института исчез Константин. Позже Антон узнал: он пробрался туда, на пресненские баррикады, и был растерзан казаками уже после того, как восстание было подавлено.

Как и прежде, раз в неделю Антон пробирался на дровяной склад. После гибели Кости кружок остался единственным его революционным делом. Да, друг оказался прав. И остался верен своей правде до конца. А он смог бы так?.. Или он все еще глина, сырая глина?..

Но наступил и для него день и час: ком сырой глины бросили в печь, а вынули оттуда раскаленный звонко-красный кирпич.

Технологический готовился к демонстрации: в новом учебном году оказались отстраненными преподаватели, которых студенты любили за свободомыслие и гражданскую смелость. Смириться? Ну уж нет! Решили идти на Невский, а оттуда к Сенату.

Перед самым началом демонстрации узнали: черносотенцы что-то замышляют — заполнили дворы вокруг института, пьяные, с палками. Студенты не испугались. Стиснутый сокурсниками и захваченный общим возбуждением, Антон бросился на улицу.

Он оказался на мостовой, когда первые демонстранты уже схватились с гостинодворцами. Ощеренные рожи, красные глаза, кулаки в кольцах, сивушный перегар. Вот тебе! За Костю! За дядю Мишу! За Ивана!.. Он бил, сам увертывался от ударов и снова бил в сладкой, слепящей ярости.

И вдруг услышал вопль. Нечеловеческий крик боли, крик убиваемого существа. Он бросился назад и, когда толпа отхлынула, увидел на камнях раздавленное тело отца. Как отец оказался здесь? Накануне демонстрации они не говорили, и в последние минуты Антон не видел его на сходке в Актовом зале. Почему отец вышел на улицу именно в эту минуту?.. Безответные вопросы Антон задавал себе тысячу раз много позже. А тогда он обезумел от боли.

Он заболел. Он почувствовал отвращение и апатию ко всему. Но время взяло свое: в то мгновение на улице что-то сгорело в нем, а что-то затвердело камнем. Это «что-то» — жажда отомстить убийцам отца. Как мстить? Кто поможет ему? Он не хотел заниматься прежней работой. Он хотел только так, как Костя, — только в бой. Он пришел на Арсенальную, к дяде Захару. А потом, после едва не окончившегося бедой путешествия на Васильевский, — в контору «Общества электрического освещения». Понял ли Леонид Борисович из его сбивчивых слов, что не мимолетный каприз привел его на Малую Морскую? Поверил ли ему?..

Дни шли, а инженер все не подавал вести. Антон тревожился больше и больше. Поставил себе срок: два два. Если Красин не позвонит, он, нарушив уговор, напомнит о себе сам.

И тут раздался телефонный звонок. Незнакомый женский голос:

— Антон? Доброе утро. Приходите сегодня в полдень в цветочный павильон «Рампен и сын», угол Невского и Казанской. Спросите у хозяина белые гвоздики, семь гвоздик. Поняли?

Он пришел. Оробев, спросил у суетливого старика белые гвоздики и был приглашен «самолично выбрать» в разделочную. В комнате за прилавком цветы были насыпаны по столам охапками, отдельно — розы, отдельно — тюльпаны, гиацинты, левкой, еще в брызгах росы на лепестках и листьях. Было необычайное празднество в небрежном изобилии их, и сам воздух был душист и прянен. Старик не задержал студента в разделочной, а провел дальше, в конторку. Там и подждал его Леонид Борисович. Старик вышел, плотно притворил дверь.

— Трубы трубят, — с ободряющей улыбкой сказал Красин. — Не передумал?

— Что вы! Я уже места себе не находил! — признался Антон.

— Добро. А смог бы ты уехать на несколько дней из Питера?

— Конечно! А куда?

— Скажем, в Тифлис?

— Хоть сию минуту! У меня там дядя, родной брат отца. Я не видел его лет пять, еще с гимназии. А теперь, после этого... — юноша запнулся. — Дядя Гриша как раз писал, чтобы я приехал.

— И поезжай. Это очень удачно, что у тебя дядя именно в Тифлисе. Отправляйся не позже послезавтрашнего. Как приедешь, каждое утро до полудня гуляй на Эриванской площади. Это в Тифлисе как наш Невский. Что бы ни случилось, ни во что не вмешивайся.

— Гулять?.. — недоуменно переспросил Антон. — И сколько я так должен болтаться по площади?

— Думаю, с недельку. Потом вернешься и расскажешь.

— Что?

— Если будет что рассказать.

— И это все? — с разочарованием протянул студент.

— На первый раз все. Если же что и случится и, станется, тебя задержит полиция, называй себя, кто ты и откуда и зачем приехал доподлинно, ничего не выдумывай. Кроме, конечно, нашего разговора, сам понимаешь.

Антон кивнул.

— А теперь возвращайся в павильон, а я выйду через эту дверь. Доброго ветра, Антон Владимирович!

Он вернулся домой в смятенных чувствах. Что за нелепое задание — гулять по Эриванской? С таким же успехом он может болтаться и в Питере. Однако же не напрасно именно в Тифлис и о полиции, аресте?.. Что же должно произойти в Тифлисе?

За обедом Антон сказал матери, что хотел бы навестить дядю Гришу. Мать обрадовалась:

— Поезжай непременно, Тони! И Григорий рад будет, и сам проветришься, совсем ты замучился.

Потом она добавила:

— Забегала Лена. Травинки уже собираются на дачу.

Он позвонил Лене. В трубке услышал ее дыхание.

— Леночка, утром я еду в Тифлис, ты сегодня свободна?

— Для тебя — да.

— Значит, у Кофейного, в семь? Только не опаздывай!

«Кофейный домик» в Летнем саду был их традиционным местом встреч. Когда он пришел, Лена уже ждала. Он украдкой поцеловал ее, и они пошли к Неве. Его так и распирало сказать ей о таинственном поручении. Антон едва сдерживал себя. Да и говорить было нечего: задание Красина выглядело уж очень несерьезным. Поэтому он болтал обо всем, что приходило в голову, поглядывая на Лену, однако ж так, будто расставался с нею навсегда. Да и мало ли что может случиться в Тифлисе! Очень хитро он подвел тему разговора к декабристам, а от них — к Волконской.

— Помнишь: «И с криком: «Иду!» — я бежала бегом, рванув неожиданно руку, по узкой доске над зияющим рвом навстречу призывному звуку...» Не каждая могла вот так, за мужем, на каторгу, в рудники... А ты смогла бы?

— Зато так благородно и красиво! «По-русски меня офицер обругал, внизу ожидавший в тревоге, а сверху мне муж по-французски сказал: «Увидимся, Маша, в остроге!..» — продекламировала Лена и посмотрела на Антона так, будто только и ждет, когда его закуют в кандалы, и она последует примеру Волконской.

— Можешь уже и собирать вещички! — со смехом сказал он.

Они вышли на набережную. Голубое небо светилось над голубой водой. У Антона стеснило дыхание. Он предложил:

— Давай, Леночка, всю ночь не будем спать? Нынче самые белые ночи! И развод мостов

посмотрим.

— Давай! — загорелась Лена.

Они покофейничали на открытой веранде «Аркадии» и не спеша направились к Николаевскому мосту. В одиннадцатом часу было еще совсем светло, и солнечные лучи окрашивали в золотисто-малиновый цвет облака, невидимые ранее в прозрачном небе.

К полуночи совсем стемнело, в десятке шагов трудно было различить лица. Они остановились у парапета. Сзади, со стороны города и Зимнего, всходила выщербленная тусклая луна, а над Васильевским островом небо уже светлело и на нем, желтовато-сером, проступали темные перья.

Ему почему-то ожидалось, что набережная будет пуста — лишь они вдвоем с Леной. Но чем шире занималась за Невой заря, тем больше собиралось народу, и компаниями, и парочками, с гитарами, балалайками, гармониями, будто на демонстрацию. И полотняные кафтаны городских, белевшие там и сям, наводили на эту мысль. Все ждали часа, когда начнется.

Меж веселого, хмельного люда сновали по набережной торговцы, звонко и растяжно выкрикивая:

— Эх, с коричкой, с гвоздичкой, с лимонной корочкой, наливаем, что ли-с?

— Под-дойди! Медовые, рассыпчатые!

Через мост, торопливо понукая лошадей, проехали на Васильевский последние экипажи. У въезда рабочие перегородили полосатыми шлагбаумами мостовую, у шлагбаумов встали полицейские. Прозвучала команда — и огромные, в полнеба, створки моста начали дыбиться и подниматься, будто сам город воздевал к небу свои ладони.

Тем временем скопившиеся на отдалении за мостом пароходы, баржи с красными и зелеными сигнальными огнями и парусники ожили, засопели, залязгали якорными цепями, заклубили дымами и двинулись меж створ.

Антон, Лена и многие другие пошли по набережной вслед парходам, ко второму, Дворцовому мосту.

На набережной, у ступеней, которые вели к самой воде, стоял мужик в чапане и зычно провозглашал:

— Миласть-с-судари! Кто желает прогулку на веслах под мостами р-раскрасавцами в разводе — до Ал-лександровского и с возвратанием на место! Полное удовольствие за гривенник туда и обратно, миласть-с-судари!

Антон и Лена сошли в просторную лодку. На веслах сидели мускулистые парни.

Гребцы налегли, и за кормой зазвенел, забурлил след, а от носа в обе стороны забугрила волна. От воды веяло свежестью. Антон накинул свою куртку Лене на плечи, а она одной полой прикрыла его. Он повернул голову и поцеловал девушку в висок, у глаза. Кожа ее была прохладная и душистая.

«Может, в последний раз?» — тоскливо шевельнулась мысль, но он отогнал ее:

— Хорошо-то как, Ленок, да?

— Да, — счастливо проговорила она.

«Как здорово, что есть у меня Ленка!» — благодарно подумал он.

Лена была рядом чуть ли не с рождения, с той поры детства, от которой остаются лишь клочки воспоминаний, — была другом-врагом во всех его играх. Ее отец, инженер и ученый Егор Яковлевич Травин, знал Путко-старшего со студенческой скамьи. Травины были неизменными гостями на всех семейных торжествах в их доме, Лена и Антон вместе проводили каникулы, и всем окружающим было очевидно: превосходная пара, вот только придет срок — он окончит институт, она — педагогический курс Павловского. Если что и мешало Антону смотреть на нее как на будущую жену, так только лишь отношение к ней как к товарищу, без влечения и тайны. Но до поры. До того возрастного рубежа, когда вдруг взгляд, улыбка, силуэт девичьего стана бросают в озноб. Сначала Антон устыдился и утратился этого чувства, словно неведомой болезни, но из разговоров со сверстниками понял, что подвержены ей все.

Как-то в прошлом году Олежка — умудренный жизнью человек — сказал:

— Противно глядеть на тебя — совсем дошел до ручки. Пойдем в компанию — такие мордашки! Тут, недалеко, на Садовой.

Они поднялись по узкой, пропахшей чесноком и супом лестнице. Но квартирка оказалась вся в половичках, дорожках, вышитых занавесках и узорных думочках, уютная и мягкая. И две девушки, поджидавшие их, — такие же уютные, круглолицые, с ямочками на щеках. Студенты запаслись бутылками и закусками, и все получилось славно. Пили девушки много, улыбались таинственно и обольстительно. С одной из них, Пашей, Антон очутился в соседней комнате, на перинах, в темноте лишь мерцала лампадка в углу.

Под утро, гордый, он плелся по снежной улице за бодро посвистывающим Олегом и вдруг остановился, как заплутал:

— Послушай, Олежка, а глаза у нее были как у мертвой!

— Ну и что?

— И веселость их, улыбочки — просто нахлестались водки, и все!

— А тебе-то что?

— Дурно это, — в растерянности проговорил Антон. — Дурно, когда без чувства...

Олег вытаращил на него глаза, а потом захохотал:

— Без чувства? От них — чувства! Да ты что, с луны свалился? Эти ж девицы, как говаривал Федор Михайлович, от себя живут. С желтенькими билетиками, да-с, милый лунатик!

— С би-илетами? — Антон опешил. — Гадость какая! Сегодня, значит, я, а завтра... — Он засомневался. — Какая же Паше корысть во мне?

— Вино и закуску принес, еще и на опохмелку осталось — и того с тебя, студентика, довольно.

Антон был потрясен. Будто избобличенный в преступлении, он подумал, что теперь и взглядом не посмеет коснуться Лены. Но, странное дело, посмел. И даже стал, ничем не выдавая своего мужского крещения, смотреть иначе, подмечая округлость ее высокой груди, нежность губ. Лена с тревогой перехватывала его взгляд, краснела и настораживалась. А он — да, пусть гадко и дурно, — порой опять оказывался вместе с приятелем в пропахшей лампадным маслом комнатке на Садовой, не в силах умом побороть то темное, что требовало выхода.

После гибели отца, все те страшные недели, когда Антон болел и врачи начали опасаться, не психическое ли это расстройство, Лена часто приходила в их дом, до поздних вечеров тихо сидела в его комнате, ухаживала, как за малым ребенком.

Именно тогда он понял — она действительно его друг на всю жизнь, его будущая жена. Однажды он сказал:

— Лена, зачем ждать?

— Я понимаю тебя, — ответила она. — Но давай подождем. Сейчас все так мрачно, а я хочу, чтобы это было как праздник!

С той поры они бывали вдвоем все чаще.

Теперь они ждали лишь момента для объявления официальной помолвки. О каморке на Садовой Антон, конечно же, и не вспоминал.

Тем более что он насмерть рассорился с Олегом. Это случилось в то страшное утро, накануне демонстрации. Путко забежал в читальню и увидел приятеля за столом, за книгами.

— Пора, свертывай удочки! — поторопил он.

— Играйте без меня, — отозвался Олег. — В великомученики не спешу — святыми они становятся после дыбы или голодной смерти.

— Все собрались! Нас ждут!

— Не все то благо, к чему многие так жадно стремятся — еще старик Цицерон говаривал, — нахально улыбнулся Лашков. — Обойдетесь без меня, расейские Бланки.

— Испугался? — почувствовал к нему презрения Антон. — Эх ты, трус! — Он сказал громко, другие студенты услышали.

Олег вскочил:

— Поплатишься за эти слова!

— Отлично! После демонстрации!..

Потом ему было не до того, чтобы сводить счет с Лашковым. С тех пор Антон больше его и не видел. Черт с ним! Стоит ли вспоминать о таком липовом друге!..

Лодка быстро скользила по Неве, меж грозно нависающими над нею створками разведенных мостов. И Антон с особой остротой чувствовал красоту необыкновенной светлой ночи, уже полностью налившейся красками. Слева их обогнал большой, с белыми надстройками пароход. Огромные колеса его быстро крутились, плицы гулко шлепали, лодку обдало дождем брызг. Иллюминаторы кают были зашторены. Только на верхней палубе у поручней стояла парочка.

«Дураки пассажиры, — подумал Антон. — Такую ночь и проспать!»

Уже было полное утро, скребли булыжник дворники, и зеленщики катили свои тачки, когда Антон проводил сонную Лену домой. Он забежал на Моховую за чемоданом и едва не опоздал на тифлисский поезд.

## ГЛАВА 5

Тринадцатого июня пополудни телеграфист департамента полиции принял, а дежурный шифровальщик раскодировал срочную депешу, поступившую из канцелярии заместителя его императорского величества на Кавказе:

«Сегодня 11 утра Тифлисе на Эриванской площади транспорт казначейства в 350 тысяч был осыпан семью бомбами и обстрелян с углов из револьверов, убито два городских, смертельно ранены три казака, ранены два казака, один стрелок... Похищенные деньги за исключением мешка с девятью тысячами изъятых из обращения пока не разысканы. Обыски, аресты производятся, все возможные меры приняты. № 5657.

*Полковник Б а б у ш к и н.*

Шифровальщик еще не успел переписать текст, как последовало дополнение:

«Депеше № 5657 цифра неправильна, проверкою установлено ограбление двухсот пятидесяти тысяч...»

Сообщения из Тифлиса были тотчас доложены директору департамента, действительному статскому советнику Трусевичу. Максимилиан Иванович ознакомился с телеграммами и тут же вызвал чиновника для поручений:

— Соблаговолите эти депеши передать Алексею Тихоновичу и зачислить новое дело в производстве за ним.

И, сделав в тетради «Для памяти» соответствующую пометку, подумав: «Сумма немалая», и еще: «Не забыть Доложить Петру Аркадьевичу», директор вернулся к делам, прерванным, кавказским происшествием.

Хотя казне этим днем был нанесен непредвиденный и немалый урон, само по себе это дело все же не являло чего-то из ряда вон выходящего. Утечки казенных средств происходили ежедневно, можно сказать — ежечасно. Казну обирали и предприниматели, фабриканты и торговцы, и деятели правительственных партий, а более всего — сановники, неприкосновенные великие князья и княгини, владевшие, как своими собственными наделами, целыми отраслями в обширном хозяйстве империи. Какие уж там тысячи, когда старший дядя государя, великий князь Владимир Александрович присвоил три миллиона,

собранные по всенародной подписке на постройку храма на месте гибели его же отца, Александра II; другой дядюшка царя, Алексей Александрович, адмирал флота, растратил чуть ли не половину казны морского ведомства по европейским курортам и игорным домам. А великий князь Андрей Владимирович, опустошающий кассу артиллерийского ведомства для ублажения легконогой балерины Машеньки Кшесинской? Департамент полиции, конечно же, был вполне осведомлен обо всем. Что касается происшествия в Тифлисе, все зависит от того, кем была совершена экспроприация и на какие цели поступили похищенные суммы. Это покажет расследование. А сейчас директора тревожат дела куда более важные.

Максимилиан Иванович снова углубляется в изучение сводок. Только в июне, за неполные две недели, антиправительственных актов совершено столько, что в былые времена их с лихвой хватило бы на годы. В лагерях под Киевом, в Селенгинском полку и саперном батальоне имели место попытки к бунту, убиты несколько офицеров. В Севастополе во время прогулки политических арестантов под наружной стеной тюремного замка взорвалась адская машина, и двадцать революционеров бежали. В Екатеринбурге анархисты напали на жандармского ротмистра и полицмейстера. В Воронежской губернии крестьяне сожгли экономию землевладельца Болдырева. В Москве, за Даниловской заставой, на сходке фабричных при участии студентов и курсисток произносились поджигательные речи — арестовано двадцать пять смутьянов. Да и в самом Санкт-Петербурге, в Лесном и на Охте, открыты тайные типографии, найдено оружие; в общежитии студентов римско-католического исповедания обнаружен склад нелегальной литературы — арестовано более ста человек... Подумать только: за неполные две недели, да еще после высочайшего манифеста!..

И это щекотливое дело с депутатами разогнанной Думы... Нет, он, Максимилиан Иванович, не оспаривает: нужно создать громкий политический процесс, чтобы устрашить врагов отечества. И сам план наступления был разработан верховной властью. Однако выполнять-то его приходится департаменту. Правда, у департамента надежные помощники — дружины «Русского народного союза имени Михаила Архангела», общество хоругвеносцев, артели добровольной охраны, черные сотни и прочие истинные сыны России, искони преданные престолу. Вроде бы операция развивается в соответствии с планом. Но он должен продумать последующие ходы и предусмотреть контрходы противника, чтобы не было никаких неожиданностей...

Размышления директора были прерваны. На этот раз приоткрывший дверь чиновник с почтительностью уведомил:

— Ваше превосходительство, Петр Аркадьевич прибыли и вас просить изволили.

Трусевич касательным движением тыльной стороны ладони проверил, безукоризненно ли выбриты щеки, взял тисненую папку «К докладу» и вышел из кабинета, оставив дверь распахнутой настежь.

Кабинет министра находился напротив его комнаты, через небольшую приемную, где по углам, за столиками стиля ампир, сидели у телефонов чиновники для поручений, а ближе к дверям кабинета — личные охранники Петра Аркадьевича в штатских костюмах.

Чиновник предупредительно отворил перед директором высокую, белую с золотом, резную дверь.

Максимилиану Ивановичу неизменно доставляло удовольствие входить в эти апартаменты, хотя он и считал их чрезмерно роскошными, не соответствующими духу и роду деятельности учреждения. Кабинет министра был обширен, белый с золотом, с зеркалами в простенках и над двумя мраморными каминами, с золоченой, в хрустальных подвесках люстрой, книжными шкафами вдоль стен и огромным столом, тумбы которого образовывали букву «п». Углы лепного потолка украшали вензеля императоров — от вензеля Николая I до хитросплетенных инициалов царствующего монарха. Шаги глушил толстый ворс ковра зеленовато-розовых тонов с изображениями грифонов.

Петр Аркадьевич в кабинете был один. Он пригласил директора сесть в кресло, придвинул к Максимилиану Ивановичу коробку с сигарами, осведомился о семье, о здоровье

и лишь после завершения ритуала перешел к делу. Как и предполагал Трусевич, первый вопрос министра касался Думы: так ли все развивается, как было намечено?

Две недели назад, в то утро первого июня, когда Столыпин приехал в Таврический (уже месяц он не устаивал Думу своим посещением, подчеркивая тем самым, что игнорирует ее), он предвидел следующий ход событий: прокурор докладывает о раскрытии заговора против верховной власти и требует лишения злоумышленников — социал-демократов депутатской неприкосновенности; Дума же, в которой верховодят левые (Петр Аркадьевич причислял к левым и кадетов), категорически отказывается, разоблачая самое себя перед глазами верноподданных, и тогда он, премьер-министр, поднимается на трибуну и произносит фразу: «Вам нужны великие потрясения — мне нужна великая Россия! — И добавляет еще одну, не менее великолепную: — Выше депутатской неприкосновенности я ставлю охрану государства!» Затем он демонстративно покидает Таврический. А на следующее утро газеты публикуют высочайший манифест.

Но думские хитроумцы разгадали ловушки, расставленные Столыпиным. Кто-то из этих мерзких «народных представителей» предложил не отвергать требование прокурора о снятии депутатской неприкосновенности, а создать полномочную комиссию, которая ознакомилась бы с обвинительным материалом. Это было уж слишком! Не хватало еще, чтобы проходимцы-юристы из депутатской своры изучали вещественные доказательства! На одной из бумаг, найденных в квартире депутата Озола, была резолюция: «Переслать в В. О.». Петр Аркадьевич повелел следователю Зайцеву дешифровать «В. О.» как «Военную Организацию», хотя это мог быть просто «Виленский отдел». И уж никак не предназначался для глаз пристрастных экспертов «Наказ» — главная «улика». Как недопустимы были и очные ставки с матросом гвардейского экипажа и другими нижними чинами, названными в обвинительном заключении «представителями армии и флота», а на самом-то деле являвшимися подсадными утками в этой охоте. Нет уж, господа «народные представители», увольте! Петр Аркадьевич не стал слушать дебатов, вернулся в свой кабинет и отдал распоряжение об опубликовании манифеста. Пусть вопят. Пусть машут после драки кулаками. Дума почила... Но этот акт — лишь начало, сигнал к генеральному наступлению на внутренних врагов государства. Как идет само наступление?

И вот теперь Трусевич докладывал, что несколько бывших депутатов взяты под стражу, остальные обвиняемые находятся под домашним арестом и за ними учрежден тщательнейший надзор. Но четверо сумели скрыться в Финляндии. И в настоящее время надобно решить: предпринимать ли шаги перед сенатом Великого княжества с требованием их выдачи или не предпринимать.

— В чем проблема?

— Видите ли... — Максимилиан Иванович замялся, отвел глаза. — Видите ли, ваше высокопревосходительство, один из скрывшихся бывших депутатов — наш сотрудник.

— В таком случае решайте сами, — досадливо поморщился Петр Аркадьевич: даже один на один директор не должен был признаваться министру в действиях подобного рода — осуществляй их сам.

— Дело отнюдь не в этих депутатах и даже не в самой Думе, — продолжил он. — Мы вправе поздравить себя: результаты нашей акции превзошли ожидания — и внутри государства, и вне его пределов.

Он взял с письменного стола телеграфные бланки:

— Петербургская биржа отреагировала на роспуск Думы немедленным повышением курса ценных бумаг. Подобная же картина — на берлинской, лондонской, парижской и амстердамской биржах: в акте государя Европа почувствовала, наконец, силу.

— Пора, давно пора было показать ее, — поддакнул директор.

— Однако не будем самообольщаться: враги потерпели поражение и отступили, но они еще не разгромлены, революционные корни не выкорчеваны. И глубже всего эти корни пущены социал-демократической рабочей партией, не так ли?

— Совершенно верно, ваше высокопревосходительство, — Трусевич раскрыл папку и



выложил на стол лист. — Я циркулярно предложил всем начальникам охранных отделений обратить особое внимание на деятельность РСДРП, прежде всего — на фракцию большевиков, ибо меньшевистские группы по настроению их в настоящий момент не представляют столь серьезной опасности, как большевики.

— И каковы успехи? Лидер большевиков уже арестован?

Директор насторожился: Столыпин показал коготки. Продолжает благосклонно улыбаться, но самым этим вопросом выражает неудовольствие — уж ему-то доподлинно известно, что Ульянов-Ленин еще на свободе, хотя его имя постоянно возобновляется в розыскных циркулярах и не сходит со страниц донесений осведомителей и бланков депеш охранных отделений. Одиннадцатого апреля Петербургское отделение сообщило в департамент, что в Териоках, на даче Оттенета по Церковной улице, состоялась общегородская конференция столичной организации РСДРП под председательством Ленина. Однако сама конференция проходила 25 марта, за полмесяца до полученного сообщения. Спустя неделю директор получил шифровку из Парижа от заведующего заграничной агентурой о предполагаемом съезде социал-демократов. Первоначально революционеры предполагали провести съезд в Копенгагене, если не удастся — в Мальме, Брюсселе или каком-нибудь из норвежских городов. Трусевич уведомил об этих планах Столыпина. Премьер-министр добился от датского, шведского, бельгийского и норвежского правительств запрещения съезда на территории этих стран. Тогда социал-демократы собрались в Лондоне, на Саутгейт-Род, в церкви Братства. Заграничной агентуре удалось внедрить на съезд опытного сотрудника-осведомителя, который присутствовал на всех заседаниях. Секретный сотрудник сообщал, что Ленин — активнейший участник съезда. Эти донесения поступили из Парижа в мае. Сам Ульянов находился в то время в Лондоне. А где он сейчас, в июне?

— Нет, еще не арестован, — склонив голову, ответил Столыпину директор. — Надо признать, Ульянов весьма многоопытен и хитер. Но полковник Герасимов предпринимает энергичные усилия для установления его местонахождения.

Все так же благожелательно улыбаясь, министр кивнул. Помолчал, раскурил сигару. Потом наклонился к директору через стол и заговорщицки, переходя с официального на дружеский тон, Петр Аркадьевич спросил:

— Ну-с, а что говорят о наших начинаниях в обществе и народе, дорогой Максимилиан Иванович?

Трусевич быстро оценил обстановку. Начальству всегда лучше говорить то, что оно само хочет о себе услышать. И все же в данный момент стоит проявить прямоту — оно потрафит министру.

— Если о таком нововведении, как суды, то их называют «скорострельными». А меру... — он все же помялся, — а основную меру, которую выносят бунтовщикам по приговорам этих судов, — «стольпинскими галстуками».

Петр Аркадьевич сдержанно, но весело рассмеялся:

— «Галстуками»? Очень образно! Обязательно передам государю. «Галстуки»? Пожалуй, они и в историю войдут? — посмаковал он и даже покрутил шейю, будто примеряя галстук.

Министр решительно нравился Трусевичу. Моложав, улыбчив, а в то же время энергичен и решителен. И смелости не занимать. Это он настоял перед императором на безотлагательном введении по России чрезвычайного, военного и даже осадного положений, когда вся гражданская власть передается в руки армии, действующей под непосредственным руководством охранных отделений и жандармских управлений. Столыпин же проявил твердость и в учреждении военно-полевых, военно-окружных и военно-морских судов упрощенного порядка — без проведения предварительного следствия, но с обязательными смертными приговорами, которые надлежало приводить в исполнение в течение двадцати четырех часов. Молодец! С таким министром легко работать.

Столыпин оборвал смех и отклонился на спинку кресла:

— Соблаговолите, Максимилиан Иванович, передать мое личное предписание командующим войсками и генерал-губернаторам повсеместно...

Он сделал паузу. Трусевич достал из папки остро очиненный карандаш и чистый лист.

— Строжайший приказ: безусловно применять новый закон о военно-полевых судах. При этом укажите... — он сосредоточился, затем четко, как бы печатая, начал диктовать: — «Командующие войсками и генерал-губернаторы, которые допустят отступление от этого предписания, будут ответственны лично перед Его Величеством. Они должны озаботиться, чтобы по этим делам не передавались государю телеграфные ходатайства о помиловании». Все. Отправьте за моей подписью и без промедления.

— Будет исполнено, ваше высокопревосходительство.

Директор понял, что означает такое предписание.

— Пусть грядущие историки обвинят нас в жестокости, — подтвердил его невысказанную мысль Петр Аркадьевич. — Но тот, кто проявляет милость к врагу, отказывает в милости себе, не так ли? — губы его сомкнулись в жесткую складку. — «Столыпинские галстуки», говорите?

«Не напрасно ли брякнул?» — подумал Трусевич.

— Полностью и всей душой поддерживаю указанные меры, — сказал он. — Давно бы следовало их применить.

Нет, упаси бог, это прозвучало не как упрек Столыпину. Петр Аркадьевич должен понять, в чей адрес сей намек: до него министерство внутренних дел возглавляли краснобаи и либералы, подобные князю Святополк-Мирскому. И своей репликой директор лишь лишней раз подчеркнул, что наконец-то у руля стал достойный человек.

Хорошо-то с ним работать — хорошо, и все же старый чиновник подумал еще и о том, что напрасно Столыпин все берет на себя, а следовательно, возлагает дополнительные обязанности и на службы министерства. Уже не только розыск и дознание, а даже и руководство судами, наблюдение за вынесением и исполнением приговоров ложится на департамент. Чего недоброго, дело дойдет до того, что самим и «галстуки» надевать придется на преступников. А это уже напрасно.

Словно бы угадав его мысли, Столыпин сказал:

— Коли так, надо нам придерживаться единообразного принципа. На мой взгляд, он должен заключаться в следующем: всякие действия против государя — начиная от попыток свергнуть его с престола и кончая возбуждением неуважения к управителям государства — должны наказываться лишением прав состояния и смертной казнью, на худой конец — ссылкой на каторжные работы. Ваше мнение, Максимилиан Иванович?

— Иного мнения и быть не должно.

— В этой связи к вам одно сугубо конфиденциальное дело, — Петр Аркадьевич легко заглотнул дым сигары и продолжил: — Генерал Гусаков, новый комендант Кронштадтской крепости, возражает против использования мыса Лисий Нос для исполнения приговоров. Мол, место обнаружено революционерами. Я же думаю, что генерал просто боится обогреть свои руки или стыдится разговоров в обществе. А может статься, и за свою шкуру дрожит. Как вы полагаете?

— Ваши предположения резонны, — отозвался директор.

— Какое же место мы можем предложить взамен Лисьего Носа?

— Гм... Каракозова, как известно, казнили на Смоленском поле. Там же и Соловьева. «Первомартовцев» — на Семеновском плацу. В последнее время для подобных целей использовали Трубецкой бастион Петропавловской крепости... Приговор Каляеву был приведен в исполнение в арсенале Шлиссельбургской крепости... Но ведь речь идет не о единичных случаях, а о массовых и регулярных?

— Безусловно. Есть ли в нашем распоряжении место лучше Лисьего Носа, да еще вблизи столицы?

Наконец-то директор уловил: вот чего хочет от него министр!

— Никак нет, ваше высокопревосходительство. Департамент категорически возражал

бы против совершения регулярных казней в черте Петербурга во избежание нежелательных последствий для администрации. Как говорится, трое могут сохранить секрет лишь тогда, когда двое из них мертвы. В городе такое место утаить невозможно. Рано или поздно революционеры выведут. И в результате — самосуды над тюремными чиновниками. В последнее время они участились, — он повел рукой в сторону папки. — А Лисий Нос и недалеко, и наиболее уединенное место.

— Вот-вот, это я и намерен доказать, чтобы неповадно было солдафонам совать свой нос в наши дела, — в голосе Петра Аркадьевича звякнул металл. — Русаков имеет связи при дворе, его протезирует морской министр, а он в фаворе у государя. Поэтому мне хотелось бы в опровержение позиции Гусакова иметь обстоятельный и аргументированный рапорт. Направьте добросовестного жандармского офицера на Лисий Нос. Рапорт желательно иметь к пятнице, к моему недельному докладу государю.

— Будет исполнено, — ответил директор.

Столыпин встал, давая тем понять, что дела, из-за которых он беспокоил Трусевича, исчерпаны.

— Только что поступило сообщение: в Тифлисе ограблен казначейский транспорт. На четверть миллиона, — сказал, тоже вставая, Максимилиан Иванович.

— Запросите наместничество, какой партией совершено и какие меры приняты, — дал направление к действию министр и протянул руку. — Желаю доброго здоровья, Максимилиан Иванович.

Он крепче, чем того требовала простая вежливость, пожал руку директора:

— Диву даюсь и завидую: не берет вас время, не берут заботы. Воистину вы наш золотой ключ!

— Благодарю, ваше высокопревосходительство! — сердечно отозвался Трусевич и, глядя на Петра Аркадьевича, снова с удовольствием подумал: именно такой человек и нужен министерству внутренних дел.

Столыпин и по рождению, и по положению принадлежал к высшему обществу Петербурга. Генеалогическое древо его рода уходило корнями в тьму времен; и дед и отец его занимали высокие должности при дворе, а мать была дочерью князя Горчакова, главнокомандующего русской армии в Севастополе в Крымскую войну. Еще не старый человек, едва за сорок, он уже успел побывать и предводителем дворянства в Гродненской губернии, где большинство земель принадлежало его фамилии, и саратовским губернатором в самый разгар крестьянских волнений в Поволжье. Приняв назначение на пост министра внутренних дел, а вскоре и председателя совета министров, он пробуждал у царедворцев и честолюбцев удивление и зависть своей энергией, смелостью идей и решительностью при их воплощении в жизнь. Однако у Трусевича он вызывал не зависть, а чистосердечное восхищение. Старый служака, Максимилиан Иванович мог оценивать свои возможности объективно и улавливать ту малость, которая отличает даже высокопоставленного чиновника от сановника, усердного исполнителя от государственного руководителя. Для Трусевича жажда почестей, неудержимое стремление подняться вверх по крутой лестнице карьеры — все это было уже в прошлом. Он достиг многого и на большее не претендовал, получая удовлетворение в самой своей работе. А уж сколько карьеристов и честолюбцев повидал он на своем веку! Столыпин — председатель совета министров и министр внутренних дел, шеф отдельного корпуса жандармов, гофмейстер — был персоной особой категории: не честолюбец, а властолюбец. Он предпочитал не завоевывать мнение людей, а властвовать над людьми. И то, что он так откровенен и доброжелателен с директором департамента, — это много, ох как много значит!..

Обо всем этом и думал Максимилиан Иванович, выходя из апартаментов министра. И еще над загадочным сравнением с золотым ключом. Что он имел в виду, сравнивая Максимилиана Ивановича с золотым ключом?.. Золотой — потому, что не подвержен ржавению? А ключ? К хранилищу тайн? Или министр хотел сказать, что директор был как бы ключом, которым заводится отлаженный и точный, как швейцарские часы, механизм

департамента? Что ж, на свою роль ключа в руках Столыпина он не сетовал. Наоборот, он и впредь намерен с энергией и силой оборачиваться в гнезде, дабы пружина была сжата максимально и тем самым приводила в действие весь механизм, уже почти целое столетие вызывающий трепет у врагов государевых.

Высший орган государственной полиции Российской империи располагался в здании, до того бывшем резиденцией III отделения его императорского величества канцелярии. Сюда, в департамент Трусевича, стекались все нити розыска и наблюдения, дознаний и расследований. Снаружи здание департамента если и отличалось от иных, выравнявшихся по набережной Фонтанки, то лишь малыми размерами и невзрачностью архитектурного исполнения. Оно было всего в два этажа, со скромным входом, перед которым в тротуаре была решетка для счистки грязи с сапог. Однако стоило перешагнуть порог, как посетитель оказывался в вестибюле, пол которого был выложен мраморными плитами, из вестибюля открывался беломраморный марш парадной лестницы с золочеными поручнями и огромными хрустальными канделябрами. С верхней площадки высокие двери вели в приемную министра, а через нее и в кабинет директора. Но вряд ли Петр Аркадьевич, общавшийся лишь с Максимилианом Ивановичем и несколькими другими высшими чиновниками полиции, имел представление о том, что находится за бело-золотыми парадными лестницами и апартаментами. А узнав, немало бы, наверное, подивился.

Именно в эти служебные помещения после беседы со Столыпиным и направился действительный статский советник Трусевич, дабы совершить непрерывный ежедневный обход вверенного ему учреждения.

Максимилиан Иванович неторопливо спустился с парадной лестницы в вестибюль, свернул в неприметную дверь — и перед ним открылись бесконечные сумеречные коридоры с мощенными грязноватой коричневой плиткой полами, облицованные истертыми панелями, уставленные жесткими вокзальными скамьями и прорезанные бесчисленными дубовыми или окованными железным листом дверями. В коридорах стоял папиросный дым и густой запах общих туалетов, сновали чиновники в партикулярном и офицеры в голубых мундирах. Завидев директора, они приостанавливались в беге, прижимались к стенам, почтительными поклонами приветствуя его. Трусевич механически покачивал головой и неторопливо продолжал свой путь, поочередно раскрывал одну дверь за другой.

Если по фасаду дом был всего в два этажа, то здесь, в тыльной невидимой своей части, — в полных четыре, глубоко вдававшихся во двор, с бесчисленными переулками и закоулками, мало кому ведомыми глухими, безоконными, звуконепроницаемыми тупиками, с железными, похожими на трапы, лестницами и обширнейшим подземельем, которое простиралось и под соседние дворцы графини Левашовой слева и князя Вяземского справа, с камерами для арестованных и ходом, ведущим под Фонтанкой на противоположный берег канала, в Инженерный замок. В тесных, прокуренных комнатах дома корпели в поте лица сотни и сотни чиновников всех классов и рангов — от жандармских унтеров до полковников, от коллежских регистраторов до надворных советников, от ничтожнейших помощников письмоводителей до столоначальников и заведующих делопроизводствами. И никто, кроме директора и вице-директоров, не смог бы разобраться в лабиринте этих помещений, а тем более представить полную картину того, в чем заключалась деятельность всего сонмища сотрудников департамента — штатских и военных. Ибо все, что приходило в это здание и исходило из его стен, было секретно и совершенно секретно, и особая присяга под страхом внесудебной кары обязывала жрецов полицейского храма хранить в строжайшей тайне любые сведения о том, что вершится в неприметном доме № 16 на набережной Фонтанки.

Не без удовольствия совершая обход, Максимилиан Иванович соединял в цельный механизм большие и малые шестерни своей машины. Всего, помимо секретной части, которая ведала особой и личной перепиской директора, шифровкой и дешифровкой телеграмм, составлением самих кодов, а также еженедельных записок для доклада царю о выдающихся происшествиях в государстве Российском, в департаменте функционировало восемь делопроизводств. Обозначение их обязанностей свелось бы к перечислению

абсолютно всех отправлений государственного и общественного организма империи, а также дел, интересов и помыслов чуть ли не каждого из ее подданных.

Но доведись кому-нибудь из смертных прочесть все бесчисленные документы со строгими грифами, он все равно не увидел бы из них всех сторон деятельности департамента. Особенно той, которая осуществлялась без письменных распоряжений, по устным, а то и молчаливым указаниям и заключалась не только в подавлении революционных и вообще прогрессивных устремлений, но и в умышленном сохранении в государстве напряженного состояния, дабы держать в постоянном страхе верховную власть, демонстрировать свое служебное рвение и в результате неограниченно пользоваться щедротами имперской казны, получать чины и награды. Сколько хитроумнейших ролей сыграл Максимилиан Иванович перед государем! Впрочем, последние три года не было нужды в искусственном обострении обстановки — в пору было обуздать то, что проявляло себя в реальности.

Отсюда, с каменной набережной Фонтанки, подобно тому, как от полюса расходятся меридианы, незримо оплетающие земной шар, разветвлялась сеть многоликих полицейских служб: общей и жандармской, наружной и политической, конной и пешей, городской и уездной, сыскной, фабричной, железнодорожной, портовой, речной, горной, а к тому еще волостной и сельской, полевой, лесной и мызной, разнообразной по способу организации — военной и гражданской, смешанной, коммунальной и вотчинной. Олицетворялась же она в градоначальниках и обер-полицмейстерах, полицмейстерах и приставах, околоточных надзирателях, городских, урядниках, стражниках, десятниках, волостных старшинах и сельских старостах. И большинство из этих чинов наделено было властью превеликой, имело право ареста любого, внушающего «основательное подозрение» в «прикосновенности к государственному преступлению или в принадлежности к противозаконному сообществу». И субъективное впечатление любого полицейского чина было достаточным основанием для ареста.

Тому же способствовала и с тщанием отработанная система надзоров — одна из наиболее важных отраслей полицейской деятельности: особого, судебного, административного, гласного, строгого гласного и прочих. В соответствии с ними поднадзорная личность не имела права никуда без разрешения властей отлучаться, и в то же время ей не разрешалось ни с кем без позволения встречаться; она лишалась возможности заниматься публичной деятельностью, в том числе учительствовать, участвовать в сценических представлениях, служить в библиотеках, торговать книгами и даже содержать столовые и чайные. Власть же в лице полицейского чина обладала правом удостоверяться днем и ночью, находится ли поднадзорный дома, производить обыски «во всякое время и во всех без исключения помещениях». Кроме того, существовала еще особая шкала секретных надзоров за лицами, подававшими повод к недоверию.

Все эти меры соответствовали идее, восторжествовавшей в Российской империи задолго до учреждения самого корпуса жандармов и вполне соответствовавшей режиму самодержавной власти: правительство и народ существуют в государстве обособленно, причем народ постоянно угрожает правительству. Поэтому любые народные движения таят опасность — и с ними надо постоянно и решительно бороться. Правительство должно находиться по отношению к народу в состоянии непрерывной войны, в лучшем случае — во временном перемирии. Стройную идею эту, рожденную при дворе и закрепляемую департаментом полиции и корпусом жандармов, денно и нощно воплощали в реальность тысячи и сотни тысяч полицейских чинов — разнокалиберные шестеренки той машины, заводным ключом которой был Максимилиан Иванович.

Но работа машины заботила Трусевича не просто как механика, отвечающего за ее исправность. Нет, работа ее каждодневно укрепляла его убеждение в том, что не может быть в России силы, способной противостоять ей, а тем более одолеть ее. И сейчас, пройдя по комнатам делопроизводства и лично убедившись, что машина работает на нужных оборотах, директор с чувством удовлетворения направился в свой кабинет.

В голове его уже определилось решение — на кого возложить щекотливую миссию с пресловутым Лисьим Носом. Максимилиан Иванович и сам знал, что у генерала Гусакова немало сиятельных друзей, в их числе и морской министр, генерал-адъютант свиты его величества, любимец государя Ликов: чего недоброго, можно навлечь на свою седую голову немалые неприятности — паны ссорятся, а у холопов чубы трещат. И все же нельзя сидеть меж двух кресел. Он делает ставку на Петра Аркадьевича.

Оказавшись в кабинете, директор тотчас распорядился вызвать к себе начальника Петербургского охранного отделения.

Через час полковник Герасимов уже стоял у стола Трусевича. Максимилиан Иванович выслушал его доклад о наиболее важных происшествиях по городу, дал руководящие указания, а в конце беседы изложил поручение министра.

— Дело весьма срочное. Рапорт нужен мне к завтрашнему вечеру, крайний срок — к послезавтрашнему утру.

— Рекомендую, ваше превосходительство, ротмистра Додакова. Молод, однако ж достаточно опытен и исполнительен, — предложил Герасимов.

— Знаю, знаю его, — кивнул Трусевич. — Сам представлял его к Станиславу по делу Московского университета. Да, направьте именно его, уважаемый Василий Михайлович.

— На завтра назначено приведение в исполнение приговора по делу о группе социал-демократов, арестованных на Васильевском острове. В связи с поручением министра — задержать?

— Ни в коем случае. Более того: пусть ротмистр сопровождает осужденных и присутствует при исполнении, — сказал директор. — И кстати, соблаговолите лучших сотрудников представить к награждению и досрочному производству. В связи с манифестом предполагаются большие поощрения по ведомству — государь высоко ценит тяжкий наш труд.

Когда Герасимов ушел, Максимилиан Иванович вспомнил еще об одном задании министра и, вызвав стенографиста, продиктовал ему:

— В Тифлис, канцелярия наместника, на имя Бабушкина: «Телеграфируйте, откуда и куда перевозились деньги. Точка. Какой партией совершено сие преступление. Точка. Какие фактические меры приняты к розыску злоумышленников». Передать без замедления моим шифром.

Тем же вечером писарь особого отдела витиевато вывел на синей, украшенной черными виньетками по краям поля обложке папки: «Дело № 434, том I. «О нападении злоумышленников на транспорт с деньгами в г. Тифлиссе 13-го июня 1907 года». Два «с» в слове «Тифлис» он вывел по незнанию, а может быть, для большей звучности и красоты стиля. Затем писарь аккуратно проделал дыроколом отверстия в трех листах: двух депешах из наместничества и ответной телеграмме директора департамента, и навечно заточил их, скрепив скоросшивателем и пронумеровав, под синюю обложку.

Новое «дело» получило толчок к движению.

## ГЛАВА 6

Когда возможен захват транспорта казначейства, Леонид Борисович точно не знал. В телеграмме, которая поступила от одного из тифлисских подрядчиков на имя директора-распорядителя Алексея Карловича Арндта и за его отсутствием была передана Зинойчкой первому инженеру, говорилось о катушках кабелей, их сечении, о предложенном поставщиками оборудовании и прочих данных, в общем и целом соответствовавших работам, которые выполняло «Общество электрического освещения» в столице

наместничества. После расшифровки телеграммы посвященный мог уяснить, что деньги — до полумиллиона — ожидаются двенадцатого-четырнадцатого июня. К захвату казны все подготовлено. Нужно только согласие Центра.

Днем на конспиративной квартире Красин встретился с Феликсом. На этот раз Феликс был без бороды, пышная шевелюра острижена в скобку, а на жилете массивная, поблескивающая натуральным золотом цепь — развеселый купчина, приехавший покутить в столицу.

Однако ему было совсем не до веселья. По последним полученным из Кронштадта сведениям, в крепости началось заседание военно-полевого суда, на котором слушается дело четверых товарищей, арестованных в тайном складе партии на Васильевском. Надежда, что их переведут из Кронштадта в какую-нибудь другую тюрьму, не оправдалась. Рассчитывать на снисходительность судей не приходится: кроме смертных приговоров, от суда ждать нечего. Как же спасти товарищей? Напасть на стражников, когда осужденных поведут к месту казни? Но место это хранится жандармами в таком секрете, что, несмотря на все усилия, обнаружить его не удалось. После подавления восстания в Кронштадте уцелели немногие моряки-большевики. Да и те теперь в экипажах Балтийской эскадры вышли в море. В крепости лишь несколько надежных людей. Значит, остается одно.

— Деньги! — с яростью проговорил Феликс, ударяя тяжелым кулаком по столу. — Две-три тысячи — и мы подкупим охрану. Тюремщики так развращены, что за деньги готовы на все.

— Денег нет, — Леонид Борисович достал бумажник, вынул тощую пачку. — Вот — все.

— Тремя красненькими только быков дразнить. И дочкам твоим тоже есть надо.

— До конца месяца я продержусь, — положил перед Феликсом деньги инженер.

— Хорошо. Несколько револьверов и патроны к ним, — Феликс насупил брови: — А что слышно из Хаапалы?

В конспиративной инструкторской партийной школе-лаборатории в Хаапале рабочие обучались изготовлению взрывчатых веществ и бомб. Налет охраны на школу, сам ход полицейской операции — все говорило за то, что в школу проник провокатор. Новое судилище не заставит себя долго ждать.

— Легче уже, что Хаапала — на территории великого княжества и разбирать дело будет финский суд, — сказал Леонид Борисович. — Даже если их признают виновными, по финским законам им грозит наказание только за хранение взрывчатых веществ и приготовление разрывных снарядов в районе жилых помещений. А это всего пять-восемь месяцев тюрьмы. Но департамент полиции уже требует выдачи товарищей Петербургу. Тогда это виселица.

— По-моему, Хаапала недалеко от Аахи-Ярве? — спросил Феликс.

В этом вопросе тоже было заключено многое. В Аахи-Ярве находилась одна из главных баз оружия, взрывчатых веществ и литературы Большевицкого центра. Если провокатор что-нибудь выведет о базе или кто-нибудь из товарищей-инструкторов, осведомленных о хранилище, не выдержит «допросов с пристрастием» в застенках охраны, будет разгромлен не только этот крупнейший склад, откуда шло снабжение Петербурга, Риги, Москвы, Урала и Кавказа, но полиция выйдет на одного из активных членов боевой технической группы при Центральном Комитете, на «Григория Ивановича» — Александра Михайловича Игнатьева, в имени которого и находилась эта база.

— Да, надо сделать абсолютно все, чтобы не провалить Аахи-Ярве, — ответил Красин. — Прежде всего: перебросить оружие и литературу в другое место.

— Деньги! — опять прорычал Феликс. — Ради этого презренного металла я не то что тело — душу дьяволу готов продать!

Он еще больше насупился, стал похож на большую черную птицу.

— У Семена все готово, ты знаешь. Ну, что ты с товарищами решил?

— Иного выхода нет... Обстоятельства вынуждают согласиться.

— То-то! — губы Феликса раздвинулись в довольной улыбке. — Эх, мне бы махнуть в Тифлис!..

— Управятся и без тебя.

— Конечно. У меня и здесь забот хватает, — он снова помрачнел. — Как только появится, пусть немедленно едет в Куоккалу. Только бы успел!

В тот же день первый инженер от имени директора-распорядителя «Общества электрического освещения» дал тифлисскому подрядчику ответную телеграмму с согласием на закупку оборудования и проведение работ.

И тут Красин вспомнил о недавнем разговоре с сыном профессора Путко. Юноша произвел на Леонида Борисовича хорошее впечатление. И раньше, встречаясь с ним, Красин с интересом наблюдал за пылким студентом, пытался из его рассказов пополнить представление о том, что происходит в стенах альма-матер. Но оказывается, Антон — пропагандист на Металлическом. Захар, секретарь подрайонного комитета, говорил о нем хорошо. Да, парень честный. Однако для боевика этого еще мало. Правда, теперь, после трагической гибели отца, в душе его произошла, если так можно выразиться, конденсация чувств. Ненужное, попутное испарилось, он весь устремился на одно: отомстить виновникам смерти Владимира Евгеньевича. Направить его энергию по правильному руслу — это уже забота старших товарищей. Но надолго ли хватит заряда?.. Нужно его испытать. Да, в благородстве его порыва он не сомневается. А в выдержке? В самостоятельности? В его воле?.. Для начала он поручит Антону малое.

Решив так, Леонид Борисович и пришел в цветочный павильон, содержащийся старым товарищем-партийцем.

Через день студент уже выехал в Тифлис.

Наступили дни тревожного ожидания. Красин руководил двумя городскими тепловыми электростанциями, эксплуатацией осветительной сети, прокладкой новых линий и в эти же дни встречался с большевиками на явочных квартирах, перераспределял мизерные средства, организовывал маршруты транспортов с литературой и оружием... Постоянно и ежечасно он жил двумя столь различными жизнями, в партийную работу привнося строго математический, инженерный подход, а в инженерную — страсть и темперамент революционера. И никто, кроме него самого, не мог бы разобраться в калейдоскопе встреч и лиц — с кем и зачем он виделся: по делам «Общества электрического освещения» или по делам партии.

По многим разным приметам можно было оценить общее развитие событий. В Питере продолжались аресты и обыски. А в клубе правых состоялась патриотическая манифестация. Помещик Пуришкевич — тот самый, который в думской анкете в графе о принадлежности к партиям написал: «Черная сотня доблестного Союза русского народа», — провозгласил на манифестации «ура» в честь царя, и депутаты ответили пением гимна «Боже, царя храни!». Участники собрания направили Николаю телеграмму:

«Повергая к стопам твоим, государь, наши верноподданнические чувства, приемлем смелость принести свою глубочайшую благодарность за дарованный тобою давножданый новый избирательный закон. Да здравствует наш самодержавный государь император на многая лета! Ура! Верноподданные твоего величества, бывшие члены Государственной думы...»

Еще бы! Новый царский закон о выборах обеспечивал в Думе абсолютное и подавляющее большинство за дворянством и крупной буржуазией: помещикам предоставлялось право посылать одного выборщика от двухсот тринадцати землевладельцев, а крестьянам — одного от шестидесяти тысяч, рабочим — одного от ста двадцати пяти тысяч.

Как принял все это пролетариат? Товарищи, с которыми Красин виделся в эти дни,



рассказывали, что на «Лесснере» и «Нобеле», на Балтийском судостроительном, на заводе Путиловского общества, Адмиралтейских механических и на Прохоровской мануфактуре настроение у рабочих мрачное и подавленное, а мастера и администрация снова начали прижимать штрафами. Повсеместно — увеличение рабочего дня, разгром профсоюзов, чуть что — «черные списки», локауты.

На фоне всего этого Леонид Борисович, едва сдерживая беспокойство, ждал хоть какого-нибудь известия из Тифлиса. Он не поехал к семье в воскресенье, боясь, что пропустит сообщения газет, с жадностью набрасывался на утренние и вечерние выпуски. О чем только в них не было, только не о Тифлисе.

Во вторник связной передал, что военно-полевой суд в Кронштадте вынес всем четверым товарищам смертный приговор. Теперь спасти их можно было только силой. Где взять ее — силу, способную захватить Кронштадт, или деньги для подкупа охраны? Тифлис молчал...

В среду с утра в газетах не было ничего. Красин уже не мог работать за столом — все валилось из рук, он путался в простых расчетах. А надо было еще сдерживаться, чтобы не выдать волнения. И все же Зиночка уловила. С участием полюбопытствовала:

— Что случилось, Леонид Борисович? На вас лица нет!

— Ничего, благодарю, — он подивился ее участливости. — Как бы снова не приступ, голова раскалывается.

— Одну минуточку, у меня облатки есть — и специально от головы! — она бросилась искать лекарство.

И тут позвонила Катя. Сказала, что приехала в Питер на два дня. Иван Иванович очень встревожен последними известиями. Сегодня она весь остаток дня по его поручениям, а завтра надо непременно встретиться: есть важные задания и Леониду Борисовичу. Договорились на этот раз не в конторе «Общества», а в доме, где Катя в последнее время останавливалась, на третьей линии Васильевского острова. Адрес Красин знал.

Зиночка вернулась в приемную с таблеткой и стаканом холодной воды к самому концу их разговора. Она услышала за неплотно прикрытой дверью, что инженер что-то говорит в трубку. Аппарат на ее бюро был соединен с телефоном Красина, и она могла подслушивать. Поспешила она осторожненько снять трубку и на этот раз. Но уловила только последнюю фразу: «В час, договорились?» Голос показался Зиночке знакомым. «Не Учительница ли?..» Но в трубке уже раздавались гудки отбоя. «Ошиблась или точно она?.. Все равно надобно предупредить Виталия Павловича».

С нетерпением дождалась она, когда инженер отлучится, и набрала 15-35, служебный номер ротмистра. Телефон молчал. Ее недельное свидание с Додаковым было назначено на завтра, на Стремянной. Один раз она уже там была. Не пойти ли сегодня? Нет, нельзя, это запрещено строго-настроено. Она знала почему: чтобы не встретиться с другими своими неведомыми коллегами. Что же тогда придумать?

Красин понимал: события, которыми так взволнованы Ильич и Надежда Константиновна, — конечно же, провал школы-лаборатории и суд в Кронштадте над товарищами. Предстояло действовать быстро. Но что может Феликс без денег, без людей? У Леонида Борисовича была еще зыбкая возможность повлиять на смягчение приговора: знакомый инженер-кадет Кокушкин из компании «Шуккерт и К<sup>о</sup>» имел высокопоставленного родственника тоже умеренно-либеральных взглядов. Через родственника можно было вступить в контакт с одной из великих княгинь, а та могла поговорить с самой Марией Федоровной, вдовствующей императрицей, матерью царя, своенравной и упрямой. Если ее убедить...

Но как поговорить с Кокушкиным, не раскрывая своей истинной роли? Почему вдруг далекий от политики коллега-инженер заступает за каких-то большевиков-бомбистов?..

Леонид Борисович отыскал Кокушкина в ресторане клуба столичных инженеров «Сфинкс»:

— Одна дама, дорогой мне человек, попала в лапы полиции. Вместе с нею студент, очень талантливый юноша, и еще двое... По сфабрикованному обвинению им вынесен смертный приговор. Я убежден, коллега, что вы не останетесь безучастным. Я знаю о ваших связях...

Кокушкин — тот самый, который еще несколько дней назад доказывал, что демократизацию жизни русского народа ныне никакими мерами не остановить и нет никаких оснований пугаться слухов, — теперь был обескуражен:

— Смертные приговоры противоречат моим нравственным убеждениям. Тем более смертный приговор женщине, да еще через повешение, чудовищен! Хотя, согласитесь, Столыпина вынуждают к этому сами революционеры своими крайними мерами. Особенно эти — большевики!

Леонид Борисович сдержался, промолчал.

— А кто она, ваша дама? — коллега начал откручивать пуговицу от пиджака Красина. — *Est-elle jeune? Est-elle belle?*<sup>5</sup> Уверен, мой дядя распалится. Он, поверите ли, был лично знаком с Сонечкой Перовской... *Oh, c'&#233;tait une madonne!*<sup>6</sup> Хорошо, еду прямо к нему в присутствие!

От Феликса вестей не было. Леонид Борисович знал: все, что в пределах возможного, он и его группа предпримут. В Выборге, где велось следствие по делу о Хаапальской школе, через адвоката удалось передать арестованным: отрицайте решительно все — мол, просто занимались химическими опытами в целях самообразования. Неубедительный аргумент. Изобличают найденные при обыске оболочки бомб. И главное, неизвестно, кто провокатор. Он может оказаться среди арестованных и, значит, будет осведомлять охранку обо всех инструкциях, поступающих извне... И все же в любом случае это оттяжка времени. Эх, были бы сейчас деньги!.. Что там, в Тифлисе?..

В вечерних выпусках тоже никаких сообщений из наместничества не было. Красин просидел на Малой Морской почти до полуночи. Работа валилась из рук.

Он пришел домой. Щемило сердце, и во рту был металлический вкус. «Не заболеваю ли? Вот некстати!..»

Утром он принял холодный душ и, торопливо проглотив только чашку кофе, поспешил в контору. Зиночка Уже восседала за бюро, как всегда свеженькая, чистенькая, с блестящими глазами, приветливо поглядывая из-под кокетливой челки. На столе инженера ждали: аккуратно уложенные в стопку утренние газеты.

Леонид Борисович, закрывшись в кабинете, начал просматривать их. Шли новости: «Стрельба в ресторане за честь дамы», «Хроника пожаров», «Падение в Неву автомобиля с Елагина моста». Мелким шрифтом сообщалось о военных судах, подлогах и растратах, аукционных распродажах. Красин уже собрался отбросить листы, когда на предпоследней, пятой странице взгляд его остановился на колонке: «Новости С.-Петербургского-телеграфного агентства» — «Экспроприация 250 000 руб.». Он стал торопливо читать:

«Тифлис, 13 июня. В 11-м часу утра, в центре города, на Эриванской площади, при большом стечении публики, неизвестными брошено около 10 бомб, взорвавшихся одна за другой с ужасной силой и всполошивших весь город. В промежутках раздавались ружейные и револьверные выстрелы. Взрывы причинили большие разрушения: на громадном пространстве разбиты все стекла, выбиты двери и разрушены трубы. Есть раненые и убитые. Место взрыва оцеплено...»

Леонид Борисович с нетерпением читал дальше:

---

<sup>5</sup> Она молода? Красива? (*франц.*)

<sup>6</sup> О, это была мадонна! (*франц.*)

«Тифлис. 13 июня. Подробности сегодняшнего происшествия таковы. Чины государственного банка, получив утром на почте 250 000 рублей, везли их в двух фаэтонах в банк в сопровождении пяти верховых казаков и трех солдат. Когда кортеж был на Эриванской площади, около «Общества взаимного кредита» была брошена бомба, взорвавшаяся со страшной силой. Многочисленная публика бросилась в страхе бежать. Чтобы еще более усилить суматоху, злоумышленники начали бросать бомбы одну за другой. Они взрывались с оглушительным гулом. Взрывом счетчик и кассир банка были выброшены из фаэтонов. В суматохе мешки с деньгами исчезли. Фаэтоны также пропали. Пока выяснено, что убито два солдата. Число остальных жертв еще не выяснено. Все 250 000 рублей похищены. Всего брошено 8 бомб. Число злоумышленников неизвестно».

В последней телеграмме на эту тему сообщалось:

«Окончательно выяснено, что во время сегодняшнего нападения похищены 250 000 рублей, заделанных в два тюка. Полицией разыскан извозчик, везший кассира банка. В разрушенном бомбой кузове фаэтона найден ценный пакет с 9500 рублями, не замеченный похитителями. Извозчик арестован. Всего ранены четыре конвоировавших казака, один нижний чин и двое городских, стоявших на посту. Убито два полицейских стражника. Арестовано несколько человек».

На этом сообщения из Тифлиса обрывались.

Красин перебрал другие газеты. Информации из Тифлиса были в них аналогичны. Итак, свершилось... Но что означает фраза: «арестовано несколько человек»?.. Удалось ли скрыться всем участникам «экса»?<sup>7</sup> Успеет ли Семен доставить деньги в Питер и передать Феликсу?..

Зиночка, войдя в кабинет с бумагами, справилась, каково самочувствие господина инженера и будет ли он принимать нынче посетителей.

Леонид Борисович поглядел на девушку, еще не в силах оторваться от своих мыслей, и пробормотал:

— Да, да, непременно, благодарствую...

Но тут же понял, о чем она спрашивает, и решительно возразил:

— Нет, у меня дела в городе.

И с интересом посмотрел на секретаршу, отмечая про себя, что выглядит она сегодня как-то по-особенному прелестно и это новое, пожалуй, даже чересчур открытое на плечах и груди платье, однако ж оправдываемое жарой, как нельзя ей к лицу. И как сияют глазки под челкой! «Хороша, чертовка! — подумал он. — И где такую раздобыл директор-распорядитель? А я-то, оказывается, не окаменел, ай-я-яй!..»

И вдруг ему пришла мысль:

— Не составите ли мне компанию, Зиночка, проехать на Васильевский?

Девушка потупила взор.

— Бог с вами, вы не подумайте дурного. В полдень прокатимся туда и сразу же и обратно, час — не более

«Престарелый чиновник на обеденной прогулке, — подумал он. — Куда как обычно и от филеров надежнее...»

— С великим удовольствием, сударь! — тряхнула головкой Зиночка, выразительно посмотрев на инженера.

«А может, не так уж я и стар? — подумал он. — Всего-то тридцать семь. Да, почти вдвое старше этого милого ребенка...»

---

<sup>7</sup> «Экс» — экспроприация, в данном случае — насильственно изъятие революционерами денег, принадлежавших царской казне.

Он устало усмехнулся, проводил ее взглядом из комнаты и погрузился в работу.

Зиначка же, впорхнув в кресло за бюро, стала набирать номер 15-35. Набрала несколько раз, но кабинет ротмистра молчал. Другого телефона она не знала. Не бежать же самой, да и куда? Место службы Виталия Павловича ей было неизвестно. И она пожалела, что не решила вчера побывать на Стремянной.

В час дня они уже были у неприметного кирпичного дома на третьей линии. Леонид Борисович попросил Зиначку обождать в экипаже или прокатиться по Университетской набережной, а сам вошел в подъезд. Зиначка прокатиться не пожелала. С равнодушным видом она стала неторопливо оглядывать дом, перебрала все окна его в занавесочках и шторках, с цветами в горшках и без цветов, но ничего интересного не обнаружила и никого за стеклами не увидела. На одном из подоконников сидела кошка и лениво жмурилась на солнце. Через двадцать минут инженер вышел из дома, неся небольшой, дамского типа, саквояж из коричневой шотландки, обшитый кожей. Зиначка любопытно взглянула, и Леонид Борисович, понимая ее женское чувство, объяснил:

— Кое-что передали для жены.

И этим оправданием своим еще больше укрепил девушку в ее уверенности: эта встреча была весьма и весьма важна для господина заведующего кабельной сетью — и для Виталия Павловича, конечно, тоже. Адрес дома она запомнила.

В дневных выпусках газет ничего к первым сообщениям из Тифлиса не добавилось — происшествие не представляло собой из ряда вон выходящего события. Только в «Биржевых ведомостях» давалось:

«Государственный банк объявляет, что 25 тысяч, или 10 копеек с рубля, получит лицо, указавшее властям, где находятся деньги, похищенные на Эриванской площади. Было похищено кредитных билетов: пятирублевых на 50 тысяч, десятирублевых — на 50 тысяч, двадцатипятирублевых — на 50 тысяч, пятисотрублевых — на 100 тысяч».

Из этого объявления Красин сделал вывод: операция прошла удачно.

## ГЛАВА 7

В иллюминатор сочился белесо-серебристый туман. Сквозь него едва просвечивал бледный, расплывчатый диск луны.

Не качало, а только равномерно тарахтело под полом. Звук убаюкивал, нагонял сон, хотя разве до сна тут было? Каюту заливал призрачный свет, смешанный с желтым слепым светом лампы, одетой в металлическую сетку. И в этом скупом, почти без теней, мерцании лишенными плоти казались фигуры поручика Петрова и священнослужителя отца Бориса, совершавших путешествие в это полуночное время в одной каюте с Додаковым.

Часа два назад, чтобы проследить всю дорогу осужденных, Виталий Павлович вместе с унтер-офицерским жандармским конвоем принял их в каземате крепости, затем сопроводил в одной из черных карет на причал, где и поднялся следом на борт миноносца «Шлем».

На корабле уже ожидала их полурота солдат, назначенная для окарауливания места казни. Заключенных вместе с охраной водворили в трюм, остальные разошлись по каютам, и миноносец снялся со швартовых. Путь был недалекий, поэтому располагаться обстоятельно смысла не имело — и они трое сидели в каюте, вытянув ноги, облокотившись о стальные переборки, и лениво перебрасывались незначительными словами, чтобы скоротать время.

Поручик Петров, с знаками различия береговой службы, а на самом деле — чин жандармской команды Кронштадтской крепости, командир конвоя, с первого взгляда произвел на Додакова неприятное впечатление: самоуверен, ведет себя фамильярно,

обращается не «ваше благородие» или хотя бы «господин ротмистр», а просто «ротмистр», да еще срывается на «ты». Хам! Отец же Борис, крепостной протоиерей, был благообразен, длинноволос и густобород, с массивным крестом, покоившимся на животе поверх рясы.

Поговорили о погоде, о служебных перемещениях в верхах, перекинулись на рыбную ловлю. И святой отец, и поручик, по всему видно, были большими специалистами по этой части. Да и что еще делать в крепости? Потом отец Борис глянул в иллюминатор и, скрадывая горстью ладони сладкий зевок, то ли спросил, то ли утвердил:

— А уже и четырнадцатое число пошло? День пророка Елисея, святого Мефодия, патриарха Константинопольского, царствие ему небесное, — и неторопливо перекрестился.

— Не грех, батюшка? — спросил поручик.

— О каком грехе печалитесь, сын мой? — колыхнулся протоиерей.

— В такой день отправлять злонамеренных к праотцам? — поручик неопределенно кивнул на подволок.

Додакову показался его вопрос дерзким, с подковыркой. Почувствовал это и священник:

— Не богохульствуйте, сын мой. Мудрые законы нашего государя и деяния их исполнителей — отголоски нашей души и воля божья.

Он наклонился к Виталию Павловичу:

— Тяжкий крест мы несем... — он скорбно вздохнул. — Благослови нас бог. В редкой деятельности приходится так непосредственно, так осязательно проявлять любовь к человеку, как в полицейской и жандармской.

— Неужто? — язвительно удивился поручик.

— Истинные последователи Христа не щадят своих трудов, напрягают свои силы к устранению зла и неправды, мешающих благосостоянию человека, — назидательно проговорил отец Борис, — И за все это с избытком получают они то нравственное наслаждение, подобное которому никогда нельзя встретить в иных удовольствиях...

— Даже с женщиной? — перебил его Петров.

— То греховное плотское, мы же глаголем о нравственном, коим достигается духовное блаженство и то царствие божие, которое, по словам спасителя, сокрыто внутри нас, — так гласит евангельская заповедь, — без обиды закончил свою мысль священник.

— Успокоительное средство для старцев и импотентов, — как бы между прочим бросил поручик и поинтересовался: — Значит, нам, исполнителям, все грехи отпущены и мы можем предаваться блаженству и удовольствиям?

Отец Борис собрался что-то возразить, но поручик не стал слушать. Повернулся к Додакову:

— Двинем, ротмистр, на палубу? Заодно гляну, как мои агнцы себя ведут.

Виталий Павлович вышел вслед за поручиком. На палубе строго сказал ему:

— Ваш тон и манера в отношении отца Бориса непристойны.

— А, бросьте, ротмистр! — приятельски тыркнул его в плечо Петров. — Этот поп все готов обмазать елеем, а потом этот же елей слизать. А я смотрю на вещи прямо, без небесного эфира: все мы скоты, дерьмо, и каждый воняет на свой манер.

— Ну, знаете ли, поручик, это слишком! Подобные умозаключения оставьте себе, — брезгливо поджал губы Додаков. — По крайней мере, вам следует уважать возраст и сан священнослужителя и...

Он хотел добавить: «и жандармский мундир», но поручик оборвал его снова:

— Борода и у козла есть, ха-ха! — и примирительно добавил: — Пусть бог — за всех нас, щеголяйте себе в белых перчатках. Только не надо нравоучений, ротмистр, терпеть их не могу.

В голосе его послышалась угроза. «Да как ты смеешь? Ну погоди!..» Петров щелчком отшвырнул окурок далеко за борт и как ни в чем не бывало предложил:

— Заглянем к моим агнцам?

Додаков подавил закипавший в нем гнев. Перебранка с грубияном поручиком ничего

хорошего не предвещала. Средство проучить его Виталий Павлович найдет: обрисует в соответствующих красках в рапорте начальству — так, чтобы этот хам загремел куда-нибудь в в Тмутаракань. Теперь же ротмистру действительно надо было посмотреть, как транспортируются осужденные.

Они миновали артиллерийскую установку с зачехленным орудийным стволом, укрытые под брезентом торпедные аппараты и подошли к люку, который вел в трюм. У люка стояли на посту два жандармских унтер-офицера с карабинами у ног. Додаков спустился за поручиком по крутому трапу в чрево корабля. Внизу у трапа стоял еще один постовой. Остальные унтеры сидели вдоль борта. А в углу на полу лежали трое мужчин в полосатых одеждах каторжников, в наручных и ножных кандалах — и женщина. Они прижались друг к другу, один положил голову на плечо второму, второй — на грудь третьему. Они лежали молча, с закрытыми глазами. И Додакову даже подумалось, что они дремлют.

Женщина одна не была в кандалах — и в свободной позе она прильнула к юноше и тоже замерла, будто дремала. Виталию Павловичу изгиб ее фигуры под дерюгой напомнил что-то классическое. Хлоя, склонившаяся над Дафнисом, или мать, оберегающая сон сына?.. Но женщина не спала. Ее пальцы медленно перебирали волосы юноши. Этим неторопливым, ласковым, настойчиво-гипнотизирующим движением она словно бы успокаивала его.

— Дрыхнут! — удивленно присвистнул поручик. — Боятся, не отоспятся на том свете.

Он цепко оглядел трюм. Унтеры под его взглядом подтянулись.

— Порядок. Они снова поднялись на палубу.

— Я слышал, что ваш генерал возражает против исполнения приговоров в зоне крепости, — решил прощупать ротмистр.

— Он у нас чистюля, интеллигент, — с презрительной фамильярностью ответил Петров и сплюнул за борт. — Ему больше по душе, когда пулю в лоб. Это, мол, дело солдатское. А удавка на шею, вишь ли, палаческое. Чистоплюй. Я вот произвел расчеты: повешение обходится даже дешевле.

Он достал из кармана сложенные листы. Развернул, поднес к самым глазам, будто был близорук. В слабом свете белой ночи прочел:

— «Веревка — тринадцать аршин на одного — 55 копеек. Кольцо — 30 копеек, мешок — рубль». Итого, меньше двух целковых на брата. А расстреляние на червонец тянет.

«Врешь, сукин сын, там без веревок и колец — девять граммов свинца, и все», — подумал Додаков, но, невольно заинтересовываясь, спросил:

— А стоимость эшафота? Сколько дерева надобно!

— Ага! — обрадовался поручик. — Тут я одно усовершенствование изобрел, начальство одобрило, уже осуществляем. Увидишь на месте, ротмистр!

Петров сладко, со вкусом, потянулся:

— Что-то разморило... Похрапим?

— Идите, поручик, я хочу подышать свежим воздухом.

— Дышите, пока дышится, — с нагловатой ухмылкой сказал Петров и, покачиваясь, направился к трюму.

«Хам, — проводил его взглядом Додаков. — И такие — в нашем корпусе!..»

Вскоре впереди, в поредевшем тумане, проступил берег. С него засемафорил фонарь.

— Прибыли, — сказал невесть когда снова появившийся на палубе Петров и начал зычно отдавать распоряжения: — Выходи! Стройся! Выводи!

В зыбком свете они спустились по трапу на дамбу, тянущуюся по воде к берегу. Сначала сошел жандармский конвой с блекло горящими фонарями «летучая мышь», потом осужденные, снова унтеры, а за ними солдаты. Они несли бесформенный, завернутый в рогожи груз. Прозвучали команды, и процессия двинулась по дамбе к берегу, темневшему лесом.

Додаков, Петров, отец Борис и еще несколько чинов, причастных к исполнению приговора — прокурор, служащий градоначальства, врач из крепости заключали шествие. Священник и врач о чем-то неторопливо беседовали, наверное, о бренности земного

существования. Петров насвистывал сквозь зубы мотивчики из модной в этом сезоне оперетки. Остальные молчали. Слышны были шарканье подошв, лязганье снаряжения и глухой звон кандалов.

Виталий Павлович машинально считал шаги: «Пятьсот десять... пятьсот одиннадцать... пятьсот двенадцать... — Пришла мысль: — А если бы вот так меня, что бы я в этот момент чувствовал? — Но мысль эта не взволновала. — Неужели не дорога мне жизнь? Семьсот два...»

Дамба кончилась. Прямо к воде, к узкой полосе песка и валунов подступал густой лес. Из кустов колонну окликнул караульный.

Поручик, обогнав солдат, подошел к нему и сказал пароль. И все вступили на тропку под свод вековых сосен. В лесу была тишина, воздух свеж и душист. Темнота сгустилась, и лучи «летучих мышей» ярче заскользили по фигурам, по стволам и ветвям.

По лесу прошли от берега не более версты, и меж стволов просветлела круглая поляна. Конвой приставил ногу. Жандармских унтеров обогнали солдаты.

— Сейчас поглядите, ротмистр, на мое изобретение! — с гордостью проговорил Петров.

Солдаты начали разворачивать рогожи и доставать деревянные бруски и металлические стержни.

— Полюбуйтесь: сборно-разборный эшафот. Никаких тебе помостов, ступеней и прочих излишеств: палка, палка, поперечник — вот и вышел удавечник! — он засмеялся. — Сейчас установят на крестовины, как рождественскую елку, скрепят болтами на гайках — и пожалте бриться! Конструкция надежная и вечного пользования, что тебе перпетуум мобиле. Здорово?

«Черт знает что! Смертная казнь, а он устраивает раешник! Надо будет и это отметить в рапорте», — мстительно подумал Додаков. Развязно-шутливые пояснения Петрова, деловитая работа солдат, собиравших эшафот и рывших поодаль яму, огоньки самокруток в кулаках унтеров, непрекращающаяся тихая беседа отца Бориса и врача — все это было внешне таким будничным, обыденным, так не вязалось с представлением о надвигающейся трагедии, самим таинством смерти, что Виталий Павлович почувствовал даже разочарование.

Обреченные стояли, тесно прижавшись плечами, и молчали. И ротмистр подумал: да неужто они тоже не чувствуют ничего, просто ждут развязки?.. Кричали бы, рвали оковы, молили о пощаде — он бы тогда понял и посочувствовал. Но это молчание... Может, они просто спят стоя?

Вот уже прорисовался в бледном свете контур виселицы — будто проем распахнутой двери. Прокурор, нетерпеливо поглядывавший на карманные часы, захлопнул крышку, достал из портфеля картонную папку и выступил в круг. Один из унтеров подставил фонарь.

Прокурор по очереди опросил осужденных: фамилия, имя, год и место рождения — и стал быстро зачитывать приговор:

— «Военно-окружной суд... согласно положению «О преступлениях государственных»... «Уложения о наказаниях уголовных и исправительных», том пятнадцатый, в соответствии со статьей 241-й, коей всякое злоумышление и преступное действие против жизни, здоровья или чести государя императора и всякий умысел свергнуть его с престола... В соответствии со статьей 243-й, коей все участвующие в злоумышлении или преступном действии против священной особы государя императора или против прав самодержавной власти его в виде сообщников, пособников, подговорщиков, подстрекателей или попустителей... В соответствии со статьей 245-й, коей изобличение в составлении и распространении письменных или печатных сочинений с целью возбудить неуважение к верховной власти, или же к личным качествам государя, или к управлению его государством... приговариваются... к лишению всех прав состояния и смертной казни через повешение...»

Прокурор читал все быстрее, опуская абзацы и заглатывая окончания слов:

— «За принадлежность к преступному сообществу — Российской социал-демократической рабочей партии. За хранение оружия... За хранение нелегальной литературы... За сопротивление властям... — с шипением вылетали слова из прокурорских уст. — Приговор окончательный и обжалованию не подлежит...»

Когда он закончил, вперед выступил отец Борис. Он уже успел облачить поверх рясы епитрахиль, выпростав на нее крест.

— Исповедуйтесь, сыны мои, — распевно проговорил он, поднимая в кулаке распятие.

— Лишнее, дед, — хрипло сказал один из осужденных. Звук его голоса был неприятен Додакову. — Мы не верующие.

— Не возропщите на господа, не богохульствуйте, не предавайте себя гордыне, дети мои! Господь за всех нас принял тяжкие муки! — вкрадчиво заговорил протоиерей. — Спаситель завещал нам любить ближнего как самого себя, и эта благовесть прошла по всему миру. Вся наша жизнь, ежели бы вы хотели сохранить образ и подобие божье, а не быть скотами бессмысленными, Должна была быть приноровлена к этой евангельской заповеди. Но даже и на пороге земного существования...

— Лишнее это, — недобро оборвал тот же сиплый голос.

— Воля ваша, сыны мои, — смиренно проговорил священник, осеняя их крестным знаменем. — Да простит вам всевышний грехи ваши, гордыню и закоренелость во зле вашу!

Он подошел к женщине:

— А ты, дочь моя...

— Нет! — зло оборвала его женщина.

«Рысь», — подумал Додаков.

Священник потупил голову, отошел к краю полян: где его с нетерпением поджидал врач.

— Не желаете ли отписать родным? — подал голос дотоле молчавший чин градоначальства. У него был красивый мягкий баритон.

Один из осужденных качнул головой, будто молчаливо отказываясь от этой последней милости. Другой проговорил:

— Некому. Всех сгноили.

А третий восторженно вскрикнул, как навстречу неожиданной радости:

— Да! Я напишу маме!

«Летучая мышь» приблизилась к нему. И Виталий Павлович увидел, что этот, третий, совсем юн, почти еще мальчик, редкая поросль едва проступала на его щеках и пухом темнела над верхней губой. «Студент, видать, кто-то из прежних моих подопечных...» — предположил он.

Юноша принял переданный ему лист, карандаш и папку, присел на колени, утвердил папку на другом и начал торопливо писать, поскрипывая кандалами на запястьях, отрывая карандаш, чтобы помусолить его в губах.

Прокурор снова поглядывал на часы. Наконец юноша упер карандаш в последнюю точку. Помедлил. И трудно, будто отрывая себя от чего-то бесконечно дорогого, протянул и лист, и карандаш, и папку чиновнику и поднялся, качнув шеей на затекших ногах.

— Адрес указать не забыли-с? — звучно осведомился чиновник. — Благодарю. Будет отправлено незамедлительно.

И он отступил в тень.

— Приступайте, — тряхнул несжатými пальцами прокурор.

— Кого первого? — спросил у него поручик.

Прокурор глянул в бумаги и назвал фамилию.

— Выходи!

Осужденный — старший из них, обросший седой щетиной, — минуту не шевелился. Потом обнял своих товарищей. Кандалы его зазвенели.

— Прощайте, братишки... Прощай, дочка... Эх!.. — и оторвал руки.



— И-исполнить! — звонко, на ликующей ноте выкрикнул Петров.

Неизвестно откуда появился человек в маске, в широкой рубахе. В соответствии с правилами рубаха палача была, наверно, красной, но сейчас, ночью она казалась черной.

— Глаза завязать!

— Лишнее, — отстранил повязку закованной в железный обруч рукой обреченный.

— З-завязать! — голос поручика неожиданно сорвался.

— Лишнее, — снова сказал мужчина. Он взял из рук палача веревочную петлю, накинул себе на шею и, тяжело опершись коленом на табурет, стал взгромождаться на него. Додаков отвернулся.

— В-выбивай!

— Будьте вы прокляты! Будь ты проклят, Никола-кровопивец! Еще попла... — он не договорил, голос его оборвался хрипом.

Перекладаина заскрипела.

Додаков повернулся только тогда, когда казненный уже обвис.

— Следующий!

Второй обреченный, как бы выполняя ритуал, тоже обнял товарища, прижался губами к его лбу, по-отечески целуя:

— Крепись, сынок! Не дрогни перед этими.

Подошел к женщине:

— Прощай, Оля..

Он тоже отказался завязать глаза и сам взял из рук палача петлю. Додаков не отводил взгляда. В нем пробудился интерес: «Как поведет себя этот в последнюю секунду?»

— Ждите революции! Будет! Бойтесь!

«Тоже фанатик... Все они как опиумом обкурились... «Будет!» Будет — не будет, а тебя уже нет!»

— Да расточатся враги божьи! — пробормотал протоиерей. — Оружие против сатаны есть святой крест, его же бесы трепещут! — обхватил он распятие и приподнял с живота.

Виталий Павлович со злорадством продолжал наблюдать, как осужденный взбирается на скамью: «Не-ет, уж я бы не так... Сам!.. Меня бы только силой, только скрутив по рукам и ногам!..» Он почувствовал, как его спину заливают пот.

— В-выбивай!!

В висках ротмистра начали стучать горячие молоточки. Зазудело в пальцах. Даже потемнело на миг в глазах. Он почувствовал, что с нетерпением ожидает казни третьего. Отсветы фонарей скользили по поляне, столбам, лапам сосен, и ему вдруг представилось, что это факелы той московской январской ночи, и над головой шуршание неведомых огромных летучих мышей. Он испытывал то же сладостное, только неизмеримо более сильное томление. Ну же!..

— Следующий!

Блекло-желтые лучи скрестились на третьем. Мальчишка съежился, ошалело озирался. Казалось, он сейчас падет на траву и будет биться, на четвереньках бросится прочь.

— Глаза з-завязать!

Палач надвинулся на него.

— Не надо! Не надо! — стал отбиваться юноша. — Не надо!

— Завязать!

Он сорвал повязку, отбросил ее:

— Не хочу! Хочу как они!

Палач в маске, придерживая за плечо, повел его к виселице, надел и подтянул петлю. Додаков смотрел во все глаза. От ударов распухшего пульса гудело в голове, горячая пелена застилала глаза. Плясали факелы. Палач начал подсаживать мальчика на табурет. «Будто баюкает...»

— Мама! Мамочка!..

Крик оборвался. Но мальчик не хотел умирать. Он бился на веревке.

— Мерзавец! — оттолкнул палача поручик. — Мылом надо было! Легок!

Он подскочил к умирающему и, обхватив его ноги, всей тяжестью повис на нем, оттягивая к земле. Додаков снял фуражку, провел ладонью по липкому лбу.

Поручик подошел. Тяжело дыша, проговорил:

— Мерзавцы, за что им только косят срок?

— Все-то вы умеете, — усмиряя волнение, сказал ротмистр.

— В Прибалтийском крае, у флигель-адъютанта генерала Орлова практику проходил, — показал в улыбке зубы Петров.

Настал черед женщины.

Палач умело, как кауфер где-нибудь в салоне на Невском, поднял тяжелые волосы вверх и повязал их широкой парусиновой лентой. Один из унтеров посвечивал ему «летучей мышью». В луче фонаря тонкая шея женщины замерцала, как ствол березы в лунном свете.

Женщина молчала. Она окаменела, как изваяние. Даже рубище ниспадало мраморными складками древнегреческой туники.

— И-ис!.. — начал на ликующей ноте поручик.

Но прокурор неожиданно прервал его, выступив вперед и подняв руку.

— Подождите.

Он неторопливо раскрыл обложку папки, взял лист, лежавший сверху, приблизил к глазам.

Сквозь лихорадочные удары пульса, сквозь глухоту, заложившую уши, до сознания Додакова просочилось:

— Его императорское величество... на всеподданнейшем докладе министра юстиции... собственноручно изволили... согласно их высочайшей воле... помиловать, заменив смертную казнь через повешение... лишив всех прав... двадцатью годами каторжных работ...

Палач сдернул ленту. Волосы упали на плечи женщины. Послышался легкий всхлип — и женщина мягко повалилась на траву.

— Обморок, — сказал доктор. — Нервное потрясение.

Он наклонился над нею.

— Повезло бабе, — с сожалением сказал, возвращаясь к группе офицеров и чиновников, Петров. — Она бы у меня поплясала!

Они закурили, глубоко затягиваясь. Никогда еще папироза не казалась Виталию Павловичу такой сладкой. Унтеры сняли казенных.

Подошел врач, пощупал пульс, приподнял веки. Солдаты начали разбирать эшафот и упаковывать брусья в рогожные чехлы. Застучал молотком по зубилу кузнец.

— Не годятся эти кандалы, — делая затяжку, сказал поручик. — Приходится кузнеца с собой возить. Я предложил — не на заклепках, а на замках. Ключик повернул — и готово. Экономично.

Он снова затянулся папирозой:

— Не так-то легко пробить изобретение, столько рутинеров в тюремном ведомстве. А за границей, я слышал, есть такие, на замочках...

Виталий Павлович поморщился: слова Петрова все возвращали в обыденность.

Кузнец снял кандалы. Повешенных отнесли к яме. И вот уже солдаты засыпали ее до краев, сверху уложили ранее срезанный квадратами дерн. И земля бесследно поглотила казенных.

Небо посветлело. Но начал накрапывать дождь, зашелестел в косматых ветвях. Все заторопились, возвращаясь, убыстрили шаги. Полурота и жандармский конвой не держали строя. Женщину вели, поддерживая под руки — она еще была в полуобморочном состоянии. Додаков шел, налитый горячей тяжестью. Она остывала, рассасываясь, оставляя в теле истому. На берег он еще раз оглянулся на сомкнувшийся за спиной лес.

Поручик тоже остановился. Быстро расстегнул ремень, португепю, скинул френч, сапоги и белье — и вошел в воду. Здесь, у берега, было очень мелко. Петров сел на песок, вода не покрывала и грудь. Он начал поохивая, обрызгивать себя, оплескивать. Потом

поднялся, не стесняясь, вышел на берег, достал из кармана брюк припасенное полотенце и стал жестко обтираться. Он был чистотел, бел, с легким подкожным слоем жира, создававшим впечатление мягкости этого мускулистого тренированного тела. Виталий Павлович с завистью подумал, что поручик вот так же не стыдится раздеваться при женщинах.

— Хор-рошшо! — с наслаждением, удовлетворенно проговорил Петров, туго застегивая ремень и причесывая мокрые потемневшие волосы. И, покосившись на отца Бориса, громче сказал: — Люблю после трудов праведных смыть грехи.

На обратном пути в Кронштадт солдаты и жандармские унтеры, исполнившие службу, храпели в том же трюме, а Петров, протоиерей и Додаков расположились в своей каюте. К ним присоединился и чин градоначальства. Доктор же, исчерпав, видимо, предмет разговора с отцом Борисом, дремал в соседней каюте на пару с прокурором. Мерно посапывал и чиновник, хотя глаза его были полуприкрыты и в прорезях пошевеливались зрачки. Виталию Павловичу тоже захотелось спать. Но он решил не расслабляться — какой уж там сон на час? — не терять времени и составить рапорт для полковника Герасимова.

Он расположил на металлическом откидном столике под иллюминатором бумаги. Сосредоточился. В открытый иллюминатор забрызгивало зябким влажным ветром. Стало уже совсем светло.

«Мыс Лисий Нос находится за пределами столицы в глухой, лесистой местности, в зоне Кронштадтской крепости, вблизи пороховых погребов, куда проникновение посторонних лиц невозможно, — неторопливо, обдумывая каждое слово, писал он. — Местность безлюдная, пустынная, тщательно окарауливаемая солдатами. С одной стороны — море и караул на побережье, с другой — пороховые погреба и караулы...»

Додаков оторвался от листа. Прислушался. Поручик и отец Борис спорили.

— Моя-то душа — я уж сам разберусь, а как же его душа? — язвительно спрашивал Петров. — Ведь господь провозгласил: «Не убий!» А он, мерзавец, петельку завязал — и на шейку. Каждую-то ночь — сколько тяжких грехов наберется?

Ротмистр догадался, что разговор идет о палаче. Подумал: «А сам-то поручик не верит ни в бога, ни в черта».

— Чернь он, хам, — скорбно вздохнул протоиерей. — На него не распространяется милость господня. Его душа уже обречена на вечное проклятье, — он перекрестился и пробормотал: — Господи Иисусе, сыне божий, помилуй нас, грешных!

— Кто этот, в красной рубахе? — поинтересовался Додаков.

— Уголовник, вечник. А за эту работенку мерзавцу срок обещают скостить.

— А почему в маске?

— Правило. Для устрашения. И сам боится мести. Если узнают — свои же и пришьют. На воле убивай сколько влезет, а приговор в исполнение — ни-ни. Этика! Приходится подлеца в тюрьме в отдельной камере содержать и возить в отдельной каюте, как важную персону, — объяснил Петров и поинтересовался: — А правда, что Перовская была дочкой самого петербургского губернатора?

— Да.

— А повесили, — поручик сделал паузу и добавил: — Непонятно.

Додаков попытался проследить ход его мыслей. То, что казнили Софью Перовскую, — понятно: подняла руку на государя. А непонятно, почему царь помиловал эту... Нашлись высокие заступники или не захотел возбуждать разговоры в обществе?.. Государю видней.

И все же какой-то осадок, неудовлетворение, как от чего-то незавершенного, остались. «Неужели у меня нет никакого сострадания к ней? — подумал Виталий Павлович. — Просто, по-человечески?» Он даже не видел ее лицо: только высоко поднятые, подвязанные парусиновой лентой темные волосы. «И слава богу! — заставил себя подумать Додаков. —

Не хватало еще смотреть на казнь женщины! — Почему-то он вспомнил Зинаиду Андреевну, ее белую, лебяжьи изогнутую над столом шею с россыпью родинок и мысиками темных волос, убегающих под кружево воротника. — Слава богу! Государь милосерден!..» Нет, эта женщина его не интересовала. Тень. Так и уйдет в небытие, в вилюйские морозы или киргизские степи.

Его мысли прервал Петров. Поручик снова обращался к отцу Борису:

— Как же это наш дружок-палач — чернь и хам, батюшка? Что-то невдомек мне, где это в священном писании отрекается господь даже от таких своих чад.

Тон его был издевательский. Но Виталий Павлович вдруг подумал, что эта их перебранка — как бесконечная игра, лениво-приятная для обоих, ведь живут-то они и служат вместе, бок о бок, и делают одно и то же, нравящееся обоим дело. И еще подумал: если оценивать объективно и по справедливости, то поручик этой ночью показал себя умелым исполнителем. Все действия его были точны. Он находчив. К тому же с изобретательской жилкой. Что же касается манер и языка — не детей же мне с ним крестить. Такие работники нынче очень надобны. И, истины ради, надо отметить это в рапорте.

Он снова взялся за перо:

«Тщательное изучение степени пригодности данного места для приведения в исполнение смертных приговоров, а также условий доставки приговоренных морским путем, подтверждает, что мыс Лисий Нос, многократно и без всяких осложнений использовавшийся для этих целей, и впредь представляется наиболее удобным местом. Однако приговоры следует приводить в исполнение в период времени с 12 часов ночи до 7 часов утра, когда ни поезда, ни пароходы еще не начинают движения и окрестности бывают совершенно безлюдны...»

Он представил мысленным взором поляну в суетливом свечении «летучих мышей».

— Что написал тот студент? — обратился он к чиновнику.

Чиновник перестал сопеть, приоткрыл веки. Приятным голосом осведомился:

— Любопытствуете, ваше благородие?

— По служебной надобности.

— Прошу, — он поворочил в папке, вынул мятый, крупно исписанный карандашом листок.

«Мамочка, милая моя! Через несколько минут меня не будет. Ты будешь читать эти строчки, когда я уже умру. Я люблю тебя. Прости меня за то, что я принес тебе столько горя. Но я не мог поступать иначе. Неужели возможно терпеть? Если не мы, если не я, то кто же тогда?..»

«Прокламация!» — Додаков протянул письмо чиновнику:

— Стоит ли?

— Ни в коем разе, — понятливо кивнул тот, массируя веки. — Присовокупим еще одним листом к делу.

Миноносец уже подходил к пирсу Кронштадтской крепости.

Два часа послав, Виталий Павлович, освеженный и бодрый, переписал рапорт, придав фразам большую категоричность, проставил свою подпись и отвез бумагу начальнику отделения. Полковник Герасимов остался доволен и расторопностью Додакова, и самим текстом докладной. Донесение в таком духе и желал получить директор департамента. Но, верный своим принципам, Герасимов лишь сухо сказал:

— Благодарю, ротмистр. Можете располагать своим временем до завтра.

— К сожалению, не могу, ваше высокоблагородие, — Додаков стоял по струнке. — Весь вечер занят ветречами с «с. с.».

— М-да... — полковник уже углубился в бумаги. Можете идти.

Виталий Павлович заехал домой, переоделся в штатский костюм и, хоть и поторапливал извозчика, едва поспел ко времени на Стремянную, где была назначен очередная встреча с Зинаидой Андреевной. Еще подъезжая, он увидел девушку, она нервно прохаживалась перед домом.

Отводя взгляд, ни единым движением не показав, что они знакомы, Додаков прошел в подъезд. Отпер дверь в квартире на бельэтаже. Следом торопливо стучали каблучки.

Девушка трудно переводила дыхание, пока он снимал с нее пелерину и стряхивал с зонтика капли.

— Я вас ждала, не могла и дожждаться!

Зинаида Андреевна была возбуждена. Быстро прошла за ним следом в гостиную.

— Даже звонила без конца, чуть телефон не оборвала!

— Что случилось? — он обернулся к ней. Взгляд его скользнул по ее лицу, по открытой шее, по часто и высоко вздымающейся груди. — Что случилось?

В его висках, учащаясь, вразнобой застучали горячие молоточки. I

— В час пополудни господин инженер пригласил меня съездить с ним к одной просительнице. Перед тем она позвонила по телефону, и я узнала ее голос...

Ротмистр почувствовал, как жаркая волна захлестывает его и тяжелеют, начинают покалывать иголками; пальцы. «Мамочка! Мама!..» А ты как бы заплясала на веревке в тринадцать аршин? Ему почудилось, что по стенам мельтешат факелы. Уже ничего не соображая, вцепившись в ее шею и грудь взглядом, он шагнул к ней.

Зинаида Андреевна что-то почувствовала, отступила к стене, прегражденной диваном, продолжала говорить:

— Это та, из альбома, Учительница... Адрес: Васильевский остров, третья линия...

Додаков не слушал ее. Черный сумасшедший вихрь закрутил его, будто исторгнулось, затемнив рассудок, нервное напряжение ночи, открылись клапаны пробужденных этой ночью неведомых слепых чувств. Он схватил девушку за плечи и, что-то выкрикивая, выплевывая, стал рвать на ней платье, ломать ее — так, что хрустело под пальцами и стреляли об пол пуговицы.

— Что вы! Что вы! — отбивалась Зиночка, била его по щекам, царапала, кусала, отталкивала. И вдруг, задохнувшись, словно сломавшись, поглотилась этим иступленным порывом, распятая, как если бы рухнула на нее стена...

Ротмистр очнулся. До его сознания дошли ее слова.

— Вы сказали — Учительница?

Зинаида Андреевна молча смотрела на него.

— Простите... Извините меня... Служба. Повторите адрес, прошу вас. Это важно чрезвычайно.

Она уже пришла в себя:

— Понимаю.

С отвращением, исподлобья взглянула на Додакова. Оскорбительно усмехнулась:

— Мы чуть было не потеряли время.

Виталий Павлович не обратил внимания на ее тон. Он уже держал в руках перо и блокнот.

— Записывайте, — Зиночка запахивала разодранное платье. — Васильевский остров, третья линия...

Через час район третьей линии был оцеплен, дом окружен. Ротмистр на этот раз решил не доверять филерам. Он сам постучал в дверь дома.

Отворил полный розовощекий старик:

— Чем могу служить, господин... гм... гм...?

— Узнаете? — Додаков поднес к его лицу фотографию Учительницы.

— Непременно-с! — расплылся в щербатой улыбке старик. — Прасковья Евгеньевна Онегина, учителька!

— Проводите.

— Выбыли-с! — домовладелец развел руками. — Три месяца снимали, бывали наездами-с, а нонче после обеда сдали комнату, произвели полный расчет и съехали-с. Со всеми вещами-с. Вещей-то пшик — учителька.

— Куда выбыла?

— Адресов оставить не пожелали-с, ваше сиятельство!..

## ГЛАВА 8

Антон возвращался из Тифлиса.

Уже был не первый час пути, а все в вагоне еще находились в возбуждении — как в связи с событием, которое переположило столицу наместничества, так еще и потому, что на вокзале, у выхода на перрон, буквально каждого пассажира жандармы проверили, ошупали, не говоря уже о тщательнейшем досмотре багажа и невзирая на протесты оскорбленных в достоинстве чиновных и прочих персон, включая офицеров и дам.

И сейчас, в купе, все еще продолжалось обсуждение выдающегося происшествия. Соседями-попутчиками Антона были двое мужчин и девица, белесая и бесцветная, с постным выражением, навсегда прилепленным к плоскому лицу. Мужчины меж собой были знакомы и ранее — один молодой, другой старый, но оба чем-то похожие один на другого. Не лицами, а их выражением, одеждой и манерами: в бакенбардах и с коротко стриженными бородками, в манишках и галстуках-бабочках, пестрых жилетах, с пальцами, унизанными перстнями. То ли шулера, то ли маклеры.

Молодой, перебирая пальцами, восклицал:

— Ах, манипуляция, ну, фантазмагория, да и только! Средь бела дня, на глазах публики, как на театре! Четверть миллиона, как одну копеечку! Тут, можно сказать, из последних сил барьеры берешь, а они — с ходу на три корпуса!..

Старший сидел, обложенный «Тифлисскими новостями», «Кавказом», «Тифлиским курьером» и прочими местными газетами. Все они были раскрыты на сообщениях об экспроприации. Старик читал, вычитывал и согласно кивал бородкой:

— Истинное слово: удальцы. Если ищут на станции, значит денежки фьюить! А вот «Кавказ» пишет: вчера на поляне за казармами первого стрелкового батальона найдены разрезанные пустые мешки с сургучными казенными печатями и надписями: «150 000» и «90 000».

— Правильно работают: очистились, — сверкнул перстнями молодой.

— А вот в «Курьере»: вчера на кладбище, сняв предварительно ордена, застрелился тифлисский полицмейстер Балабинский. Неспроста это.

— Люди слышали, говорили: он поскакал на площадь, когда начались бомбы, а навстречу ему в фаэтоне — офицер. В ногах у него мешки с ассигнациями. Балабинский к нему, а тот: «Деньги спасены, полковник, спешите на площадь!» — он, дурак, и поспешил. А офицера того и след простыл, как испарился. Он-то, видать, самый главный и был. Ах, молодец! Говорят, видимо-невидимо народу уложили, все лазареты полны. Я потом ходил на Эриванскую: вся красная, видать, кровь рекой лилась!

«Вот врет! — с досадой подумал Антон. — Надо же, сколько страху!» Его так и подмывало вставить слово, свидетельство очевидца, но он решил помалкивать, уставился в окно, будто его необыкновенно заинтересовал пейзаж, хотя пейзажа никакого и не было — у самой дороги отвесно громоздилась каменная, причудливо поросшая ежевичными и терновыми кустами стена.

— Не иначе как ростовские сработали, — продолжал младший.

— Может, и свои, даже верней — из самих банковских или почтовых, — умудренно

предположил старший.

— Э-э, квалификация не та!.. Вот нам бы с тобой, Аполлоныч, такие суммы, да в оборот или в тотализатор! — с горестно-сладостной мечтой в голосе протянул напарник. — Взяли бы они в долю, не отказался, вот тебе истинный крест!

— А если схватят и в кандалы?

— Да вот же — схватили, накось!.. Теперича они, считай, в «Бель-Вю» гуляют, французское шампанское рекой!

— Тут-то их и на крючок. Сработали чисто, а как бражничать начнут — их и цап-царап, — умудренно потряс головой старик.

— Э, мы бы осмотрительно, хоть фриштыка и от Палкина, да в нумерах-с!.. — продолжал рисовать сказочные картины младший. — Эх, молодцы! За честь почел бы лично-персонально познакомиться!

«Ну что ж, могу представиться, — горделиво подумал Антон. — Я — один из них!»

— Молодцы? А может статься, и совсем обыкновенные замухрыги, — сказал Аполлоныч. — Вот бегемот называется «гипопотамус амфибиус», а на самом-то деле — всего лишь болотная корова.

Девушка фыркнула. Антон подождал немного и полез к себе, на вторую полку.

Он тоже был в возбуждении, но в возбуждении совсем иного рода. Что значило происшествие на Эриванской площади? Случайное это совпадение или связано оно с заданием Леонида Борисовича? Скорее всего, связано: больше ничего ни на площади, ни во всем городе за эти дни не случилось. Какова же тогда его, Антона, роль? Опять и опять, все в новых деталях и подробностях восстанавливал он события, которые уложились в какие-нибудь пять-десять минут.

Перед тем, по приезде в Тифлис, он два утра кряду фланировал по площади, даже в ранний час заполненной такими же молодыми бездельниками, и гадал, что же должно здесь произойти. Площадь была широкая, просторная, покатая. Вдоль нее стояли особняк редакции официального издания канцелярии наместника — газеты «Кавказ», городская управа, здание гостиницы. Тут же тянулись торговые Солдатские ряды, напоминающие петербургский Гостиный двор. На углу находился штаб военного округа. От штаба за угол улица вела к дворцу и канцелярии наместника. У штаба вышагивали часовые с винтовками на плече. На самой площади, перед входом в управу и у рядов наблюдали порядок несколько городских в фуражках темно-зеленого сукна, с гербами наместничества на околышах. Обычно тут же прогуливался и пристав, почтительно козырявший именитым горожанам. Изредка площадь пересекали открытые ландо и ломовые битюги, которые везли бумагу в типографию «Кавказа», товары в лавки и бочонки с вином.

Часы проходили тихо-мирно, и после полудня Антон возвращался в дядюшкин дом. Он уже начинал досадовать на Красина: не избавился ли Леонид Борисович от докучливого студента, отправив его так далеко?..

Это утро тринадцатого июня тоже началось как обычно. Антон уже переглядывался с некоторыми из девиц в белых платьях, тоже каждый день фланировавших по площади, а с несколькими молодыми людьми, как и он — студентами на каникулах, попивал сухое красное вино в сумрачном подвальчике ресторана «Телипучури», выходящего на Эриванскую. И в этот час, около одиннадцати, он потягивал густое, терпко-горьковатое, почти не хмелящее кахетинское, когда с улицы, с солнца, быстро сбежал по ступенькам молодой грузин и что-то сказал сидевшим за бутылками нескольким своим соплеменникам. Те взяли узелки и поднялись. Антон как раз допил свой стаканчик и вышел вслед за ними. После сумрака погребца свет на площади резал нестерпимо. Студент зажмурился. Когда открыл глаза, увидел: молодой офицер спрыгнул с пролетки и быстро идет через площадь, показывая руками, чтобы прохожие отошли в сторону, освободив проезжую часть. Антон почему-то заметил и другого человека: он шел и вдруг остановился как вкопанный и развернул газету.

Тут со стороны Лорис-Меликовской показались верховые казаки. Их карабины лежали

поперек седел. За казаками катили два фаэтона. Позади и по бокам их тоже ехали казаки и несколько полицейских стражников. При виде кавалькады Антон подумал было, что это выезд самого наместника, генерал-адъютанта Воронцова-Дашкова.

Экипажи поравнялись с рестораном, и студент с удивлением определил, что столь грозный эскорт сопровождает двух невзрачных чиновников в первой карете и двух во второй. «Чего это им такой почет? Или, может, арестанты?» Экипажи проехали. Головные казаки уже начали сворачивать у штаба округа на Сололакскую, как вдруг Антон увидел летящие в воздухе свертки. Тут же раздался страшный грохот. Там, где были казаки и фаэтоны, за клубился синий дым, вспыхнул огонь. Ударило в уши, со звоном посыпались стекла. От неожиданности Антон припал к земле, прижался к стене. Он видел, как сквозь клубы дыма к фаэтонам бросились фигуры с пистолетами в руках, стреляя в воздух. Потом снова грохнули взрывы, площадь окуталась густым дымом. Из него вырвались лошади. На оборванных постромах они несли карету к торговым рядам. Наперерез бросился мужчина. Снова ударила бомба. А потом юноша увидел, как офицер — тот, который оттеснял прохожих, — на пролетке уносится прочь, в сторону дворца наместника. Офицер промчался совсем близко от Антона, и студента поразило его бледное лицо. Хлестнули выстрелы, залились пронзительные полицейские свистки — и все было кончено.

Когда дым рассеялся, Антон, поднявшись и отряхиваясь от пыли, увидел развороченные тлеющие фаэтоны, нескольких казаков, которые лежали в неестественных позах, и ползущего к нему раненого стражника с выпученными от ужаса глазами.

Скоро площадь была оцеплена полицией, и всех, кто оказался на ней, повели в управу, превратившуюся в участок. Допросы снимали сердитые жандармские офицеры. Они обрывали болтовню и требовали быстрых и точных свидетельств: кто таков, откуда, зачем был на площади, что видел относящееся к происшествию.

Испуг у Антона прошел. Наоборот, он чувствовал нервную потребность говорить. «Нет, держи язык за зубами, будь осторожен!..» И когда подошел его черед давать ответы на вопросы офицера, он сказал о себе все, как оно было и как наставлял Леонид Борисович: студент из Питера, приехал погостить к дядюшке, видеть ничего не видел, только слышал взрывы. Нескольких тут же взяли под стражу. Остальных, продержав до вечера и проверив истинность фамилий и адресов, отпустили.

На следующий день с утра он был на Эриванской. Любопытных собралось там видимо-невидимо, со всего города. Дома на площади, с выкрошенными стеклами, где с пустыми оконными рамами, а где затянутыми бумагой, фанерой или занавесями, являли жалкое зрелище. В толпе передавались все более фантастические рассказы — и каждый второй, оказывается, был очевидцем. Вдоль площади, посреди нее и у всех домов вокруг мельтешили мундиры городских. Антон подумал, что теперь вряд ли что еще здесь случится. И следующим утром уже сел в петербургский поезд.

Лежа на полке, подставив лицо угарному дымному ветру, он думал: кто те бесстрашные люди? Во имя чего они шли на такой риск? Напала ли полиция на их след или так и сошло все безнаказанно? И, главное, в чем его участие в этой истории?.. И отвечал себе, хотя и не хотелось самому в этом признаться: «Ни в чем». Зачем же тогда посылал его Красин за тридевять земель? И ждет ли Леонид Борисович его возвращения?.. Скорей, скорей в Питер! Все выяснить, получить объяснения и пусть даже убедиться в своей ненужности!

Поезд шел небыстро. Проводник трижды в день обносил пассажиров густо заваренным чаем в стаканах с подстаканниками. От зноя, от духоты у Антона гудела голова. Да еще такие соседи! И все остальные попутчики не вызвали у него никакого интереса: мелкие чиновники, купчики, коммивояжеры... Правда, в купе через дверь он заметил молодого человека в студенческой куртке, ровесника, разве что на два-три года постарше его самого. Парень был темно-рус, волосы прямым пробором распались на две стороны. Круглое лицо его с правильными крупными чертами, с едва пробивающейся растительностью на



подбородке было смешливо и добродушно. Ничего особо привлекательного Антон во внешности парня не нашел. Но показался странным взгляд его глаз — круглых, карих, под темными дужками бровей. Что-то знакомое, словно бы они уже встречались ранее по какому-то очень важному поводу, связывалось для Антона с этим взглядом. Но как он ни мучился, так и не мог вспомнить. Где, когда могли они встречаться? Тьфу ты, черт!.. Может, просто показалось? Но тогда кого же другого напомнило?

Первый раз, когда столкнулись они в коридоре, Антону почудилось, что студент тоже дрогнул узнающим взглядом. Но потом, попадая на Антона, сосед смотрел на него безразлично-любезно, как и глядят на временных, лишь случаем сведенных попутчиков. На третьи сутки — а дорога-то дальняя, больше двух с половиной тысяч верст — все перезнакомились. И Антон уже знал, что молодой человек едет в столицу погостить, и едет впервые. Значит, видеться раньше они и не могли, если только не оказались где-то за столом в самом Тифлисе. Да и голос у парня был совсем незнакомый — хриплый, с дребезжинкой, будто застуженный.

А, какая забота! Хорошо, хоть и такой нашелся, все же и ровесник, и студент. Иначе и вовсе со скуки умрешь... К тому же парень был общителен, угощал вином из резного овального бочонка «Уж эти провинциалы!» — снисходительно думал Антон, однако от приглашения отведать имеретинского не отказывался. Как-то за стаканчиками затеяли они разговор о смысле жизни. Попутчик поднял стакан на свет, вино засверкало рубином, а он изрек:

— Жить весело, дорогой, вот и весь смысл, нет? Гуляй, люби, а?

— На скачках выигрывай и проигрывай? Ради этого стоит жить?

— А ради чего тогда, дорогой?

— Сократ говорил: нужно есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть.!

— О, большой мудрец он был! «Есть, чтобы жить...» Да, не будешь есть — с голоду помрешь... Мудрец правильно сказал. А ешь, вино пьешь, девушек любишь — и хорошо, жить можно, а?

— Счастливый ты, все тебе просто и ясно... — с тяжестью в душе проговорил Антон. — Конечно, самые мудрые высказывания мудрецов для нас как лекарства, которые мы не знаем как и от каких болезней применять. Ведь наступает в жизни момент, когда каждый вдруг задает себе вопрос: «Зачем, во имя чего нужно, чтобы я дышал, думал, в общем, жил?»

— Каждый, дорогой? А я вот и не думал об этой белиберде никогда, зачем думать? Раз живу, значит живу. Как там поют: «Пить-гулять будем, а смерть придет — помирать будем!» Давай еще налью. За твоих близких, за твоих родителей, чтобы здоровы и счастливы они были, чтобы болезни и несчастья обходили твой дом, чтобы твои враги языки проглотили! До дна пей, до дна!

— Неужели так ни разу ты и не подумал? — спросил хмелеющий Антон. — У тебя что — горя не было в жизни?

По лицу парня скользнула тень. Но он тотчас улыбнулся:

— Зачем о горе? Паровоз едет, вагоны едут, вино еще есть, скоро в Питере будем — зачем говорить о горе?

Он снова наполнил стаканы:

— А ты сам придумал: зачем живешь?

— Если есть в жизни смысл, то только один: бороться с несправедливостью, чтобы те, кому сегодня тяжело, жили лучше.

— О, да ты, дорогой, соцьялист, видать? Опасный человек! — парень погрозил пальцем. — А не страшно?

— А вот они, те, кто на Эриванской жизнями рисковали. Думаешь, им не страшно было? Для того рисковали, чтобы было золотишко пить-гулять? Думаю, не ради этого...

Антон снова вспомнил сизый дым и вырывающиеся из него сгустки огня. И солдата с вытарашенными глазами, на четвереньках ползущего по мостовой.

— Не-ет, не чтобы пить-гулять они бомбы бросали!

— Чего ты так горячишься, дорогой, а?

Кавказец округлил глаза и выразительно посмотрел на юношу. Антон вспыхнул, но многозначительно промолчал. Взял стакан:

— Давай за смелых людей, которые знают смысл жизни!

— Давай, давай, — согласился парень, — почему не выпить, когда хороший тост есть? И не всем же мышами быть, надо кому-то и кошками, а?

Тифлисский студент казался Антону симпатичным. Но все еще не оставляла его мучительная и тревожная мысль: «Где я его видел прежде?» И взгляд его казался странным. Так бывает, когда человек косит: вроде бы и на тебя смотрит, а вроде и мимо.

В Петербург поезд пришел ранним утром. Перрон был оживлен. Бежали встречающие с цветами. Толкались носильщики с латунными бляхами на фартуках.

Антон выбрался из-под дымных сводов вокзала на Знаменскую. Площадь была запружена экипажами. Очнувшиеся от дремоты ваньки зазывали клиентов.

Антон увидел своего попутчика-студента. В одной его руке был старый макинтош, а в другой большая фанерная коробка со шляпой. Антон еще в вагоне заметил ее, выпирающую круглым желтым боком с багажной полки. «Всего-то и имущества, — насмешливо подумал он. — С новой шляпой — привет столице!»

— Вам куда надо? — окликнул он провинциала.

— Да вот на Выборгскую сторону.

— Вы в Питере впервые? Ладно, покажу. Это мне почти по пути, — с покровительственной ноткой сказал он. — Да и дешевле вдвоем ехать, всего по три гривенника с носа.

— Пожалуй, — в некотором раздумье согласился тифлисец. — Какой огромный город, ай-я-яй, заблудишься — собственное имя потеряешь!

Они взяли одноконный экипаж подешевле. Провинциал бережно поставил свою шляпную коробку в ноги и устроился на вытертом сиденье бок о бок с Антоном.

— Мне — на Моховую, а его — на Выборгскую, — сказал Антон кучеру.

Прямо от Знаменской площади открывалась перспектива Невского. Утро было солнечное, но, видно, после недавнего дождя мостовая влажнела и дымка растушевывала даль проспекта. Парни попросили кучера откинуть верх экипажа и теперь такими франтами катили по главной магистрали столицы. Кавказец крутил головой и ахал от восторга. Лицо его так и сияло. Антон взял на себя роль чичероне, показывал на исторические здания и снисходительно пояснял, чем именно они знамениты.

Извозчик собрался уже сворачивать на Литейный, но кавказец показал на видных впереди по Невскому бронзовых коней Клодта на мосту через Фонтанку.

— Тоже знаменитые, а? Там нельзя поехать-поглядеть?

— Можно и там, — поощрительно согласился Антон. — Крюку почти никакого. Да, это знаменитый Аничков мост. А эти скульптуры — всемирно известные «Укротители коней». Тут раньше стояли другие кони того же Клодта. Два из них Николай I отправил в Берлин, они установлены там перед королевским дворцом. А еще два — в Неаполь, в королевский парк. Но эти еще лучше прежних.

Под вздыбленным конем они свернули направо, на набережную Фонтанки.

Антон объяснил:

— Вот в этом угловом доме жил Виссарион Григорьевич, слышал такую фамилию: Белинский?

Парень покорно кивнул. Мелочные магазинчики в первых этажах были еще закрыты. Фонтанка делала изгиб, и с нею поворачивала и набережная.

— А в этом доме бывает Лев Николаевич Толстой, — продолжал студент.

Далее следовали парадная колоннада и лестничный марш училища святой Екатерины. Вплотную к училищу примыкал роскошной чугунной оградой с золочеными факелами

поверху дворец графа Шереметева. Фамильный герб над воротами и на фронте дворца изображал двух львов с лавровой и пальмовой ветвями в лапах, со щитом, короной, мечами и крестами.

— Ой-е-ей! — только и пропел кавказец.

За Симеоновским мостом на противоположной стороне реки поднимался из зелени шлем-купол цирка Чинзелли и вплотную к нему примыкал Инженерный сад. Над вековыми липами плыл в небе золоченый шпиль оранжевого Инженерного замка. А по эту сторону шли старинные, классического стиля, здания министерства императорского двора, дворец графини Левашовой и князя Вяземского. Добродушные львиные морды глядели с фасада. Каждое здание было хранителем какой-нибудь легенды, и провинциал внимал Антону с благоговением.

Они подкатывали уже к Пантелеймоновскому мосту.

— А это что за дом, дорогой? — неожиданно спросил кавказец и дотронулся ладонью до спины кучера. — Придержи, будь любезный!

Попутчик показывал на ничем не примечательный снаружи, однако ж известный каждому петербуржцу дом департамента полиции. В этот час вдоль него прохаживались стражники, а к желтым дверям под чугунным навесом спешили чиновники в сюртуках и жандармских мундирах.

— Какую историю ты об этом доме расскажешь, а? — в тоне попутчика, в его взгляде была открытая насмешка. — А хочешь — я расскажу? Может быть, сойдем, пройдем, а?

Антон обомлел: «Попался! Как глупо!..»

— Поехали! — ткнул кучера рукой кавказец и улыбнулся до ушей, довольный произведенным эффектом. — Тебе, говорил, на Моховую? Зачем же крюк делать? Сейчас за угол, по Пантелеймоновской ближе. Не у пожарной части твой дом? Как раз по пути будет, а?

Он заговорщицки прихлопнул Антона по плечу, странно посмотрел, будто кося взглядом, и начал втолковывать кучеру, как лучше и ближе проехать переулками на Моховую.

Юноша сидел в немом изумлении, в поту. «Где я его видел раньше?» — сверлило в мозгу, но вспомнить он так и не мог. Он сошел у своего дома, вяло кивнул попутчику и, притворив дверь подъезда, прежде чем подняться в квартиру, посмотрел сквозь узорное стекло, как отъезжает экипаж. Парень же отвалился на потертую спинку сиденья, взгромоздил ноги на свою дурацкую шляпную коробку и, все еще самодовольно улыбаясь, приказал извозчику:

— А теперь на Финляндский вокзал, дорогой, да побыстрей, прошу тебя очень, можешь ты быстро-быстро?

Антон подождал, пока смолкнет дребезжание фаэтона, и, перепрыгивая через три ступеньки, понесся по лестнице вверх, у двери начал яростно крутить кольцо звонка. Дверь распахнулась.

— Тони! — мать обняла его и подставила щеку для поцелуя. — Приехал! Что так быстро?

Она с горделивой, ревнивой радостью оглядывала сына:

— Ну и слава богу, что-то тяжело было на душе... Соскучилась!

«А я, свинья, ни разу и не вспомнил о маме», — смущенно подумал он, прижимаясь губами к ее мягкой душистой щеке.

— В ванну! Все с себя брось в корзину. Позавтракаешь — и спать, — уже распорядилась она. — Устал, конечно?

— Нет, мама, — обнимая ее за плечи и ведя в комнаты, ответил он. — Да и недосуг спать, есть дела... Никто меня не искал?

Мать поняла по-своему:

— Конечно, Елена что ни день прибегала. С воскресенья они всей семьей уже в

Куоккале.

«И о Ленке ни разу не вспомнил!» — снова удивленно подумал он.

За завтраком он ловил на себе влюбленно-обеспокоенный взгляд матери, рассеянно отвечал на ее вопросы о Тифлисе, о дяде и его семье, о своем времяпрепровождении там, ни словом не помянув о событии на Эриванской, и сам с теплым чувством разглядывал ее. Мать уже оправлялась от перенесенного несколько месяцев назад потрясения. Морщинки смягчились, разглаживались. На ее лице уже не было той маски испуга и страдания, какую наложила трагическая смерть отца. Лишь в светлых волосах жестоко проблескивали седые нити. Но все равно она скорее выглядела как много пережившая молодая женщина, чем как моложавая преклонных лет дама. «Родная... — тепло шевельнулось у него в груди. И вдруг он подумал: — А ведь я, приняв решение, и не помыслил, что принесу ей новое горе — меня же ждет или казнь, или каторга — как пить дать!..»

— А больше никто не звонил, не приходил?

— Были твои институтские. Олег заглядывал. Удивился, чего это ты в Тифлис помчался... Станный он, этот твой Олег.

— Ну уж мой!

Антон не рассказывал матери о стычке с Олегом тогда, за час до демонстрации. Теперь это казалось ему таким глупым мальчишеством! Но с Олегом после той ссоры он держал себя холодно, хотя приятель делал вид, что ничего между ними не произошло, и в похоронах отца деятельно участвовал, и вот теперь, оказывается, прибегал... Антону сейчас как никогда нужен был друг, с которым можно обсудить все. Но Олег не был для него таким другом. А кто был? Костя... Но его нет. Вот так. Знакомых, приятелей пол-Питера, а одного-единственного и нет!.. Но все равно даже самому душевному другу он не рассказал бы всего, что знал о тифлисском происшествии. Хотя, впрочем, что он знал? Может быть, задание, полученное от Леонида Борисовича, и бомбы на Эриванской — случайное совпадение? Тогда зачем же посылал его инженер в наместничество? Нужно скорей, как можно скорей встретиться с ним! Вдруг Антон преждевременно уехал из Тифлиса и именно сейчас, в этот момент особенно нужно его присутствие там? Ведь Красин сказал: «Пробудешь там неделю». А он всего четыре дня. Как эта мысль не пришла ему раньше? Скорей, скорей к Красину!

Но как увидеться с ним? В контору он запретил приходить. Значит, к нему домой тем более. Позвонить? Почему бы и нет? Сам же он звонил. В адресной книге Антон отыскал: «Красин Леонид Борисович — инженер-технолог. Невский 40-42. Телефон 32-23». С трепетом набрал номер. Квартира не отвечала. Гудки гулко бились, казалось, о пустые стены. Конечно, инженер уже давно на службе. Если позвонить в контору? Кто догадается, что это звонит именно он? Антон отыскал телефон «Общества электрического освещения» — 9-83. Не успел диск затормозить, как в трубке щелкнуло и раздался молодой, с ласкающим прищептыванием голос:

— Алло, вас слушают.

Антон вспомнил крахмально-батистовую секретаршу с блестящими глазами под челкой:

— Здравствуйте, суда... — тут же спохватился и, изменив голос, солидно попросил: — Соболаговолите господина первого инженера...

Ему послышался легкий смешок. Следом Зиночка нараспев ответила:

— Леонида Борисовича и нет, и близко не будет. Они взяли отпуск. — Потом наступила легкая пауза, и с тем же ласковым придыханием Зиночка спросила: — И ежели не ошибаюсь, это вы, господин студент?

Антон бросил трубку на рычаг, крутанул ручку, давая отбой. «Ах, как глупо! Хотя что там эта девчонка, пустяки... Но где же его искать?»

Он начал машинально перебирать газеты и журналы, заботливо сложенные матерью на его рабочем столе. И увидел конверт: «А. В. Путко». Обратного адреса на конверте не было. Внутри же оказался листок с осьмушку:

«Дорогой Антон! Жду вас по адресу: ст. Куоккала, дача Степанова (пятое строение справа от станции по ходу поезда).

*Ваш Л. К.»*

«Эх, напрасно поторопился со звонками!» — подумал он и начал одеваться.

Увидев его в куртке, с дорожной сумкой в руке, мать подняла брови:

— Ты куда?

— В Куоккалу. Понимаешь... — начал он.

— Понимаю, — она грустно улыбнулась. — Не можешь после обеда? Мы с Полей утку с яблоками решили, твое любимое блюдо.

— Я очень тороплюсь... За ужином съедем!

— Ну хорошо, — на глазах ее навернулись слезы. Она стала так, чтобы сын не увидел их. — Передай поклоны Лене и ее родным. Ты же знаешь, Травины мне очень симпатичны.

«Вот оно что. Она думает, что я к Ленке. Да, ведь она тоже в Куоккале...»

Он ласково стиснул ее руку.

Подъезжая к дачному финскому поселку, он гадал: пойти сначала к Травиным, а потом разыскать Леонида Борисовича — или наоборот? Наверно, надо бы сначала к ним. Если за Антоном следят шпики, а Красин не хочет, чтобы их видели вместе, лучше пойти к Травиным, а потом, как бы между прочим... Следят или не следят? Он откинулся на спинку скамьи и начал неторопливым взглядом обводить пассажиров дачного полуоткрытого вагона. Кто дремал, кто читал, кто лузгал семечки или грыз колбасу. Компания навеселе мусолила карты. Шептались и прыскали в кулачки девицы... Нет, не видно. Разве шпики такие? «А! Сначала разыщу дачу Степанова, — решил он. — Не так-то просто будет ускользнуть из-под опеки Ленки и ее мамы». На самом-то деле ему не терпелось получить ответ на мучившие вопросы.

Он подождал, когда выйдут все пассажиры, и покинул вагон последним. И направился не по ходу поезда, а по тропинке, ведущей от станции направо, в глубь леса. Меж сосен и елей то там, то тут проглядывали бревенчатые стены дач. Отойдя на порядочное расстояние, он свернул на тропинку, пролегшую меж оградами параллельно железной дороге. «Вот как ловко! — горделиво думал он. — Леонид Борисович похвалил бы!»

Уже подходя к забору, за которым, как полагал он по отсчету, должна была быть дача Степановых, Антон увидел неизвестно откуда вынырнувшую фигуру и обомлел: чертовски знакома! Да, та же самая студенческая куртка, та же темно-русовая голова! Его попутчик по тифлисскому поезду!

Антон спрятался за дерево. «Провинциал» сделал еще несколько шагов. Остановился. Не торопясь обернулся. Да, никаких сомнений — он! Круглое лицо, круглые глаза под темными бровями и пробор на две стороны! Антону показалось, что парень заметил его, задержался на нем своим странным взглядом. Это наваждение длилось миг. Парень словно бы прощупал кусты и деревья, снова повернулся и через несколько шагов свернул в сторону, исчез за ветвями. Антон подождал, смиряя учащенно бьющееся сердце, и быстро зашагал к даче Степанова. Вот и она. Юноша отворил звякнувшую колокольцем калитку, взбежал на застекленную веранду, постучал в дверь. Она свободно открылась.

На веранде, за столом, за попыхивающим сверкающим самоваром сидели Леонид Борисович и еще один мужчина — широкоплечий, с буйной шевелюрой на крупно слепленной голове, с пышными, запорожскими, торчком в стороны, усами.

— А вот и он! — обрадованно воскликнул, поднимаясь Антону навстречу, инженер. — Здравствуй! — Он протянул студенту руку: — С благополучным возвращением!

Антону лицо Красина показалось осунувшимся, желтым, а рука — неестественно сухой и горячей. «Болен?» — с тревогой подумал он.

Леонид Борисович, полуобернувшись, представил его мужчине:

— Тот самый Антон. Познакомьтесь.

Юноша молча пожал руку мужчине, в растерянности огляделся.

Красин понял его замешательство:

— Феликсу можешь доверять так же, как и мне. Чем ты так взволнован?

— За вами следят! Только что, минуто назад, я видел около вашей дачи очень подозрительного человека!

— Кто такой? Почему подозрительный? — быстро спросил Феликс. — Как выглядит?

Антон описал внешность «провинциала», рассказал, как познакомился с ним в вагоне, как ехали они по Невскому и как тот прокатил его мимо департамента полиции по Фонтанке.

По мере рассказа лицо Феликса все шире расплывалось в улыбке, кончики усов поднимались, зато Леонид Борисович мрачнел и стал совсем мрачен, когда Антон поведал, как кавказец предложил ему: «Может быть, сойдем, пройдем, а?»

— А раньше ты этого субъекта не встречал? — спросил инженер.

— Н-нет... — неуверенно протянул Антон. — Хотя... Вроде лицо чем-то знакомо... Взгляд... Я сам думал...

— Где он там запропастился? — Красин повернул голову к Феликсу. — Покличь-ка молодца.

— Семен! — зычно крикнул Феликс.

Дверь с веранды в комнату отворилась — и в проеме встал «провинциал». Антон почувствовал, как у него подкашиваются ноги.

— Он?

Юноша впился в темнوبرового парня взглядом. И вдруг вспышкой молнии все высветилось: он же видел его две недели тому выходящим из кабинета Красина в конторе на Малой Морской, только тогда «провинциал» был с бородой и в поддевке. Но это что! Другой раз Антон видел его в Тифлисе, на Эриванской — молодого офицера, спрыгнувшего с пролетки и отеснявшего с дороги гуляк, а потом среди огня и клубов дыма уносящегося прочь с площади. Он! Никакого сомнения — он! Как же раньше Антон не догадался?

У него даже зашумело в голове.

— Прежде чем подробно расскажешь обо всем, что ты видел и слышал в Тифлисе, повтори, как вы с их светлостью продефилировали по Фонтанке, — тяжело, словно бы пересиливая себя, проговорил Леонид Борисович, и Антон снова подумал: «Болен!»

— Я... Я не хотел... — юноша виновато посмотрел на попутчика. — Я ведь подумал...

— Чего ж смущаться? Мы говорим друг другу только правду, какой бы она ни была — приятной или неприятной, прекрасной или страшной, не прикрашивая ее даже на самую малость и даже из самых лучших побуждений. Ибо нет опасней лжи, чем слегка извращенная правда. Ну, смелей!

Антон повторил рассказ, под влиянием сурового напутствия Красина восстановив и те подробности, которые прежде посчитал лишними: как его спутник прикинулся провинциалом, никогда прежде не бывавшим в Питере, а потом сам же показал кучеру, как ближней дорогой проехать к Моховой. Феликс слушал с не меньшим удовольствием, чем в первый раз, хохотал, покручивал ус:

— Натура! В этом вся его натура!

Глаза же инженера зажглись недобрым огнем. Досадливым движением он провел по переносице пальцем и оборвал Антона:

— Хватит!

Повернулся к «провинциалу».

— Фанфарон. Если бы сказал заранее, что собираешься разыгрывать спектакли, я не поручил бы тебе такого ответственного задания. Во всяком случае, учту на будущее.

— Я? Какой спектакль, дорогой? Я просто хотел у них под носом — нате-кусите! Никакой спектакль!

Он зло покосился на Антона. «Ах, как я его подвел! — с досадой подумал юноша. И снова его осенила мысль: — Неужели?..»

Он поискал глазами. На веранде, в углу на тахте лежала открытая, гнутой фанеры,

желтая шляпная коробка.

«Неужели четверть миллиона было в ней?»

Он вспомнил, как выглядывал круглый бок этой коробки с багажной полки в купе, на виду у всех, как лежала она в их ногах, когда ехали они мимо департамента полиции. «Вот это да! Вот это герой!» — он с восторгом уставился на парня.

— Нет, это дело мы так не оставим, чтобы впредь неповадно было, — твердо сказал Леонид Борисович. — Меру воздействия мы обсудим с товарищами. Обязательно расскажу и Ивану Иванычу.

— Нет! — взмолился парень. — Только не ему!

— Расскажу, — жестко повторил Красин. — Однако и довольно об этом. Теперь выслушаем рассказ Антона о том, как происходила экспроприация — глазами стороннего наблюдателя.

«Стороннего наблюдателя! — обида обожгла юношу. Он опустил голову. — Он герой, а я!.. Так вот зачем я был им нужен в Тифлисе! Сторонним наблюдателем!..»

— Напрасно, — легко дотронулся пальцами до его плеча Леонид Борисович. — Во-первых, нам нужна объективная информация. Во-вторых, если бы в Тифлисе случилось что-нибудь непредвиденное, ты был бы единственным человеком, который мог сообщить нам об этом. Это было ответственное поручение — мы доверили тебе очень многое.

«Да, правда, — у Антона отлегло от сердца. Он поднял голову и улыбнулся. Теперь ему было нестерпимо стыдно. — Тоже разыгрываю спектакль. Как сопливый мальчишка!..»

Красин уловил смену его настроений, его замешательство:

— Но прежде чем приступим к обсуждению, пора вам и познакомиться, тем более что в будущем вам, наверно, придется работать вместе. И показал на него «провинциалу»:

— Сын моего давнего друга, хочет работать в боевой группе. — Он обернулся к Антону: — Придумай себе кличку для конспиративной работы.

— На Металлическом, у дяди Захара, меня звали Мироном... Но теперь я хочу — «Отцов», — сказал он.

— К сожалению, один Отцов у нас уже есть. Запутаемся.

— Тогда... Тогда пусть «Владимиров».

— Ладно, — согласился Леонид Борисович. — Хоть и прозрачно, но я понимаю тебя... Пусть будет Владимир. А этот удалец, — все еще сухо кивнул он на «провинциала», — наш старый товарищ, подпольщик-профессионал Камо.

Антон и Камо пожали друг другу руки. Юноша вложил в это рукопожатие все свое восхищение «старым профессионалом», который был всего на три-четыре года старше его самого. В ответном движении Камо и в его странном взгляде он почувствовал, что горячий кавказец еще не простил своему новому знакомому невольного разоблачения.

— Итак, шаг за шагом, минута за минутой: как все произошло, сколько жертв в действительности, что говорят в городе, давай.

Антон начал рассказ. Камо временами останавливал его, дополняя и поправляя. Красин и Феликс переспрашивали, уточняли. Рассказывая, Антон ловил на себе пристальный, оценивающий взгляд усача. «Чего он так смотрит? Кто он?»

Когда он кончил, Леонид Борисович сказал:

— Возможно, Антон, тебе предстоит принять участие еще в одном деле. На этот раз активное участие. — Он посмотрел на Феликса. Тот кивнул. — Ты можешь приехать сюда и завтра?

— Могу и не уезжать, — юноша рассказал о Травиных, о том, что на их даче его всегда ждет комната.

Красин знал профессора.

— Помнится, у него очень милая дочь?

— Да, очень! — простодушно воскликнул студент.

— Отлично. Погости у них. Завтра, часам к девяти, приходи сюда, к тому времени мы с товарищами все окончательно решим. — И протянул на прощанье руку: — До встречи,

товарищ Владимиров.

Антону показалось, что пальцы Леонида Борисовича стали еще горячей и суше.

Радостный, возбужденный неизвестно отчего, Антон, посвистывая и подшибая ботинками шишки, торопился к Лене. Дача Травиных была по левую сторону от железной дороги, почти на самом берегу Финского залива, — благоустроенная вилла с причудливыми башенками и резными, под старину, входившими в моду наличниками, карнизами и ставнями.

Еще издали он увидел среди зелени и золотистых стволов сосен белую фигурку. И, приложив ладони ко рту, крикнул:

— Ау-у!.. Ле-на-а! Ау-ууу!..

Девушка, подобрав юбки, выбежала к нему навстречу. Лицо ее радостно засияло:

— Ты! Вот хорошо-то!

Метнув шаловливый взгляд в стороны, она прильнула на мгновение к его груди, толкнула в грудь кулачками:

— Наконец-то! Ну, здравствуй! Как ты добрался? Утренний поезд давно был, а вечерний еще не пришел.

— На крыльях летел! — радостно улыбнулся Антон. — Из самого Тифлиса! Над горами и долами — ж-ж-ж! — он изобразил, как летел. — Не прогоните, если денек я у вас побуду?

— Что ты! Вот хорошо-то! — она даже захлопала в ладоши. — Комната твоя тебя ждет. Купаться будем! По землянику пойдём в лес!

Счастливая его приездом, разгоряченная, она сияла и была чудо как хороша. Антон притянул ее к себе и, не боясь, что увидят, поцеловал.

— Ты такая красивая! Ну, необыкновенно!

Она стыдливо высвободилась:

— Не надо... Подожди!..

Через час после обеда и уже собравшись на море, Антон по дороге отправил домой телеграмму о том, что остается погостить у Травиных.

Залив у Куоккалы, впрочем, как и по всему побережью, был мелок. Чтобы добраться до глубины, нужно было шлепать по воде чуть ли не километр. Зато пляж — чистейший белый песок, а сразу за пляжем стеной стоял сосновый лес, перемежающийся дубравами и ельниками. Лес начинался на прибрежных дюнах и разливался душистым зеленым морем, скрывая дома, дороги в мрачноватой своей глубине, под сводами развесистых крон. И подстилка леса была мягкая: наст хвои, вереск, кусты созревающей черники. По склонам дюн и оврагов щедро рассыпалась земляника, из мха выглядывали непривычно рыжие шляпки грибов-дубовиков.

Лена убежала вперед и через несколько минут вернулась, неся в ладони, сложенной чашечкой, горсть земляники:

— Возьми! Как она пахнет!

Антон начал есть из ее ладони, подхватывая губами по ягоде, чтобы продлить удовольствие.

— Ты как теленок! — она расхохоталась. — Только он еще и сопит вот так, и пахнет от него парным молоком!

— А ты лесная царевна! — он раздавил губами последнюю ягоду и лизнул ее ладонь, окрашенную соком земляники.

Она снова рассмеялась. Поймала его взгляд:

— Нет! Никаких глупостей! Купаться! Купаться!

И побежала меж сосен к берегу, на песке на ходу сбросила туфли и халат и, подняв вихрь брызг, вбежала в воду. Вода едва поднималась до ее колен. На белесо-голубом фоне картинно четко обрисовывалась ее фигура.

«Как хороша! — горделиво подумал Антон. И мысленно добавил: — Моя!...»



Они добрались-таки до глубоководья. Здесь ветер гнал легкую упругую волну. Вода была чистейшая, зеленым хрусталем просвечивала до дна, увеличивая в живой линзе голыши на песке, замершего краба, стаи иглообразных рыбешек. Еще дальше в море возвращался с промысла рыбацкий баркас под парусом. Над ним носились, стригли воздух и кричали чайки.

Антон плыл рядом с Леной. Подныривал, кувыркался, как расшалившийся дельфин, старался как бы невзначай дотронуться до нее и в холодноватой воде чувствовал чуть ли не ожог от этих прикосновений.

Солнце садилось впереди, за морем. Красный чистый шар повис над горизонтом, казалось, помедлил и стал разливаться, покрывая воду огненно-блестящей пленкой.

— Поплыли назад, я устала.

Они выбрались на сухой песок, когда небо и вода уже стали сиреневыми.

— Брр!.. Холодно!

— Пошли под деревья, здесь тянет ветер.

В лесу Лена сказала:

— Отвернись, я переоденусь.

Он отвернулся. Не выдержал, шагнул к ней:

— Ленка! Я не могу! Не могу!..

— Как не стыдно? — девушка запахнула халат. Глаза ее сияли.

«Моя будущая жена... — счастливо подумал Антон. Слово бы прислушался к звучанию диковинного слова и повторил про себя: — Моя женулька...»

— Как ты съездил в Тифлис? — спросила девушка. — Почему ты ничего не рассказываешь?

«Вот бы рассказать! — подумал он. — Вот бы удивилась!»

— О чем?.. Визит к родственнику. «Мой дядя самых честных правил...»

— А я почему-то беспокоилась.

— Поезд сойдет с рельсов?

— Не знаю... Ты в ту ночь был какой-то взбудораженный... И тот разговор о Сибири, о каторге.

— Надо же, запомнила! Чепуха все это.

— Нет, ты был тогда странный... Не поцеловал, когда прощались.

Он промолчал. Поймал звездочку. Прищурился. Она брызнула снопом искр.

— А ты и вправду смогла бы от всей этой благодати в Сибирь за кандалным?

Он весело запел:

Динь-бом, динь-бом, слышен звук кандалный,  
Динь-бом, динь-бом, путь сибирский дальний...  
Динь-бом, динь-бом, слышно там и тут —  
Это Антошку на каторгу ведут!..

— Весело, да? — с усталым смешком спросила она. — Надеюсь, тебе «динь-бом» не грозит: ты ведь не собираешься разбивать лоб о стену?

— О чем ты? — насторожился он.

— Обо всем, что случилось, — ответила Лена. — Я понимаю: твоя боль не утихла. И твое желание отомстить тоже понимаю. Но будь благоразумен: сколько пролито крови, сколько горя, огня, а все осталось как было, если не хуже стало.

Она приподнялась на локте и с нежностью поглядела на Антона. Протянула руку и провела пальцами по его влажным вихрам:

— Я хочу, чтобы ты был благоразумен.

— А как же кандалы? — чувствуя, как леденит сердце, спросил Антон.

— Оставь их для других, — ответила девушка и перевела разговор. — Жалко, тебя не было, а у нас в Павловском выпускной акт состоялся, собрались все институтки, и родители,

и шефы. Речи были, тосты, а потом в Казанском соборе епископ Гдовский отец Кирилл служил молебен и наш хор пел... А на будущий год и наш выпуск...

Она повернулась на бок, прижалась к его щеке губами, прошептала:

— Еще годик потерпим, да?.. Старики сказали, что отдадут в приданое за мной эту виллу. Сами они решили строить в Крыму, греть косточки. Прелесть, правда? — она поцеловала его и сладко зевнула. — Пошли домой, я уже совсем сплю.

В этот час в Петербурге, на Моховой, мать Антона получила телеграмму, прочла ее и с беспомощной грустью подумала: «Осенью, видно, и свадьба... Оно и лучше, Травинны с состоянием — не то что мы теперь... И Антон остепенился... И останусь я совсем одна. Или придется возвращаться блудной дочери с повинной головой?»

Она смахнула слезу и пошла на кухню предупредить Полю, чтобы та не готовила праздничную утку.

## **ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ДОСЬЕ ДЕПАРТАМЕНТА ПОЛИЦИИ**

### **ГЛАВА 9**

Николай проснулся с легким сердцем. С предчувствием, что день наступающий не сулит никаких неожиданностей. Открывая глаза, подумал: надо бы рассказать о сне Алис. Приятны были и реальные впечатления вчерашнего дня. Он производил на Петергофском рейде смотр первому отряду минных судов Балтийского моря и убедился в отличном состоянии кораблей и в бодром виде их команд. Ему и сейчас еще чудилось, что морской ветер холодит щеки, в ушах грохочет орудийноподобное троекратное «ура!». Каковы молодцы! Николай там же, перед строем экипажа на флагмане, объявил свое монаршее благоволение командующему отрядом контр-адмиралу фон Эссену, всем штаб- и обер-офицерам кораблей отряда. И обед был в кают-компании на славу. Кажется, перебрал малость. Но ничего, голова ясна, не ломит от вчерашнего...

Николай взглянул на жену. Она спала, отодвинувшись к дальнему краю кровати, лежа на спине, выпростав тонкие, голубоватой кожи, руки поверх одеяла, дышала неслышно. Черты ее заострились и ужесточились, она стала похожей на истовую монашку.

Вся стена позади, за изголовьем кровати, до самого потолка была увешана разнокрашенными иконами и образками, хромофотографированными или кустарно-монастырскими. Все — нынешнего времени, на сырых богомольцев рассчитанные. Однако для Николая, а особенно для Алис, в них было свое очарование, тем более что на одной богомаз изобразил сына Алексея в виде святого, с венчиком над головой. Николай полулежал, задрав голову, в который уж раз пытаюсь пересчитать иконы, но на третьей сотне сбился со счета.

Стараясь не разбудить жену скрипом пружин, он сполз с кровати, перекрестил спящую и, приподняв тяжелую занавесь полога, вышел в соседнюю со спальней комнату, в какую во все времена и все цари пешком ходили. По традиции царствующего дома Романовых стены ее были украшены портретами самого императора и ближайших его родных в милой сердцу семейной обстановке. Попасть в эту галерею считалось особой честью.

Расположенная рядом ванная с посеребренной просторной купелью тоже была по стенам в фотографиях, только на них Николай был в мундирах, в группах с офицерами или в седле. Приняв обычную холодную ванну, растеревшись жестким полотенцем и еще более ободрившись, Николай переступил порог камердинерской. Казаки-атаманцы личного его конвоя были на посту. Они лихо взяли на караул.

Царь приказал камердинеру одеть себя в дворцовую форму атаманцев — свободную малиновую рубаху с пояском, шаровары и мягкие сапоги. И спустя полчаса, выбритый, подстриженный, расчесанный, с напомаженными усами и бородой, двинулся в тихий обход своей резиденции — Нижнего дворца, расположенного на берегу залива в самом углу Александрии — императорской летней штаб-квартиры в Петергофе.

Дворец этот, возведенный еще при отце-государе по проекту архитектора главного тюремного управления Томишко, автора столь знаменитых петербургских «Крестов», не очень-то гармонировал с более ранними ансамблями Растрелли и Кваренги. Но и государю-батюшке, и тем более государю-сыну чужда была мишурная изысканность двора Людовиков. Неуклюжая, однако ж добротная постройка в духе образцового средне-помещичьего дома пришлась им куда более по душе. Отгороженная каменной стеной от прочих парков, фонтанных каскадов и садов Петергофа, глухо-лесистая Александрия была особенно любя Николаю — куда милее Зимнего, Гатчины, Царского Села и даже солнечной Ливадии. Здесь он проводил бо́льшую часть года, с ранней весны и до глубокой осени.

И вот сейчас, белым июньским утром, он, неторопливо и бесшумно ступая по коврам и дорожкам мягкими кавказскими сапогами, проходил из комнаты в комнату. Рядом со спальней располагались детские.

Николай был чадолюбив. Он испытывал умиротворение, проводя в день по полчаса, а то и по часу в играх со своими детьми. Однако долгое ожидание, когда же появится на свет престолонаследник, и драматическое разочарование, вызываемое каждый раз рождением еще одной дочери, выхолащивали отцовские чувства к продолжательницам рода по женской линии. И тем сильнее оказалось чувство, потрясшее его, когда после стольких усилий, после обращения к бесчисленным медиумам, прорицателям и спиритам, блажененьким и святым Алис разрешилась наконец наследником. Крестили цесаревича здесь же в Петергофе, в Большом дворце. В час торжества был оглашен манифест, коим отменялись телесные наказания и прощались крестьянам недоимки (и без манифеста, впрочем, безнадежно невозвратимые). Но тем больше оказалась тайная скорбь: цесаревич появился на свет наделенным фамильной болезнью вырождающегося рода Алис — герцогов Гессен-Дармштадтских, болезнью редчайшей и неизлечимой. Гемофилия — кровоточивость — возникала даже от поражения десны зубной щеткой или вовсе без причины. Каждый раз остановить кровь удавалось с величайшим трудом. Профессора медицины изрекли свой приговор: критический возраст для наследника — восемнадцать лет. Оставалось уповать лишь на чудо и чудотворцев.

Цесаревичу была предоставлена половина всего нижнего этажа царской резиденции. И самым большим во всем дворце был зал для его игр — высокооконный, открытый морю, всегда залитый солнцем, с целой горой игрушек. Игрушками были и искуснейшие стреляющие модели пушек и пулеметов, пистолетов и ружей, сабли и шпаги — преподношения атаманов казачьих войск, офицерских корпусов, купечества, заводчиков и дворянских собраний. К большинству этих остроугольных опасных игрушек цесаревич, впрочем, не допускался. А рядом с залом, в гардеробной, висели сшитые в рост наследника мундиры всех гвардейских полков и отдельного корпуса жандармов, украшенные игрушечными эполетами и аксельбантами и отнюдь не игрушечными знаками отличий и наградами.

За игровым залом и гардеробной помещалась комнатка-тамбур унтер-офицера гвардейского экипажа могучего Ивана Деревенько. Гигант унтер находился при цесаревиче неотлучно, присматривал, чтобы тот невзначай не упал, не ушибся, не оступись, и для

пушей осторожности от сна до сна таскал Алексея на руках, как в люльке. Наследник привык к ним, жестким и неразъемным, как к пухлой груди кормилицы. В этот ранний час храпел и Деревенько. Над его койкой красовалась на стене фототипия «Мать и беспечное дитя». Николай прошел мимо унтера в спальню, решив, что после завтрака накажет его: не бока отлеживать сюда определен. Мало ли что может случиться ночью с наследником! Хотя, конечно, что могло случиться, если спал он в специальной, исполненной берлинским ортопедическим институтом, кровати без единого жесткого угла, в пружинистых эластичных сетках. А рядом, в дежурной, у телефонов и сигнальных звонков, под самыми окнами и через равные расстояния по всей Александрии стояли в бессонных караулах и лежали в секретах дворцовые гренадеры, казаки-атаманцы личного императорского конвоя, солдаты сводного гвардейского и лейб-гвардии Семеновского полков; совершали обход аллей парка жандармские и полицейские патрули петергофской охраны; у всех входов и выходов дежурили агенты Санкт-Петербургского охранного отделения и третьего делопроизводства департамента полиции; а со стороны моря, в заливе, стояли в дозоре и боевой готовности на траверзе дворца крейсер «Финн», миноносцы «Видный», «Резвый» и «Громящий». И этим же рассветным часом, Николай знал, цепи саперов-гвардейцев проползают на брюхе все сто десятин Александрийского парка, бдительно проверяя и прощупывая каждую пядь, каждый куст и деревце. Что же могло случиться с цесаревичем? Но все равно: он примерно накажет Ивана.

Николай молча постоял у кровати сына, неслышно помолился, с благоговейной истовостью осенил его крестным знаменем и осторожно, чтобы не разбудить, прикрыл его ножки пуховым одеялом.

Он вышел из спальни во вторую дверь и направился в свои апартаменты.

Путь в рабочий кабинет лежал через столовую. Отделкой и всем убранством она походила на кают-компанию корабля и глядела окнами в море. Николай снова воскресил в памяти вчерашний день: «Молодцы морячки! Командирам — благоволение, а нижним чинам объявлю спасибо и пожалую-ка старшим боцманам и кондукторам по червонцу, по пятерке — боцманам, а прочим унтер-офицерских званий — рублика по три. Пусть выпьют за мое здоровье и здоровье цесаревича!..»

На том царь и решил. И с твердым этим решением отворил дверь кабинета. Но, бросив взгляд на рабочий стол, заваленный бумагами, он с тоской подумал, что утро предстоит тяжелое: чтение бумаг, прием с докладами министров. Но зато после обеда смотр на военном поле тут же в Петергофе Николаевскому кавалерийскому училищу, эскадронные и сотенные учения юнкеров. Ах, как любо это государю! В войсках, среди офицеров, среди блеска пуговиц, переклика команд и свистков, лоснящихся конских крупов, острого запаха мужского пота, он чувствовал себя превосходно, как рыба в глубокой воде. Разве сравнимо строгое, стройное, организуемое движение войска, олицетворяющее план и приказ, с хаотическим половодьем бумажных дел и даже с торжественными, чуть ли не еженедельными приемами с непременно выходами по случаям бесчисленных тезоименитств, церковных и государственных праздников. Несть числа им — алчущим, состоящим при высочайшем дворе, при императорах и императрицах, и жаждущим новых чинов, орденов и должностей. Нет, куда уж лучше, когда принимаешь парад эскадронов на дворцовом плацу, и в клубах пыли сверкают голубые клинки сабель, и темные пятна расползаются по сукну спин, и гарцуют одномастные, в злом оскале, кони, и грохочет медью полковой оркестр. И на лицах командиров и братушек-ребятушек напряжение, усердие и восторг — ничего боле. Ах, как хорошо!..

Николай уселся за стол, и сухой скрип подлокотника вернул его к действительности. Он с гадливостью придвинул ближе ворох бумаг с единственным желанием поскорей разделаться, еще до завтрака, с докучливыми обязанностями. Бумаги он не читал, а лишь листал, выхватывая взглядом отдельные строки. Накладывал резолюцию — и отодвигал прочь. Почерк государя был неровный, угловатый, но своеобразный — с длинными хвостами у букв «у» и «д» и большими усами у «б». Благодаря этим хвостам и усам строчки, если он

писал много, были связаны на листе не только по горизонтали, но и по вертикали, и страница напоминала затейливый восточный узор.

Впрочем, много писать он не любил. Лаконизму и стилю обучил Николая его наставник Константин Петрович Победоносцев. Царь испытывал чувство вины перед своим учителем, которого вынужден был под давлением смутьянов уволить в октябре пятого года от должности обер-прокурора святейшего синода. Константин Петрович был наставником еще у незабвенного отца. Александр III не принимал ни одного решения государственной важности, не посоветовавшись с обер-прокурором. Победоносцев приложил свою сухонькую, как птичья лапка, руку и к «Положению об усиленной охране», и к действующему поныне «Уложению о наказаниях», и ко многим другим основополагающим рескриптам. Он до боли зубовой не любил расходовать слова. Николай постоянно чувствует неискупимую вину перед своим наставником. Несмотря на ненависть всего общества к Победоносцеву, нынче, после манифеста, он бы вернул ему и должность и осыпал бы монаршими милостями. Но старец три месяца назад отдал богу душу, царствие ему небесное...

Следуя наставлениям учителя, Николай совершенствовал афористичность своих устных и особенно письменных выражений. Ему докладывали, что в этом он немало преуспел, превзойдя, пожалуй, всех предшествующих российских самодержцев. К примеру, когда генерал Алексеев донес с дальневосточного театра военных действий, что в его армию, сражавшуюся в Маньчжурии против японцев, прибыло четырнадцать агитаторов — «революционеров-анархистов», царь приказал ответить по телеграфу: «Надеюсь, немедленно повешены». А совсем недавно, когда во второй Думе крамольники затеяли обсуждать вопрос о пытках политических в Рижской тюрьме, он начертал на запросе вольнодумцев: «Молодцы конвойные!» Но, в общем-то, изобретать новые словосочетания он не любил и использовал надежно отработанные. Удачно применил царь их и на сей раз, украсив бумаги надписями: «Прочел с удовольствием», «Отрадно», «Приятно», «Жаль», «Не ужели», «Вот так так» и «Скверное дело».

Часть бумаг требовала не резолюций, а лишь ознакомления. Это шли проекты высочайших указов по гражданскому, военному и морскому ведомствам. Надо было или перечеркивать все эти многочисленные представления на награждения, присвоение классовых чинов и званий и увольнения с пенсиями и с правом ношения мундиров или без оных прав, или ставить литеру «Н». Сегодня у Николая было хорошее настроение, и он ни единого указа не отверг и каждый лист украсил витиеватой буквицей. Наложил он ее и на высочайший указ, гласивший:

«Бывшего главного командира Черноморского флота и портов Черного моря вице-адмирала Чухнина считать умершим от ран, полученных им при исполнении служебных обязанностей».

Поставил «Н», но подивился: почему столь поздно спохватились? Даст бог памяти, Чухнин скончался ровно год назад, был убит смутьянами в конце июня на своей даче в Севастополе.

Николай оторвался от бумаг, посмотрел в окно, на залив. По горизонту в утренней дымке голубым контуром низко выступал из воды Кронштадт, нечетко обрисовывались его форты и поблескивал купол собора. Чухнин был убит в тот зыбкий, недобрый шестой год, особенно тяжкий событиями на флотах. Николай обладал отличной памятью на фамилии, на события и даты. Но он яростно загонял в самые дальние тупики мозга воспоминания о тех днях, уничижительные и ненавистные. Однако эти воспоминания — бросишь ли случайный взгляд на море, получишь ли донесение о новых крестьянских волнениях где-нибудь в Курской губернии или на Орловщине — выползали из тупиков, как поезда вне расписания. И именно с морем, с царской усладой, больше всего и было их связано, и все они выстраивались звеньями некой мистической цепи. Бунт на броненосце «Князь Потемкин-Таврический», чуть было не повлекший восстание на всем Черноморском флоте и

получивший огласку на всю Европу; затем неслыханная смута в октябре, захватившая обе столицы и буквально заточившая Николая здесь, в Петергофе. Добровольное бегство в Александрию, а отсюда на яхту «Штандарт» было тем более унижительным и необъяснимым, что весь Петербург был буквально забит привилегированными, лично царем обласканными войсками — лейб-гвардейскими, такими, как Преображенский, Измайловский, Московский, Павловский, Атаманский полки. Но, доносили, порча коснулась и их, даже их! И Николай впервые за всю жизнь ощутил мистический страх перед безликой массой, именуемой «народом». В том же октябре пятого года начались первые беспорядки в Кронштадте. В ноябре в Севастополе матросы объединились с рядовыми Брестского полка, обезоружили командиров. На крейсере «Очаков» и нескольких мелких судах мятежники подняли красные флаги, командование всеми восставшими взял на себя отставной лейтенант Шмидт. Береговая артиллерия потопила мятежников. Казалось бы, урок преподан хороший. Николай отклонил прошение о помиловании этого самозванца Шмидта, хотя все общество как с цепи сорвалось, даже кое-кто из придворных чуть не в ногах валялся: «Пощади его, государь!» Шмидта казнили через расстреляние. Не образумило. Спустя год, семнадцатого июля, начался мятеж в Кронштадтской крепости; двадцатого поднял красный флаг в виду Ревеля крейсер «Память Азова»... Как в пятом, когда царь повелел переименовать «Князя Потемкина-Таврического» в «Святого Пантелеймона», а «Очаков» в «Кагул», так и теперь он приказал снять все привилегии с гвардейского, 1-го ранга крейсера «Память Азова», наречь его «Двиной» и превратить в плавбазу. Это было тем обиднее для самого Николая, что он особенно гордился крейсером, был почетным шефом экипажа, а сам корабль олицетворял собою славу Балтийского флота. В сердцах царь приказал выкинуть красовавшийся посреди его кабинета роскошный, с золочеными трубами и серебряными пушками макет крейсера. Для вящего эффекта он подал мысль своему дяде, великому князю Владимиру Александровичу, главнокомандующему Петербургским военным округом, применить новый метод карания бунтовщиков: для расстреливания мятежников назначить матросов того же экипажа из числа приговоренных к другим наказаниям. Если откажутся, заставить их выполнить задачу силой оружия! Дядюшке идея показалась оригинальной. Он произнес фразу, ставшую сакраментальной: «Лучшее лекарство от народных бедствий — это повесить сотню бунтовщиков перед глазами их товарищей». Тотчас же князь отдал приказ ревельскому военному генерал-губернатору об осуществлении идеи царя. Казнь была совершена на острове Карлос. До окончания суда и исполнения приговоров вся эскадра оставалась на ревельском рейде, затем отправилась в продолжительное заграничное плавание, а исполнители были переправлены в Кронштадт и заточены в тюрьму крепости. Через несколько дней к берегу Александрии волны начали прибывать трупы расстрелянных матросов. Солдаты, казаки и полицейские на рассвете вылавливали их баграми. Однажды, пробудившись вот в такую же рань, Николай из окна кабинета наблюдал, как ловко подцепляют они на крючья черные тела с лопнувшими на раздутых туловищах тельняшками, и мечтательно подумал: «Вот взять бы всех бунтовщиков и утопить в заливе!» Эта мысль потом приходила ему в голову часто.

Войска были широко оповещены о казни. Казалось бы, лекарство применено в достаточных дозах. Так нет же, не подействовало! Порча стала разъедать — подумать только! — самые приближенные части. Буквально в те же дни, когда бунтовали Кронштадт, Свеаборг и Ревель, произошли беспорядки в первом батальоне лейб-гвардии Преображенского полка — том самом, который еще со времен императрицы Екатерины пользовался особыми привилегиями, нес охрану царских резиденций и в котором в чине полковника числил себя сам Николай. У него не дрогнула рука, когда подписывал он приговор неверным преображенцам, офицеров увольнял в отставку без чинов и пенсий, а весь остальной личный состав, лишенный прав гвардии, переводил в армейскую пехоту и отправлял для несения службы в захолустную губернию. От высоких обязанностей был отстранен и весь Преображенский полк. Эти обязанности были переданы лейб-гвардии семеновцам, так достойно отличившимся при подавлении московского бунта, особенно на

Пресне. Однако через неполных два месяца на перроне вокзала в Новом Петергофе на глазах своей семьи был застрелен в упор пятью пулями герой 9 января и покорения Пресни, командир семеновцев, генерал-майор свиты его величества Мин. Осуществила злоумышленница какая-то худосочная девица. Бедный Мин!..

И все же, начиная с лета прошлого года, донесения о поджогах дворянских усадеб и волнениях в городах стали все чаще перемежаться сообщениями о том, что в таком-то уезде верноподданные дружины черной сотни разделились с агитаторами, учинили над революционерами «народный суд», иными словами — растерзали на части. В Томске дружины сожгли в театре собравшихся на митинг вольнодумцев, сгорели все. Тех, кто пытался выпрыгнуть из окон, снова бросали в пламя. Хоть и жаль театра, да молодцы ребята!.. И таких радостных для Николая и всего двора вестей поступало все больше. И чувство растерянности и страха сменилось в его душе сознанием бывшего своего всеислия и жадной жестоко отомстить народу за пережитое.

Но тем неприятней было получить совсем недавно, каких-нибудь три недели назад, сообщение с Черного моря, что среди группы матросов броненосцев «Синоп» и «Три Святителя» практической эскадры адмирала Цивинского было обнаружено брожение после того, как эти матросы побывали на береговых митингах во время стоянки у Тендеровой косы. Брожение приняло ту же форму, что два года назад на «Князе Потемкине-Таврическом», — нижние чины экипажа вылили за борт завтрак. При строгом расследовании выяснилось, что матросы замыслили поднять восстание, выбросить в море своих офицеров и завладеть всей эскадрой. Благодаря бдительности осведомительной службы замысел подстрекателей был своевременно раскрыт. Оба корабля под орудиями остальной эскадры препровождены в Севастополь, там зачинщики арестованы и заключены в тюрьму. Ныне под личным наблюдением Николая ведется энергичное следствие. На судах эскадры тихо, занятия производятся по регламенту. Управились в сутки — не то что с «Потемкиным», чуть не месяц воспламенявшим все побережье. Но все равно обидно. «Эх, собрать бы их всех, оковать по рукам и ногам кандалами, и на баржах, сколько их есть, туда, к горизонту, и торпедами в борта, хоть и жалко барж!..»

Впрочем, Николай в глубине души был подготовлен к ждавшим его испытаниям. Издавна в царском окружении передавалось из уст в уста предсказание старца Серафима Саровского о царствовании Николая II. Трактовалось оно с вариациями, пока министр внутренних дел Плеве не обнаружил в архивах департамента полиции подлинный его текст, гласивший:

«В начале царствования сего монарха будут несчастья и беды народные, будет война неудачная, настанет смута великая внутри государства, отец поднимется на сына и брат на брата. Но вторая половина царствования будет светлая, и жизнь государя — долговременная».

Как в воду глядел мудрый отшельник! Все было. Если вспомнить, сам день восшествия на престол начался с Ходынки. И Николай уронил на приеме верноподданных земцев блюдо с хлебом-солью — тоже дурная примета. И война против японцев, так неожиданно обернувшаяся Порт-Артуром и Цусимой. И эта смута превеликая, ломавшая державу два с половиной года... С лихвой оправдалось прорицание. Значит, наступает вторая, светлая половина царствования, исполненная покоя и благочиния, благословленная милостью божьей!..

Как обычно, упование на волю божью возвращало Николаю доброе настроение. Вот и сейчас, словно бы в зной утолив жажду, он, перекрестившись, вернул себя к изначальному мироощущению, с которым встретил утро.

На столе осталась непросмотренной лишь одна бумага — от председателя «Союза русского народа» Александра Дубровина. «Что еще докторишка сочинил? — беря лист в руки, обеспокоенно подумал Николай. — Каких милостей выклянчивает?» Но беспокойство его было преждевременным. Дубровин писал:

«Слезы умиления и радости мешают нам выразить в полной мере чувства, охватившие нас при чтении Твоего, Государь, Манифеста, Державным словом положившего конец существованию преступной Думы. Усердно молим Всевышнего, да дарует он Тебе силу и крепость в Твоем служении Родине, да ниспошлет он здоровье и счастье Тебе и Твоей царской семье. Верь, Богоданный неограниченный Самодержец, мы все, русские люди, не пожалеем ни жизни, ни имущества на защиту Тебя, нашего обожаемого Государя!»

«Ишь, сочинитель! — с удовольствием подумал Николай. — Неужто сам? Ну и пройдоха!» Как и все в семье Романовых, Николай презрительно относился к врачам, безродного Дубровина он никогда и в глаза не видал, но основанный им «Союз русского народа» и газета черной сотни «Русское знамя» были любезны его душе и славно служили престолу. И сейчас царь, простив докторишке фамильярное «Ты» — ибо уловил в нем что-то древнерусское, от былин, — снизошел до того, что решил всемилостивейше осчастливить Дубровина телеграммой, текст которой тотчас и написал:

«Передайте всем членам «Союза русского народа» мою сердечную благодарность за их преданность и готовность служить престолу. Да будет же мне «Союз русского народа» надежной опорой, служа для всех и во всем примером законности и порядка».

И подписал: «Н».

И с сознанием исполненного обременительного долга он сдвинул ладонью бумаги на самый край стола и энергично встал с кресла.

После завтрака он снова приказал одеть себя в наряд стрелков личного конвоя — атаманцев и в таком виде, в малиновой рубахе и шароварах, вернулся в кабинет к неизбежному приему министров.

Первым он принял морского министра, генерал-адъютанта свиты, адмирала Ивана Михайловича Ликова. Основной функцией министра было следить за ежеминутной готовностью личных императорских яхт «Царевна», «Полярная звезда», «Александрия» и «Стрела», особенно столь любезного Николаю «Штандарта», и сопровождать членов царской фамилии во время смотров кораблей. Остальные заботы по флоту лежали на первом морском чине, великом князе Алексее Александровиче, генерал-адмирале, шефствовавшем над адмиралтейством и его казной.

Вот и сейчас Ликов отрапортовал, что «Штандарт» после вчерашнего визита в отряд минных судов снова приведен в порядок и готов к выходу в море. Николай еще раз выразил удовлетворение по поводу прекрасного состояния минных кораблей, распорядился объявить спасибо и выдать денежные награды. И, сам чувствуя, что щедрит сверх меры, приказал одарить рублем и каждого рядового чина. «Щедр и милостив господь, — вспомнил он строку псалма, — и нам быть такими повелел...»

Министр согласно кивал, стоя навтыжку и где-то на уровне поясницы делая пометки в тетради «Для памяти». Он никогда не докладывал Николаю того, что могло бы привести его в дурное расположение духа. Чувствуя, что в самом воздухе кабинета витают зловещие образы «Синопа» и «Трех Святителей», Иван Михайлович между тем рапортовал, что на Невском судостроительном заводе успешно спущен на воду миноносец «Достойный», готовятся к спуску миноносец же «Деятельный» и канонерка «Сивуч», а на эллинге Нового адмиралтейства — крейсер первого ранга «Баян». Упоминание о миноносцах должно было, по расчету Ликова, увязываться в уме монарха со вчерашним смотром, а в целом успехи воссоздания военного императорского флота должны были смягчить неприятности на отдельных, подвергшихся порче, кораблях, и если смотреть еще глубже, то и бальзамически врачевать рану, нанесенную самолюбию государя поражением под Цусимой.



Николай именно так все это и воспринимал. С удовольствием покачивая головой, он слушал министра и думал, что Ликов — молодец, он очень кстати в кабинете самонадеянного Столыпина.

Пора было кончать — монарх не любил долгих докладов. Но Ликова удерживало в кабинете еще одно, щекотливого свойства дело. Его кузен и товарищ Эжен Гусаков, с которым вместе были записаны и в полк, и поднимались по службе, нынче назначенный главным начальником Кронштадта, попросил Ивана о дружеской услуге: настоять перед государем, чтобы отменены были казни революционеров на Лисьем Носу, который входит в зону крепости. Гусаков признался: «Мне это претит. И не хочу получить пулю в живот от мстителя. Конечно, Ваня, эти соображения — сугубо между нами». — «О чем речь?» — успокоил друга Ликов. Но теперь, в кабинете царя, он оробел и клял себя за то, что опрометчиво согласился на услугу. Однако и увильнуть уже было нельзя — Женя сегодня же придет вечером домой. Зато, если государь решит положительно, за приятелем будет должок. Как говорится в пословице: дары дарят, да отдарки глядят.

И он решился. Изложил просьбу Гусакова, присовокупив, что министерство внутренних дел почему-то возражает, хотя иных мест в окрестностях столицы предостаточно. И, еще только кончая излагать свою мысль, увидел, как буквально в считанные секунды преобразилось лицо Николая. Расслабленно-мягкое, оно приобрело угловатость маски, и синие глаза переплавились в сталь.

— Чем обусловлено столь странное к нам ходатайство? — с иронией поинтересовался Николай.

— Ваше величество, генерал Гусаков опасается, что массовые казни деморализуют экипажи и крепостные команды, а утаить их невозможно.

— Деморализуют? А вам известен добрый совет командующего Санкт-Петербургским округом? О лекарстве от народных бедствий?

— Так точно, ваше величество!

— Вы не согласны?

— Абсолютно согласен! Повешение — лучшее средство, ваше величество!

— Почему же не довели до сведения ходатая? Вешать и стрелять бунтовщиков на глазах их сотоварищей, чтобы не повадно было бунтовать! — царь подозрительно покосился на адмирала. — Странная просьба... Не успели мы назначить начальником крепости, а уже афронты. Или боится он смутьянов — из робкого, что ль, десятка? Вы как думаете, генерал?..

— Я тоже подумал: Гусаков это из-за боязни, за себя боится... Я лишь изложил его ходатайство... Понимаю: оно не уместно, ваше величество! — Ликов вытянулся чуть ли не на цыпочки, подумал: «Пронеси, пронеси, господи!» — Соответственные выводы мною будут сделаны!

Но на государя уже нашел стих:

— А что же это вы, милейший, ни словом нам о мятеже в практической эскадре Цивинского? От других узнаем, а не от морского министра!

«Вот оно! Начинается!..» — с тоской подумал Иван Михайлович, не открывая рта.

— Бунтуют по примеру «Потемкина», а вы молчите? — с гневом пристукнул ладонью по столу Николай. — Почему, хотелось бы знать?

— Виноват... — покорно опустил голову Ликов, чувствуя, что у него под ногами разверзается бездонная черная пропасть.

— Какие меры применяете?.. — Николай остановился, как бы не договорив фразы.

«Вот оно! Скажет сейчас вместо «генерала» — «полковник» или «штабс-капитан» — и в одну секунду вниз кувырком, в инфантерию, в заштатную глушь, если не хуже!..» И, потрясенный предчувствием, он с тоской и страстью воскликнул:

— Самые жесткие, ваше величество! Всех до единого под военно-морской суд — и никаких смягчающих обстоятельств! Председатель главного военно-морского суда адмирал Пиликин уже получил указание! Оба экипажа поголовно виновны!

Николай откинулся на спинку кресла:

— Правильно, Иван Михайлович! Мы ждем именно такого исхода дела. Начальнику же крепости передайте наше неудовольствие.

Он помолчал. Нет, не хотел он менять окраску начинавшемуся дню. И подобострастность Ликова была ему мила. Неожиданно для генерала он добавил:

— Приглашаем вас, Иван Михайлович, на смотр Николаевскому училищу здесь, на военном поле, а перед тем и отобедать с нами. Погуляйте, пока я с другими докладами завершу.

«Пронесло! — с облегчением думал Ликов, спиной отворяя дверь кабинета, мучительно чувствуя, что нижняя рубаха прилипла к телу. Выходя, он уже сам кипел гневом к втравившему его в скользкое дело кузену: я должен за твою шкуру расплачиваться, трус ты этакий!..» И одновременно он еще более уверялся в своей фортуне. О том свидетельства — две последние великие милости государя: приглашение участвовать в обеде и смотре юнкеров и даже такая малость, как непринужденная одежда императора, в которой он принял министра, — малиновая рубаха конвойца-атаманца. Да, все это можно, бесспорно, оценить как приметы монаршего расположения к нему, генералу свиты, адмиралу и министру флота.

Следующим за Ликовым царь принял Столыпина. По регламенту Петр Аркадьевич сегодня делал доклад не как член государственного совета и председатель совета министров, а исключительно как министр внутренних дел — Николай сам разграничил функции, чтобы не обременять себя обилием вопросов, требующих разрешения, тем более что дел по этому министерству было часто больше, чем по всем другим, вместе взятым.

К Столыпину Николай испытывал сложные, разноречивые чувства: по древности и происхождению его род не уступал самому роду Романовых. Но царь, прежде всего ценивший в приближенных военную кость, презирал Петра Аркадьевича как «шпака». Небезызвестно было ему и то, что премьер-министр изволил однажды пренебрежительно отозваться о самой особе государя. Однако Столыпин был энергичен, решителен, умен и удачлив, хотя и неугодлив, упрям и настойчив в своем мнении. В общем же отношение Николая к руководителю правительства можно было бы выразить словами: «Сегодня он мне нужен».

Эта фраза определила бы и отношение Столыпина к Николаю — с той лишь поправкой, что Петр Аркадьевич не находил у царя никаких иных добродетелей, кроме слабохарактерности. Если проявить достаточную настойчивость, а к тому еще сослаться при этом на волю божью, ему можно было внушить все, что требовалось Столыпину для осуществления своих собственных планов. В глубине души премьер считал Николая болваном, неучем с кругозором и вкусами пехотного прапорщика. Но игрой судьбы этот отпрыск рода Романовых был вознесен на трон самодержца всероссийского, а самодержавие и монархия были необходимы Столыпину, его сословию не меньше, чем были необходимы самому царю.

И вот сейчас, привычно окинув взглядом кабинет царя, Петр Аркадьевич свободно сел перед столом самодержца (придворным регламентом председателю совета министров и гофмейстеру это разрешалось) и, разложив бумаги, приступил к докладу.

Николай слушал рассеянно. Однако ход расследования заговора в распушенной Думе его заинтересовал. Думу он ненавидел. За все время ее существования он ни разу не снизошел до того, чтобы появиться в отведенном для ее заседаний Таврическом дворце. Достаточно было единожды, на приеме депутатов в апреле прошлого года, перед открытием первой Думы, увидеть в Зимнем дворце среди блестящей толпы придворных, военных и высших чиновников в расшитых золотом, украшенных бриллиантовыми звездами и андреевскими лентами мундирах те черные сюртуки, косоворотки и рабочие блузы. И это в залах, предназначенных для членов императорской фамилии, высших сановников двора! На худой конец он смирился бы и с этим нашествием — если бы чернь испытывала раблепный восторг или хотя бы робость и смущение. Так нет же! Вглядываясь в эти мерзкие рожи, царь

отмечал на них лишь выражение триумфа и самодовольства. И к ним он вынужден был еще и обращаться с тронным приветственным словом!

Закончив речь, он тотчас отбыл из Зимнего дворца, а депутаты без промедления были препровождены в Таврический. Эта встреча с «лучшими людьми народа» оставила в душе Николая самое гнетущее впечатление. С народом общаться государю уже приходилось — при проездах по городу и особенно при посещении четыре года назад места захоронения мощей чудотворца Серафима в Сарове. Там его приветствовали живописные группы пейзажей и пейзажников — молодец к молодцу, красавица к красавице. Николай собственноручно принимал от баб в пестрых костюмах подарки: жбаны с яйцами и вышитые полотенца, расспрашивал, хорошо ли им живется, и даже посетил несколько изб — свежеструганных, резных и расписных, как терема, со столами посреди горниц, ломящимися от яств простолюдинов — жареных гусей с яблоками, молодых поросят, семужки, икорки, кувшинов с медовкой. Царь остался доволен и внешним обликом народа, и условиями его жизни, и вольным изъяснением его чувств к своей особе. Встречавшим его Николай советовал слушаться земских начальников и прочих местных властей. Тем более ему оказались непонятными причины крестьянских волнений, охвативших через год-два чуть ли не все губернии империи, в том числе и ту, где он побывал. И еще более контрастными по сравнению с Саровскими пейзажами выглядели лица крестьян и рабочих — депутатов Думы, пришедших в Зимний. А может, именно то, что они оказались в заповедном дворце, а не продолжали копаться где-то в земле в своих деревнях, и вызвало его раздражение и гнев. И перед ними он должен был распинаться о своей пламенной вере в светлое будущее России!

Впрочем, он не придавал значения произносимым словам, уповая, что господь поможет ему — придет час! — разогнать самозванцев. Разве не так он действовал, будучи вынужден поставить свое имя под столь ненавистным ему манифестом 17 октября?

Тогда, в разгар всеобщей стачки и аграрных волнений, Николай смертельно испугался и растерялся. Казалось, было лишь два выхода: или установить военную диктатуру, или обещать конституцию и законодательную государственную Думу. Царь не решался ни на то, ни на другое. И он поддался уговорам хитрого графа Витте, который предложил компромисс: при помощи манифеста замаскировать диктатуру туманным обещанием «свобод» и этим в критический момент поддержать накренившийся, грозивший вот-вот рухнуть трон. Витте настаивал, утверждал, что «лучше воспользоваться хотя и неудобной гаванью, но выждать бурю в гавани, нежели в бушующем океане на полугнилом корабле».

Став премьер-министром, сам Сергей Юльевич Витте уже через два месяца после обнародования манифеста порекомендовал царю «для подавления революции действовать беспощадным образом». Он же вместе с тогдашним министром внутренних дел Петром Дурново предложил и план организации «общественных сил». Николай, уповавший на милость божью, благословил этот план к действию. План был прост и заключался в следующем. Жандармские управления и губернаторы получили инструкцию допустить патриотические манифестации обывателей; военным властям предписывалось выделять оркестры, духовенству быть готовым служить молебны на площадях. Одновременно агенты жандармских управлений распространяли на базарах и в прочих местах скопления простого люда — в чайных, питейных заведениях, на постоянных дворах — «тайные» (однако ж отпечатанные в типографии департамента полиции) прокламации, призывавшие истинных сынов отечества, объединившихся в созданном тогда же «Союзе русского народа», бить врагов России — крамольников, евреев, студентов и всех интеллигентов. Особенно интеллигентов, которых Николай органически не выносил. Даже само слово это было ему ненавистно и однозначно понятию «смутьяны». Однажды вырвавшаяся из его уст фраза: «Интеллигент — как мне противно это слово», — служила руководством к действию для всех организаторов «народных волеизъявлений».

Три дня молодец из «Союза русского народа» очищали город от крамольников, пили и гуляли, на четвертый губернаторы вводили обязательные постановления о недопущении никаких сборищ — и наступало затишье. Следом за погромами в наиболее мятежные края

царь направлял карательные отряды и экспедиции...

Сейчас, слушая доклад Столыпина о ходе расследования заговора в Думе и прекрасно понимая, что оба они — Петр Аркадьевич и он сам — как бы участвуют в игре, ходы которой заранее predeterminedены, Николай удовлетворенно кивал: да, игра ведется, как тогда, с погромами, по задуманному плану. На этот раз, видать, с ненавистной Думой будет покончено. Вывеска останется, но отныне в Таврическом будут собираться для дружеских бесед без последствий лишь достойные сыны отечества, которых не грех принимать и в Зимнем. А этих — в Сибирь, на каторжные работы!.. Да, славно получилось с этим «заговором»!..

Но вот министр перешел к сугубо доверительным выдержкам из перлюстрированной почты. Николай встрепнулся. Чужими письмами, в том числе и самых близких двору людей, даже членов царской фамилии, он питал свой интерес к сплетням, и свою, часто потрясавшую окружающих осведомленность в их интимных делах.

К этой обязанности Петр Аркадьевич относился с брезгливостью, словно бы ворошил чужое белье после ночи, однако обязанность эта лежала сугубо на министре внутренних дел. К тому же в целом перлюстрация была сверхполицией, тем самым «третьим китом», на котором, как и на филерской службе и службе секретных сотрудников-провокаторов, зиждилась вся деятельность министерства внутренних дел Российской империи.

Не будучи министром, Столыпин и не подозревал, как значительна роль перлюстрации, «черных кабинетов» в политическом розыске, в наблюдении за всеми ячейками личной, общественной и государственной жизни империи. Но вот в один из первых дней по назначении его на пост министра внутренних дел в кабинет на Фонтанке к Петру Аркадьевичу вошел согбенный старик, действительный статский советник Мардариев и, представившись, протянул с таинственным видом большой, с тремя печатями, пакет с надписью «Совершенно секретно». И попросил лично при нем вскрыть. Столыпин вскрыл. В конверте оказался указ Александра III о праве перлюстрации — вскрытии частной корреспонденции любого из подданных империи, а также иностранных подданных, находящихся в пределах России. Столыпин поинтересовался, давно ли действительный статский советник служит по этой части. Мардариев сухо ответил, что весьма давно: сей пакет он вручал всем предшествующим министрам внутренних дел, начиная с графа Лорис-Меликова, — покойным Сипягину и Плеве, Святополк-Мирскому, Булыгину и Дурново... Мардариев замолчал, и Петр Аркадьевич в зловещей тишине подумал: кому этот бессмертный согбенный Калиостро вручит царский пакет после него?.. Мардариев же сухо-почтительно попросил вновь запечатать документ. Столыпин вложил указ в тот же конверт, скрепил сургучом и личной печатью и возвратил действительному статскому советнику. Тот раскланялся и тихо вышел.

Министр внутренних дел узнал, что «черные кабинеты» функционировали при почтамтах всех крупных городов империи. Перлюстрация давала министру внутренних дел неведомую власть над всеми и каждым.

Сейчас Петр Аркадьевич доложил царю наиболее важные сведения, почерпнутые из перехваченных писем, а в заключение сделал обзор переписки крамольников различных партий — от националистической армянской «Дашнакцютюн» и социалистов-революционеров до социал-демократов. Само собой разумеется, письма были скопированы без ущерба для оригиналов, даже если приходилось проявлять и расшифровывать химическую тайнопись.

Царь не различал антиправительственные партии, да и не интересовался особенностями их программ и целей. Все они были для него на одно лицо, а все революционеры — «анархистами». Слушая министра, он снова посмотрел в окно, на морскую гладь и в который раз подумал о заманчивом проекте: собрать бы их всех и утопить в заливе. А вслух резюмировал:

— Скопище разбойников, из-за них Россия чуть было не погибла. Покойный Константин Петрович предсказывал: снять узду с дикого необъезженного коня — это

пустить его топтать и разрушать поле, с какого тот же конь кормится... Но велика милость господня — он указал нам путь. Да благословит господь бог Россию, да поможет нам исполнить наш долг!

Он перекрестился и добавил:

— Однако ж наша власть, богом допущенная, добра для добрых дел и страшна для злых. Милосердие наше не будет снисходить до мерзких смутьянов.

Столыпин удовлетворенно улыбнулся: замечание царя свидетельствовало, что Николай одобряет действия введенной Петром Аркадьевичем системы временных «скорострельных» военно-полевых судов. Хотя само упование царя на господина и его волю скребнуло министра: Николай, как любой недалекий и слабохарактерный человек, верил лишь в волю божью и удачу; а сам Столыпин в каждом явлении привык доискиваться причин.

Не без гордости Петр Аркадьевич передал как анекдот, что казни по приговорам полевых судов нарекли «стольпинскими галстуками». «Пусть тешит себя, что хоть это не с его именем связывают», — снисходительно подумал Петр Аркадьевич и сказал:

— Приговор по делу о васильеостровских бомбистах приведен в исполнение. На Лисьем Носу.

— Да, да, — одобрительно пробормотал Николай. Вряд ли он помнил, о чем и о ком шла речь. Но название места казни остановило его внимание: — Кстати, какое у вас недоразумение с морским министерством из-за Лисьего Носа?

Петр Аркадьевич был готов к ответу. Он изложил обстоятельства, намекнул, что со стороны нового главного начальника Кронштадтской крепости видит в этом проявление или личного страха, или, что еще горше, либеральничанья, и выложил на стол перед царем отчет, составленный ротмистром Додаковым. Не в пример другим сановникам, представляющим чужие доклады за своей подписью, он не любил присваивать заслуг подчиненных — отчасти и потому, что понимал: без преданных и обласканных помощников он сам мало в чем преуспеет.

Николай с интересом пробежал строчки рапорта. Деловой тон заключения, особенно то место, где говорилось: «Мыс Лисий Нос, многократно и без всяких осложнений использовавшийся для приведения в исполнение смертных приговоров, и впредь представляется наиболее удобным для этих целей», — произвел на него благоприятное впечатление.

— Додаков? — спросил он. — Не его ль отец служил полковником в гвардии? Длинный такой, и уши торчком?

— Совершенно верно, — ответил Столыпин, хотя недосуг ему было изучать родословную какого-то жандармского ротмистра.

— Выдайте ему денежную награду и не обойдите представлением по общему списку министерства, — распорядился щедрый сегодня государь.

Про себя же он, закрепляя, повторил фамилию исполнительного ротмистра. А в отношении начальника Кронштадта утвердился в своем неудовольствии.

К случаю Столыпин, понимая, в чей огород он бросает камешек, рассказал о неблагополучном состоянии умов в экипажах Черноморского флота и походатайствовал о предоставлении к наградам двух моряков — боцмана и корнета, состоящих на секретной службе при корпусе и сообщивших о преступных замыслах команд «Синопа» и «Трех Святителей». Николай одобрительно кивнул.

Заключал еженедельный доклад обзор выдающихся происшествий по городам и весям империи, составленный директором департамента полиции. Ничего существенного, кроме нескольких десятков политических убийств мелких чиновников, попыток мятежей, тотчас подавленных, разрозненных поджогов усадеб помещиков и иных пожаров, по России за семь минувших дней не произошло. Меж других лаконичных сообщений Столыпин помянул и о позавчерашней экспроприации в Тифлисе.

Николай неожиданно встрепенулся, словно бы ждал некоего подобного повода.

— Ого! — воскликнул он. — А сумма-то немалая! Двести пятьдесят тысяч! Тут

приходится ужиматься на малом, сами вы, Петр Аркадьевич, ходатайствовали, и мы подписали высочайшее повеление о внутреннем займе для подкрепления средств казначейства — и такое транжирство, четверть миллиона!

«Транжирство! — погасил злую вспышку глаз Столыпин. — А содержание императорских дворцов по России, которые ваше величество и раз в год посетить не изволите, обходится в двадцать миллионов — это ли не транжирство!»

Царь же, неправильно восприняв за покорное согласие молчание строптивного вельможи, усугубил:

— Вот морячков-балтийцев одарить хотел, такие молодцы, и не смог, казна пуста, по рублику едва наскреб. Граф Витте с таким талантом вырвал у французов золотой кредит, а тут злоумышленники на глазах вверенной вам полиции безнаказанно грабят казначейские транспорты!

Он даже пристукнул кулаком по сукну.

Витте! О, это была не обмолвка царя, а острый жалающий укол! Между бывшим и нынешним премьер-министром шла давняя тайная борьба. Витте и Столыпин способностями, энергией, решительностью и другими качествами, определяющими характер государственных деятелей, во многом походили друг на друга, но это лишь усугубляло их вражду, так как они стремились направить Россию к разным целям. Петр Аркадьевич превосходно знал, что царь, хоть и вынужден был превозносить очевидные таланты и заслуги бывшего премьера, безудержно ненавидит его. Во-первых, за то, что Витте был свидетелем его страха и растерянности в октябре пятого года и вынудил подписать пусть и необходимый, но тем более ненавистный манифест о «свободах». С тех пор свою ненависть к революции Николай, как ни парадоксально, переносил и на Витте. Во-вторых же, он невзлюбил Витте за то, что Сергей Юльевич был яркой натурой, был самостоятелен и умен, чего император и вовсе терпеть не мог. По этой же причине он с трудом выносил и Столыпина. Он вынужден был вручить им управление государством. Первому — потому, что тот помог завуалировать поражение в русско-японской войне, найти выход из революционной ситуации и добиться щедрой подачи от французских толстосумов; второму — потому, что тот с первых же шагов самым решительным образом приступил к восстановлению на Руси самодержавных, кулаком диктуемых порядков. Пока что на глазах монарха не было других, таких же энергичных деятелей. Но Витте посмел в интимном кругу сказать, что у царя «убожество политической мысли и болезненность души». За эти слова он уже поплатился, ныне он отстранен от всех должностей. Николай поклялся в душе отныне не поручать ему и самого маленького дела. Что же касается Столыпина, царь в тайне, не укрывшейся от Петра Аркадьевича, подыскивал замену и ему, все более располагаясь к герою карательных операций в Белоруссии, минскому генерал-губернатору Курлову. Павел Георгиевич, молодец, сек розгами крестьян даже после манифеста об отмене телесных наказаний и так красиво организовал погром в Минске!.. Теперь Николай неуклонно покровительствовал ему, назначал на все более высокие должности. Ныне Курлов занял пост товарища министра внутренних дел и одной рукой как бы уже уцепился за кресло Петра Аркадьевича в кабинете на Фонтанке.

Столыпин не терпел ни дурака солдафона Курлова, ни хитрую лису Витте. Курлова он вообще ни в грош не ставил. Сергей же Юльевич был опасным соперником. При этом Столыпин презирал новоиспеченного графа, получившего титул после подписания с японцами при посредничестве американцев Портсмутского договора, неожиданно пощадившего престиж Российской империи. Презирал за то, что Витте мог позволить себе принимать каких-то щелкоперов-журналистов и лобызать младенцев перед толпой и фотокамерами ради того, чтобы расположить к себе общественное мнение. Столыпин даже в интересах империи не согласился бы унижить подобными действиями свой родовой герб. На общественное же мнение он вообще плевал: холопы, рабы, пыль подкаблучная!..

Однако главное расхождение между Петром Аркадьевичем и Сергеем Юльевичем лежало в более глубоких сферах. Широко образованный на западный манер, Витте

стремился направить развитие России по европейским образцам, будучи убежденным поклонником английской формы правления по принципу: король царствует, но не управляет. Он отстаивал интересы быстро растущих торговых и промышленных кругов в ущерб родовой знати и помещицкому дворянству. Столыпин же считал именно землевладельцев-помещиков опорой трона. Он не огорчался, что не обладал такой энциклопедичностью познаний, как Витте, тем более что решительно отвергал его ориентировку на Европу, зараженную вольнодумством и атеизмом, отстаивая концепцию славянофильства — острого национализма, осуждавшего западную цивилизацию и предопределявшего именно России миссию создания благоденствующего мира. И, самое главное, он считал, что самодержавие — основание социальной и экономической организации России, все должно исходить от него и делаться во имя его. В охране и укреплении этой власти он видел залог величия империи. Если бы Николай мог оценивать объективно, то он и мечтать не смел бы о лучшем премьер-министре. Но, вынужденный встречаться со Столыпиным, он постоянно чувствовал снисходительную усмешку, а то и презрение, источавшееся из глаз Петра Аркадьевича, и это интуитивное чувство мешало ему по заслугам оценивать достоинства своего первого министра.

Столыпин же, хотя и испытывал к Николаю снисходительное презрение, нисколько не распространял это на самодержавие вообще, — просто волей providения ныне на троне оказался недалекий монарх. С неприязнью оглядывал он сейчас малиновую рубаху атаманца, превращавшую государя в этакое «веселого малого» и в то же время побуждавшую к неприятному сравнению. Однажды Петр Аркадьевич присутствовал при казни, и палач был облачен в такое же вот одеяние. Казни необходимы для поддержания порядка, особенно в такой стране, как Россия, но не им же, столбовым дворянам, самим облачаться в рубахи палача! Однако бог с ним! Пусть восседает на троне хоть в кумаче, лишь бы не мешал. Николай Второй — августейший государь-самодержец всея Руси, но правит и направляет Русь по предназначенному господом и историей руслу он, Петр Аркадьевич Столыпин!..

Эти мысли обуревали премьер-министра, не отражаясь, однако же, на чертах его надменно-холеного лица, разве что меняя выражение глаз. Николай досадливо ерзал в кресле со скрипучим подлокотником, не в силах проникнуть в душевное состояние Столыпина — как легко это было с Ликовым! — и с возрастающим раздражением долбил одно и то же:

— Извольте предпринять все усилия, но изловить злоумышленников, захвативших казну!

— Кто богу не грешен, государю не виноват? — попытался шуткой размягчить обстановку Петр Аркадьевич. — Непременно будут изловлены, ваше величество.

По царь не поддался на шутку:

— Виноваты — и еще как виноваты! Четверть миллиона!

И с неожиданной злорадной усмешкой изрек:

— Ежели не найдены будут, велю эти четверть миллиона вычесть из росписи расходов министерства, а также сделать и иные долженствующие выводы. Вот так!

На этом аудиенция была закончена. Государь даже не соизволил ознакомить министра внутренних дел и шефа жандармов с проектами новых мундиров для чинов корпуса и эскадронов, не говоря уже о том, что не пригласил гофмейстера к обеду и на смотр юнкеров.

«Душу вытрясу из Трусевича, а банковские билеты верну и преступников повешу!» — гневно думал Столыпин по пути из Петергофа в столицу. Придирки царя и его мелкие уколы не затронули Петра Аркадьевича: привык уже. И двести пятьдесят тысяч были ничтожной толикой в бюджете министерства, к тому же как премьер он сам распределял средства. Но злая насмешка Николая глубоко уязвила его самолюбие.

Поздним вечером, после ужина, перед отходом ко сну, Николай снова пришел в кабинет. Походка его была несколько тяжела, временами его даже заносило в сторону, но он старался ступать твердо, с осторожностью, словно бы боялся расплескать то радостно-удовлетворенное настроение, которое почувствовал еще в ранний предутренний

час. День удался на славу! Особенно потешили молодцы-юнкера Николаевского училища, превосходно продемонстрировавшие лихие эскадронные и сотенные учения в конном строю и галопом. Ах, как славно дымилась под копытами пыль, как полыхали шашки наголо, как раскраснелись в азарте юные лица!..

После учений он в сопровождении свиты объехал фронт училища, сказал юнкерам спасибо, а затем командиров и их воспитанников пригласил в шатер «Под гербом», раскинутый на площадке. И еще раз, обходя столы, изволил благодарить молодцов за полученное удовольствие.

Теперь Николай отпер ящик стола и достал заветную, в шагреновой коже, тетрадку, читать записи в которой доверял только одному человеку — возлюбленной Алис, — свой дневник. Подобно метеорологическим записям, он вел дневник с исключительной аккуратностью. Никакие события в государстве и даже в семье не могли помешать ему в этом. Даже в день помолвки, свадьбы и в день смерти отца он доставал из стола очередную шагреновую тетрадку. Их накопилось уже более двух десятков. Впрочем, он не баловал страницы выражением эмоций — просто лаконично отчитывался сам перед собою в событиях, случившихся за день, лишь редко прибегая к обобщениям. Будучи престолонаследником, он записывал: «Хлыщил по набережной», или: «Смотрел от скуки через забор на Невский», или: «Пили дружно, пили хорошо». В день, когда исполнилось ему двадцать два года, он отметил: «Закончил свое образование. Сегодня окончательно и навсегда прекратил свои занятия...»

Подводя итог сегодняшнему дню, государь всея Руси неторопливо вывел:

«День простоял отличный. Утром много занимался. Имел доклады. Обедали Алис, д. Сергей, Николаша, Петюша, Ликов и Котя Оболенский (деж.). В 2<sup>1/2</sup> принял смотр Николаевского кавал. училища. Обошел столы всех эскадронов и принял закуску. Вечером наслаждались с Алис погодой. Отовсюду трогательные проявления единодушного подъема духа».

## ГЛАВА 10

Известие, что приговор приведен в исполнение, Красин получил вечером того же дня, когда вернулись Камо и Антон. Товарищ приехал в Куоккалу последним поездом. Он сказал, что четвертому осужденному — Ольге — царь заменил смертную казнь на двадцать лет каторги. Товарищ же передал, что Ольга переведена в Ярославль, в пересыльную тюрьму, откуда в ближайшие дни ее отправят по этапу.

— Где казнили Синицу и товарищей, так и неизвестно, — добавил он.

— Опоздали мы, — лицо Феликса почернело. — Все из-за того, что связь с крепостью оборвана. Да и считали, что у нас в запасе еще несколько дней... А их казнили через сутки после приговора...

Он вытянул по столу кулаки, огромные, как кувалды.

— Где? Обязательно надо узнать!

Красина только что перестал трепать приступ малярии. Он сидел, сцепив руки и чувствуя вялость в пальцах, измученный лихорадкой, высокой температурой, головной болью, от которой, казалось, лопается череп. Рот обжигал хинин. Феликс с тревогой ловил сухой блеск его пожелтевших глаз.

— Слава богу, хоть Ольга... Причины «царской милости» понятны: боится взбудоражить общество расправой над женщиной. Рассчитал, подлец: двадцать лет сибирской каторги страшней любой казни. Но уж тут-то мы!..

Он не договорил, стукнул кулаком по доске.



Леонид Борисович с усилием разжал потрескавшиеся губы.

— Медлить нельзя. Сделай все, чтобы освободить Ольгу поскорей. От них всего можно ожидать: «при попытке к бегству» и прочие жандармские штучки.

— Направлю в Ярославль группу, которая была подготовлена для нападения на кронштадтский конвой.

— Пошли и Антона.

— Я хотел взять Семена.

— Нет. Ему нужно хорошенько отдохнуть, ты же видишь — он нездоров. Ильич приглашает его к себе — они сейчас в Сейвисто, в том поселке у маяка Стирсудден, знаешь?

Конечно же, Феликс знал: этот поселок был одним из перевалочных пунктов на пути нелегальной литературы и оружия из-за кордона в Россию.

— Иван Иванович и Катя живут на даче у Дяденьки. Главная примета дачи — цветы. Объясни Семену маршрут.

Он замолчал. Почувствовал, как спадает жар, подступает к горлу дурнота и тело покрывается потом.

Феликс отвел взгляд от измученного лица товарища:

— Вот обрадуется Семен!

Он помолчал:

— Ну что ж, придется тогда посылать этого твоего, зеленого... А ты уверен: справится?

— Партии нужны новые силы. И прежде всего молодежь. Мы должны направлять ее, испытывать и закалять. — Леонид Борисович провел пальцами по глазам, словно бы пытаясь снять с них напряжение и боль. — Антон хочет работать.

— Уж больно круто. Учим, плавать, бросая в глубину.

— В его годы я уже и в ссылке побывал, и в Таганке, в одиночке отсидел. А ты сам в какие преклонные лета начинал?

— В двадцать два.

— Вот видишь. А как начинал? Тоже не с бережка в теплую водичку. И из первой же тюрьмы в бега, не так ли?

— Это была потеха! — невольно улыбнулся Феликс. — Шуму на всю империю. Ты прав: в Лукьяновке было мое крещение. Да, человек обретает имя при боевом крещении. — Он гулко прихлопнул ладонью по столу. — Уговорил, беру твоего студента.

Задумался, как бы воссоздавая в уме картину предстоящих действий.

— В самом Ярославле тоже есть несколько моих боевиков. Есть зацепка и в тюрьме... Но кое-кого из стражей придется купить. Сколько сможешь выделить? — он кивнул на пустую шляпную коробку, все еще валявшуюся в углу веранды. — Ты теперь миллионер!

— Обсудим с товарищами, как распределить средства. Ты сам знаешь: дорога каждая копейка. Вспомни, как агитировал: на типографии, на транспорты с литературой, на оружие. Но прежде всего, конечно, на спасение товарищей. Сколько потребуется тебе?

Феликс назвал цифру. Леонид Борисович встал, ушел в комнату. Вернулся, положил на стол билеты.

— Не нравится мне, что сто тысяч — пятисотенными. Очень не нравится, — он провел языком по запекшимся губам, скривился от горечи. Спросил: — Какой у тебя план освобождения Ольги? Давай обсудим. А завтра, пожалуй, сам пораньше отправлюсь к Ивану Ивановичу.

Красин зажмурился, посидел молча, не открывая глаз. Феликс подождал, пока он справится с болью и откроет глаза, и пододвинул чистый лист:

— Ярославль ты знаешь. Тюрьма находится в Коровниках. Предположим, здесь...

Следующим утром, когда Антон прямо с моря, еще с каплями на бровях, пришел на дачу Степанова, его уже ждало новое задание.

— Вверяю тебя Феликсу, — сказал Леонид Борисович.

Антон видел, что Красин за эти сутки еще больше осунулся, даже как-то постарел.

«Болен. Или беда какая стряслась?» Но сдержался, не спросил.

Инженер уже был одет по-дорожному.

— Ну, до встречи! — и как в тот, первый, раз напутствовал: — Доброго ветра! Возвращайся с победой.

Уже уходя, он напомнил Феликсу:

— Не забудь саквояж, он в маленькой комнате, в шифоньере.

Антон и Феликс остались на веранде вдвоем.

— Для начала расскажи о себе, — предложил его новый попечитель. — Хотя Никитич уже кое-что мне поведал.

«Значит, партийная кличка Леонида Борисовича — «Никитич», — подумал Антон. — И Феликс, наверное, тоже кличка этого усача».

Он начал рассказывать, сам удивляясь тому, что целых двадцать лет жизни, так, казалось, заполненных исканиями, переживаниями, событиями, уложились в несколько фраз.

Феликс слушал молча, спокойно глядя из-под спутанных бровей.

— Почти чистый лист, — сказал он, когда студент замолчал. — Будем заполнять биографию. Прежде всего о деле. Тебе предстоит принять участие в освобождении из тюрьмы нашего товарища, старого партийца. Он осужден на двадцать лет каторги. Боевик.

Глаза юноши загорелись.

— Нет, брать штурмом тюрьму или взрывать стену вряд ли придется, — охладил его Феликс. — Постараемся иначе на этот раз.

Он написал на бумажке адрес:

— Хорошенько запомни.

Шевеля губами, Антон повторил про себя текст.

— Вызубрил? — Феликс чиркнул спичкой и поджег листок, растер пепел. — Послезавтра явишься по этому адресу, спросишь Германа Федоровича. Запомнил? Передашь от меня привет. У Германа Федоровича узнаешь, куда ехать и что делать. Делать будешь все, что поручат. Но последнее задание — о нем никто, кроме меня и тебя, знать не должен: передашь освобожденному товарищу, чтобы он добирался сюда, на эту дачу. Понял? Будем ждать его в пятницу. Повтори!

Потом Феликс ушел и вернулся с небольшим саквояжем из коричневой шотландки, обшитым кожей:

— Вот, возмешь с собой. Здесь вещи товарища. Теперь несколько общих советов. Видел представление «Подвиги сыщика тайной полиции Шерлока Холмса»? Так вот — в жизни все совсем иначе. Сам веди себя совершенно естественно и не жди от филеров таинственных физиономий и надвинутых на глаза шляп, черных очков. Даже профессионал не всегда определит, следят за ним или не следят. А ты еще зеленый стручок. Если будешь опасаться слежки, не вздумай метаться, оглядываться, убегать проходными дворами, прятаться в подворотнях. Учти: опытные филеры знают в своем городе все проходные дворы и укромные места. Даже в таком, как Питер. А уж если ты очень заинтересовал охранку, за тобой будут следить и двое и трое. К примеру, ты идешь по одной улице, она совершенно пуста, и ты думаешь: «Никого!» А эти субчики сопровождают тебя по параллельной и видят, когда ты переходишь перекрестки, вот так-то! И еще одно запомни. Филер никогда не смотрит в лицо, как в пословице: друг глядит в глаза, враг — в ноги. А знаешь почему? Глаза запоминаются легче всего и взгляд выдает.

— Что же делать, если следят? — спросил Антон.

— Неожиданно и несколько раз менять транспорт. У убегающего одна дорога, а у преследующих — тысяча, — Феликс усмехнулся. — Впрочем, эту науку познаешь только на практике. Все же один неременный совет: если арестуют, ничего на допросе не сочини. Помимо твоего желания, как бы ты ни врал, хоть крупца будет истинной, и из этих крупц жандармы составят полную картину, они мастера. Поэтому первое правило — никаких показаний. Молчи, и все!

Антон непроизвольно стиснул зубы. «Смогу!» — подумал он.

— Ну вот, на первый раз и все. Окупись в море, попросишься со своей девушкой — красивая, видел вчера, — он улыбнулся. — И с богом! Само собой, никому ни слова.

«Кому я могу сказать? Не Ленке же...» — Антон с горечью вспомнил вчерашний разговор.

Двое суток спустя, в третьем часу ночи, Антон сидел в открытом фаэтоне на глухой улочке ярославской слободы Коровники в нескольких кварталах от тюрьмы. В ногах у него лежал саквояж. На козлах с заправским видом восседал ванька — бородач в армяке и шароварах навывпуск, на самом-то деле один из членов боевой группы.

Студент предполагал, что на этот-то раз его роль будет если и не главной, то, по крайней мере, активной: придется на кого-то нападать, с кем-то драться. Но командир боевой группы, распределяя участников операции, отвел ему едва ли не самую скромную роль: сидеть и ждать, когда подъедет извозчик и в фаэтон пересядет товарищ, которого другие боевики должны освободить. Антон должен отвезти товарища на конспиративную квартиру. Как и Феликс, командир группы написал адрес на клочке и тут же бумажку сжег.

И вот теперь юноша зяб в углу фаэтона, боролся с дремотой и вяло думал: как разрешить эту дилемму: Лена и его нынешнее положение? Без Лены он не мыслил своего будущего. И в то же время никакие силы не заставят его отказаться от избранного им дела, и которое так осторожно вводят его Леонид Борисович, Феликс и их товарищи. Остается одно — внушить ей, что этот путь борьбы — единственно достойный путь. Но и тот многозначительный разговор на дюнах, и удивленно-сердитый взгляд, когда он сказал Лене, что ему нужно вдруг уехать, и ее напутствие: «Все очень странно... Прошу, не делай глупостей!» — разве не говорят они, что Лена о чем-то догадывается и решительно отвергает это «что-то»?.. Что же делать?

Он горестно вздохнул и поежился. Куртка не очень-то грела, а летняя ночь была неожиданно холодна. С Волги на прибрежные улочки тек туман, тихие палисадники и крыши домов будто плавали в нем. Лошадь, запряженная в фаэтон, понуро уткнулась в торбу и дремала, изредка всхрапывая и начиная жевать. Кучер сидел молча, тоже, наверное, клевал носом. Редко лаяли собаки. Где-то прокукарекал петух и закудахтали переполошенные куры. Потом снова все стихло. Через несколько минут с реки донесся протяжный тревожный гудок — низкий, басовитый. Ему ответил визгливо-тонкий, жалобный. Антон подумал: наверно, в тумане пароход чуть было не наскочил на баржу.

И снова мысли вернулись к Лене. Какая она красивая, какая ласковая. А в голосе ее, в тот последний раз, неожиданно прозвучала властная, повелительная нота — он и не подозревал, что Лена может говорить таким тоном. Но она поймет. Не может не понять... А как бы хорошо сейчас оказаться на ее даче. И знать, что где-то там, внизу, в своей комнатке спит она... А утром, чуть только упадет первый луч, она уже из сада позовет: «Соня! Побежали купаться!..»

Где-то далеко послышался шум, крики, бабахнул выстрел, залился долгой натужной трелью полицейский свисток, ему ответил другой. Кучер соскочил с облучка, отстегнул торбу, вставил в рот лошади мундштук узды и, снова забравшись на сиденье, подтянул поводья, распрямился, стал вглядываться в темноту.

Дремоту с Антона как рукой сняло. Он тоже подался вперед, вцепился пальцами в борта фаэтона. Эх, так и не дали ему револьвера! Другим дали, а ему нет! А мало ли что может произойти! Если погоня? Правда, он ни разу в жизни не стрелял...

Из тумана неожиданно и бесшумно выкатилась пролетка, удары копыт и звук колес заглушала пыль. Пролетка поравнялась с фаэтоном. С нее спрыгнула фигурка и быстро взобралась под навес. Первое, что разглядел Антон: бледное пятно лица с огромными, как блюдца, глазами. «Женщина! — оторопело подумал он. — Не напутали ли чего?»

Но пролетка уже понеслась дальше по улице, а кучер фаэтона тряхнул вожжами и понудил:

— Н-но, но!

И они неторопливо поехали навстречу свисткам и крикам. Потом свернули с этой узкой улочки на одну из центральных, заставленных торговыми домами и блекло освещаемую газовыми фонарями.

— Вот! — все еще испытывая замешательство, протянул Антон женщине клетчатый саквояж. — Здесь вещи, переодевайтесь. — И добавил: — Я отвернусь.

Он услышал прерывистое, хриплое дыхание, шелест и хруст одежд.

— Застегните, не слушаются пальцы, — попросила женщина.

Антон обернулся. Тоже не гнушимися от волнения пальцами стал застегивать платье на ее спине. Женщина прошептала:

— Благодарю.

Она надвинула на лоб шляпку. Теперь ее лицо наполовину закрывала вуалетка.

— Позвольте! — кругло «окая», сказал, перегибаясь с облучка, кучер. — Избавимся от одежды за ненадобностью.

Антон протянул ее тюремное рубище и пустой саквояж. Кучер скомкал платье, сунул в саквояж и, широко размахнувшись, забросил его через ограду в чей-то двор.

— Вот паспорт, — достал он из-за пазухи пакет. — Теперь чистенькие, как из баньки! — он весело, с облегчением засмеялся. — А если фараоны остановят, изображайте влюбленную парочку, — сказал он юноше. — Приходилось, дружок? — и снова подергал вожжи. — Н-но, но, ш-шевелись, серая! С горки на горку — даст барин на водку!

Полицейский пересвист остался позади. Все стихло. Они были уже в другом конце города.

— Пронесло! — выкатил новый заряд кругляшей веселый кучер. — Велено до этого угла. Отсюда начинается Никольская.

— Спасибо, товарищ, дальше я знаю, — сказал Антон и спрыгнул первым, чтобы помочь женщине сойти с фаятона. Ее рука была влажная и ледяная.

— Счастливо! — махнул рукой извозчик и покатил дальше.

— На квартире отдохнете. Там вам помогут выбраться из города, — и невольно понизил голос. — А Феликс просил передать: вам нужно ехать в Куоккалу, на дачу Степанова. Знаете?

— Знаю, — ответила женщина. Голос ее был хриплый.

— Вас ждут там в пятницу.

— А сегодня какой день?

— Вторник.

Антон с мужской горделивостью почувствовал себя покровителем этого измученного, бледного существа. «Кто она, что она? Сейчас провожу ее до квартиры и, может быть, никогда больше не увидимся, а если и встретимся, даже не узнаем друг друга, я-то уж точно не узнаю — даже не разглядел... А впрочем, что мне в ней? Задание Феликса выполнено, и все. Отсюда прямо на вокзал, к первому петербургскому...»

Они брели по Никольской. Антон вглядывался в таблички номеров, белевших на столбах калиток. И вдруг с ужасом подумал: он забыл номер дома! Перепутал: то ли тринадцать, то ли семнадцать или двадцать три... Фу ты, черт, как будто перетряхнуло в голове... От волнения, что ли? Вроде бы он не волновался... Антон заставил себя представить бумажку, на которой командир группы написал адрес. Но цифра не давалась, ускользала. «Что же делать?»

Он поглядел на спутницу. Женщина доверчиво опиралась на его руку. Она была невысокая, едва до его плеча. Темная шляпка с вуалеткой закрывала лицо. И такую на каторгу! «Старый партиец», надо же!.. Но что же делать? А, попытаю на счастье!

Они уже подходили к дому № 13.

— Здесь, — сказал Антон и гулко забарабанил по доске калитки.

Во дворе яростно зашлась собака. Потом в доме громыхнула щеколда и послышались заплетающиеся шаги и сердитое бормотанье:

— Каво ще там бесы носят?

— От Терентия Петровича, с поздравлением!..

— Какова, к бесу, Терентия? — взревело за калиткой.

— От Терентия Петровича, с поздрав...

— У-у, пропойный! Вот обломаю о спину батог, будешь бужать, будоражник! Щас Жулика спущу!

Пес снова залаял, загрохотал цепью. По дворам отозвались разбуженные собаки. Антон отскочил от калитки:

— Не разглядел номера, нам надо семнадцать, — стараясь не выдать своего смущения, объяснил он. — Тут, через дом.

Семнадцатый был огорожен высокой каменной стеной, за которой не проглядывалась даже крыша дома, — с коваными воротами, с фонарем над дверью калитки. В двери был прорезан глазок. У ручки торчало бронзовое кольцо звонка в виде лаврового венка.

«Не то... — растерянно подумал юноша. — Явно не то...» Но все же потянул за кольцо. За оградой долго было тихо. Потом с той стороны двери щелкнула заслонка глазка:

— Чего изволите-с в такую рань?

— Я — от Терентия Петровича...

— Никому открывать не велено-с, товарищ прокурора с семейством в отъезде на водах пребывают-с... — Антон отскочил от калитки.

— Опять не то? — в голосе женщины был гнев. — Так вы весь город на ноги поднимете.

— Кажется... Кажется, номер двадцать три...

— Нет, благодарю покорно, — с презрением посмотрела она на юношу. — Здесь товарищ прокурора, а там небось — шеф жандармского управления.

Она в изнеможении прислонилась к побеленному известкой стволу тополя:

— Надо же, послали такого болвана...

— Что же делать? — виновато и в полной растерянности спросил Антон. — Я, сударыня, в первый раз...

— Оно и видно, — женщина провела ладонью по лицу сверху вниз. — Эх, вы!..

— Может, к командиру группы? — неуверенно предложил он.

— Командир разрешал приходить? А если провалим? Нет, голубчик, у нас так не делают, — она помолчала. И решила: — Пошли к Волге, там проворкуем до утра, — ее слова звучали издевкой. — Знаете хоть, в какой стороне Волга?

— Вон в той.

— Нет, милый, в противоположной. Туда, в сторону централа, нам идти!

Она зашагала впереди, а он понуро поплелся за нею. «Вот шляпа! Вот пентюх!.. Хоть на глаза Леониду Борисовичу и Феликсу не показывайся!..»

Они поплелись по городу. От бессонной ночи, от нервного напряжения последних суток Антон и сам-то устал до предела, ноги у него подкашивались. А как должна была чувствовать себя эта женщина?.. Она шла молча, но вся ее фигура, острые плечи, резкие движения, вскинутая голова выражали раздражение и презрение к нему. Со стороны они выглядели, наверное, как загулявшие, а потом рассорившиеся молодые супруги. На улицах чувствовалось какое-то беспокойство, проскакивали верховые жандармы. Антон и его спутница шли не таясь, и на них никто не обращал внимания. Без помех они вышли к Волге, по берегу удалились версты на две от лабазов и причалов. И женщина наконец обессиленно опустилась на траву.

— Поспите, — виновато предложил студент.

Он скинул куртку, постелил ее на землю:

— Положите мне голову на плечо и поспите.

— Пожалуй, — равнодушно согласилась она, комочком свернулась на его куртке, положила голову на его колени, подсунула под щеку ладонь. И в ту же секунду заснула, задышала мерно и с хрипом.

Антон сидел, боясь пошевелиться, чувствуя, как она худа и легка. Шляпку она

отбросила, и теперь он мог разглядеть ее лицо. В неясном свете уходящей ночи оно казалось серо-голубым, истонченным. На нем темными пятнами расплывались чаши глаз и неестественно черно вырисовывались губы. Сейчас, безмятежно спящая на его коленях, она казалась беспомощной, беззащитной и маленькой — и он снова подумал с удивлением и завистью: «Старый партиец»?.. А разве не такой же была Вера Засулич? И Софья Перовская, и Геся Гельфман — девушки-легенды, своими подвигами бесстрашия и мужества уязвившие самолюбие всего российского «сильного пола»? И она — неизвестно за какие подвиги против строя осужденная на двадцать лет каторги. Только подумать: на двадцать лет, до глубокой старости! А он... Антон почувствовал неодолимый стыд. Что делать после случившегося? Бежать бы куда глаза глядят — только бы не слышать ее презрительного голоса...

Женщина вздрогнула, жалобно застонала во сне, потерлась щекой о его колено и снова задышала спокойно и глубоко.

«Нет! — решил он. — Раз такая ерунда случилась, я сам повезу ее в Куоккалу, на дачу Степанова!»

Если бы в эту минуту на них неожиданно напал целый полк жандармов, он бы разметал их всех, грыз бы зубами, дрался как лев!..

С реки потянуло предутренним ветром. Под самым обрывом берега проплыла за пыхтящим буксиром баржа. Антон снова почувствовал, что озяб — сырой ветер пронизывал его до костей. «И пусть! Простужусь, воспаление легких — пусть! — он даже рад был этому физическому мучению. — Температура сорок, а я все равно везу ее и доставлю в целости и сохранности! А потом падаю без сознания и брежу... Пусть!» Он склонился над женщиной. Острое плечо ее было холодным и жестким.

— Господа, господа! Нехорошо-с!

Он вскинул голову. Уже было светло, и над ним стоял, возвышаясь огромной конусообразной статуей, старик городской с седыми усами.

— Меру знать надобно-с, мо#769;лодежь! — добродушно-укоризненно продолжал полицейский. — В постельку-с, а то маменьки беспокоятся. А тутеча и мазурики шастают, ограбить могут-с, и убивств случаи имеют место.

— Благодарю за совет, — сказал Антон, потягиваясь, чувствуя, как затекло все тело.

Женщина проснулась, открыла глаза, увидела начищенные бутылки-сапоги и затрепетала, невольно прильнула к Антону.

— Нехорошо-с! — снова неодобрительно покачал головой полицейский. И неожиданно потребовал: — А документики извольте-ка-с!

«Бросьтесь на него! Повалить! Задушить!» — пронеслось в мозгу юноши.

Женщина достала паспорт, протянула:

— Пожалуйста.

И неторопливо спросила у Антона:

— А у тебя с собой?

— На комодке оставил, — буркнул он.

Городской старательно и деловито перелистал паспорт, подумал, протянул и снова с укором проговорил:

— Нехорошо-с, мо#769;лодежь!

И неторопливо зашагал вдоль берега, заглядывая в кусты и под перевернутые лодки.

Женщина сцепила кисти рук, потянулась, так что хрустнули суставы, сладко зевнула и сказала:

— Благодать! Выспалась! Откуда он свалился? — она кивнула на удаляющуюся фигуру полицейского.

— Совершает обход, не бежать же было, — Антон не признался, что сам заснул и прозевал опасность.

— Ну, спаситель, давай и познакомимся, — в голосе женщины была насмешка, но без злости.

Она протянула руку:

— Ольга.

«Ольга... Ольга...» — ему почудилось, что это имя связано для него с чем-то очень важным. Но с чем — он не смог вспомнить.

— Владимиров, — пожал он ладонь женщины.

— Что будем делать дальше? — спросила она.

— Поедем в Питер, а оттуда к месту назначения. Я вас повезу.

— Прекрасно. А как поедем?

— Сейчас на вокзал, и как раз к петербургскому.

— Отлично. Тем более, что на вокзале у каждого шпика уже, конечно, моя фотография анфас и в профиль.

— А что же?... Не пешком же до Питера?

— Зачем? Матушка вывезет, — женщина повела рукой в сторону Волги. — Пристроимся на барже какой-нибудь до Рыбинска, а там поглядим.

— Опоздаем к пятнице в Куоккалу.

— Нет, должны успеть. Только вот одежда наша не очень-то подходит — приметная... Деньги у вас есть?

— Конечно.

— Тогда сходите, Владимиров, на толкучку, купите мне сарафан какой-нибудь поскромнее, а себе шаровары, чапан, сапоги, только не новые. И дорожную сумку попроще. Будем мы с вами ремесленного сословия, брат и сестра — согласны? Или молодожены? — она усмехнулась.

«Вы же куда старше», — подумал он, но не стал возражать: роль мужа показалась ему забавной.

— Не смущайтесь, что я старуха, — она снова усмехнулась. — Вы бедняк, женились на приданом, обычное дело. Только как вас, муженек, по имени-отчеству величать?

— Зовите, Владимиром Евгеньевичем, — ответил он.

— Ну а меня, по пачпорту, Пелагеей Ивановной. Давайте, батюшка-свет Владимир Евгеньевич, шибче обертайтесь — я вас здесь обожду.

Это было странное, чудное путешествие. Вроде бы он и не он, а кто-то другой, и вроде бы он смотрит на себя и на свою нежданно-негаданную спутницу со стороны. В широком сарафане, высоко перехваченном под грудью, в юбке с шушунами Ольга и впрямь превратилась в молодайку. Глаза ее под низко повязанным на лоб повойником повеселели. И бабы, оказавшиеся на борту, обращались с ней по-свойски, вели бесконечные свои разговоры, пронизательно определяли по изможденному ее лицу с землисто-голубоватой кожей женские болести, чистосердечно жалеючи, давали советы, как извести хворобу, и недобрыми взглядами в чем-то винули его, «мужа».

С кем только не свела их наезженная речная дорога! От Ярославля, когда сторговались они с хозяином хлебной баржи до Рыбинска, попутчиками оказались хмурые грязные личности в татуировках и с фиксами. Фиксы огоньками вспыхивали в их ртах, и говорили они на неведомом языке — о бабках, бутырях, скамейках, аршинах и мешках, даже обычным этим словам придавая какой-то скрытый смысл. Антон прислушивался. Один из татуированных подозрительно спросил: «Ходишь по музыке?» Студент пожал плечами. И тогда вся компания так на него посмотрела, что он поспешил перебраться подальше, на корму. То ехала артель воров. Попадались и пропойцы неопределенного сословия. Но в подавляющей массе плыл на баржах и обшарпанных вонючих пароходах народ — те, которых на улицах Санкт-Петербурга, повстречав, считаешь за случайных пришлых и которые на самом-то деле и олицетворяли собою всю великую матушку-Россию. И песни у них были свои, и говор свой, и достоинство, и заботы. А общее — невероятная, уму непостижимая нищета. Юноша глядел во все глаза и слушал.

Большинство крестьян гнал вверх по Волге призрак голода. В среднем течении и в

низовьях невиданная жара выжгла хлеб. И люд, наученный страшным недородом позапрошлого года, спешил раньше податься на север, чтобы где-то — у родственников ли, у кулаков, на промыслах — зацепиться, перезимовать, выжить. Ехали семьями, с заморенными чумазыми малышами, с ветхим скарбом. Женщины и в дорожных условиях, на воде, дурели от забот и хлопот, поддерживая быт, готовя похлебки и тюри, кормя обвисшими грудями младенцев, стирая и латая лохмотья, а мужики томились от безделья, дымили махрой. Как контрастировал синий разлив реки, по глади которой плыли отражения снежных облаков, пышное зеленое обрамление, свежесть ветра, щедрость солнца, с этими серыми лохмотьями, истощенными лицами, плачем детей, руганью баб и мужиков!..

«Вот она, беда в самом своем образе», — подумал Антон, чувствуя, что его неубывающее горе, его боль и тоска об отце растворяются в этой великой боли и в этом горе. И неожиданно он вспомнил слова Леонида Борисовича, произнесенные еще тогда, при их первой встрече: «Наше дело, дело большевиков, движимо не мезтью и не ненавистью, а любовью — любовью к трудовому народу. Мы работаем не только во имя разрушения старого, а во имя создания нового». Тогда он не вдумался в смысл этих слов, даже не придавал им значения, они даже выветрились из его головы. И только сейчас вспомнил и понял их. «Да, то дело, которым теперь я занят, для них делаю, чтобы лучше стало им жить! Да, не мезть, а любовь!..» Пусть и неведомо этим бабам и мужикам, что работает он для них. Но чем же конкретно его работа тайно служит им? Да, он участвовал в освобождении Ольги. Так, значит, что-то важное делала и должна еще сделать для них она?

Антон посмотрел на свою «жену». Тщедушная, в блеклом сарафане, в платке на бровях — молодайка и молодайка, да к тому же еще по виду сжигаемая болезнью, хотя он-то знал, что эта землистая бледность — печать тюрьмы, — что в силах сделать эта маленькая женщина против стены-монолита, которую не смогли поколебать даже атаки тысяч восставших?.. А Вера Засулич? А Софья Перовская? Разве после них все осталось как прежде? Разве не растревожили они души молодежи целых поколений? Не пробудили желания бороться с новой яростью? Бороться за то, чтобы когда-нибудь, пусть неизвестно когда — он, пожалуй, и не доживет до того часа — разрушить все и начать строить заново, но на иных, самых разумных и справедливых принципах?.. Именно ради этого и работают Леонид Борисович, и Феликс, и дядя Захар... И она, Ольга.

В пути женщина помягчала, не была так язвительна и насмешлива, как там, в Ярославле. Играя, он на виду у всех привлекал ее к себе, обнимал. Она не противилась. «Тоже играет свою роль молодой женушки? Вот бы увидела меня за этим развлечением Ленка!..» Мысль о том, что Лена вдруг могла бы оказаться здесь, в этой обстановке, показалась ему невероятной. А если бы все-таки оказалась?.. Он представил, как передернула бы она плечами от брезгливости, как поджала бы губу и, подхватив двумя пальцами подол платья, застучала каблучками по палубе, лавируя, чтобы, упаси бог, не коснулся подол этой грязи... При всей современности ее взглядов жители городских окраин, а тем более крестьяне были для нее «людом». Что же делать ему? Как заставить взглянуть на все его глазами, понять его и стать помощницей в его деле?.. Но говорят ведь: любовь способна сотворить чудо. Он будет молиться какому угодно неведомому богу, чтобы тот это чудо сотворил!..

На коротком пути от Ярославля до Углича они пересаживались трижды, а в Чигиреве, на станции, где проходящий на Питер почтовый и тот стоит всего две минуты, сели в поезд и в пятницу утром уже вышли из чадного, пропахшего онучами и солеными огурцами зеленого вагона на перрон Виндаво-Рыбинского вокзала столицы.

— Довольно, маскарад окончен, — тихо сказала Ольга. — Я пойду в туалетную комнату и все это сброшу. Советую то же сделать и вам. А потом сумку сдадим на хранение. Навечно, — она улыбнулась. — И след двух ярославских молодоженов простыл! Присядем, я возьму свой сверток.

«Здорово!» — с восхищением глядя на Ольгу, подумал Антон и проводил ее глазами через прокуренную залу, с сожалением расставаясь с образом молодайки.



Через несколько минут они встретились вновь: студент в форменной куртке с синими бархатными петлицами и женщина в строгом темном платье в талию и шляпке с вуалеткой. И, будто и вправду они только увиделись, Антон галантно взял ее руку и поднес к губам.

— Так-то лучше? — спросила она. Глаз ее не было видно, но губы сложились в усмешку.

— Не знаю... — ответил он. — Не знаю...

— Сходили в народ — пора и возвращаться. Вот так же, как вы, хаживали чернопередельцы и землевольцы и думали, что они все о народе познали, в глубины психологии его проникли.

— А вы? — обиделся Антон. Насмешка Ольги задела его тем больше, что он действительно думал теперь: уж чаяния и мысли народа отныне ему доподлинно известны. — А вы познали?

— Очевидно. Уж во всяком разе, лучше, чем те, которые только каникулы проводят в деревне.

— Сколько же хаживали вы?

— Все свои двадцать три года.

«Ей всего двадцать три! — Антон внимательно посмотрел на женщину. — Всего на три года старше... Я-то думал — старуха, за тридцать. Вот она, тюрьма-каторга...» Печать испытаний на лице женщины вызывала у него уважение, и все же отступить он не хотел.

— Так с пеленок и хаживали? — съязвил он.

— Зачем же хаживать? Жила. Я ведь крестьянская дочь.

— Вы-и? — удивился он. «Вот бы не подумал... Да кончика ногтей городская дама». И, будто оправдываясь, добавил: — Мой дед тоже был крепостным, у Столыпиных в родовом имении.

— Так что вы, считай, родственник нынешнему премьеру-вешателю? — со смешком сказала Ольга.

«Что она разговаривает со мной как с сопляком? — разозлился он. — Всякое слово — за ней... Ну погоди, сейчас и я тебя проучу!»

До гельсингфорского поезда у них оставалось еще без малого два часа.

— Давайте прокатимся по Питеру? — предложил он.

— С удовольствием.

Тут же на привокзальной площади Антон взял извозчика, и они покатали через Обводной канал, по Московскому, по Садовой. Петербург так же сиял в утреннем солнце, как в тот день, когда Антон вернулся из Тифлиса. Сколько прошло? Едва неделя. А как много изменилось в его жизни и в нем самом! И как преобразилась сама его... Он с трудом подыскивал определение... Ну, сама его гражданская роль, что ли. Тогда в глазах властей он был никто, просто студент-вольнодумец. А какой студент, да еще из Техноложки, не прогрессист и не радикал? А сейчас он по всем юридическим законам и статьям «Уложения о наказаниях» — государственный преступник, соучастник организации побега каторжника. И знай это его значение первый же городской, вон тот, маячащий на углу, — бросился бы за ним, не щадя живота своего!..

У Гостиного двора они выехали на Невский. Через мостовую, вторым от угла он увидел дом, в котором жил Леонид Борисович. «Уже ждут нас...» — с удовлетворением подумал Антон.

Когда они доехали до Аничкова моста, он как бы между прочим предложил:

— Давайте по набережной Фонтанки? Очень люблю эту набережную!

— Превосходно, — кивнула Ольга. И откинула вуалетку, подставила лицо утреннему солнцу.

Коляска мягко покатила мимо училища святой Екатерины, мимо золоченой ограды шереметевского дворца, старинного особняка министерства императорского двора... До Пантелеймоновского моста оставалось полсотни шагов. К двухэтажному, невысокому и неприметному с фасада зданию подкатывали кареты, с них сходили чиновники в

партикулярном и офицеры в голубых мундирах.

— Сей домик вам не знаком? — многозначительно спросил Антон, поворачиваясь к женщине. И, невольно повторяя интонацию и даже акцент «провинциала», крикнул кучеру: — Придержи, будь любезный! — И снова к Ольге: — Может, сойдем, пройдем, а?

И увидел, как она вздрогнула, отпрянула в угол кареты, и смертельная бледность начала проступать на ее лице. «Ага, и ты не железная! Как струсила!» — торжествующе подумал он, насмешливо улыбаясь. И еще он увидел, как какой-то жандармский офицер — высокий и поджарый, с хрящеватыми ушами, торчащими в стороны, — придержал шаг и с интересом посмотрел на них. «Боже мой, какой я прохвост! И кого я смею пугать!» — в следующее же мгновение подумал юноша, залился краской и крикнул кучеру:

— Давай, давай, на Финляндский, и поскорей!

И, виновато понурив голову, прошептал:

— Извините, ради бога... Я не вас хотел, а себя...

Ольга сидела, отвернувшись, закусив верхнюю губу, будто сдерживая стон. На губе набухла капля крови. А на впалых щеках сквозь белизну проступали вишневые пятна и на висках вздулась и пульсировала синяя жилка.

Когда отъехали уже порядочно, уже катили по Литейному к Александровскому мосту, она, так и не поворачиваясь к нему, проговорила:

— Мальчишка... Не знаешь ты, как страшно предательство. Страшнее на свете ничего нет...

«Она подумала... Боже мой, какой я мерзавец!.. А теперь еще надо будет рассказать обо всем Леониду Борисовичу... Да, вот это герой!..»

Впервые в жизни он почувствовал презрение к самому себе.

## ГЛАВА 11

В это утро, в пятницу, Додаков, вызванный накануне с вечера на Фонтанку, торопился в департамент полиции раньше, к открытию присутствия — день у него предстоял хлопотный.

Сухопарый, в безукоризненно сшитом и тщательно вычищенном мундире с серебряными аксельбантами, ротмистр шагал по тротуару набережной, вскинув голову, не глядя по сторонам. По лицу его блуждала улыбка, ломающая временами прямую и твердую полоску губ и невольно выдававшая его приподнятое настроение. Виталий Павлович действительно пребывал в таком радостном состоянии, которое охватывает человека, когда наступает в его жизни полоса удач. От мелочей — от красиво расписанной пульки преферанса — до высочайшего благоволения за добросовестный доклад о Лисьем Носе и денежной награды, которая уже была у него в кармане. Приятно было сознавать, что большинство этих удач — не слепая шалость фортуны, а результат усилий его ума, свидетельство его личных способностей. И все же не сами эти удачи действовали так воодушевляюще. В жизни полосы сменяют одна другую, и человек аналитического и трезвого ума должен быть готов к их чередованию. Главным было другое — сознание того, что тогда, в начале карьеры, оказавшись на распутье, он, надев голубой жандармский мундир, сделал правильный выбор.

Додаков пришел в отдельный корпус жандармов не по велению души — следуя семейной традиции, юношей он поступил в кадетский корпус, по окончании его был зачислен в гвардию. Но случилось несчастье — однажды на вольтижировке он упал с лошади, сломал ногу. Хромота осталась. Уходить в отставку? Поступить на службу по гражданскому ведомству?.. Исполнительному офицеру предложили иное — корпус

жандармов. Там очень нужны достойные люди, та же военная служба, и увечье не помеха. Он колебался. Предложение претило ему. Но все же офицер, а не «шпак»... Он согласился.

Оказалось, что офицером отдельного корпуса жандармов мог стать лишь потомственный дворянин, окончивший военное или юнкерское училище по первому разряду, обеспеченный состоянием, не имеющий долгов и уже прослуживший в армии, гвардии или во флоте не менее шести лет. Всем этим требованиям Додаков удовлетворял. Но все равно он должен был выдержать еще и предварительные испытания при штабе корпуса для зачисления в кандидаты, затем прослушать курс и сдать выпускные экзамены. Лишь после этого приказом, подписанным самим государем, он был переведен из гвардии в жандармерию и одновременно с красивым, небесного цвета мундиром получил назначение в Московское охранное отделение.

Первое впечатление от знакомства с охранным отделением, располагавшимся в Гнездиновском переулке, было обескураживающим: невзрачное строение со стенами грязно-зеленого цвета, с низкой темной передней, маленькими комнатками, заваленными бумагами, заставленными обшарпанными желтыми шкафами и столами-конторками. А новые его сослуживцы — очкастые чиновники в сатиновых потертых нарукавниках. Боже мой, какой разительный контраст с лазаретной чистотой казарм в полку, с плацами, манежами, блестящими киверами и расшитыми доломанами его сотоварищей-гусар!

Да к тому еще и начальник охранного отделения Зубатов — пожилой мужчина с манерами адвоката, в очках с тонкими золотыми дужками и гладко зачесанными светлыми седеющими волосами — в один из первых же дней вызвал молодого сотрудника в кабинет и сказал:

— У вас, поручик, все данные для работы в студенческой среде. Пусть вам не покажется оскорбительным, внешне вы никак не отличаетесь от студента. Опытный глаз подметит офицерскую выправку, но хромота скрадывает ее. Надеюсь, у вас получится. Возьмите под свое наблюдение университет. Познакомьтесь с этой темпераментной молодежью, войдите в круг. Запомните: студент отличается от иных сословий тем, что не принимает на веру авторитеты и не почитает власть, зато легковерно преклоняется перед ниспровергателями устоев и прочими смутьянами. Если и вам для пользы дела надо будет порисоваться вольнодумством, не брезгуйте. Конечно, в меру.

— Вольнодумство — в офицерском мундире? — изумился он.

— Нет, поручик, — холодно блеснул очками Зубатов. — Мундир повесьте в гардероб. Вы будете работать в штатском костюме. Перевоплотитесь в студента и слушайте, изучайте, запоминайте.

— Да ведь это — обыкновенным слухачом! — чуть не задохнулся от возмущения бывший гусар.

— Секретный сотрудник, изволите вы сказать? Совершенно верно. Но чтобы стать мастером охранной службы, надо овладеть всеми видами этого ремесла, — окончательно низверг Додакова в прах новый начальник.

Что было делать? Подать рапорт? Однако же приказ о назначении подписан самим царем. К тому же и Зубатов, хоть по виду и «шпак», жандармский полковник... Пришлось повиноваться.

Чтобы органичнее было его присутствие в среде разночинной молодежи, он стал изображать себя студентом-экстерном, интимно познакомился с институткой — помнится, звали ее Варенькой, — смешливой и безалаберной. По взглядам своим Варенька была одной из главных смутьянок. С нею Додаков попадал и на узкие собрания, и на вечеринки, где за стаканами дешевого вина живо развязывались языки. И как часто поручику приходилось сдерживать благородный порыв: заставить этих господ, которые без бога и царя в голове, уважать августейшие имена! Вот бы остолбенели они, и первой — Варенька, когда б узнали, что неприметный «экстерн» в мягком галстуке, держащийся всегда в сторонке, — офицер охранного отделения! Виталий Павлович с трудом сдерживал себя. Но ничего, час пробьет!..

Он еще не окончательно определился в новой сфере, когда в феврале 1901 года

московское студенчество охватили волнения, до того отшумевшие в Петербурге и Харькове.

Студенты университета скопились во дворе, за оградой, выходившей на Моховую, что напротив Манежа, и устроили сходку. Обер-полицмейстер распорядился арестовать смутьянов и препроводить их в Манеж. Слух об этом распространился по городу, к Манежу устремились группы молодежи. Наперерез им были брошены наряды городских и унтер-офицеров жандармского эскадрона. Но толпы юношей и девиц при приближении их со смехом и улюлюканьем разбежались, чтобы тотчас собраться в другом месте. Это напоминало Додакову детскую игру в кошки-мышки. Он чувствовал оскорбительную злость от сознания, что власти действуют неумело, лишь способствуя беспорядку и сумятице. Нет, он не был сторонником нагаек, но непростительно, когда полиция не имеет плана действий. А уж в Манеже, куда направляли арестованных, веселье было безудержное, будто проводилось рождественское гулянье. У одной стены одна сходка, у противоположной другая; песни, танцы. А офицеры мечутся от группы к группе, просят, убеждают, уговаривают. Тьфу!..

Студенты пошумели, повеселились. Власти вынуждены были распустить задержанных по домам. Правда, несколько дней спустя главных зачинщиков — не без помощи Вареньки, хотя она и не ведала того, — арестовали, а затем выслали из первопрестольной.

И вот при обсуждении этих событий в кабинете Зубатова поручик не удержался:

— Нам стыдно должно быть перед петербургскими коллегами — там смутьяны понесли заслуженное наказание.

— А как следовало действовать нам? — спросил Зубатов.

Додаков не понял, гневается ли полковник на молодого сотрудника или действительно интересуется его мнением. Но ответил:

— В любом случае надо было заранее иметь план действий и действовать решительно.

Начальник охранного отделения помолчал, с интересом разглядывая молодого офицера, и после паузы посоветовал:

— Стоит подумать и о таком плане. Может пригодиться. — И утвердительно добавил: — Непременно пригодится.

И впрямь пригодился. Через год, в январе девятьсот второго, студенческие волнения вспыхнули с новой силой. И на этот раз брожение выплеснулось сходкой в том же актовом зале. Только в отличие от прошлогодних речи звучали еще более возмутительные, по рукам шли прокламации, отпечатанные на гектографе, резолюция сходки носила политический характер, а в окно, выходящее во двор, был выставлен красный флаг. В сборище, кроме студентов университета, приняли участие учащиеся других учебных заведений и курсистки.

По приказу обер-полицмейстера университет оцепили войска. А в Гнездниковском Сергей Васильевич вызвал в кабинет Додакова и, отечески улыбаясь, сказал:

— На сей раз арестованных перепоручаю вам, будьте в мундире и действуйте по своему плану. Вам карт бланш.

Виталий Павлович представил, каким будет лицо Вареньки, когда она увидит его в шинели жандармского офицера, с сожалением подумал, что на этом их связь и кончится, хотя ему претили ее речи и ее знакомые. Но эта мысль промелькнула и улетучилась. Стоя навытяжку перед начальником отделения, поручик спросил:

— Что мне придано?

— Все наряды полиции в вашем распоряжении.

— Желательно и полусотню казаков.

— На городских не полагаетесь?

— Казаки действуют на толпу успокоительней, — без улыбки ответил Додаков.

— Что ж... — с новым интересом оглядел его с ног до головы Зубатов. — Получите и казаков. И солдат в придачу. И с богом!

«Ad majorem dei gloriam»<sup>8</sup>, — как клятву произнес про себя поручик. Он ощущал

---

<sup>8</sup> К вящей славе божьей! (латин.) — девиз иезуитов.

легкую, сладостную дрожь в теле, и в висках весело стучали звонкие молоточки. Наконец-то он может действовать самостоятельно! И у него есть план, во всех деталях учитывающий все то, что почерпнул Виталий Павлович, вращаясь среди этих верхосвистов.

Додаков приехал к университету. Главное здание его, где проходила сходка, было оцеплено двойной шеренгой солдат и полицейских. Вдоль цепи прохаживались офицеры. Поручик увидел стоящего в стороне в окружении свиты обер-полицмейстера Трепова. Додаков отрапортовал генералу. Трепов холодно процедил:

— Арестованных будет свыше тысячи. Их препроводят в Манеж. Обеспечьте порядок.

— Будет исполнено, ваше превосходительство! — звякнул Додаков шпорами.

Манеж был мрачен и выстужен. Пахло навозом и сеном, и что-то шелестело под высокими сводами. Поручик подумал, что это машут крылами огромные летучие мыши.

Подошли приданные подразделения — солдаты, казаки и городовые. Хотя офицеры — командиры подразделений — по званию были выше Додакова, однако же теперь командовал здесь он. И поручик распорядился выстроить солдат в две шеренги, шпалерами, от дверей в глубь Манежа и конец этого узкого коридора, образуемого серыми шинелями, замкнуть тупиком. Затем, произведя расчет, разделил живой коридор на несколько частей. Конные казаки курсировали вдоль внешней стороны коридора. Все остальные, пешие, верховые, заняли позицию у дверей. Додаков приказал раздать факелы еще одной группе и вывел ее из Манежа.

У ограды университета в безмолвии, нарушаемом лишь скрипом снега под топочущими на морозе сапогами, зябли солдатские цепи. Окна университета были освещены, и за ними металась тревожные тени. Из одного из окон все так же торчало древко с красным полотнищем.

«Чего ждут?» — подумал поручик.

В эту минуту Трепов что-то сказал стоявшему подле него офицеру и коротко взмахнул рукой в меховой перчатке. Тотчас сквозь цепь солдат к ступеням университетского здания бросилась группа полицейских и, ловко орудуя пожарными принадлежностями, начала выламывать высокую входную дверь. В проем, как на штурм, устремились городовые и солдаты. Они ворвались в здание, смяли и оттеснили гомонящих студентов, окружили их и стали выжимать на улицу. Толпа двинулась во двор, к воротам.

Войска перестроились. Теперь от ворот был открыт единственный путь — через дорогу, к Манежу.

— Зажечь факелы! — приказал своему наряду Додаков.

Во тьме тревожными красными языками затрепетали дымные огни. Поручик чуть ли не бегом устремился в Манеж:

— Приготовься! Казаки, нагайки вверх!

Студенты приближались. За стеной нарастал гул, будто накатывался океанский вал. Студенты дружно пели. В знакомом мотиве «Разлуки» Додаков разобрал слова:

Нагайка, ты, нагайка,  
Тобою лишь одной  
Романовская шайка  
Сильна в стране родной!

— Двери распахнуть, когда подойдут вплотную! — приказал поручик жестко и решительно, будто к его окопу приближался неприятель, а он оттягивал первый залп.

Но вот голоса надвинулись. Двери Манежа распахнулись. На толпу дохнуло леденящим холодом, запахом выстывшей конюшни. По стенам, теряясь под сводами, металась огни.

На мгновение идущие впереди запнулись, остановились. Толпа сзади напирала.

— Пение прекратить! За-амолчать! — крикнул Додаков.

Как бы подкрепляя его команду, к толпе, наезжая на нее крупами, двинулись казаки с вознесенными в руках нагайками.

Пение смолкло. Толпа молча потекла в коридор-тупик. Да, Виталий Павлович рассчитал правильно: ошеломить этих верхошапов эффектами — факелами, мраком, казаками, грозным окриком, сломить хотя бы на момент, а затем не дать опомниться. И сразу же отделить парней от девиц — женщины стимулируют настроение и воинственность мужчин, действуют на них, как взрыватель на динамит. Сразу же у дверей полицейские и солдаты под нависшими с обеих сторон конскими мордами и казачьими нагайками выхватывали из рядов курсисток и отталкивали их в сторону, за кольцо охраны. А толпа все вползала в Манеж, и, когда она уперлась в тупик, живой коридор расчленился на части, как если бы разрубили на порции колбасу, и в тесном окружении солдат каждую замкнутую группу оттеснили в разные углы помещения. Раздались возмущенные выкрики.

— Приказываю — малчать! Раз-говоры прекратить! Казаки, исполнять!

Выкрики смолкли. И вдруг в наступившей тишине струной прозвенел голос:

— Виталий! Не может быть! Ты?..

Додаков обернулся. Подошел к оцеплению, за которым были женщины. Не вглядываясь в тени-лица, приложив руку к башлыку, сказал:

— Так точно, Варвара Степановна!

На руках солдат повисла фигурка.

— Ты! Гадина! На!.. — струна лопнула. Плевок, не долетев, шмякнулся на мерзлый песок Манежа.

— Варвара Степановна Жукова, занесите в протокол: оскорбление при исполнении служебных обязанностей, — спокойно сказал Додаков стоявшему рядом следователю отделения.

В этот момент в Манеж в сопровождении свиты вошел обер-полицмейстер. Он с интересом оглядел необычную, графически завершенную картину. Поручик подбежал к генералу, замер, припаяв руки к шинели.

— Благодарю, поручик, — на сей раз отнюдь не ледяным голосом сказал Трепов. — Перепишите арестованных и препроводите в Бутырскую тюрьму. Все силы обеспечения порядка подчинены вам. Учтите: я обещал великому князю освободить Манеж для занятий кавалергардов к шести утра.

— Будет исполнено, ваше превосходительство! — снова щелкнул каблуками Додаков, и ему показалось, что шпоры зазвенели весело и победно.

К шести часам все студенты и курсистки, числом более тысячи, были переписаны, прогнаны под конвоем до Бутырки и распределены по камерам.

За осуществление этого, самым им разработанного и воплощенного плана Виталий Павлович был удостоен Станислава третьей степени. С той поры, с зимы девятьсот второго года, он окончательно утвердил за собой звание специалиста по студенческому вопросу. Однако сам Додаков прекрасно понимал, что одна удача не предопределяет последующих успехов, на каждое действие противная сторона тут же вырабатывает противодействие, и случись в университете или другом учебном заведении волнения, вряд ли удастся вновь столь легко обуздать их ночными огнями, мрачными сводами Манежа и казаками. С червоточиной надо бороться, истребляя червя в личинке. А для этого надо знать, где эти личинки, способные сгноить весь плод. Сам Додаков теперь уже не мог появляться в студенческой среде. В ту ночь, как говорилось на специфическом жаргоне отделения, он «засветился». Не только Варенька, которую он больше не видел (кажется, ее отправили по этапу куда-то на север), — и другие его опознали. Что ж, если он не может узнавать сам, он должен выведывать с помощью кого-то другого. И Виталий Павлович снова прибег к опыту своего наставника: начал вербовать и насаждать в студенческой среде секретных сотрудников — осведомителей.

Вскоре Зубатов был переведен в Петербург, назначен заведующим особым отделом

департамента полиции. Сергей Васильевич взял с собой из Москвы в столицу нескольких чиновников, к которым был более расположен, в их числе и Додакова. Однако переводить молодого офицера на должность в департамент Зубатов посчитал преждевременным и для повышения квалификации определил поручика в столичное охранное отделение, под начало своего бывшего ученика Герасимова.

К тому времени Виталий Павлович уже без всякого сожаления вспоминал о своей былой службе в гвардии. Каким был его удел в полку? Маневры да парады, да карты и попойки на досуге. Жди войны, чтобы получить чины и награды, да еще дождешься такой бесславной, как с японцами. А охранная служба, привилегированный корпус жандармов бережет покой матушки-России, пользуется благоволением самого государя!.. И все же нет-нет, а что-то царапало в душе, когда видел беспечные гусарские рожи.

Но вот наступил пятый год. Теперь уже было не до мечтательных воспоминаний и мудрствований. Сотрудники охранного отделения, весь корпус жандармов были брошены на подавление революционных выступлений. В «работе» со студенчеством Додакову помогали дружины Михаила Архангела, черной сотни, попечительствуемые самим правительством и объединившие владельцев мелких лавок, содержателей питейных и чайных, приказчиков, половых, дворников, отставных унтеров и прочих верноподданный люд.

Однажды надо было сорвать демонстрацию студентов Технологического института, о которой поручик заранее узнал от своих осведомителей. В ближних к институту дворах по Московскому и Загородному проспектам расположились черносотенцы, вооруженные дубинками, железными, обернутыми в тряпье прутьями и кистенями. Сам Додаков в партикулярном платье, по виду праздный горожанин, пристроился на скамье бульвара — так, чтобы в просвет меж стволом липы и кустом сирени видеть двери института. Здание его неприступным и независимым видом своим вызывало у Виталия Павловича раздражение: гнездо всяческих злоумышлений и вольнодумств, место стечения революционеров и цитадель невесты откуда возникшего Петербургского Совета рабочих депутатов. Как стало известно охранному отделению, в физической аудитории института состоялось заседание этого Совета. Сейчас мостовая по Загородному проспекту, вдоль бульвара, была вскрыта, булыжники аккуратно сложены в пирамиды — это фирма «Вестингауз» прокладывала колею для электрического трамвая. Додаков подумал, что булыжники могут пригодиться в предстоящем деле.

В двери входили, но не густо — видать, запаздывающие. Но вот наступило условленное время, обе створки распахнулись, и шумно-весело гомонящие студенты начали выплескиваться на улицу.

И тут началось. Смельчаки черной сотни, крепкие парни-грузчики из Гостиного двора — всего несколько, для затравки, — затеяли драку. Студенты не дрогнули. В тот же миг обрушились молодцы, поджидавшие во дворах, и все получилось так, как было задумано Додаковым. К сожалению, среди студентов оказался профессор Владимир Евгеньевич Путко. Поручик из-за куста увидел, как взметнулись над головами среди прутьев с размотанным тряпьем белые руки, а потом над общим шумом драки повис нечеловеческий вопль, и руки исчезли. Это было ужасно. Студенты и пущенные на них молодцы — понятно, молодежь, как в деревне, где было его имение, когда ходили стенка на стенку. Но профессора — это напрасно. Додаков даже хотел броситься на помощь. Но кто знает поручика, кроме старосты черной сотни? И что он может сделать, когда кулак и кровь пробудили в этих людях зверей?

Студентов рассеяли. И Виталий Павлович увидел его. Профессор был изуродован до неузнаваемости, раздавлен коваными сапогами. Только руки неестественно белели в черной зловещей луже. Додаков знал, что Владимир Евгеньевич был либералом весьма и весьма радикальных взглядов, — сам сиживал на его лекциях. Однако же... Он хотел было подойти, как к убитому с криком отчаяния бросился высокий вихрастый юноша в студенческой куртке, наверное, его сын, и Виталий Павлович счел, что ему лучше всего удалиться.

Вскоре за работу среди студенчества Додаков был произведен в ротмистры и получил Анну в петлицу. А недавно начальник охранного отделения полковник Герасимов, вызвав

его в свой кабинет, сказал:

— Соблаговолите, ротмистр, взять на себя группу борьбы с социал-демократами. Примите дела без промедления.

Полковник Герасимов был скуп на слова. Но Додаков понял, что новое поручение — молчаливое признание его предшествующих заслуг, ибо ведение политического розыска среди социал-демократов стало в последнее время главным направлением всей деятельности Петербургского охранного отделения.

— Слушаюсь, ваше высокоблагородие! — вытянулся Додаков.

С первых же шагов новая сфера деятельности представилась Виталию Павловичу неизмеримо более трудной и соответственно более интересной, чем прежняя. Там он чувствовал себя волком в овчарне или лицейским дядькой, наблюдающим за шалостями отроков: все их уловки и хитрости были ему известны, побуждения и стимулы очевидны, а сообщества хотя и бурливы, но стихийны, разнородны и пестры. Здесь же факелами во мраке и кастетами парней из «Союза Михаила Архангела» не возьмешь. В единоборстве с крепко спаянными, сплоченными дисциплиной ячейками партии Додаков чувствовал себя равным. Он вынужден был признать: социал-демократы, особенно большевики, исключительно опытные, действуют изобретательно и на редкость смело. В департаменте полиции и охранных отделениях с очевидностью поняли: именно члены РСДРП, именно большевики и есть ныне главные, опаснейшие противники самодержавного строя. Виталий Павлович мог сочувствовать вольнодумцам-студентам, уважительно относился к требованиям конституционных демократов и прочих либералов, даже радикалов, но ни по одному пункту он не находил в своих убеждениях и чувствах соприкосновения с большевиками, делавшими ставку на заводской и деревенский люд. Однако, знакомясь с досье на большевиков, ротмистр часто испытывал недоумение: среди них было немало людей, происходивших из того же сословия, что и он, из семей потомственных дворян, было немало специалистов с блестящим образованием. Как посмели они предать интересы своего класса! Именно к таким лицам он испытывал особенно злую неприязнь, даже ненависть. К тому же он прекрасно понимал, что успехи на новом поприще сулят ему более быстрое продвижение вверх.

Что ж, с заданием по обследованию Лисьего Носа он справился недурно. Радовал ротмистра и ход ведущихся расследований вокруг Инженера. И здесь дело шло к развязке. В нынешнем его настроении не огорчало Додакова даже воспоминание о неудаче с Учительницей, хотя винить за оплошность Виталий Павлович должен был только себя: так легкомысленно упустить время!

Впрочем, тот день он вспоминал в окраске разноречивых чувств. Он испытывал и недовольство собою: так распуститься! Но потрясение, испытанное им в те мгновения, — неведомой силы, неведомой глубины — словно бы пробило брешь в каменной кладке его души. Он понял, что его влечение к Зинаиде Андреевне очень серьезно. В его-то возрасте, в его положении! Умом, сторонне оценивая достоинства Зиночки, он не находил в ней ничего, кроме свежести ее двадцати лет, миловидной физиономии, не лишенной, однако ж, недостатков, и прелести ее грациозной фигурки. Сколько таких девиц в Санкт-Петербурге — и даже в кругу, к которому Додаков принадлежит по рождению и положению! Но чувства не подчинялись доводам разума, и стоило ему увидеть ее или просто подумать о ней, как его бросало в жар и лед и отрешало от всего другого. К тому же в скромных ее полуулыбках, во взгляде исподлобья, из-под низко стриженной челки угадывалось Виталию Павловичу нечто отнюдь не азбучное, какая-то настойчивая воля.

Сам Додаков больше не позволял себе никаких вольностей, держался с секретаршей предупредительно-корректно, однако же не упуская ни малюга случая показать ей свое расположение и всем своим видом как бы говоря: он вычеркнул из памяти те постыдные мгновения, их не было, и если Зинаида Андреевна все же расположена к нему, игру можно начинать сначала, с дальних позиций.

Она приняла условия этой игры и, интуитивно почувствовав иную степень отношения к ней Виталия Павловича, сделалась тиха, смиренно-приветлива. Но в то же время и



настороженна. Он понимал: теперь ему будет с нею в сто крат труднее. Но ничего не в силах был поделаться с собой. Да, как это ни смешно, он влюбился в эту девчонку!

Испуганный и в то же время обрадованный своей юношеской пылкостью, Додаков чувствовал: если Зинаида Андреевна не уступит, он готов будет даже предложить ей руку, хотя можно представить, как поднимется на дыбы вся его родня, как встретит в штыки корпус... Дочь бумагомарашки, из мещан... Может и карьере повредить... А, плевать ему на все!.. Плевать?.. Но что же делать?.. Пожалуй, впервые он чувствовал такую свою беспомощность. Однако внешне отношения между ними оставались прежними. Она — секретарь в правлении «Общества» и его осведомительница, он — ее непосредственный и единственный наставник. И, встречаясь с ней раз-два в неделю на частных квартирах, разбирая мозаику обрывочных сведений, собираемых Зиной, он помогал ей писать обстоятельные доносы, а потом у себя в кабинете, на Александровском, внимательно продумывал каждую фразу, выведенную старательным полудетским круглым почерком.

В отчете о поездке первого инженера на третью линию Васильевского острова, к Учительнице, не проскочило мимо упоминание, что Красин вез со встречи клетчатый дамский саквояж и даже объяснил секретарше, что в нем, мол, вещи жены. Возможно, и жены. Значит, между нею и Учительницей существуют какие-то взаимоотношения? И можно связать оборвавшуюся нить, установив наблюдение за супругой инженера — Любовью Федоровной?.. В тот раз додумывать Додаков не стал, хотя все, что касалось Учительницы и Красина, интересовало его особенно. И полковник Герасимов веско предупредил: «Глаз с Красина не спускать! Все его контакты фиксировать!»

Но вот на стол ротмистра начали стекаться сведения, поступавшие в охранное отделение по другим каналам. В филерской сводке проскользнуло, что в тот час, когда Красин находился в павильоне «Ремпен и сын», что на углу Невского и Казанской — весьма подозрительном месте, — туда заходил в числе других многочисленных посетителей студент Технологического института Антон Путко, сын профессора, убитого черносотенцами. Причем Путко в торговом зале не задержался, а был препровожден хозяином в помещение за прилавком. Филер — под видом хлыща он подбирал букет для дамы — не мог последовать за студентом. Но совсем не было исключено, что где-то там, в задних комнатах, Путко встретился с инженером. Конспиративная обстановка встречи не могла не насторожить.

В одном из следующих донесений Зинаида Андреевна между прочим упомянула, что студент звонил Красину на службу и для чего-то пытался изменить голос. Зиночка, обладающая абсолютным слухом, сразу же догадалась, кто звонит. Ротмистр подсчитал по календарю. Получалось: Путко звонил спустя несколько дней после возможной встречи в цветочном павильоне.

И наконец, филеры, начавшие наблюдение еще за одной подозрительной квартирой, к которой Красин, казалось, не имел отношения, засекли молодого человека, выходявшего из нее с клетчатым саквояжем. Наряд «гороховых пальто» был ориентирован Железняковым на слежку за самим помещением, юношу никто не «проводил». Куда он направился, осталось неизвестным. Однако по скупому описанию: высокий, худой, лохматый, русый, с раздвоенным подбородком, в куртке Технологического — он весьма напоминал уже известного ротмистру студента. Сошедшись на столе Додакова, эти разобщенные факты невольно дополняли друг друга. И Виталия Павловича не могла не заинтересовать личность юноши. Каковы его взаимоотношения с инженером «Общества электрического освещения»? Какова его роль — если он действительно ее исполняет — в преступной организации, именуемой РСДРП?

Додаков запросил особый отдел и седьмое делопроизводство департамента и быстро получил ответ: Путко Антон Владимиров в картотеке не значится. Следовательно, ни единожды ни по одному делу он даже не упоминался. Значит, или ротмистр в своих предположениях ошибается, и все это случайные совпадения, за которыми обыденные жизненные интересы, или студент только вступает на опасную стезю. Офицер не уделял много внимания юноше, но не собирался отныне и исключать его из сферы своего

наблюдения. Предстояло запастись долготерпением и по крупицам собирать сведения о Путко, штришок за штришком рисовать его портрет. В Технологическом еще с той поры, когда Додаков занимался «студенческим вопросом», у него были осведомители. Теперь через них он кое-что выведал. Профессорский сынок увлекался романтическими веяниями, читывал и нелегальщину, участвовал в студенческих сходках — впрочем, всем этим не выделяясь из общей массы свободомыслящих сверстников. Ни один из осведомителей не был лично знаком с Путко, поэтому ничего более определенного сообщить о нем не мог. Однако «с. с», навели ротмистра на приятеля Антона — Олега Лашкова.

Виталий Павлович использовать Лашкова не торопился: тут действовать надо было наверняка, малая ошибка могла спутать все карты. Поэтому он узнал, где Олег бывает, навел о нем справки, в том числе и у девиц на Садовой — не сам, конечно, до такого он не унижался, — и понаблюдал за ним в кабачке-полуподвальчике на Загородном, облюбованном студентами. И только после такой подготовки, составив о нем предварительное мнение, вызвал повесткой. Нет, не в охранное отделение на Александровский, а в управление градоначальства, на Гороховую, в старинный кваренговский дом с классической колоннадой.

Лашков, как и предполагал Виталий Павлович, явился с опозданием, с независимо-нахальной ухмылкой на красной, не принимающей загара, физиономии: зачем, мол, понадобился я отцам города? Я чист как стеклышко и независим. Увидев перед собой офицера в жандармском мундире, он в первое мгновение опешил, глаза посерьезнели, но ухмылка так и осталась, будто прилепленная.

— Рад познакомиться, Олег Юрьевич, — любезно пригласил его сесть в кресло ротмистр. — Как настроение, как самочувствие?

— С каких пор власти интересуются моим здоровьем? — гмыкнул он.

— Вы плохо осведомлены о функциях полиции, мой молодой друг. В наши обязанности входит абсолютно все, что имеет место быть в государстве Российском и личной жизни его сограждан: от выполнения всеми и каждым верноподданнического долга до наблюдения за своевременной ловлей пиявок.

Студент рассмеялся — шутка ему понравилась.

— Вот не ожидал! — он одобрительно глянул на офицера. — А если у меня несварение желудка или геморрой — тоже вас заботит?

— Да, заботит абсолютно все, чем страдают наши подопечные.

Лашков насторожился:

— Почему вдруг я стал вашим подопечным?

— Я же объяснил: нам подопечно все, что дышит под этим небом.

— Много же у вас забот!

— Да, не позавидуешь. Однако в данную минуту, как вы можете догадаться, нас интересуют персонально вы.

— Напрасно, господин офицер. Я не вор, не аферист, не казнокрад, не состою ни в каком сообществе, пью умеренно, по воскресеньям хожу в церковь и даже пиявок не ловлю. Добродетельный обыватель.

— Удивительно, как это вас обошли все крамольные веяния?

— Не люблю тратить время зря. Кто не знает цену времени, тот не рожден для славы.

— Изречение маркиза де Вовнарга, не так ли? — легко усмехнулся Виталий Павлович. — А вы рождены?..

— Рожден в каморке с цветущими стенами. Цветущими от плесени.

— Глубоко сочувствую.

— Вот так-то, господин офицер. Бедность, конечно, не порок, но потрясающее свинство, вы не находите?

— Согласен с вами, мой юный друг.

Додаков уже знал, в каких условиях живет этот щеголь, что ни день меняющий модные галстуки: его отец, мелкий чиновник, из кожи лез, чтобы дать отпрыску образование и

положение в обществе.

— И хочу помочь вам. Собственно, поэтому и пригласил вас сюда.

— А-а! — догадался Олег. — Хотите, чтобы я стал вашим слушателем? Извините, так у нас называют ваших — ну, как их? — он выразительно приложил ладонь трубкой к уху.

— Зачем же так грубо, Олег Юрьевич? — добродушно улыбнулся ротмистр. Игра с этим рыжим заносчивым юношей его лишь забавляла. Он знал наперед, как все кончится, — недаром прошел школу у самого Зубатова. — Мы просто хотим попросить вас о небольшой услуге. И соответственно в вознаграждение за нее... Кстати, о вашем отце. Если не ошибаюсь, его жалование — единственное средство вашего содержания? Никакими иными доходами не располагаете? Насколько нам известно, он выбился из сил, и его хотят уволить от должности. А пенсия без выслуги лет, сами небось знаете, какова? В наших силах порекомендовать, чтобы Юрию Сергеевичу не досаждали.

Студент слушал всю эту тираду напряженно, не мигая светлыми, в белесых ресницах, глазами. Когда же Додаков кончил, торжествующе усмехнулся:

— Благодарствую за заботу о папеньке. Да я и сам подумывал: не пора ли ему от трудов праведных отдохнуть? Обносился: плешь да шкура, уже не годится и мышшей ловить.

Додакова покорило от таких слов юнца: «Эге, милочек, да ты ради красного словца и отца родного не пожалеешь!»

— Уволят — пусть едет к тетке в деревню, рыбку удить, чай гонять, — продолжал с видом победителя Лашков. — Есть у меня старосветская тетушка, аль проглядели? — Он нахально уставился на ротмистра. — А я уроками озабочен, обезопасился. Недорослей учу.

— Бог с вами, юный друг! За полтинник по всему городу бегать — башмаков не окупишь, — с сочувствием возразил Додаков. — Да и не век же в студентах пребывать, скоро и из институтских стен — на большую дорогу, навстречу славе. Куда мечтаете: на государеву службу аль в компанию какую?

— Для начала в техническую фирму, — признался Олег. — Да вам-то что?

— Да, для начала в фирму предпочтительнее, — согласился Виталий Павлович. — И жалование выше, чем на службе. А все же на службе и чины, и награды... Глядишь, на склоне лет и «ваше превосходительство»?

— Да вам-то какая забота? — повторил Олег.

— Как это «какая»? Неужели не известно вам, мой юный друг, что без справки о благонадежности, которую мы, скажем, я лично должен подписать, вас в самое плохонькое предприятие на мизерную должность не возьмут? Да-с, не имеют права!

Ротмистр знал заранее, что выстрел попадет в «яблочко»: Лашков был типичным карьеристом. В строгом соответствии с учением Сергея Васильевича Додаков делил людей на две категории: карьеристов и — альтернативно им — идеалистов. Карьеристы свое личное преуспевание ставили превыше всего, что отнюдь не мешало им ревностно служить царю и отечеству. Какой бы ни рисовали они свою карьеру, с такими работать было легко: видна была их ахиллесова пята. Кстати, и себя самого Додаков относил к этой категории. С идеалистами было труднее. Лишенные благого стимула карьеры, идеалисты считали себя носителями идеи и частицами общего дела, и, чтобы вырвать их из порочного круга, надо было проявлять и эрудицию, и долготерпение, а зачастую и применять меры принуждения. Собственно, идеалистами (пусть в конкретном выражении они были самыми отъявленными матерьялистами-безбожниками), по теории Зубатова, и питались все революционные сообщества и партии.

— Да-с, не имеют права! А я, ежели вы будете бретировать и далее, не смогу такую справку подписать, не поступившись своими убеждениями. Согласитесь сами: зачем же мне поступаться?

Он замолчал. Долгая пауза также была предусмотрена правилами игры. И завершилась она новым беспронимательным ходом:

— Хотя о чем мы говорим и, как вы справедливо заметили изволили, попусту тратим драгоценные минуты? Я совершенно не собираюсь нанимать вас в эти, как вы изволили...

слухачи. Бог с вами!

Поникший было юноша оживился.

— Речь идет о небольшой услуге...

Глаза Лашкова злорадно загорелись.

— Нет, об услуге не мне, а вашему лучшему другу, Антону Путко. Вы ведь знаете, какое тяжкое горе постигло его. Он натура горячая, я бы сказал — сумасбродная. Чувства его понятны. Но он готов в таком своем состоянии натворить бог знает что. И такое, что оправдать будет невозможно... Короче говоря, ему угрожают большие опасности. И ваш долг, долг друга, — отвратить их!

Додаков закончил на несколько высокопарной ноте.

— Что же я должен сделать?

— Просто поговорить с ним по душам. Расспросить, где он бывал в последнее время, с кем виделся. Мы с вами должны оберечь его от опасных связей.

— Это невозможно, — сказал Олег. — Я с ним поссорился.

— Не беда. Помириться. Первым протяните руку.

— Я и сам хотел. Даже приходил к нему. Да он уезжал к дядьке в Тифлис.

— Вот видите — и сами хотели, — подкрепил ротмистр. — Надо помириться, надо. О том, что услышите, уведомите меня. Мы обсудим, какие следует принять решения, и на этом наши отношения будут исчерпаны. Как видите, ничего страшного. Согласны?

— Ну что ж... — после некоторого колебания проговорил Олег. — Ради Антона...

— Вот и превосходно! — Додаков встал, давая понять, что разговор окончен, и дружелюбно протянул руку. И, как бы между прочим, добавил: — Кстати, еще раз приходите сюда, я думаю, вам не следует... Увидят приятели, еще подумают... Как вы сами-то полагаете?

— Да, не очень-то.

— Если так, давайте, — Виталий Павлович задержал руку Олега, — встретимся где-нибудь приватно. Ну, скажем, по такому адресу: Стремянная, дом пятнадцать, Шабровых, второй подъезд со двора, квартира три в бельэтаже... Повторите, пожалуйста.

Олег повторил.

— Очень хорошо. Не возражаете: в пятницу, в девять вечера? Только прошу: не раньше и не позже. Точность — вежливость королей, не так ли?

В пятницу, лишь немного опоздав, Олег явился на конспиративную квартиру на Стремянной. Добыча была жалкой. Он побывал в доме Путко, но безрезультатно — мать Антона сказала, что сын гостит теперь на даче в семействе профессора Травина. Сколько проработает у них, матери неизвестно. Олег знает: Леночка Травина — невеста Антона.

— А где, в каком месте их дача?

— Как-то не подумал... А зачем?

— Так, для точности. Ну ничего, подождем, торопиться не будем, — ободрительно сказал Додаков. — Гостит у невесты — значит, образумился. Но вы, когда он вернется, повидаетесь и потолкуйте... К сожалению, придется нам встретиться еще разок. Давайте, скажем, в пятницу же, через две недельки?

На том они и расстались. Додаков знал: Олег окончательно уверился, что ничего зазорного жандармский офицер от него не хочет, действительно, он лишь оказывает услугу Антону во имя их дружбы. Сам же Виталий Павлович, взяв личность Путко на контроль, временно отложил в сторону его «дело» и сосредоточился на иных заботах.

Сейчас, подходя к зданию департамента полиции, он рассеянно глядел поверх голов спешивших к дому № 16 чиновников и офицеров, кивал и козырял знакомым и детально обдумывал план работы на предстоящий хлопотный день.

Он уже поравнялся с дверями департаментского здания, когда напротив, на мостовой, притормозила открытая коляска и послышалось:

— Может, сойдем, пройдем, а?

Он бы и не обратил внимания на эту обычную фразу, если бы она не была сказана с

деланно-восточным акцентом и на злорадной, торжествующей ноте. Додаков машинально обернулся и разом узнал юношу, сидевшего в ландо рядом с дамой. Это был Антон Путко! Он видел студента там, у Технологического, на мостовой над убитым отцом. Видел единственный раз, но профессионально натренированная память сработала безотказно. «Надо же, на ловца и зверь!.. — подумал Додаков. — Сопляк: пугает даму нашим заведением, как младенца цыганом!..»

И, глянув внимательнее, немало удивился бледности, покрывшей лицо женщины.

Студент крикнул ваньке:

— Давай-давай на Финляндский, и поскорее! — и коляска свернула на Пантелеймоновскую.

«Значит, уже вернулся в Питер, — подумал ротмистр. — А эта молодая дама и есть, наверно, дочь Травиных, его невеста... Недостойная и глупая шутка».

Встреча со студентом была хоть и мельчайшим, но еще одним добрым знаком расположения судьбы. И с этим чувством удовлетворения собой и жизнью Виталий Павлович переступил порог дома № 16.

После столь неудачно завершившегося доклада царю Столыпин пребывал в самом дурном расположении духа. Из-за такой малости — экспроприации в Тифлисе — ткнуть ему в нос и Витте, и укоры в транжирстве! А то, что он скрутил голову крамоле, разогнал ненавистную Думу, собственными руками, как ветеринар, спустил забродившую кровь, — это все не в счет! Ну и послал бог государя-всеправителя! За какие только грехи? Вот уж истинно: «Николка-дурак!»

Его самолюбие не терпело ни малейших уколов. И, вынужденный сдержаться перед царем, весь свой гнев Петр Аркадьевич обратил на подчиненных. Пуще всего досталось директору департамента Трусевичу. Максимилиан Иванович еще не видывал нового министра в таком раздражении. Утративший холеную осанистость, с бурыми пятнами на одутловатых напудренных щеках, Столыпин сугубо официально, ледяным голосом отчитал действительного статского советника за бездеятельность, безынициативность и прочие «без», не пригласив даже сесть, как какого-нибудь ассессоришку, и сам стоя напротив него за полем обширного п-образного стола.

— Государь весьма недоволен, и я полностью разделяю его неудовольствие. Злоумышленники должны быть схвачены, а похищенные суммы до копейки — слышите: до копейки! — возвращены в государственную казну. Иначе!.. Впрочем, никаких «иначе» и быть не может. Вы свободны, милостивый государь.

Это «свободны» было сказано таким многозначительно-жестким тоном, что Максимилиан Иванович почувствовал, как по спине поползли мурашки: «Не от должности ли свободен?»

Вернувшись в свой кабинет, Трусевич принял успокоительные сердечные капли. Затем вызвал заведующего особым отделом Васильева, которому с первого часа было приписано дело о тифлисской экспроприации.

— Дальнейшие проволочки с расследованием, господин подполковник, не могут быть терпимы. Это пятно на наш мундир. Похитители должны быть обнаружены. Иначе... Вы свободны!

Уже через час дежурный шифровальщик закодировал, а телеграфист отстучал в адреса всех начальников районных охранных отделений империи депешу:

«Выясните вашей агентурой, какой организацией совершен тифлисский грабеж тринадцатого июня.

***За вице-директора департамента В а с и л ь е в».***

В свой черед на местах жандармские и полицейские власти, неведомо каким путем осведомившиеся о настроениях на Фонтанке, поспешили проявить расторопность и усердие, поняв, что есть возможность заслужить в случае удачи благорасположение министра, новый

чин или награду.

Прежде всего с новым рвением взялись за дело власти Кавказского наместничества. Расследование шло под личным наблюдением наместника графа Воронцова-Дашкова и его помощника по военной части генерала от инфантерии Шатилова.

Подполковник Васильев запросил канцелярию наместника: какие фактические меры приняты к розыску злоумышленников. Заведующий особым отделом канцелярии пространной шифровкой доложил: нападение на Эриванской площади произошло столь неожиданно и дерзко, что никто из очевидцев не в состоянии был точно определить ни число нападающих, ни место, откуда были брошены бомбы, ни даже направление, в каком скрылись экспроприаторы. Преступники действовали так быстро, что сопровождавшие фаэтоны казаки и стражники их не разглядели, только один полицейский успел произвести выстрел, и самый момент похищения денег остался незамеченным. Были предприняты меры тотчас после происшествия: по всем трактам разосланы разъезды казаков, сообщено железнодорожной полиции, в городе производятся массовые обыски. К сожалению, результатов пока нет. Заключала депешу фраза: «Пока нет данных считать преступление делом политических партий».

На Фонтанку посыпались донесения из губернских жандармских управлений и охранных отделений со всех концов России. Каждый большой и малый местный начальник сообщал свои версии и даже «абсолютно достоверные сведения». Но при проверке они лопались, как мыльные пузыри.

Максимилиан Иванович рвал и метал. Весь этот ворох донесений лишь сбивал с толку и ни на шаг не продвигал расследования. Теперь он каждый раз с трепетом ждал очередного вызова к министру. Петр Аркадьевич не возвращался к тифлисскому делу. Но прежней доверительности в их отношениях уже не было. И Трусевич понимал: пока злоумышленники не будут найдены, не беседовать ему со Столыпиным на дружеской ноге. Они должны быть найдены! В этом для директора департамента полиции было даже нечто большее, чем стремление вернуть благорасположение министра: он, Максимилиан Иванович, сам должен верить в то, что является золотым ключом к наиглавнейшей государственной машине.

Конечно, неверно было бы думать, что департамент был занят исключительно делом о тифлисской экспроприации — оно не составляло и одной сотой, а может быть, даже одной тысячной повседневных его забот. В частности, в седьмое наблюдательное делопроизводство департамента с педантичностью продолжали стекаться со всей России донесения о производящихся при губернских жандармских управлениях дознаниях по государственным преступлениям, ходатайства со стороны обвиняемых, просьбы обвинителей о продлении мер пресечения и вся почта по тюремному ведомству, в том числе донесения о беспорядках в тюрьмах и о побегах.

Так, два дня назад телеграфной шифровкой поступило в седьмое делопроизводство сообщение о побеге политкаторжанки из Ярославского тюремного замка. Вчера фельдъегерская почта доставила пакет с подробным изложением обстоятельств побега, хода расследования, а также формальными сведениями, необходимыми для включения фамилии скрывшейся преступницы в розыскной циркуляр. Эти циркуляры также составлялись чиновниками седьмого делопроизводства.

Именно сюда, на четвертый этаж, в одну из прокуренных каморок, и был вызван Додаков — беглянка проходила по Петербургскому охранному отделению, к тому же была социал-демократкой, большевичкой, непосредственно подопечной ротмистру.

У Виталия Павловича было немало дел и в других делопроизводствах. На четвертый этаж он забрался по железной лестнице-трапу часа через три после того, как переступил порог департамента.

Столоначальником здесь был давний приятель — до прихода в корпус жандармов они служили в одном гвардейском полку.

— Наслышан о твоих подвигах, — дружелюбно-завистливой фразой встретил ротмистра бывший однополчанин.

— Неужто? — обрадовался Додаков. — Откуда?  
— Слухом земля полнится. Жди на Петра и Павла подполковника и Владимира в петлицу.

— Да откуда ты все знаешь?

— Чудак-человек, разве не в нашем муравейнике все бумаги пишутся-подписываются?

— Ну спасибо за новость! Даю ужин у Палкина.

Столоначальник щелкнул крышкой «мозера»:

— Начальство ждет с рапортом. Вот твое дело. Располагайся. А я исповедуюсь и вернусь.

Он достал из сейфа папку, положил на стол перед Додаковым.

— Очередной побег. Не нравится: уж очень чистенько. Предполагаю: кто-то из охраны получил на лапу... Но это наша забота. А ваша — вернуть птичку в клетку.

Офицер вышел. Ротмистр пододвинул папку. Первым в ней лежал лист-«объективка» для включения в «Список № 1 лиц, подлежащих розыску по делам политическим» очередного циркуляра департамента. На поле листа справа было напечатано:

«По розыске обыскать, арестовать и препроводить в распоряжение СПб ГЖУ, уведомив о сем Департамент полиции».

На самом же листе излагались сведения о бежавшей. Виталий Павлович начал внимательно читать:

«...23 года, девица. Отец... Мать... Сестры... проживают в м. Белая Церковь, Васильковского уезда, Киевской губ.

1 февраля 1904 г. привлечена при С.-Петербургском ГЖУ к дознанию по обвинению в принадлежности к группе представителей СПб организации «Искры». По постановлению Особого Совещания, утвержденному Господином Министром внутренних дел 19 марта 1904 г., выслана в Архангельскую губ. под гласный надзор полиции впредь до решения дела. По пути к месту назначения скрылась.

28 мая 1907 г. привлечена при СПб ГЖУ к дознанию по обвинению в принадлежности к РСДРП (фракция большевиков) и в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 241, 243, 245 Угол. Улож. Военно-полевым судом Кронштадтской крепости приговорена к смертной казни через повешение. Высочайшим повелением смертная казнь заменена 20 г. каторжных работ. При этапировании из Ярославского тюремного замка скрылась. Где находится, неизвестно...»

«Так это — она, та самая, которую должны были тогда на Лисьем Носу! — догадался Додаков. — Вот как ответила на монаршью милость!»

Виталий Павлович, хоть нередко ему приводилось, не любил иметь дела с осужденными-женщинами. Да и держались женщины иначе, чем мужчины. Сколько презрения бывало в их глазах! Но что поделаешь: служба. Да и они, девицы, какого рожна лезут? «Теперь поймал — не избежать ей петли, — подумал он. И снова, как тогда, в лесу, а потом с Зинаидой Андреевной на квартире, почувствовал, как в виски застучали горячие молоточки. — Что это я?.. Значит, хотел-таки посмотреть, как ее на веревку? Неужто становлюсь садистом?»

Он переборол себя, успокоился. Дочитал:

«Приметы: роста среднего, волосы на голове, бровях черные, глаза серо-зеленые, нос прямой, лицо чистое, рот умеренный. Фотографическая карточка имеется».

Следующим листом шла фотография. Тогда, на Лисьем Носу, он не разглядел осужденную и не запомнил. Сейчас он помедлил переворачивать «объективку»: «Интересно,

как представить эту Ольгу по приметам?.. Плоские слова. Разве что глаза серо-зеленые... А наверно, недурна... Ну-ка-с!..»

Он перевернул лист и едва удержался, чтобы не вскочить со стула: «Она!»

Перед ним лежала фотография женщины, которую три часа назад он видел в коляске здесь, в двух метрах от департамента полиции! Ни малейшего сомнения — она!

Он чуть было не сорвался с места и не побежал вниз, к выходу. Тут же удержал себя: глупо. Минутку. Надо разобраться...

Он еще раз посмотрел на фотографию. Она, бесспорно. Тот же овал лица, те же огромные глаза и тонкие, с изломом, брови.

Но почему же она оказалась в карете на Фонтанке и с нею этот профессорский сынок? Что значили его слова? Мальчишеское геройство? Вздор! Он хотел ее выдать? Или пошутил? Невиданная наглость! И зачем? Непонятно... А что сейчас во всей этой чехарде понятно? Студент сказал ваньке: «Давай, давай на Финляндский, и побыстрее!» Куда они направились? В Сестрорецк? В Белоостров? В княжество Финляндское? Ищи-свищи!.. Постой, а где эти Травины, у которых гостит студент? Не к ним ли он повез Ольгу?

«Сойдем, пройдем, а?» — снова восстановил он. — Вот прохвост! И чего это он вдруг — с кавказским акцентом?»

Додаков посмотрел на часы. Да, если они сели на поезд, то уже или сошли по пути в Белоостров, или пересекли границу княжества. На всякий случай надо дать ориентировку отделу Железняка. Главное же внимание — на Антона Путко.

Ротмистр без интереса поворошил страницы тощего «дела» беглой политкаторжанки: ее прошлое мало интересовало Додакова, он весь устремлен в поиск. И все же глаз подцепил фразу из донесения начальника Ярославского губернского жандармского управления:

«Утром дворник дома № 23 по Дворянской улице Насутдинов доставил в полицейскую часть найденный за оградой полисадника дамский саквояж. В означенном саквояже обнаружены полосатая холщовая блуза и ботинки — имущество Ярославского тюремного замка. Означенное имущество находилось в пользовании бежавшей... Саквояж материи коричневого тона, в среднюю клеточку, ручки кожаные, черные, обшит кожей...»

Саквояж! Зинаида Андреевна видела его у инженера Красина. Красину передала его Учительница. Потом он оказался у студента. Теперь в нем вещи каторжанки... Цепочка! Ведущая чуть ли не к самому Ульянову! Или совпадение? Мало ли таких саквояжей в лавках? Нет, вряд ли!.. Итак, прежде всего установить: где в дни побега Ольги был Антон Путко.

Целую неделю ждать условленной встречи с Лашковым Виталию Павловичу не было резона — тут каждый час дорог. Додаков переделся в штатский костюм и поехал к дому, где студент жил со своим отцом. Но в квартиру не поднялся — незачем показывать такую свою заинтересованность, — а, обернувшись к витрине лавочки, стал наблюдать за отраженными в стекле воротами, ведущими во двор. Ждать пришлось недолго. Скоро из ворот выступила на свет рыжеволосая фигура в расстегнутой куртке с синими петлицами. Додаков с рассеянным видом пошел навстречу.

— Ба, неожиданность! — радостно улыбнулся Виталий Павлович. — Решил побродить в свободный часок. Люблю эти Достоевские закоулки. Сама жизнь!.. А вас что занесло сюда?

— Для вас — экзотичность, для меня — именно сама жизнь, — с неприязнью ответил Олег. — Обитаю в сих трущобах. Совсем как Раскольников.

— Ну, не надо так мрачно. Все в силах человеческих — если, конечно, не делать глупостей, как тот же Родион Романыч. Не составите компанию?

— Полчасика у меня есть.

— До урока? Ох эти уроки! Мука для учимого, отупение для учителя. Был у меня самого наставник, Сергей Васильевич, превосходных талантов педагогических человек. Он



говаривал: «Тупо сделано — не наточишь, глупо рожено — не научишь», вот так-то... Кстати, я подумал: а где прохлаждается ваш друг, этот, как его, Антон Путко? Вы поминали какую-то профессорскую дочку... А где их дача?

— Я же говорил: не знаю.

— Ах да забыл, не придал значения... А надо бы узнать... Вот что: не спешите к своему недорослю, скажитесь больным — вот ему-то радость! Пойдите к матушке вашего приятеля и спросите: не приехал ли? Если приехал, помиритесь сердечно. Если нет, где эта профессорская дача, ладно?

— Уроки не удовольствие для меня, а средство...

— Ну, не преувеличивайте! — добродушно улыбнулся Додаков. — Заодно, когда вернетесь, и пообедаем. Жду вас в «Византии», спросите у метра третий кабинет.

Название фешенебельного ресторана произвело впечатление. Лашков согласился.

— Кстати, полюбопытствуйте, не выезжал ли куда ваш дружок в последнее время, — напутствовал студента ротмистр.

Через два часа они вкусно обедали в отдельном кабинете «Византии» — с вином, водкой, с жестко накрахмаленными салфетками. Олег докладывал, Виталий Павлович спрашивал, но весь разговор их тек в русле дружеской беседы равных и независимых. Так должно было казаться Лашкову, и Додаков лишь укреплял его в этом убеждении.

— Дача Травиных в Куоккале, Антон уехал неделю назад и до сих пор там, — рассказывал Олег.

«Вот как? — комментировал про себя Виталий Павлович. — Значит, встреча с Ольгой для него дело такой важности, что даже к маменьке не наведалься... А может, то был вовсе и не он? Нет, я не мог ошибиться. А если просто похож? Я ведь тогда мельком... Тогда все рушится. А Ольга? Бесспорно, она. Но если Антон все эти дни был в Куоккале?»

— Маман его очень скучает. Знаете, она красотка, никто и не поверит, что у нее такой сын. Правда, после смерти Владимира Евгеньевича сдала... — болтал опьяневший Лашков. — Призналась. Так и сказала: «Я вам признаюсь, Олег Юрьевич, вы поймете. Мы на краю краха». Эх, если бы Антон — не друг, люблю дамочек: сорок пять — баба ягодка опять... Так и сказала: «Олег Юрьевич, все, что оставил Владимир Евгеньевич, разлетелось как пух, я не очень умею считать деньги». Это она. «Антон не помнит иной жизни. Как сказать ему? Придется съезжать, искать квартиру попроще, отказаться от Поли. Антону придется искать уроки...» А я? Я не бегаю, высунув язык, по оболтусам? Антон, вишь, не помнит, а я почему должен помнить, жить в луковом доме, как брат Раскольников?

— Ну зачем же так, мой друг? — остепенял его Виталий Павлович, не переставая, впрочем, подливать в его рюмку. — Если образами Федора Михайловича, то вы не Раскольников, а Разумнихин. А Разумнихин, надо полагать, далеко должен был пойти... Так что же еще говорила маменька вашего друга?

— Не могу ль я подготовить Антона как-нибудь этак остороженько... Что, мол, у них в кармане блоха на аркане! — Олег захохотал. — Не так, понятное дело, кругленькими словами, с премиленькой гримаской. Говорит: «А что бы вам, Олег Юрьевич, да поехать в Куоккалу, повидаться с ним и на природе намекнуть».

— А что, это идея, — поощрительно сказал Додаков. — И поезжайте. И отдохнете денек-другой: на вас вот от забот и лица нет. Видите, как у них плохо складывается. Наш прямой долг.

Лашков молча, раскачиваясь на стуле, смотрел на Виталия Павловича. Пробормотал:

— Поехать? Ха! Поехать!

— Да вы не стесняйтесь. На благое дело нельзя жалеть, — ротмистр достал из бокового кармана привычным жестом бумажник. — Вот вам полсотни на расходы. Никаких отчетов. Только... — он вынул из того же кармана несколько чистых листков и карандаш. — Формальность. Да ведь не мои личные, из государственной казны. Расписочку дайте.

Он разглядел один листок перед Олегом, сунул ему в руку карандаш.

— Пишите: «Мною получены от ротмистра Додакова В. П. 50 руб.».

Лашков, завороченный видом банковского билета, какого он никогда прежде и в руках-то не держал, послушно написал под диктовку.

— А теперь дату и подпись. Превосходно! — Виталий Павлович аккуратно сложил бумажку и спрятал ее во внутренний карман. — Да, чуть было не опустил... В голове шум, все путается, мы с вами того, лишнего, а? — он приятельски улыбнулся. — Вот листки, изложите вкратце все, что известно вам об Антоне Путко и что рассказала мамаша.

Олег вздрогнул, поднял на ротмистра мутные светлые глаза:

— Д-донос?

— Бог с вами, юный мой друг! Просто заметки для памяти. И фамилии вашей не надобно. И начинайте от третьего лица: «Источник сообщает» и далее. А подпишите как угодно. Ну хотя бы «Друг». Именно: «Друг»! И все. Никто никогда не увидит, даю вам слово офицера. И даже и увидел бы — «Друг», и все. Друзей — их ведь пруд пруди.

Лашков начал писать. Оторвался от листа:

— Маман его поминала еще, что ездил он погостить к дядьке в Тифлис. Да я вроде и раньше вам говорил.

— Когда ездил?

— Перед тем, как к невесте в Куоккалу... Кажется, девятое было, что ли? А шестнадцатого вернулся.

— И об этом упомяните, — подсказал ротмистр.

Когда студент кончил, он пробежал листки, сложил их и спрятал вслед за распиской. И сам черкнул несколько строк:

— Вот вам адрес в Куоккале. Хозяин дома — обходительнейший человек, он содержит буфет при станции, Для вас у него будет и комната, и пансион — все бесплатно. Встретитесь с другом — помиритесь. Мол, кто старое помянет... К себе пригласите, за рюмочкой человек отходчивей. И заодно поинтересуйтесь, не выезжал ли он на этой неделе из Куоккалы — куда-нибудь на Волгу, в Казань или Ярославль, скажем... И посмотрите, нет ли с ним... или около... одной прекрасной незнакомки — черноволосая такая, с зелеными глазами, бледная молодая дама. Только осторожно, без намеков, наводящими вопросами. Весьма и весьма важно для его благополучия. Добро?

Он снова наполнил рюмки:

— Ну, на посошок! Ни пуха ни пера! Жду возвращения вашего с нетерпением. Когда вернетесь, сразу же позвоните. Телефон 15-35. Не забудете? А теперь кофе для бодрости. Здесь отлично варят турецкий кофе.

Олег Юрьевич Лашков был обворочен обходительностью человеколюбивого жандармского ротмистра, не жалеющего времени для помощи попавшему в беду его другу, к тому же такого щедрого и обходительного. Хотя где-то в глубине сознания царапала мыслишка: «Так ли бескорыстно человеколюбив этот жандармский офицер?..»

Тем же вечером Зинаида Андреевна, встретившись с Додаковым в квартире на Стремянной, сообщила, что Красин до сих пор не вернулся в Петербург, хотя директор-распорядитель ждал его еще в понедельник. Но инженер прислал телеграмму, что болен.

— Откуда телеграмма?

— С дачи, где его семейство, — из Куоккалы.

«Куоккала? Одно к одному складывается. Превосходно!»

Додаков почувствовал азарт, как игрок, оценивший карту и готовый сорвать банк. Да, воистину счастливый нынче день!

## ГЛАВА 12

Антон и Ольга успели к утреннему гельсингфорсскому поезду и в полдень уже сошли на чистенькой, с вазами цветов вдоль платформы станции Куоккала.

Всю дорогу в вагоне юноша виновато молчал. Молчала и женщина. Отрываясь от окна, он мельком взглядывал на нее. Вуалетка закрывала половину ее лица, и глаза за черным кружевом расплывались в два огромных пятна. Но губы были напряженно сжаты, на нижней, слегка оттопыривающейся, засохла корочкой кровь. Болезненной была втянутость землистых щек. «Сколько она пережила — и я еще посмел!» — все казнил себя студент, испытывая почти физическую боль, но ничего не мог придумать такого, что загладило бы его вину.

— Пойдем последними, — тихо сказала Ольга, когда поезд остановился у перрона.

Антон предложил ей руку. Этакой фланирующей парочкой они побродили меж ваз, будто кого-то поджидая, а когда все пассажиры покинули вокзал, направились, делая большой круг через сосновую рощу, к даче Степанова. Ольга опиралась на его руку тяжело, и юноша чувствовал, на каком пределе физических и духовных сил она была. «Бедная, — подумал он. — Прости, если можешь... Мне жалко тебя, как родную сестру...» Ничего подобного он выговорить бы не посмел, но тем горячее звучал его немой монолог. И Ольга словно бы услышала. Она сняла шляпку, вскинула голову, улыбнулась. «А она красивая была, — подумал он. — Как из фарфора. Такие невероятно зеленые глаза!..» — И он тоже радостно улыбнулся ей.

Они поднялись на веранду. Антон постучал в застекленную створку, ведущую в комнаты:

— Кто есть? Встречайте гостей!

Выглянула женщина. Туго зачесанные назад волосы ее открывали большой гладкий лоб. Чуть навывкате светлые глаза под арками бровей были настороженны. Но, увидев Ольгу, она вскрикнула, и они бросились друг к другу, обнялись, замерли, стиснув руки и крепко прижавшись щеками. В их стиснутых руках, в молчаливых слезах было столько боли и радости, что у Антона перехватило дыхание: «Кто же она, эта Ольга? Что же с ней стряслось?..»

Он не услышал, как вошли на веранду Леонид Борисович и Феликс. Сразу же послышались радостные восклицания. Мужчины начали тормошить Ольгу, обнимать. Усач схватил ее в охапку и закружил по веранде — и сразу напряжение снялось, стало хлопотно и весело.

— Обедать! Обедать! У нас сегодня праздничный обед! Любаша постаралась — пальчики оближешь! — приглашал, приговаривал Леонид Борисович. — А в центре внимания: петровская, пиво и ростовские раки! Клещи — как усы у Феликса!

Антон впервые видел жену Красина, Любовь Федоровну. Тут же в комнатах шалили и девчурки, его дочери. Любовь Федоровна хлопотала у стола, а Леонид Борисович расхаживал по веранде и радостно оглядывал присутствующих:

— Ни слова, ни звука до обеда! Переодевайтесь — и милости просим!

Студент никогда еще не видел Леонида Борисовича таким веселым.

Когда рассаживались, Красин показал Ольге на стул с высокой резной спинкой во главе стола:

— Прошу, сударыня, на трон! Сегодня вы наша королева!

Всем и даже Ольге передалось празднично-шутливое возбуждение. Женщина улыбалась, глаза ее сияли.

Инженер наполнил рюмки. Высоко поднял свою и, сразу посерьезнев, сказал:

— За твое возвращение, товарищ Ольга. Мы были с тобой каждый день твоего крестного пути. За возвращение!

Женщина, первой встретившая Ольгу и теперь сидевшая с нею рядом, обняла ее и прижала к плечу. Встал Феликс:

— Склоним голову перед памятью павших. Нет ничего тяжелей, чем терять

товарищей... — он опустил голову, и его жесткие кудри упали на лицо. Феликс помолчал. — Что ж, как сказал коммунар Ферре: «Будущему поручаем заботу о нашей памяти и нашу месть». Не они, так мы, не мы — наши товарищи, но все вместе мы дойдем с красными знаменами... За тех, кто возвращается в строй, за тебя, Оля, и за тех, кто встает в наши ряды на место павших!

Он повернулся к Антону. Студент вспыхнул: «Знал бы Феликс! Узнают — выгонят в три шеи!» Он покосился на Ольгу. Женщина протягивала к нему рюмку — то ли насмехаясь, то ли с улыбкой, непонятно. «Сейчас кончим обедать, и придется все рассказать...» Он чувствовал все возрастающую тревогу.

И вот убрали тарелки. Любовь Федоровна вместе с женщиной, которую называли то Надей, то Катей, а Антон определил про себя: «Учительница», — ушли на кухню мыть посуду. Они же четверо остались за столом. И Леонид Борисович, закурив, перешел к делу:

— Мы очень волновались. Мы знали, что вы не пришли на явочную квартиру. К тому же ты, Владимир, должен был вернуться раньше. Хорошо, что все благополучно кончилось. Но что же произошло в Ярославле?

Все! У ног Антона разверзлась пучина. И, зажмурившись, очертя голову он бросился в нее.

Он рассказал, как они блуждали, как забыл он номер дома, как сидели на берегу Волги, и он задремал, и его разбудил полицейский. Он говорил, не поднимая глаз, чувствуя, что тишина за столом не сулит ему ничего хорошего. Закончил он исповедью о злосчастной прогулке по Фонтанке.

Феликс хмыкнул в усы. А Леонид Борисович сказал:

— Да, Камо — достойнейший пример для подражания.

Потом он повернулся к Ольге:

— А ты что скажешь?

Женщина разгорелась от встречи, от внимания и выпитого вина, она заговорила мягко:

— Все так. На Фонтанке он напугал меня до смерти. В дороге от Ярославля до Питера держался хорошо, — она одобрительно кивнула. — Не трусил. Храбрый мальчик.

«Мальчик!» — Антон обиделся.

— Не будем читать тебе нотаций, товарищ Владимир, — сказал Красин. — Думаем: сам понял. С явочной квартирой — вот к чему приводит невнимательность, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Малейшая беспечность может привести к непоправимому. И еще одно запомни: мы не артисты под куполом цирка.

Он посмотрел на Феликса:

— А ты что скажешь?

Феликс добродушно погладил усы:

— В общем, для первого раза вел себя не так уж и плохо.

Антон почувствовал, как у него за спиной вырастают крылья.

— Ладно, — сказал инженер, как бы подводя черту. — Ты, Оля, останешься здесь. А тебя, товарищ Владимир, уже, наверное, ждут? — Он мягко улыбнулся. — Беги. Приходи завтра. Есть у меня одна мысль. Утром обсудим.

«Вот обрадуется Ленка!» Антон торопился на дачу Травиных. Никогда еще ему не было так хорошо. Он — революционер-профессионал! Никогда у него не было таких товарищей! Только Костя. И отец... «Если бы не тот страшный день, отец был бы сегодня здесь! — с уверенностью подумал он. — Вот это жизнь! Рассказать бы Ленке! Нет, нельзя. Пока нельзя».

Он замедлил шаг. «А как объяснить, почему снова приехал? Скажу: не удержался, не утерпел... Да, но утренний поезд уже давно пришел. — Он посмотрел на часы. — Придется подождать вечернего. Ну и опытным же конспиратором я становлюсь!

Сегодня же... — решал он по дороге. — Пойдем купаться, и я ей скажу: хватит ждать! Сколько можно ждать, когда меня завтра могут... Нет, об этом ей пока нельзя. Завтра вернусь

в Питер и скажу маме. Она обрадуется, она любит Ленку. А после свадьбы расскажу, ведь муж и жена — одна сатана. Пусть держит наготове вещички: по этапу за кандалным — динь-бом, динь-бом! И плевать нам на приморские виллы!»

Он счастливо рассмеялся.

За лесом протрубил паровоз. Антон подождал, когда донесется веселый звон станционного колокола, преодолевая желание сорваться с места, заставил себя повременить еще несколько минут и чуть ли не бегом пустился к даче Травиных.

«Вот бы выбежала навстречу!» — он представил, как засияют ее глаза. Сладостно сознавать, что эта девушка — твоя! Сейчас он схватит ее за руку, и они понесутся по дюнам к морю. А потом будут лежать под соснами, и иголки будут покалывать спину. «Господи, как же хорошо жить на свете!»

Он распахнул калитку и побежал к террасе. Увидел: Лена стоит с лейкой у клумбы.

— Ленка, здравствуй!

Она повернула к нему голову, разогнулась и сказала:

— Здравствуй.

Но навстречу не бросилась, не рассмеялась, даже не выпустила из рук лейку. «Чего это она?»

— Я так соскучился по тебе, Ленка! — он хотел обнять ее, но за стеклами веранды мелькала какая-то фигура.

— Ты когда приехал? — спросила девушка.

— Да вот... — он неопределенно махнул в сторону станции. — Териокским. Не выдержал, не утерпел в Питере...

Заранее приготовленная фраза прозвучала вымученно.

— Не выдержал? — переспросила Лена. — Териокским? А кто та незнакомка под вуалью, с которой я видела тебя у утреннего поезда?

Антон опешил.

— Я... Я потом тебе объясню... — начал мямлить он, чувствуя, что заливается краской.

— Ах, потом? Очень мило! — Лена отшвырнула лейку на середину клумбы. — Вы лгун, сударь!

— Тише, Лена, что ты? — он умоляюще показал в сторону веранды.

— Пусть слышат, пусть! — из глаз ее брызнули слезы. — Вы жалкий трус и грязный лгун! Лгун, лгун! Под ручку, в обнимку! Боже мой, а я-то! К каждому поезду!..

Она отвернулась и зарыдала — по-бабьи, чуть ли не в голос.

«Что же делать? — растерялся он. — Вот глупо!»

Его подмывало все рассказать ей. Он уже готов был рассказать, но с превеликим трудом сдержал себя. Ласково проговорил:

— Напрасно ты, Леноч. Не надо. Когда узнаешь, ты поймешь.

Она резко повернула к нему мокрое лицо с покрасневшими глазами:

— Мне надоели многозначительные фразы! Надоели твои необъяснимые исчезновения и появления! Я хочу ясности, я требую ее, я имею право требовать! — она даже топнула ногой.

— Сейчас я ничего не могу тебе ответить.

— И не надо! Не надо! Не смейте дотрагиваться до меня! — она была в исступлении. — Вы мерзки, вы мне отвратительны! Уходите прочь!

Дверь веранды распахнулась, и на крыльце появилась мать Лены. Лицо ее было озабочено.

— Лена, — сделал последнюю попытку Антон. — Ты поймешь... Пошли к морю.

Девушка отвернулась и взбежала на террасу.

«Вот так оборот! — Антон поплелся по дорожке к выходу. — Приревновала... К Ольге приревновала! Знала бы, кто она — товарищ Ольга! — он невольно улыбнулся. — Но как я могу ей объяснить?.. И что же теперь делать?»

Он направился по тропинке к станции. «Завтра с утра надо к Леониду Борисовичу. А

где ночевать? Придется ехать в Питер. — И все же неожиданная ссора не могла изменить его приподнятого настроения. — Ничего, одумается... Я же чист как ангел. Придумую какую-нибудь правдоподобную историю».

— Ба! — услышал он радостное восклицание. — Антошка-картошка!

Он поднял голову. Перед ним стоял сияющий Олег.

Антон опешил:

— Ты откуда взялся?

— Решил после трудов тяжких заслуженно отдохнуть. Море, белый песочек, солнышко! Да вот, судьба не милостива! — он показал на небо.

Действительно, Антон и не обратил внимания: вечернее небо заволакивали тучи, они надвигались с северо-запада, со стороны залива, мрачным сомкнутым строем.

Антон вспомнил, что они с Олегом в ссоре.

— Привет, — холодно кивнул он и собрался пройти мимо.

Но приятель дружелюбно толкнул его в плечо:

— Брось ты! Погорячились тогда. Ну, не прав я был, каюсь. Хочешь, дай в ухо — и квиты? — он шуточно подставил голову. — Может, поумнею. И кто старое помянет!..

Антону в ту минуту особенно нужен был человек, с которым он мог бы отвести душу. «Да и правда: в чем он виноват, Олег? Не захотел со всеми? Насильно и заставлять не надо. И Леонид Борисович говорит: «Нам нужны не попутчики на три версты, когда дорога Невским проспектом, а единомышленники на всю жизнь». Какой из Олежки-то единомышленник? Он и думает только о девчонках с Садовой да о новых галстуках! Та ссора — ребячество. К тому же сам первый винится».

Он посмотрел на веселую красную физиономию:

— Дал бы я тебе!.. Да ладно, за истечением срока давности! — и протянул руку.

— Люблю я тебя, дурак, — сказал Олег. — Соскучился как по бабе, вот тебе крест! Я же узнал, что ты здесь, — к маменьке твоей заскакивал.

Антону польстило, что приятель показал такую привязанность.

— Покуролесим, а? — подмигнул Олег. — Аль ты тут у Травиных, у Ленки под боком греешься?

— Я уже погрелся, — горько сыронизировал сам над собой Антон. — В Питер возвращаюсь.

— Куда на ночь-то глядя? Завтра вместе и вернемся. Я тут такую хату приглядел, специально для красавцев холостяков!

«Вот прохиндей! — привычно восхитился оборотистостью дружка Антон. — Уже и хата...»

— Рядом, около станции. Хозяин финн, двух слов не свяжет, однако обходительный. Штоф уже стоит на столе. Пошли?

«Пересплю, все равно утром пораньше надо к Леониду Борисовичу, — подумал студент. — Может, и с Ленкой что-нибудь придумаю».

— Уговорил, — сказал он.

Дом, в котором остановился Олег, был под островерхой крышей, старый, с замшелыми стенами. Однако комнатка чистая, в голландке потрескивали поленья, а на столе действительно красовался штоф в две квартиры.

«Ну и напьюсь сегодня! — решил Антон. — В лоск!»

— Откуда у тебя деньги завелись на такие хоромы? — полюбопытствовал он.

— От трудов праведных. Уроки, бегаю, как собака, — Олег вывалил язык, изобразив, как он бегают, и тяжело задыхался. — Уроки жизни... Погоди минутку, сейчас я с хозяином изъяснюсь на пальцах, пусть сообразит нам что-нибудь пофундаментальнее.

Через час они сидели за столом разомлевшие, скинув куртки, штоф был наполовину опорожнен. Олег заботливо подливал в стакан приятеля, а Антон жаловался ему на Ленку, добивался совета: как найти путь к примирению. Хотя и был он уже изрядно пьян, но словно заслоном преградил в мозгу то, о чем говорить не имел права, и от этого рассказ его был

сбивчивым и необидительным: мол, Ленка случайно увидела его с одной дамой и приревновала, и в истерику.

— А признайся, было? Согрешил? — масляно блеснул глазами Олег.

— Что ты! Да она же!.. — оборвал его Антон. Сама возможность такой мысли показалась ему кошунственной. — Не о ней речь...

— А все же кто она? Может, уступишь по бедности?

— Шшш! — помотал указательным пальцем юноша. — Она святая! И больше о ней ни звука!

По стеклу уже барабанил дождь, и бурлило, звенело в водосточной трубе.

— Молчу! А все же...

— И-и не мечтай. Я и сам-то ее, может, никогда больше в жизни...

— Да хоть какая она?

— Шшш!

— Наверно, как русалка: глаза зеленые, и вот такие локоны.

— Откуда ты знаешь? — удивился Антон.

— Угадал? Чудило! Они же все такие в нашем воображении по первому разу. Она какая: брюнетка, шатенка?

— Черная.

— А я предпочитаю блондинок.

— Не смей! — Антон стукнул кулаком по столу.

— И не буду, не буду! — примирительно согласился Олег. — А с Ленкой перемелется... Хочешь, схожу парламентом? Хочешь, грех на себя возьму, скажу, что ради меня ты старался, меня выдавать не хотел?

— А это идея! — обрадовался Антон. — И правда, ради друга... И все, хватит об этом. Молчок!

— Хватит и хватит, — согласился приятель. — Только для алиби, где ты эту русалку выловил? Где Ленка вас застукала?

— Наверно, у станции... Говорит, каждый поезд встречала. Вот как ждала!

— Да ты что, уезжал?

— Я? — Антон настороженно посмотрел на Олега. — Кто тебе сказал?

— Да ты же сам.

— Н-нет... Никуда не уезжал.

— Да мне-то что? Не уезжал и не уезжал. Только зачем же тогда Ленка ходила встречать тебя на станцию?

— А шут ее знает! Блажь такая, пойми их, женщин... — Антон почувствовал, что запутывается. — Давай лучше спать. Так спать охота! — он сладко зевнул.

— Еще по одной — и на боковую, — согласился Олег. И снова наполнил чарки. — Ну, дай бог не по последней. За дружбу!

Они чокнулись.

Антон глотнул уже с омерзением. Все! Больше он не в силах — мутит и все плывет перед глазами.

Он проснулся среди ночи. Сразу, будто кто-то толкнул. Резко поднялся, сел на кровати. В голове ломило, но сознание было ясным, хмель прошел. Посмотрел на серый квадрат окна. Дождь продолжал глухо барабанить по стеклам. Олег спал ничком, всхрапывая.

Антон накинул куртку и вышел на крыльцо. Свежий воздух и холодные капли, брызгавшие на лицо, взбудрили его. Но какая-то беспокоящая, свербящая мысль будто бы проридралась в сознании сквозь остатки сна. Он вспомнил о вчерашней ссоре с Ленкой. Нет, эта мысль касалась не ее... И вдруг явственно, будто он слышал со стороны, всплыл в памяти его пьяный разговор с Олегом. Почему все вертелось вокруг Ольги да Ольги? Сам виноват, завел об этой дурацкой ссоре? Может быть... Но почему Олег так настойчиво расспрашивал? Или, может, показалось? Но разве им не о чем было поговорить еще? Столько институтских

новостей, столько всего случилось за это время с их общими знакомыми. И еще: когда уже укладывались, Олег предложил: «А может, махнем от этой слякоти куда-нибудь на Волгу, под Казань или Ярославль? Плесы, тишина... Об эту пору ведь там хорошо?» — «А я почему знаю?» — «Так ты ж там был». — «Когда?» — «Не был? А вроде бы говорил... Или кто-то говорил, что видел тебя... Ну да ладно, на боковую!»

С чего это он завел о Волге, о Ярославле — одно к одному? И словно бы вторым зрением Антон вновь увидел, как сидят они за столом и пьют, и Олег все подливает ему и подливает, а себе нет, хотя сам превеликий любитель выпить. Как же это Антон там, за столом, не обратил внимания? И откуда вообще Олег тут взялся? И именно вчера? И почему искал, заходил даже домой, к матери?.. Вроде бы после той стычки в читальне накануне демонстрации между ними все оборвалось, а Олег не из тех, кто первым идет на примирение. Может, все это чушь? И он из самых добрых побуждений? Об Ольге — потому, что женщины — самая любимая его тема, а Ярославль — случайное совпадение, Антон сам распустил язык? Может быть. И скорей всего именно так... Но он никак не мог отделаться от гнетущего чувства.

Вернулся в комнату. Приятель все также безмятежно храпел на кровати в углу. А что, если подойти, тряхнуть и, пока совсем не очухался, спросить: «Зачем ты выпытывал? А, зачем? Отвечай скорей!» Глупо... И подло подозревать в такой гнусности друга. Друга? Ну, однокашника, приятеля по институту. «Если хочешь понять другого, поставь себя на его место». Разве он, Антон, мог бы? Чушь!

И все же тревога не отпускала. Что же делать? К Леониду Борисовичу идти рано. А позже, когда Олег проснется, как объяснишь ему, куда идешь? Он же знает — не к Ленке. И если... Если подозрение справедливо, не будет ли он следить? Не хватало еще привести «хвост» к Красину. Как все запутывается! И во всем виною только он, только его непростительная неосторожность. Надо идти...

Он снова на цыпочках вышел из комнаты. За неприкрытой дверью прислушался: Олег дышал так же ровно и глубоко. Сдерживая каждое движение, чтобы не скрипнула половица, не звякнула щеколда, он выскользнул из дома. Теперь он был, особенно осмотрителен: ушел далеко в лес, петлял по тропинкам, оглядывал все окрест. Вспоминал слово в слово все наставления Феликса. Да, познаешь на собственной шкуре.

Утро уже вполне занялось, было не меньше пяти — половины шестого. Если бы ожидался ясный день, лес уже простреливало бы солнце. Но после стоявшей необычайно долго, целый месяц, щедрой погоды наступило столь обычное для всего этого приморского края ненастье, и тоже, по всей видимости, надолго. Небо было ровного серого тона, хоть и по-летнему высокое, но непрерывно источавшее дождь: то мельчайшей пылью, то плотными зарядами, и даже в короткие перерывы листья кивали, сбрасывая друг на дружку и сея на траву увесистые капли. Под ногами чмокало, чавкало, башмаки протекли, куртка превратилась в губку.

К даче Красина Антон подошел с противоположной стороны, от сараев, перемахнув через ограду. Дом стоял молчаливый, с темными окнами. В какое постучать? Не переполошить бы Любовь Федоровну, не напугать девчушек. Он мысленно представил расположение комнат. Детская, кажется, здесь, а рядом или наверху — спальня. Антон побарабанил по стеклу. Никакого отзвука. Фу, как нехорошо в такую рань... Он постучал громче. Занавеска отодвинулась, к стеклу прильнуло лицо. Вспыхнул огонек спички, заколебалось пламя свечи, раздались шаги на веранде.

— Заходи, Антон, — в дверях стоял Леонид Борисович — в халате, с взъерошенными волосами и смятым со сна лицом. — О, уже полное утро, неужто проспали?

Он глянул на часы:

— Да нет, и пяти еще нет... Проходи. Ты чего в такую рань? — он сладко, с зевотой, потянулся. Всмотрелся в мокрое лицо юноши. — Да ты же насквозь, до нитки!

Пока студент стоял, по полу растеклось круглое озерцо.

— Извините...



— Да что уж, сбрасывай куртку, сейчас просушим, у нас тут настоящая русская печь на кухне. Пошли. Дам пижаму, переоденешься.

В тепле, за стаканом густого чаю Антон приободрился. Ночные страхи показались ему беспричинными. Но как-то нужно было объяснить Леониду Борисовичу столь преждевременный визит. И он начал рассказывать: все как было, с самой ссоры с Леной.

— Постой, не торопись, — остановил его Красин, когда он перешел к встрече с Олегом. — Давай во всех подробностях, постарайся вспомнить каждое слово, интонацию, каждую мелочь.

После того, когда студент кончил, инженер спросил:

— А что ты вообще знаешь об этом Олеге?

Оказалось, как это ни странно, Антон почти ничего не знал о своем однокашнике. Ну остроумный, за словом в карман не полезет, хорошо занимается, равнодушен к женскому полу...

— А взгляды его, а цели в жизни? А отношение к тому, что происходит вокруг?

Юноша рассказал об их стычке в читальне.

— Что же тебя особенно насторожило?

«Вот и Леонид Борисович считает, что все это ерунда на постном масле, мания преследования», — с тоской подумал Антон.

— Откуда бы ему знать об Ольге?

— Ты же сам проговорился: Травина увидела тебя с дамой.

— Да, но он-то ее не видел! А сказал: волосы черные, глаза зеленые... Нет, про волосы это я. Но глаза же у нее действительно зеленые. Только это когда смотришь совсем близко, — он смутился. — Да, наверно, совпадение. Он мог сказать и с голубыми. Но тогда почему спрашивал о Волге, о Ярославле? Тоже совпадение? Да, пожалуй. Откуда бы ему знать, что я ездил? Кто мог меня видеть? Никто. Ерунда это все, да?

Он с надеждой посмотрел на Красина.

— Не знаю. Если он действительно выпытывал, то очень примитивно. Или очень нагло. Или то и другое, если этот Лашков — начинающий осведомитель, первые шаги делает.

Инженер усмехнулся, и Антон подумал, что он намекает на его собственные оплошности.

— Трудно поверить, что Олег... Но я не мог не предупредить.

— Трудно? — Красин досадливо провел указательным пальцем по переносью. — Несколько недель назад провалилась одна наша школа-лаборатория. Схвачены одиннадцать товарищей, разгромлен склад. По всем приметам — выдал провокатор, кто-то из участников. А каждый — профессиональный подпольщик, казалось бы проверенный. И мы до сих пор не знаем, кто выдал, кто из тех одиннадцати. Ты правильно поступил. Если охранка пронюхала, ты и представить себе не можешь, как это опасно. Для каждого из нас, в том числе и для тебя. Запомни: что бы с тобой ни случилось, кто бы, где и когда, хоть через сто лет, ни спрашивал — ни о Ярославле, ни об Ольге ты ничего не знаешь. Проболтаешься — сам себе подпишешь смертный приговор или вечную каторгу. Дальше: в Тифлис ты ездил к дяде, и только. Тифлис — это еще опаснее, чем участие в освобождении Ольги. Если они следят, то, конечно, установили твои контакты со мной. Не отрицай. Да, встречался, просил, как старого друга отца, помочь устроиться на службу. Инженер обещал.

Он минуту подумал, намечая план дальнейших действий:

— С сегодняшнего дня Куоккалу нужно исключить. Отныне эта дача — жительство моей семьи, никаких встреч на ней. И ты больше сюда ни шагу. Когда снова будет можно, я тебе сообщу. И сегодня с первым же поездом ты вернешься в Питер.

Он снова задумался. Спросил:

— В каких отношениях этот твой приятель с дочкой Травина? Они знакомы?

— Да, я их познакомил еще прошлой весной. Правда, Ленка... Елена его терпеть не может, называет циником.

— Но все же сможет подтвердить, что видела тебя, когда ты сходил с

гельсингфорского поезда с дамой, и что уезжал на неделю неизвестно куда... Да, это существенно. Попросить ее молчать — еще хуже.

Леонид Борисович прошелся по комнате, заглянул в под печи, поворошил кочергой поленья. Красные отсветы скользнули по его лицу.

— Хорошо, скажешь: моя родственница, я попросил тебя встретить ее в Питере и привезти на дачу. А кто она и откуда — тебе неизвестно, зовут Тамарой Николаевной. Но запомни — ничего никому объяснять, ни перед кем, кроме Елены, оправдываться ты не обязан. И есть еще одна реальная возможность проверить, пало ли на тебя подозрение полицейских властей.

Он загадочно посмотрел на Антона:

— Хочу сделать тебе немаловажное предложение. Решай не впопыхах. От этого решения может иначе сложиться вся твоя жизнь. Мы обсудили с товарищами: тебе надо учиться.

— Я и учусь в Техноложке, вы же знаете.

— Учиться не только инженерной специальности. Не думай, что партийная работа сводится лишь к действиям боевых групп: нападать, бросать бомбы, освобождать... Партии нужны идейно закаленные, научно подготовленные марксисты, умеющие осмысливать явления истории и общественной жизни. Как ты думаешь, почему многие революционеры — десятки, даже сотни их — перед пятым годом жили в эмиграции, в Берлине, Париже, больше всего в Швейцарии, в Женеве?

— Бежали туда из ссылки, с каторги.

— Не только бежали, не только спасались от царской охраны. В эмиграции революционеры учились, овладевали теорией революционной борьбы. Без теоретической базы не может быть и практической работы. А как революционер-марксист ты, извини, еще полный нуль. Пока у тебя в голове туман. Может быть, я ошибаюсь?

— Кое-что я читал, мне Костя давал... Да и кружок по политической экономии вел на Металлическом, — начал было Антон, но тут же согласился: — Да, вы правы, систематических знаний у меня нет. Что же мне делать?

— Надо учиться. В России с каждым днем это будет делать все труднее. А нужна именно систематическая учеба, нужны открытые библиотеки, где ты сможешь иметь доступ к любой научной литературе, ко всем книгам, которые в России строжайше запрещены. Обстоятельства складываются так, что снова оживут эмигрантские центры. Ты какие языки знаешь?

Антон пожал плечами:

— Гимназический классический курс: латынь и древнегреческий. И французский, само собой.

Красин помешал ложкой в чашке и с чисто парижским выговором спросил:

— *As-tu la langue bien pendue? Pourrais-tu parler amour en fran&#231;ais &#224; une fille?*<sup>9</sup>

— *Malheureusement, cette d&#233;claration d'amour, je l'ei d&#233;j&#224; faite... en russe. Quant &#224; mon fran&#231;ais, j'aime mieux ne pas trop parler devant les Parisiens*<sup>10</sup>.

— *Je vois au contraire que tu te d&#233;brouilles pas mal*<sup>11</sup>, — одобрительно кивнул Леонид Борисович и снова быстро спросил: — *And, my dear, how do you do speak*

---

<sup>9</sup> У тебя хорошо подвешен язык? Смог бы ты объясниться в любви по-французски с девушкой? (*франц.*)

<sup>10</sup> К несчастью, уже имело место объяснение в любви... по-русски. Что касается моего французского, я предпочитаю не развязывать язык, когда говорят парижане (*франц.*)

<sup>11</sup> Мне как раз кажется, что ты совсем неплохо объясняешься по-французски (*франц.*)

English?<sup>12</sup> — и, перейдя на берлинский диалект: — Ist dir die deutsche Sprache nicht fremd?<sup>13</sup>

— Je m'excuse, mais l'anglais et l'allemand, ce n'est pas mon fort<sup>14</sup>, — виновато ответил Антон.

— Зато твой французский вполне пригоден, — одобрительно кивнул Красин. — Вот какое предложение: возьми перевод в Париж, в Сорбонну, на технический факультет. Конечно, это лишь совет. Решай сам.

— Если так надо, я согласен.

— Не торопись с решением. А на что ты будешь там жить? Знаешь, как живут эмигранты? Кто столяром, кто слесарем, а то и землекопом или носильщиком. Ты же понимаешь: у партии нет денег, чтобы платить стипендии.

— И не понадобится. Мама с охотой даст. Она еще давно, при отце, говорила, что мне надо посмотреть Европу.

— Если мать сможет поддерживать тебя средствами, хорошо.

Антон уже загорелся: конечно же, он поедет за границу! Подальше от всех этих гадких предположений. И Ленка пусть подумает хорошенько, еще пожалеет! А потом он вернется, как-нибудь все ей объяснит, и все получится превосходно. «Париж! Париж!» — пело в его душе.

— А когда надо ехать? И как? Тайно переходить границу?

— Зачем? — Красин отрицательно качнул головой. — Пока у тебя нет причин. И не думай, что это так просто: под пулями через кордон. К тому же там, в эмиграции, дороже золота каждый чистый заграничный паспорт. Подашь прошение в канцелярию губернатора о выдаче тебе заграничного паспорта: едешь учиться. Заодно это будет и пробным камнем. Если задержат выдачу, значит попал ты, товарищ Владимиров, на зубок охранке. Вот тогда подумаем о тайной переброске... Ну-ну, не трусь! Кстати, у кого снял комнату этот твой собутыльник?

Антон покраснел. Не поднимая глаз, рассказал, где он ночевал, описал дом.

— Ладно. В Куоккале есть финские товарищи-большевики, кое-что проверим.

За стеной слышались шаги, голоса, плач и смех проснувшихся детей.

Антон допил чай, встал, пощупал одежду:

— Уже подсохла.

Он начал одеваться. Спросил:

— А как я увижу вас, если сюда больше нельзя приходить?

— Решим так: если надумашь ехать, оформляй документы и в Техноложке, и в канцелярии губернатора. Все это время никаких встреч, никаких разговоров на политические темы: петербургский шалопай, и только, ясно? Есть предположение, что мне появляться в Питере небезопасно... Но у меня есть срочные дела в центральных губерниях. А через полмесяца, может быть раньше, мы увидимся. Когда и где, я и сам еще не знаю. Тебе сообщат. Скажут... ну хотя бы так: «Никитич спрашивает, как здоровье Олега». На этот раз, надеюсь, не перепутаешь? — он усмехнулся.

Когда они вышли из кухни, Любовь Федоровна и Ольга уже накрывали на веранде к завтраку.

— Милости просим за стол, — пригласила жена Красина.

— Мы уже, извините.

— Товарищу Владимирову необходимо срочно возвращаться в Питер, — сказал Леонид Борисович.

---

<sup>12</sup> А как у тебя, дорогой, с английским? (англ.)

<sup>13</sup> Тебе не чужд немецкий язык? (нем.)

<sup>14</sup> Я прошу прощения, что касается английского и немецкого, я в них не силен (франц.)

— Значит, прощаемся? — Ольга поставила чашку и подошла к ним, протянула Антону руку. — Спасибо, витязь Руслан!

Она улыбнулась. Антон с удивлением смотрел на нее.

С момента, когда они пришли сюда и она оказалась наконец вне опасности, среди друзей, и суток не минуло, а как изменилась Ольга за эти считанные часы! Серо-голубую тюремную бледность сменил легкий румянец, даже морщины разгладились, глаза блестели, она улыбалась, и в улыбке обозначались на скулах несимметричные ямочки и открывались великолепные зубы. Она помолодела и выглядела красавицей.

— Спасибо! — повторила она, обхватила его голову, пригнула и легко поцеловала в лоб. — Будь счастлив, мальчик!

«Мальчик!» — снова резануло его. Но все равно в эту минуту он был бесконечно счастлив: «Значит, простила!»

— И тебе, Ольга, придется уезжать восвояси, — Красин махнул рукой. — Обстоятельства меняются, здесь может стать горячо.

— Когда уезжать? — спросила она.

— Немедленно. Сразу же после завтрака и организуем. В Гельсингфорсе и в Або филеры уже могут быть предупреждены. Переправим тебя на один из островов, где пароходы делают короткую остановку. Два капитана на линии Гельсингфорс — Стокгольм надежные люди.

— Вы уезжаете в Швецию? — спросил Антон.

— Еще дальше.

— Тоже учиться?

— Почему «тоже»? Нет. Жить. Работать. У меня там муж.

— Му-уж? — невольно воскликнул юноша.

— Да, — она снова улыбнулась.

«Муж... А почему у нее не должно быть мужа? И какое мне-то дело? — Но он испытал неизъяснимую горечь, будто его обманули, будто кто-то вдруг лишил его заслуженных и неделимых прав. — Да не ревную ли я? Вот дурак! Что мне до Ольги?»

— Извините меня.

— «Я больше не буду», да? — она рассмеялась. — Не надо, мальчик, не надо! — и погрозила пальцем. — До свидания!

«Играет она со мной, что ли?»

Он выскочил на крыльцо. Дождь все еще шел, но небо стало светлей.

Когда он вернулся, Олег уже встал. Фыркая и охая, обнаженный по пояс, он плескался у умывальника, шлепая ладонями по мокрым плечам, густо усеянными рыжими веснушками.

— Куда это тебя черти носили спозаранку? — спросил он, глянув на Антона снизу, из-под руки.

— Проветривался... Голову ломит, — отозвался студент. — Перебрали мы вчера.

— Ничего, сейчас я тебя введу в строй! Сто граммов и рассол — и будешь ты у меня как нежинский огурчик! — Олег захохотал, и смех его звучал искренно и простодушно.

«Эх, напрасно я все нагородил! Все это ерунда, только переполошил всех, и она вынуждена уехать!.. И как теперь смотреть в глаза Олегу?» — тоскливо подумал Антон.

## ГЛАВА 13

Бывший однополчанин Додакова, столоначальник в седьмом делопроизводстве, хвалился своей осведомленностью не зря: на день святых апостолов Петра и Павла император подписал высочайший приказ о досрочном и внетабельном производстве в чины и награждении орденами, а также царскими подарками большой группы офицеров отдельного

корпуса жандармов и чиновников министерства внутренних дел. Столыпин был удостоен высшего ордена империи — креста Андрея Первозванного «За веру и верность» на ленте через плечо, Трусевич — бриллиантовой звезды Александра Невского первой степени «За труды и отечество», начальник Санкт-Петербургского охранного отделения Герасимов произведен в генерал-майоры, а Додаков получил Владимира с бантом и подполковника. Звание подполковника разом переводило его в обер-офицерский чин и к обращению «благородие» добавляло приставку «высоко-». Это не могло не льстить самолюбию, хотя внешне Виталий Павлович старался и виду не показать: мол, все это суета сует, главное же — питаемая непоколебимой преданностью государю неусыпная служба, не для виду только, а по совести, для действительной пользы отечества.

Милости милостями, но служить надо было действительно с рвением: подниматься на гору трудно, зато скатиться с нее можно в один миг — ни чины, ни кресты не удержат. Тем более что столько дел начато, но медлят своим завершением. И среди них на одном из первых мест дело о тифлисской экспроприации.

При очередном докладе Герасимова директору департамента Трусевич протянул начальнику столичного охранного отделения бумагу:

— Ознакомьтесь, Василий Михайлович.

Это было донесение коллеги Герасимова, начальника Московского охранного отделения полковника фон Коттена на имя директора департамента. Донесение гласило:

«Имею честь доложить Вашему Превосходительству, что, как ныне совершенно точно выяснено, 250 тыс. руб. похищены в г. Тифлисе 13 июня с. г. большевиками Тифлисской организации РСДРП. Имеются агентурные сведения о том, что экспроприация совершена по указанию из Петербурга, от Центрального Комитета означенной партии.

Примите, Милостивый Государь, уверения в совершенном моем почтении и преданности...»

Побагровев так, что краснота проступила сквозь седину поредевших волос на темени, Герасимов стал ждать дополнений. Максимилиан Иванович, однако ж, не пожелал разъяснить, какие факты скрыты за текстом депеши. Он бережно положил лист в одну из тисненых папок на своем столе, сказав лишь:

— Если не ошибаюсь, генерал, Петербург находится в вашем ведении, а не в ведении Московского отделения.

Депеша фон Коттена уязвила Герасимова в самое сердце. Со времени отъезда из Москвы Зубатова лидерство среди охранных отделений империи прочно закрепилось за Петербургом. Хотя каждый местный начальник не упускал возможности бросить камешек в огород соседа, но на Герасимова замахнуться не смел никто — он сам кого угодно мог подмять, да так, что только ком грязи останется. И если какому-нибудь охранному отделению или жандармскому управлению первому становились известными сведения, интересующие столичное отделение, местные начальники прежде всего уведомляли его, Герасимова, а уж затем строчили доклады в дирекцию. Это называлось дружескою солидарностью. Теперь же депеша фон Коттена застала Василия Михайловича врасплох. Что Коттен узнал, откуда, насколько достоверно? Не будет же генерал унижать себя до того, что лично запрашивать соперника. Не будет он спрашивать и у директора. Трусевич молчит, и это молчание означает: «А вашего доклада, новоиспеченный генерал, я по сему делу до сих пор не слышал. — И еще одно: — А ну-ка посостязайтесь, кто кого обойдет у ленточки!» Однако кое-какие полезные сведения Герасимов может почерпнуть и из лаконичной депеши этого мерзкого Коттена: надо сосредоточить внимание на Центральном Комитете РСДРП. И на том спасибо.

Вернувшись с Фонтанки к себе на Александровский, Герасимов потребовал несколько персональных досье и учетных карточек, а также «дело» ЦК Российской социал-демократической рабочей партии и, когда адъютант все это принес, заперся в

кабинете.

Что известно прохвосту Коттену и как далеко опередил он Герасимова в расследовании? Не хватало еще, чтобы он доложил о поимке злоумышленников, да к тому же на территории Санкт-Петербурга. Ну уж нет, извините! Генерал немедленно прикажет Железнякову начать слежку и за московскими филерами, а в случае чего гнать их из столицы вашей!.. Василий Михайлович вновь почувствовал, как лоб его покрывается испариной. Хватит, хватит! Так и желчь разольется. Он принял сердечных капель, успокоился и, отстранив из мыслей ненавистного Коттена, углубился в изучение лежащих перед ним бумаг.

Если действительно тифлисская экспроприация совершена по указанию ЦК РСДРП, то не участвовал ли в этом деле член Центрального Комитета Красин? Герасимов отпер сейф и достал картограмму. За минувший месяц она значительно видоизменилась: от кружка «Инженер», выведенного циркулем в центре листа, густо расходились разноцветные линии к многочисленным кружкам меньшего диаметра, и эти последние свидетельствовали о все возрастающей активности поднадзорного. Малые кружки обозначали тех, с кем Красин встречался. В большинстве то были лица с периферии: из Иваново-Вознесенского и Орехово-Зуевского фабрично-заводских районов, с Урала и Кавказа. Две недели назад инженер выехал, взяв на службе кратковременный отпуск, к семье в Куоккалу, и это несколько осложняло наблюдение. Однако опытные филеры, откомандированные в Финляндию, и за эти две недели добавили кое-что к вырисовывающейся выразительной картине.

Обращали на себя внимание густые линии, которые отмечали регулярные встречи Красина с лицом, обозначенным как Весельчак, и появление в Куоккале Косого. Оба эти человека месяц назад приходили под видом подрядчиков к инженеру в контору «Общества» на Малой Морской. Расследование показало, что никаких подрядчиков, похожих на этих двоих, ни на Охте, ни вообще в пределах столицы не существует. Кто же они? Да мало ли кто! Но имеют ли они какое-нибудь отношение к Тифлису? Неизвестно. А все остальные «кружки»? Ни улик, годных для представления суду, ни даже агентурных донесений, подтверждающих эту версию, нет. Что ни говори, чисто сработано, не дилетантами. А уж запутали дело — дальше некуда. В крайнем случае Герасимов сгребет все эти «кружки» в кучу. Но по опыту он знает: без разящих наповал улик арест всех скопом пустое дело. Его будут ждать бесконечные изнурительные допросы, многомесячное выматывание нервов, выискивание в показаниях крупиц истины. В редчайшем случае кто-нибудь кого-нибудь выдаст. Но большевики — умелые конспираторы и люди со стальными нервами. Нить оборвется за первым же молчальником... Нет, пока еще время терпит. И, может статься, донесение высколки фон Коттена — просто блеф.

Сделав на листе пометки, начальник охранного отделения спрятал картограмму в сейф и приказал вызвать Додакова.

Подполковник явился тотчас — подтянутый, вылощенный, сияющий, как новые эполеты на его плечах. Герасимов хмуро посмотрел на офицера и, сухо кивнув, не предлагая сесть, сказал:

— Из ознакомительных сводок департамента вам должно быть известно о экспроприации прошлого тринадцатого июня, совершенной в Тифлисе на Эриванской площади.

— Так точно, ваше превосходительство! — отчеканил Додаков, озадаченный сухим жестким голосом генерала.

— По некоторым сведениям, — Герасимов снова почувствовал, что его дыхание перехватывает спазма гнева: «Проклятый Коттен!», — по имеющимся сведениям, она произведена тифлискими социал-демократами по указанию из Петербурга. Партия эта поднадзорна вам. Что вы имеете сказать?

— Об экспроприации как таковой пока ничего не имею, ваше превосходительство, — смиренно ответил офицер. — Однако о возможном инициаторе, если речь идет о

Большевицком центре, кое-что.

— О ком?

— Об инженере Красине.

«Далеко пойдет!» — вскинул глаза Герасимов. И впрямь далеко: вот уже несколько дней, как по указанию вице-директора из первого, распорядительного делопроизводства поступил в охранное отделение запрос о деловых качествах Додакова на предмет перевода его в департамент.

Генерал коротким жестом предложил подполковнику сесть:

— Почему именно о Красине?

— Во-первых, он в партии — распорядитель средствами, как бы социал-демократический министр финансов, как Коковцев, — Додаков позволил себе шутку. — Кроме того... — он достал из внутреннего кармана филерский розыскной альбом с полотняными страничками, густо залепленными фотографиями. — В последний месяц Инженер неоднократно встречался... — подполковник перевернул несколько страничек, — вот с этим господином, в сводках наружного наблюдения фигурирующим как Весельчак.

— Установлено, кто этот господин?

— Так точно, ваше превосходительство. По партийным кличкам: «Феликс», «Папаша» и многие другие. Действительная же фамилия: Меер Валлах, он же — Литвинов Максим Максимович.

— Участник побега из Лукьяновского замка?

— Совершенно верно, ваше превосходительство. Один из виднейших функционеров РСДРП, член бюро комитетов большинства, член Рижского и Северо-Западного комитетов, уполномоченный партии по Северо-Западному краю, — без запинки, не заглядывая в записи, выдал справку Додаков. — Кроме названного: руководитель закупок и транспортировки из-за границы оружия, боеприпасов и нелегальной литературы для местных комитетов Российской социал-демократической рабочей партии. «Зара» тоже была делом его рук.

Виталий Павлович перевернул несколько страничек альбома:

— Были засечены встречи Красина и с этой дамой, Учительницей. Как вам известно, она же Катя и проч., — Крупская Надежда Константиновна. К сожалению, чрезвычайно осторожна.

Додаков отложил альбом и резюмировал:

— Если последняя экспроприация — дело социал-демократов, вполне возможна прямая связь между Тифлисом и вышеназванными личностями. Нити ведут непосредственно к лидеру большевиков Ульянову-Ленину. И не исключено, что похищенные билеты казначейства находятся в их руках.

— Что же вы предлагаете, подполковник?

— Окажись они в пределах России, мы бы немедленно их разыскали и арестовали. К сожалению, ныне Красин и Литвинов находятся в Финляндии, а местопребывание Ульянова не установлено. Однако, судя по визитам Учительницы, выполняющей, без сомнения, роль связной, он тоже где-то недалеко. Возможно даже, в Финляндии.

— В Финляндии! — снова вскипел столь сдержанный в проявлениях чувств Герасимов. — С охранной точки зрения автономия, дарованная Финляндии, непопустительная роскошь и... да простит мне господь... махровая глупость! Это все проделки либерала и революционера Витте! Как же, независимость! Суверенность! Была занюханной провинцией, а стала коронным государством! Тьфу! И нам, чтобы добиться выдачи своих собственных преступников, приходится представлять финляндскому сенату доказательства вины, а сенат еще фордыбачит — доказательства ли они! Вот, полюбуйтесь: финские судебные власти до сих пор тянут с выдачей нам бомбистов Хаапальской лаборатории: не закончено, мол, еще следствие по делу. Давно им место на виселице, а мы все переписку ведем! И наш человек сколько уже недель вместе с преступниками в тюрьме мается!

Начальник отделения длинно выругался, отводя душу.

Додаков невольно поморщился — он не терпел вульгарности, а тем более матерщины. Переждал, пока угаснет вспышка, и сказал:

— Предполагаю, что в ближайшие дни мы получим материалы, достаточные хотя бы для того, чтобы востребовать инженера Красина. Правда, эти материалы связаны не с экспроприацией.

— А с чем же?

— По всей вероятности, Красин участвовал в организации побега каторжанки из Ярославского тюремного замка.

Додаков вкратце рассказал генералу о ходе расследования в связи с побегом осужденной большевички, о клетчатом саквояже, совершившем подозрительное путешествие от инженера в Ярославль, о все более обрисовывающейся в этом деле роли студента Путко и закончил:

— Во всяком случае, в настоящее время беглянка находится на даче инженера в Куоккале. Если действовать энергично и быстро, можем захватить всех разом.

— Вот и займитесь этим делом, подполковник, незамедлительно. Сегодня же подготовьте телеграмму об аресте и выдаче означенных лиц. Беглая каторжница будет достаточным доказательством даже для финнов. Не теряйте времени.

— Будет исполнено, ваше превосходительство!

Герасимов проводил глазами Додакова. Высокая фигура его была безукоризненно стройна, и хромота почти незаметна, только уж очень торчали в стороны хрящеватые уши, право, хоть онучи на них суши. Герасимов, не разжимая губ, ухмыльнулся и с мстительным удовлетворением подумал: «Ну погоди, блюдолиз Коттен! Еще посмотрим, кто кому фигу покажет!» Однако на одного Додакова генерал полагаться в этом деле не будет. Он поведет розыск параллельно и по своим, только ему ведомым каналам. И Герасимов распорядился, чтобы из почтово-телеграфного ведомства ему были представлены копии всей переписки — как поступавшей на имя Красина, так и исходившей от него, частной и служебной. Нет, что бы там ни было, а принципу своему — *festina lente* — он не изменит. Не всегда первым поспевают тот, кто бежит вприпрыжку.

Однако вскоре новые обстоятельства принудили Герасимова и Додакова изменить предполагавшиеся ходы в игре: заведующий филерской службой Железняков сообщил, что все интересующие отделение лица исчезли из населенного пункта Куоккала, на даче Степанова осталась только жена Красина с детьми.

А из иностранного отделения канцелярии Санкт-Петербургского губернатора поступил в охранное отделение запрос: надлежит ли выдать заграничный паспорт Путко Антону Владимировичу, студенту, желающему выехать во Францию для продолжения инженерного образования?

Виталий Павлович снова обратился к папке тонкого, однако все более наполняющегося досье на профессорского сынка. И, перечитывая доносы «Друга», обратил внимание на то, что раньше проскользнуло мимо: Путко перед поездкой в Куоккалу неделю гостил у дяди в Тифлисе, с девятого по шестнадцатое июня.

«Постой-постой! А экспроприация была совершена тринадцатого. Дорога из Петербурга в Тифлис... И обратно... Если шестнадцатого студент был уже в столице, значит уехал он из наместничества четырнадцатого, на следующий же день. Опять совпадение? Удивительные совпадения! Просто невероятные! И кто это едет в гости так далеко всего на три дня, как говорится, за семь верст киселя хлебать? Да и есть ли в наличии дядя? И где именно находился вездесущий юноша в то утро, тринадцатого?»

На телеграфный запрос особый отдел канцелярии наместника подтвердил, что в Тифлисе действительно проживает потомственный почетный гражданин Григорий Евгеньевич Путко, имеющий родственников в Санкт-Петербурге, чиновник десятого класса, лицо вполне благонадежное. И действительно в середине июня у означенного чиновника гостил племянник Путко Антон Владимирович, 13-го того месяца утром, во время облавы,



задержанный на Эриванской площади, однако за отсутствием каких-либо улик тогда же и освобожденный.

«Как это я раньше не обратил внимания? — досадовал Додаков. — Выходит, этот студентик — не такая уж и маленькая щучка. Ну да ладно. Может, сейчас и самый раз».

И подполковник осведомился у адъютанта Герасимова, может ли генерал принять его по делу безотлагательной срочности.

Следующим утром фельдъегерь доставил с Александровского проспекта на Дворцовую набережную пакет с сургучными печатями. Бумага, заключенная в нем, гласила:

**Министерство  
Внутренних Дел  
С.-Петербургского  
Обер-Полицмейстера  
Отделение по охранению  
общественной безопасности  
и порядка в г. С.-Петербурге  
10 июля 1907 года  
№ 10679 г.  
Санкт-Петербург**

С е к р е т н о .

**В ИНОСТРАННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
КАНЦЕЛЯРИИ  
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО  
ВЫСОЧЕСТВА  
С.-ПЕТЕРБУРГСКОГО  
ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА**

Вследствие отношения от 9 июля с/г за № 11675, Охранное отделение имеет честь уведомить Иностранное отделение С.-Петербургского Генерал-Губернатора, что оно не усматривает препятствий к выдаче заграничного паспорта ПУТКО Антону Владимирову и одновременно имеет честь покорнейше просить не отказать уведомить, когда и за каким номером будет выдан означенный паспорт.

Примите и проч.

*Начальник Отделения  
Генерал-майор В. Герасимов.*

«У этого Путко в охранном своя рука, — подумал чиновник иностранного отделения канцелярии генерал-губернатора, подшивая бумагу к делу. — Ишь, не успели наши чернила просохнуть... Ежели такая поспешность, то подальше от греха!» — и он, отгеснив стопу ранее, два и три месяца назад поданных прошений, поставил выездное «дело» Путко первым на доклад начальству и оформление паспорта.

И уже через день из канцелярии губернатора ушло на Александровский уведомление:

«Вследствие отношения от 10 июля с. г. за № 10679, Иностранное отделение канцелярии С.-Петербургского Генерал-Губернатора имеет честь сообщить таковому же Охранному, что Путко Антону Владимирову 12-го сего июля выдан заграничный паспорт за № 7129...»

Вскоре после получения этого уведомления с полицейского телеграфа была отправлена шифрованная депеша:

**«Жандармскому начальнику пограничного пункта  
ст. Вержболово**

Вам надлежит произвести тщательный досмотр самоличности и багажа следующего за границу Путко Антона Владимировича, паспорт № 7129, выданный канцелярией СПб Генерал-Губернатора 12 июля 1907 года. В случае обнаружения...» — в телеграмме следовало перечисление предполагаемого, — «...Путко арестовать и препроводить в распоряжение СПб Охранного отделения, уведомив о сем Департамент полиции. В случае необнаружения препятствий следованию к месту назначения не чинить.

Приметы: Возраст — 20 лет. Рост 2 арш. 9 вершков, телосложения атлетического, глаза светлые, волосы на голове темно-русые, слегка вьющиеся, лицо продолговатое, слегка веснушчатое, лоб высокий, выпуклый, нос курносый, широкий, рот правильного очертания с полными губами, зубы белые, подбородок раздвоенный, выступающий, уши большие, немного торчат в сторону, усов, бороды не носит. Особых примет не имеется. Фотографическая карточка препровождается».

Через две недели по тому же адресу, в Вержболово, последовала еще одна телеграмма — открытым текстом, отправленная с промежуточной станции Двинск:

«Благоволите принять товар петербургским № 5. Багажная квитанция 7129. Приказчик».

## ГЛАВА 14

Антон, вернувшись в Питер, маялся бездельем и неопределенностью. После таких бурных и напряженных дней праздное времяпрепровождение томило его, хотя он старательно следовал наставлениям Леонида Борисовича — изображал из себя беспечного студента на каникулах.

Столица предоставляла для этого все возможности: от гастролей примы-балерины Анны Павловой в императорском балете до фарса «Счастье рогоносцев» в бульварном театрике «Шато-де-Флер». В «Форуме» шел всемирный чемпионат по борьбе, и на ковре потели восьмипудовые чудовища с грозными именами — Циклоп, Абс, Ли Хун Чу. Сады предлагали «бесперывное веселье с часу дня до трех часов ночи», адские прыжки через сабли и факелы, и невиданно широко рекламировался дебют знаменитого африканского укротителя львов и тигров Альфреда Каца. Среди выдрессированных им зверей были и эквилибристы, и борцы, и пловцы, и даже львы-танцоры. А один — для любителей особо острых ощущений — еще не дрессированный, дикий тигр-людоед. Народ на тигра-людоеда валом валил.

Но какой пресной и бессмысленной представлялась Антону вся эта пестрая карусель по сравнению с той жизнью — тайной и опасной, требующей предельного физического и духовного напряжения, остроты и находчивости ума.

Неужели вправду с ним было — и в Тифлисе, и в Ярославле, и на волжских баржах? Не сон ли все это?.. А Ольга, Леонид Борисович, Феликс, Камо?.. Нет, не сон! Они вошли в его жизнь и заняли в ней свое место, вытеснив так многое. И он теперь даже под страхом плахи не откажется ни от них, ни от общего с ними дела!..

Он написал прошение на имя генерал-губернатора о выдаче заграничного паспорта для продолжения учебы в Париже. «Сорбонна!» Кого не манят Сорбонна, Латинский квартал,

Монмартр!

Он подал прошение и стал ждать ответа. «А вдруг не дадут? Заявишься за паспортом, а тебя цап-царап: «Ага, удирать изволите? А нам все о вас, уважаемый, доподлинно известно! Пожалте в «Кресты»! Леонид Борисович сказал же: «Пробный камень — попался на зубок охранке или не попался». А, была не была!»

Зная, что так быстро и быть не может, он заявился в канцелярию губернатора просто поинтересоваться ходом дела и не надо ли еще какой бумаги. И как велика была его радость, когда чиновник в очках на оливковом носу и синих налокотниках, затребовав пятнадцать рублей пошлины, протянул ему новенький заграничный паспорт! Антон выскочил на улицу. Он хотел тут же разглядеть заветную книжицу, но накрапывал дождь, и он поспешил домой. Там, у окна, он перелистал каждую хрусткую и жесткую страницу, исписанную по-русски и по-французски, залепленную штемпелями и пестрыми гербовыми марками. Поглядел страницы на свет. На каждой проступил водяной знак — двуглавый российский орел. Чуть не половину первого листа занимала его собственная фотография, притиснутая по углам вдавленными в бумагу печатями. На фотографии он выглядел глупо, совершенно несолидно: вихры торчком, и на губах какая-то ухмылка.

Антон закрыл паспорт и упрятал его подальше в ящик письменного стола, заложил сверху тетрадами с конспектами. Теперь можно собираться в путь-дорогу... В тот же день, без звонка, заявился Олег. Он по-свойски стряхнул в прихожей зонт, забрызгав пол и стены, и, прежде чем пройти в комнаты, долго гримасничал перед зеркалом, приглаживая и расчесывая рыжие напомаженные волосы, оправляя новый галстук и белейшие манжеты с запонками в грецкий орех.

— Ты что, свататься пришел? — не удержался Антон.

— А ты откуда знаешь? Сейчас к вашей Поленьке и подкачусь! — он улыбнулся до ушей. — Простофиля, я на тебе ап-пробацию произвожу, может, я от тебя в такие сферы вознесусь! Ах, какие птички слетели на землю! — он вздохнул и закатил глаза.

«Вот шут гороховый!» — подумал Антон.

С той их встречи в Куоккале они больше не виделись, и Антон, вспоминая об Олеге, испытывал чувство вины: как он посмел возвести на однокашника такую напраслину? И вот теперь, вновь разглядывая приятеля, он еще больше утверждался в мысли: «Как может этот ветрогон быть слушачом охранки? У него на уме только девки и галстуки».

— А ты-то, шалун, тоже ударил во все тяжкие? — погрозил ему пальцем Олег. — Я уже третий раз навещаю — маман говорила? — и все от ворот поворот: «гуляют-с». С кем изволите? Я уж и на Садовой справлялся. Нет, не изволили осчастливить.

— Дурак ты, братец. Другие у. меня заботы, — Антон не удержался, увлек его в свою комнату, открыл стол и вынул паспорт. — Гляди!

— Да ну! — восторженно присвистнул Олег. — По Европам! Вот это шикарно!

Он погрустнел. «Напрасно я хвастаюсь. Ему-то не по карману».

— И надолго ты в вояжи собрался?

— Буду учиться там. Многие же учатся.

— Значит, оставляешь, блудный сын, нашу альма-матер? Нехорошо, непочтительно, — Олег как-то сник, хотя и продолжал шутовать.

— И чего ты вообще надумал — уезжать-то?

«Прямо как допрос, — насторожился Антон, но тут же одернул себя. — Опять двадцать пять! Я бы на его месте не спрашивал то же самое?»

— А кто его знает, стих нашел... Надо же когда-нибудь чужие земли поглядеть — для сравнения и широты окоема. Да и в отечестве сам знаешь как: с заграничным дипломом — так тебе первое место в любой компании. И компании-то все у нас иностранные: «Сименс и Гальске», «Гофмарк», «Коппель», «Нобель», «Крупп», «Вестингауз», «Гейслер» — язык ломаешь.

— Эх, и я бы поехал! — признался Олег. — Только куда уж нам, кувшинным рылам! Особливо когда в кармане — блоха на аркане... А маман твоя как отнеслась?

Антону сделалось неловко: «Расхвастался! А он репетиторством еле держится».

— Тебе-то зачем? Разве в Питере мало удовольствий? И с твоими талантами и успехами золотой диплом тебе обеспечен. Может, и я бы не поехал, да с Ленкой у меня сам знаешь как... Вот укачу — затоскует, одумается.

— И то резон. Бабы — они всегда так... А как матушка? — повторил он.

— Не говорил ей еще. И ты не проговорись, ее подготовить надо. Да и не знал я, дадут еще паспорт аль нет... — он запнулся.

— Жалко им, что ли, картонки, коль деньги платишь? Вольному воля, лети на все четыре стороны... А вот маман твоя не очень обрадуется.

«Да, — подумал Антон. — Предстоит самое трудное».

После возвращения из Куоккалы мать встретила его приветливо: были и утка с яблоками, и вино. Мать ласкала его и оглядывала — и Антон видел, что она любит его, своим большим и единственным сыном. Он не хотел огорчать ее и ничего не рассказал о ссоре с Леной. И уж тем более о поездке в Ярославль и всем прочем.

И в то же время он чувствовал, что она чем-то озабочена, встревожена, и ловил ее тоскующий, устремленный в одну точку взгляд: будто точила ее какая-то мысль, какая-то тяжкая забота. В эти минуты молодое и красивое лицо ее разом старело, обвисали щеки, и на лбу и у губ собирались рыхлые морщинки. «Старушка моя!» — ласково думал Антон, но первым расспрашивать ее не хотел, зная характер матери: когда сама решит, тогда и скажет, если надо будет. Но теперь, когда паспорт у него в руках, неотвратимый разговор неминуем.

— И когда же ты думаешь ту-ту в заморские края?

— Точно не знаю. Дел еще столько. И в Техноложке документы получить, и... — он остановился.

— И? — подсказал Олег.

— И прочие бумаги выправить, и обмундированье.

— О, в чем-чем, а в этом я тебе пособлю! — оживился Олег. — Наиглавнейшее — побольше галстуков! Новый галстук заменяет целый костюм, и за смокинг, и за фрак сойдет! Это я беру на себя. А сейчас выручай, брат: пташек две, а я один, боюсь, расклюют. И закатим мы с тобою, как в той финской избушке!

Антон отрицательно покачал головой.

— Да ты не думай! — приятель похлопал по карману. — У меня свои завелись, синенькие и зелененькие.

— Другой раз, а нынче у меня время расписано, — соврал Антон. Ему было неприятно упоминание об их встрече в Куоккале.

— Как знаешь. В другой так в другой, — неожиданно быстро согласился Олег. — Покличу кого-нибудь — только дураки отказываются от клубники со сметанкою. А о галстуках не хлопочи, моя забота, одену на весь вояж. Только гляди: без отходной и колеса не покатаются, заржавеют!

Он снова беспечно захохотал.

После того как приятель ушел, Антон сел за письмо Лене. Начал: «Леночка, милая!» Зачеркнул: «Еще подумает, что заискиваю — виноват». Написал: «Сударыня» — и снова разорвал: оскорбится сухостью. «Я — как Татьяна Ларина», — грустно усмехнулся он. Как объяснить ей, что она не права, что никого, кроме нее, у него нет и быть не может, а та женщина... Что — та женщина? Он вспомнил Ольгу, представил ее лицо, ее зеленые глаза и смех при прощанье, почувствовал легкое прикосновение ее губ ко лбу. «Муж...» Вот: та женщина — просто случайная попутчица по дороге в Куоккалу, она спешила к своему любимому мужу. Или, как говорил Леонид Борисович, — его родственница, Тамара Николаевна, кажется, так... Где же он, Антон, пропал тогда полдня и зачем врал, что летел на крыльях? Вот так, если следовать бездушной логике, и получается: кругом дурак. А надо, чтобы люди, которые любят друг друга, верили и не требовали объяснений тогда, когда один из них не может или не хочет их давать. Насколько лучше жилось бы на свете, если бы люди верили друг другу! А так любой пустяк может все разрушить... Он отбросил мудрствования и

написал просто:

«Леночка, мне очень нужно тебя видеть. Или я приеду, или ты приезжай.  
Ответь немедленно. А.»

«Ответит?...»

Лена откликнулась неожиданно быстро.  
Зазвонил телефон, и он услышал ее голос:  
— Встретимся у «Кофейного домика».

На ухоженных дорожках Летнего сада было безлюдно, хотя дождь едва пронизывал зеленые своды, образованные ветвями сомкнувшихся в поднебесье гигантских дубов, кленов и вязов. Голубые петровские ели серебрились — на каждую иголку, как бисеринка, была наколота капля. Ежились на мраморных постаментах кутающиеся в туники и тоги Дианы, Цереры, Ахиллесы и Аполлоны. Лена скребла гравий острием сложенного зонтика и говорила:

— Я ждала твоего письма... Если бы ты не написал, я бы сама приехала... Давай забудем ту пошлую сцену.

Она повернула голову и снизу посмотрела на Антона. Он благодарно улыбнулся:

— Умница ты, Ленка! Людям надо верить. Разве бы я мог!..

— Я тебе верю, Тони, — твердо сказала она. — И ты верь мне. И не лги. Так больно смотреть, когда близкий тебе человек лжет, краснеет, изворачивается, будто уж... Ведь я тебя знаю. Выражение твоих глаз, движение бровей, губ... И я чувствую и знаю: последнее время ты стал что-то скрывать от меня.

«Боже мой, что же мне делать?... Я же не могу... Не имею права!» — он счел за лучшее молчать.

— И та женщина... Все одно к одному. Что-то опасное происходит с тобой, — продолжала Лена, и зонтик в ее руке вычерчивал на мокрой дорожке замысловатые узоры, запутанные узлы. — Олег приезжал и тоже говорил, что тебе угрожает большая опасность.

— Олег? — не удержался, воскликнул юноша. «Значит, Олег еще раз был в Куоккале! Но мы же вернулись с ним в Питер вместе. Почему два дня тому, когда он приходил ко мне, ни слова не сказал о Ленке?»

— Ах, да, он просил ни в коем случае тебе не говорить... — спохватилась Лена. — Тебе, мол, будет лучше... Но я-то знаю, что тебе лучше, и какое мне дело до него!

— А... А что он еще говорил, о чем спрашивал?

— Ничего особенного: когда ты приехал к нам в гости, когда и куда уезжал, что говорил о своей поездке... Ну и кто та дама, как она выглядела. Откуда я знаю — как? Одетая со вкусом, даже элегантно, и все. Лица ее я же не видела... А действительно, кто она? Она красива?

«Неужели я не ошибся? — тоскливой болью стеснило сердце Антона. — Эх, Олег, Олег. Как же ты мог? — Нет, он все равно не хотел поверить. — Может быть, просто из дружеского участия? Тогда откуда же: «угрожает опасность»? Или я по пьянке что-нибудь лишнее сболтнул?»

— Бог с нею, с этой женщиной. Что она тебе далась? Ну, красивая. Но ко мне, поверь, она никакого касательства не имеет — сугубо деловые отношения. А опасность мне никакая не угрожает: разве что кирпич на голову свалится, — он попытался изобразить на лице улыбку. — Олег нарочно туману подпускает, цену себе набивает. Ты же знаешь, какой он позер.

— Вот что, — Лена остановилась и резко повернулась к нему, — ты снова морочишь мне голову и притворяешься. Кто из вас больший позер, это еще неизвестно. За эти дни я перебрала в памяти все наши разговоры, все твои слова. И я поняла... Уж лучше бы действительно женщина... Но вот что: или я, или твои тайные дела, тайные сотоварищи, эти

дамы и господа, которые хотят лбами разбить гранитную скалу. Я же не хочу ни сама идти на каторгу, ни следовать примеру Волконской. Жизнь у меня одна, время летит, и я хочу от жизни не больше, но и не меньше, чем женщина моего круга.

— Чего же?

— Я хочу счастья, благополучия и спокойствия.

— Да разве это возможно! — вскричал Антон. — Сейчас, у нас — благополучия и спокойствия! Когда все кругом!.. — он остановился.

— Вполне, — твердо сказала Лена. — Посмотри, как живут другие: и Скачковы, и Пронины, и Сургановы. Когда было можно, они были и либералами, и радикалами. А сейчас на все это «кругом» им просто наплевать. Ты побывал бы в их квартирах и на их дачах.

— Это же пир во время чумы!

— И пусть!

В голосе Лены прозвучала такая решимость и твердость, что Антон с удивлением, как будто видел впервые, начал разглядывать ее. Лицо ее было холодно, холодны были глаза, и крепко сомкнуты губы. Она выдержала его взгляд, даже ресницы не дрогнули, и в ее глазах он тоже прочел твердость окончательно принятого решения.

— Ты ошибаешься, Лена... Ошиблась в главном: решила, что знаешь меня... Оказывается, совсем не знаешь. И когда я писал тебе, я не собирался ни каяться, ни отказываться... Я думал...

Он запнулся.

— Да ладно.. Я хочу тебе сказать: на днях я уезжаю в Париж. Учиться. Может быть, уезжаю надолго. И я хотел...

Лена вскинула голову. Пристально посмотрела на него. И взгляд ее был такой, будто Антон стал отдаляться от нее, словно бы он уже уезжал и дорога уносила его прочь. Она смотрела долго, и когда он стал совсем маленьким и едва различимым, она сказала:

— Счастливого пути, сударь. Можете считать себя свободным от всех обязательств.

Она повернулась, пошла по аллее не торопясь и не медля, на ходу расстегивая зонтик и спокойно покачивая бедрами.

«Неужели — все?..» — с грустью подумал он. Еще совсем недавно, может, час назад, когда он бежал к их «Кофейному домику», Антон саму мысль о разрыве считал страшной бедой, ужасался самой возможности разрыва. А теперь почему-то он испытывал лишь грусть и, боялся признаться себе самому, даже облегчение.

Утром его поднял телефонный звонок. Незнакомый голос в трубке осведомился:

— Это кто?

— Антон, — раздраженно спросонья ответил он. — А вам кого?

— Владимирова. Никитич спрашивает, как здоровье Олега.

— А-а! — обрадовался юноша. — Ничего здоровье, нормально!

— В шесть пополудни прошу быть в почтовом отделении на Конюшенной, у стола телеграмм.

— Непременно! Непременно буду!

В трубке уже звучал сигнал отбоя.

В шесть — минута в минуту — Антон подходил к окну приема телеграмм. Перед тем, чтобы само появление его на почте было естественным, он перебрал в уме поводы и, к радости своей, припомнил, что завтра день рождения дальней отцовой тетки и ей непременно следует послать поздравление. В тот момент, когда он вошел в контору, от стойки оторвался молодой человек и поспешил к окошку, опередив его.

Молодой человек был изысканно, даже щегольски одет, с дорогим перстнем на пальце, с булавкой в галстуке и инкрустированной тростью в руке. Тщательно выбритые щеки его отливали бледной синевой. Он брезгливо пошевелил лопатками, словно бы высвобождаясь от неприятного соседства — может быть, Антон задел его плечом? — и скользнул по лицу студента раздраженным взглядом. И юноша едва сдержал радостное восклицание: это был

Камо!

Камо, однако ж, тотчас отвернулся и углубился в изучение составленного им текста. Антон проследил за его взглядом. На бланке было крупно выведено:

«Завтра восемь вечера, у Захара. Будь осторожен».

Камо начал что-то исправлять в тексте, потом досадливо крякнул, как бы выражая неудовольствие составленным им посланием.

— Пардон! — небрежно бросил он Антону, скомкал бланк, сунул его в карман и снова отошел к стойке с чернилами.

Студент понял, что на этом их свидание исчерпано. Он отправил телеграмму родственнице и вышел из конторы. Выходя, увидел, что «щеголь» снова подошел к окошку. Трость играла в его пальцах.

Если гнетущее предположение, что Олег выполняет задание охраны, справедливо, то за Антоном могут следить «гороховые пальто», и не хватает еще привести шпигов к Красину. Неспроста же Камо написал: «Будь осторожен». Надо принять все меры. Благо, время есть. Но что же придумать?

Решение подсказало само утро. После затяжного ненастья вновь небо очистилось от туч, заголубело, и город залили лучи солнца. Самый резон бездельничающему студенту в такую погоду отправиться на пляж.

Антон так и сделал. Сказал матери, что в дожди совсем заплесневел и хочет погреться на песочке. Мать с ласковой и грустной улыбкой собрала его, завернула бутерброды. В последнее время он, глядя на мать, чувствовал, что она удручена, собирается, но никак не может решиться поговорить с ним о чем-то. Он терялся в догадках, но сам не спрашивал, чтобы не обидеть ее бестактностью: в их семье, сколько он помнил, принципом отношений было не вмешиваться в дела друг друга. Порой он чувствовал, что мать сама хочет, чтобы он спросил. Он с готовностью обращался к ней взглядом. Но мать отворачивалась. И он сам оттягивал неотвратимо надвигавшееся объяснение — еще и потому, что должен был сказать о своем решении уехать надолго за границу. Пока все было зыбко и неопределенно, не хотел тревожить ее. Но теперь, когда паспорт в руках... И все окончательно решит сегодняшняя встреча. Еще неизвестно, поедет ли он или не поедет. Он должен получить от Леонида Борисовича ответ на один важнейший вопрос.

На конке он добрался до Морского вокзала. Вполне возможно, что среди пассажиров были и филеры. В порту он сел на баркас, перевозивший отдыхающих из устья Малой Невы на пляжи Крестовского острова.

Холодные пасмурные дни и ночи остудили воду. Но он заставил себя окунуться, поплавал, понырлял, позагорал. Если среди наслаждающихся солнцем расположился на песочке и филер, то он может благодарить судьбу и поднадзорного за такое служебное времяпрепровождение. Потом Антон на лодочной станции взял одновесельную шлюпку. Под тентом оставил старую куртку, прихваченную из дому, и полотенце: мол, место занято.

Он крепко охватил весла, подался всем телом вперед, крыльями занес весла за спину и с усилием свел руки к груди, чувствуя упругость волны, скользящее движение лодки, силу своих мышц, преодолевающих сопротивление. Он выводил шлюпку в открытый залив, сам сидя спиной к морю, лицом к берегу, и оглядывая весь пляж. Никто не последовал за ним. Если шпики действительно приставлен к его персоне, то разве что плывет под водой. Такое фантастическое предположение вызвало у него улыбку.

Антон греб и греб, пока песок берега, и фигурки на нем, и купы деревьев не слились в пеструю желто-зеленую полоску над синью воды. Действительно, как говорил Феликс: у убегающего одна дорога, у преследующих — тысяча...

Неожиданно порывами начал дуть ветер, поднялась волна. От горизонта навстречу лодке, к берегу понеслись тучи. Ветер дул все напряженней. Антон круто повернул влево, к

Васильевскому острову. Через час он причалил, оставил лодку под навесом ив. До встречи оставалось еще достаточно времени. Он перекусил в какой-то харчевне, с Васильевского переехал на Петербургскую сторону, сменил извозчика и через Гренадерский мост перемахнул на Выборгскую. Побродил по глухим улочкам-закоулкам и в условленный час, уверенный в том, что совершенно «чист», пошел мимо дровяного склада к неприметному домику на Арсенальной.

У калитки на скамье, врытой в землю, сидел парень в картузе с поломанным лакированным козырьком, в плисовой косоворотке и шароварах, выпущенных на сапоги с белыми отворотами. В руках у него была балалайка. Парень лениво брэнчал, в такт мотая головой, — был подвыпивший.

«Кто такой?» — забеспокоился студент. Парень оторвался от балалайки, поднял голову и, серьезно посмотрев на Антона, подмигнул. Юноша узнал Петра — одного из своих бывших учеников-кружковцев с Металлического.

И снова, как когда-то, давным-давно, хорошенькая босоногая внучка дяди Захара мыла пол в сенях.

— Вы к дедушке? Заходите! — пропела она.

В горнице Антон увидел Леонида Борисовича. Инженер был в непривычном обличье: в замызганной масляными пятнами, отблескивающей металлической окалиной рабочей блузе. Тут же сидел и дядя Захар. Старик обрадовался Антону, пригласил к самовару, налил большую чашку чаю.

— Неплохого работничка ты нам дал, дядя Захар, — сказал Красин. И обернулся к студенту. — Ну рассказывай, что у тебя и как.

Рассказывать, собственно, было нечего. Паспорт получен. Да вот еще продолжение истории с Олегом.

Паспорту Леонид Борисович обрадовался:

— Очень хорошо! Я думал: с месяц проканителют минимум. Даже чересчур быстро по нашим расейским порядкам. С чего бы? — И сам же усмехнулся: — Чрезмерно осторожничать тоже плохо. Осторожность сверх меры — трусость.

— А как же Олег?

— Мы проверили у финских товарищей. Дом, в котором останавливался твой приятель, вроде бы вне подозрений, его хозяин — буфетчик с вокзала, известный забулдыга. Это не исключает, конечно, что Лашков сотрудничает с охранкой. Да за кем нынче в отечестве нашем не следят? Как в Испании в XVI веке, когда каждый был шпионом шпиона, — он горько засмеялся. — Важно: паспорт в кармане и можешь ехать.

Он сделал паузу:

— И самое главное: комитет утвердил твое членство в Российской социал-демократической рабочей партии. Поздравляю тебя, товарищ Владимиров. Отныне и, надеюсь, навсегда ты наш товарищ и в будни и в праздники.

Красин обнял юношу. Дядя Захар тоже протянул ему руку:

— В трудную пору ты пришел. Праздники когда еще наступят, а в будни поломать косточки придется тяжко. Поздравляю, сынок!

Ритуал был прост. За столом с попыхивающим самоваром, с колотым рафинадом в вазочке и горкой бубликов. Антон не знал, как могло бы быть это посвящение иначе. Он разволновался, защемило в глазах. Красин и дядя Захар будто и не почувствовали его переживаний. Вкусно, с причмокиванием, попивали они крутой чай, грызли сахар, ломали свежие бублики. Антон тоже уткнулся в чашку.

— Когда же ты думаешь ехать? — спросил Леонид Борисович.

И тут студент решил: сейчас он выложит самое большое свое сомнение:

— А правильно ли я делаю, Леонид Борисович? Теперь, когда царь и Столыпин... Когда против партии... И все нужно восстанавливать, нужно драться, а я — от опасностей, от этих самых тяжких будней — за границу, как дезертир какой!

Инженер усмехнулся. Одобрительно кивнул:



— Вот ты как? Резонно. К примеру, еще в канун пятого года наша большевистская газета, Центральный орган партии «Пролетарий» получила письмо от работников партии Казанской и Нижегородской губерний. Они писали, обращаясь к тем, кто уехал в эмиграцию: учиться вы можете дома на свежих могилах, которые научат вас негодованию и самоотвержению. Как видишь, такие настроения возникали не только у тебя, и задолго до тебя. Их письмо было напечатано в «Пролетарии». Но к нему была сделана приписка: Центральный орган партии не разделяет мнения авторов о бесполезности заграничного учения.

Он потер пальцем переносицу:

— Да, мы отступили. И царь вкупе со Столыпиным теперь пытаются взять реванш. Но наше поражение временное. Мы — армия, которая и в дни отступлений верит в конечную победу. И мы должны перегруппировать свои силы, сделать выводы из ошибок и начать подготовку к новому наступлению. А готовиться — это прежде всего учиться. Такое задание партии нам всем, в том числе и тебе. Так надо.

Красин помолчал и закончил:

— Партийному поручению ты должен подчиниться.

— Если надо... Раз надо...

Антон осекся. Он как бы впитывал в себя это новое: «Задание партии». Да, отныне его личные помыслы и желания должны быть подчинены одному делу...

— Хорошо, я поеду... И буду учиться, — сказал он.

— Вот и добро, — Леонид Борисович улыбнулся. — Однако и теперь, по пути в Париж и до начала учебного года, тебе предстоит выполнить еще одно задание.

— Какое? — оживился студент.

— Не рисуй в воображении геракловы подвиги, — охладил его Красин. — Примерно такое, что и в Тифлисе. Когда ты будешь готов к отъезду?

Антон подумал: «Все дела завершены. Только взять бумаги в Техноложке и поговорить с мамой...»

— Хоть через три дня.

— И превосходно. У нас тоже время не терпит. Ты получишь билет на поезд «Петербург — Париж». В этом поезде, в соседнем купе с тобой, поедет наш товарищ.

«Не Ольга ли?» — екнуло сердце юноши.

— Приметы его такие, — продолжал инженер. — Высокий, лицо продолговатое, волосы зачесаны наверх, борода... Гм, не борода, а так — пучок под губой, как у козла. Глаза большие, карие, очень ироничные глаза... Что еще? Сутуловат. Пенсне на черном шнурке.

Он задумался:

— Да, все это чересчур общо. Договоримся так: ты узнаешь его по трубке. Он очень любит курить трубку.

Леонид Борисович достал из кармана футляр, отстегнул пряжку. На бархате покоилась великолепная трубка с чубуком, изображающим голову Мефистофеля,

— Я как раз хочу подарить ему. Вот по этой трубке и узнаешь. Задание: зорко смотреть, что делается вокруг этого товарища, не угрожает ли ему какая опасность. Теперь-то ты ведь опытный подпольщик? Но ни взглядом, ни словом не показывай, что ты в какой-то связи с ним. Если что, он сам обратится к тебе за помощью. И тогда ты должен будешь сделать все, что он скажет, не щадя даже жизни своей. Понял?

— Да. А оружие? Хоть браунинг какой-нибудь, хоть самый маленький!

— Никакого оружия. При первом же досмотре пистолет вызовет подозрение. Вот если надо будет, получишь от своего подопечного и оружие. Надеюсь, не понадобится.

«Хоть бы понадобилось!» — подумал Антон. Но спросил о другом:

— А дальше? Что я буду делать, когда приеду в Париж?

— Тебя встретят. И о дальнейшем ты узнаешь на вокзале Сен-Лазар.

Красин закрыл футляр, спрятал его в карман:

— Вот, кажется, и все. Давай прощаться, товарищ Владимиров.

Он поднялся из-за стола. Поднялись и дядя Захар, и Антон. Леонид Борисович обнял юношу, не отпуская, погладил по спине. В этом движении Антон почувствовал что-то теплое, отцовское. Комок подкатил к его горлу.

Инженер отпустил его, отстранил:

— Желаю тебе успехов. А больше, чем успехов, — стойкости. Будь настоящим большевиком. Теперь, наверно, мы увидимся не скоро. Ну, счастливо!

Антон что есть силы стиснул протянутую ему руку.

На Моховую он добрался к полуночи. И был удивлен, увидев все окна квартиры освещенными. Обычно мать в это время уже спала и лишь в его комнате светила под зеленым абажуром дожидаящаяся хозяина лампа — в доме привыкли к поздним его возвращениям. Встревоженный, Антон опрометью взбежал по лестнице и, не доставая ключей, стал крутить кольцо звонка.

Дверь распахнулась, и в проеме ее он увидел мать — бледную, с торчащими из волос шпильками, с черными провалами под глазами.

— Что случилось? — вскричал он.

— Тони! Ты! — мать на мгновение замерла, потом рванулась к нему, прижалась всем телом, он почувствовал, как бьет ее дрожь. — Ты! Живой!..

Он ничего не мог понять:

— А почему я должен был быть мертвым? Отчего такой переполох?

— Ох, не могу... — она, шатаясь, подошла к стулу и села, в изнеможении откинувшись на спинку. — А мы уже думали...

— Что? Что случилось, мама? На тебе лица нет!

— Вот... — она вяло показала на вешалку. На крючке висела его старая куртка.

— Ну, куртка... Ну и что?

И вдруг он вспомнил: эту куртку он сегодня оставил на пляже под тентом. Как же могла она оказаться здесь?

— Я ничего не понимаю, мать. Расскажи по порядку.

— Сейчас сколько? Уже полпервого? А в семь часов прибежал твой приятель, этот, рыжий, и сказал, что ты был на пляже на Крестовском, он должен был там встретиться с тобой. А ты еще до полудня нанял на час лодку и уплыл на ней в залив. А в заливе поднялся шторм. И все, ни тебя, ни лодки... И эта куртка... Я обзвонила все полицейские участки, все лазареты и станции спасения на водах.

Она виновато улыбнулась сквозь слезы:

— Ты же понимаешь... Ты у меня один на всем свете...

«Олег? Откуда он знал, что я на Крестовском? И о лодке? И ни о какой встрече мы с ним не договаривались!.. Значит... Значит, все правда: он шпик и за мной следят. Что же делать? А как же задание Леонида Борисовича? Как его предупредить? Я не знаю ни адреса явки, ни пароля, ни где он сейчас. Только этот, на Арсенальной. Надо хотя бы дядю Захара. Но как не навести на него филеров?» — мысли вихрем неслись в его голове. На какое-то мгновение он забыл о матери, сидящей напротив.

— Ты чем-то встревожен? — участливо спросила она.

— А, пустяки! Потом расскажу, — бодро улыбнулся он. — Надо же, из-за какой-то ерунды столько волнений! Действительно, начался шторм, и я причалил в другом месте, а лодку оставил. Завтра верну и расплачусь — все дела.

— Слава богу... Слава богу, что все так кончилось. Я сердцем чувствовала, что ты жив. Но в то же время все эти дни какое-то предчувствие, — она стиснула пальцы так, что они хрустнули. — Какое-то предчувствие... Что-то должно с тобой случиться... Или со мной... Или с нами обоими...

Она с тоской посмотрела на сына.

«Материнское сердце. Она чувствует, что я должен уехать. И мне нужно ей сказать. Но она в таком состоянии. А когда, в другой раз? А, лучше сразу, сейчас!»

— Мама, мне надо с тобой поговорить, — он мягко обнял ее за плечи и подивился, какие они узкие и твердые, как у девушки. — Пойдем ко мне в комнату. Поговорим.

Она покорно встала и послушно пошла, прижимаясь к нему боком и понутив голову. Шпилька выскользнула из волос и звякнула о паркет.

В комнате он пододвинул ей кресло-качалку, а сам сел к столу. В нерешительности побарабанил по стеклу пальцами.

— Видишь ли, мама... — он запнулся.

— Ты женишься? — подсказала она.

— Совсем напротив, — грустно усмехнулся он: «Так вот чего мама боялась больше всего! Хотя Ленка ей нравится и с Травиными она в дружбе... Непреодолимая ревность матери». — Нет, мама, с Леной мы расстались. Навсегда.

— Не может быть! — теперь в ее голосе звучала тревога. — Что случилось?

— Ну вот, — он снова усмехнулся. — Это долгая история. В общем, не сошлись во взглядах на жизнь.

— Это невозможно! — она посмотрела на сына осуждающе.

— Нет, мама, не я пошел на разрыв. Лена сама сказала, что я свободен от всяких обязательств. Что она меня не понимает...

Вести этот разговор ему было неприятно. И он поторопился перейти к главному.

— Но предчувствие тебя не обмануло: я уезжаю. — Он выдвинул ящик стола и достал заграничный паспорт: — Вот! Пока не было все решено, я не хотел тебя тревожить. Хотя тревожиться и не из-за чего. Я уезжаю в Париж, учиться в Сорбонне. Там лучший инженерный факультет в Европе.

— Уезжаешь? — как-то странно посмотрела на него мать. — И когда ты это решил?

— Ты же сама говорила, что мне надо побывать за границей. Помнишь, еще когда был отец, — подсказал он.

— Когда был отец... — эхом отозвалась она, и на ее глазах снова навернулись слезы. — И долго ты намеревался пробыть в Париже?

— До окончания полного курса. Мне осталось четыре семестра, два года. На каникулы, конечно, я буду к тебе приезжать.

Мать молча долго смотрела на него, потом положила свою руку на руку сына и легонько похлопала ладонью, как бы успокаивая:

— Напрасно ты не сказал мне о своих планах раньше, Тони. Тебе придется отказаться от них — ты никуда не сможешь поехать. Или...

— Почему?

— Я тоже долго готовилась к разговору с тобой. И даже просила этого твоего рыжего приятеля подготовить тебя. Он ничего тебе не говорил?

— Помнится, ничего. А что еще стряслось?

— Понимаешь, Тони, мы нищие... Да, да, напрасно ты улыбаешься. Я совсем измучилась... Все, что осталось после твоего отца — а осталась такая малость! — мы же жили на его жалованье, я не принесла в дом никакого приданого, — все ушло, как вода сквозь пальцы... Под жалкую пенсию за него я сделала долгов на годы вперед, и тоже все улетучилось: я же не умею с деньгами, я их не люблю... И не то что ехать за границу — и здесь-то нам жить больше не на что. Мы должны отпустить Полю, съехать с этой квартиры и все распродать. Или...

— Мамочка, милая моя! — он вскочил и обнял ее. — Глупая ты моя! Неужели из-за такой малости ты можешь так мучить себя?

— Я не из-за себя, Тони. Но ты с детства не привык к иной жизни, не знаешь, что такое считать гроши. Да и я знала только в первые годы жизни с твоим отцом, пока он не стал преподавателем в институте, а потом профессором... И то время, когда приходилось выкраивать рубли и считать каждую копейку, я вспоминаю с ужасом, хотя те годы были для меня и Владимира самыми счастливыми годами. А ты с самого детства жил в достатке.

— А как живут другие, мама? Как живут миллионы? И не абстрактные, ты бы

видела... — он запнулся, вспомнив баржи на Волге. — И даже многие мои товарищи по институту. Я уже не маленький, мама, мне не нужно грудное молоко, и я сам могу заработать: и уроки давать, и баржи на Неве разгружать, как другие. Проживем!

Он остановился. Потом сказал:

— Мог бы. Но я должен уехать, не могу не уехать. Дело не только во мне. Но я буду работать там и буду помогать тебе.

— Ты обязательно должен уехать?

— Да, мама.

— Хорошо, — она передернула плечами, будто сбрасывая с них обузу. — Если ты решил так, я не буду нарушать твои планы. Ты уже взрослый и имеешь право на самостоятельные решения. Но тогда решу и я...

Она задумалась. Несколько раз качнулась в кресле:

— Пойми и ты меня... Я ничего в жизни не умею, кроме того, чтобы давать советы портнихе и кухарке. Я была хорошей женой твоему отцу, дай бог тебе найти такую же. И все эти двадцать пять лет я ни о чем не жалела. Но теперь, после его смерти, я вырвана из жизни. Не осталось никаких связей, никакого круга... Даже те несколько знакомых, с которыми я еще вижу, смотрят на меня с жалостью, свысока. Да, да, это так, поверь мне. Те же Травины... А теперь уезжаешь и ты... Что же мне делать? Умирать в этих каменных стенах от тоски и голода?

— Что ты, мама! Поедем со мной, будем жить вместе!

— Скитаться по мансардам и обедать жареными каштанами? В детстве я бывала и во Франции, видела... Нет, родной.

— Так что же тогда? — Вдруг его поразила догадка, от которой все заледенело внутри: — Ты... Ты решила выйти замуж?

— Нет, мой мальчик.

Она снова качнулась. Тень от кресла скользила по стене, то вздымаясь, как волна, то опадая, и Антону почудилось, что они плывут на корабле. «Что же ты надумала?» Но на душе отлегло: он не мог бы простить матери...

— Мы с отцом никогда не говорили о нашем прошлом, и ты ничего не знаешь. Ты такой деликатный, что никогда не любопытствовал сам. Теперь я тебе расскажу. Это довольно романтическая, хотя и не такая уж редкая, история. Ты знаешь, у твоего деда Евгения было два сына: Григорий — он сейчас чиновником в Тифлисе — и твой отец. Дед Евгений имел извоз, этим зарабатывал и дал сыновьям образование: оба они окончили учительскую семинарию. Но твой прадед еще был крепостным крестьянином, дворовым в имении очень богатого помещика из древнейшего на Руси дворянского рода.

— Да, я слышал об этом, папа рассказывал, — пробормотал Антон.

— Не перебивай меня, ладно? Так вот, чистейшая случайность: тот помещик получил имение, вместе с твоим прадедом и другими крепостными, за карточный долг. У помещика были родовые имения во многих губерниях — в Саратовской и Пензенской, в Казанской и Нижегородской, а надо же — полюбилось именно это, выигранное в вист. Случай...

Она грустно усмехнулась. Продолжила. Тень поплыла вверх:

— После отмены крепостного права твой прадед остался хозяйствовать в той самой деревне. И дед Евгений, и его сыновья каждое лето наезжали к нему погостить. А у помещика была дочь. Она тоже каждые каникулы приезжала из пансиона в имение. И однажды она познакомилась со странным мальчишкой, ужасно некрасивым и нелепым, губастым, большеносым, с короткой шеей и покатыми крестьянскими плечами. Но этот крестьянский сын-семинарист знал так много, что мог заткнуть за пояс любого лицеиста и кадета. Он так увлекательно фантазировал, он был таким прямодушным и чистым!.. Короче говоря, подросла дочка помещика, и вырос он, и они поняли, что не могут жить друг без друга. Сама мысль об этом была для ее родителей такой нелепицей, такой чушью несусветной, что они только посмеялись над нею, а его, пришедшего свататься, приказали выгнать вон. Они отмахнулись от этой мысли как от мухи. Но я отмахнуться не могла. И мы

убежали и обвенчались с твоим отцом. И все мои связи с прошлым оборвались. Вот такая история, Тони...

Мать сидела в тени, но он понял, что она заливается слезами. Хотя он слышал эту историю впервые, однако и раньше догадывался: что-то у отца и матери в прошлом было необычное, неспроста они об этом прошлом никогда не вспоминали. Ну что ж, история, столько раз описанная в литературе. Значит, он одним боком тоже принадлежит к какому-то знатному роду... Пстой!..

— Подожди, мама! Дед же был крепостным у... — он обмер. — Так ты — Столыпина? Дочь этого гнусного вешателя?

— Нет, этого Столыпина — не дочь, а двоюродная кузина. Моя мать — твоя бабушка — и его мать были двоюродными сестрами.

— Это невероятно!

— И ты тоже его родственник, троюродный племянник. Родственников себе не выбирают, Тони... И двадцать пять лет я не встречалась ни с кем. Даже на похоронах матери я стояла в толпе, в стороне. Но отец, твой дед, жив, он давно уже готов был простить меня, и я знаю, он недавно опять справлялся обо мне.

— Кто он?

— Вельможа. Дипломат.

Она помолчала. И сказала твердо — в голосе ее Антон уловил прежнюю волю:

— И я решила: я вернусь к нему. Я бы никогда не сделала этого. Но отца твоего нет. И ты уезжаешь.

Мать отчужденно посмотрела на него. И после паузы спросила:

— Что скажешь ты?

Что он мог ей ответить? Что он остается? Это невозможно. Что он берет ее с собой? Он сам не знает, как все сложится. Ему еще предстоит выполнить задание... Но он-то сам из рода Столыпиных! Вот оборот! Любопытно: если попадет он в лапы охранников, подопечных Петру Аркадьевичу, что скажет и как поступит дражайший родственничек? Пожалуй, с преогромнейшим наслаждением отправит племянника, на дыбу, чтобы не портил родословной своей сермяжной рожей... Но что сказать матери? Что, вернувшись в этот клан, она навсегда потеряет его? Какое имеет он право? Нет, этого он сказать не в силах.

— Поступай как знаешь, — с тяжелым вздохом проговорил он. — Но пойми: я никогда не войду в тот дом. — «Разве что с бомбой», — подумал он. Но сказал другое: — Когда-нибудь ты узнаешь почему. Сейчас я не имею права сказать тебе ничего, мама.

Как сообщить Леониду Борисовичу о разом обрушившихся новостях: о том, что он, Антон, теперь окончательно убежден — за ним следят, и не повредит ли это заданию? О том, что он, оказывается, родственник министра внутренних дел и премьера?.. Куда же пойти? На Куоккалу наложен запрет, да и никого, кроме Любви Федоровны, там, по всей вероятности, нет. А насколько посвящена она в деятельность мужа, Антон не знал — среди товарищей он видел ее лишь однажды, за праздничным столом. Значит, единственный путь — на Арсенальную. Но теперь надо быть в тысячу раз осторожнее.

С иными вариантами, уже не прибегая к лодке и мистификациям с курткой, а, по давнему совету Феликса много раз меняя транспорт, пересеживаясь с фаэтонов на конки и с конок — едва ли не на ходу — на фаэтоны, он, сделав порядочный круг, добрался до Выборгской стороны, до Арсенальной.

Насвистывая, он неторопливо шел по противоположной стороне немощеной, поросшей бурьяном улицы, вдоль разномастных заборчиков и скамеек, врытых в землю у калиток. Время было уже предвечернее. На скамейках то тут, то там сидели натрудившиеся бабы, возились ребятишки. Жены лузгали семечки, ждали с работы мужей.

Проходя мимо одной скамьи, на которой судачили женщины, Антон уловил обрывок фразы:

— У ентих-то, у Пахомовых, обыск был, и фараонов, и в цивильном набилось —

ужась! Забрали старика, спаси его Христос, так рученьки-то и заломили, ироды!..

«Кто эти Пахомовы? — с тревогой подумал студент. — А старик — не дядя ли Захар?»

Вот и дом. Тихий. На скамейке никого нет. Но в стороне, у тополя, обтирает ствол мужичонка в рванье. Но не тот парень с Металлического — не Петр. Совсем другая фигура, ниже ростом, и другое лицо. Вроде бы пьян, за дерево вцепился, как за опору. Но уж что-то чисто выбрит. Шпик?.. Задержат — как Антон объяснит, зачем в этот дом появился? Конечно, язык проглотит. Но как же тогда задание?

Антон провел взглядом по лицу пьяницы, по его полуприкрытым глазам и, не меняя шага, прошел мимо дома. Безмолвного, как тот, на Васильевском, с выломанной филенкой на крыльце. Последняя возможность предупредить товарищей отрезана. Ладно — будь что будет!..

Экспресс «Петербург — Париж» катил на запад. Остались позади северные хмурые леса. Их сменили березовые рощи, все дальше отступающие от железнодорожного полотна и открывавшие взору пажити с уже заскирдованным сеном, желтые хлеба, чересполосицу наделов, нищие деревеньки...

За два дня до отъезда Антон обнаружил в почтовом ящике среди обычной почты билет на этот поезд.

Ночью он пришел в кабинет отца. Все здесь было как в тот последний час, когда отец работал в этих стенах. На столе неубранные листы рукописи, карандаши, флакон с клеем, раскрытые книги. Портрет матери в овальной раме и маленькая его фотография. Антон наряжен в матроску, таращит глаза... Все как было. Сейчас отворится дверь, и на плечо ляжет рука... Нет, никогда больше отец не войдет в эту комнату. «А войду ли в нее я? Оказывается, я почти ничего не знал о тебе, отец. О твоём прошлом. О твоих думах. Почему мы так мало говорили с тобой о главном? Стеснялись? Откладывали на будущее? Или боялись, что не поймем друг друга?.. Я так любил тебя, отец, и так боялся, что ты догадаешься об этом. Может быть, и ты вышел тогда на площадь перед Техноложкой, потому что хотел хотя бы со стороны заглянуть в мой мир и попытаться понять его?»

Антон выдвинул ящик стола. Хаос. Точилки для карандашей, визитные карточки, скрепки, перья. Пачка писем, перевязанная лентой. Почерк матери. Наверное, это тогда, когда отец был еще семинаристом, а она — помещичьей дочкой. Вот, оказывается, какая любовь выпала на их долю... Он отвел глаза от пачки писем. «А мне выпадет такое счастье? Лена? Нет, все было бы обычно: красиво, ровно, добропорядочно... Какая же будет она?» Зеленые насмешливые глаза смотрели на него из сумрака комнаты. «Чушь! Надо же такое!..»

Он задвинул ящик стола и погасил лампу.

Провожала Антона только мать. На перроне Варшавского вокзала он с нетерпением ждал своего подопечного. Но увидел его, лишь когда поезд уже порядочно отошел от Питера: дверь соседнего купе раздвинулась, и в коридоре появился мужчина с продолговатым горбоносым лицом, с гладко зачесанными назад волосами и козлиной бородкой. К петлице его сюртука был привязан черный шнурок, а из кармашка торчало стекло пенсне.

Мужчина, близоруко щурясь, огляделся, удостоив студента не большим вниманием, чем других пассажиров, и, достав роскошную новенькую трубку с чубуком в виде головы Мефистофеля, начал сосредоточенно набивать ее табаком, приминая его желтыми от никотина пальцами. Мужчина был высок, но отнюдь не худ, наоборот, даже с брюшком. Однако лицо его в точности соответствовало описанию Леонида Борисовича, а главное — никакого сомнения не могла вызвать трубка. «Здравствуйте, товарищ!» — мысленно произнес Антон и обернулся к стеклу, стал наблюдать в нем за отражением мужчины.

Теперь, в пути, он томился неизвестностью и ожиданием неведомых опасностей. Откуда они нагрянут? Когда? В каком обличье? Как сумеет подать ему сигнал, призывая на помощь, товарищ? Что он сам будет делать? Все, что только в силах. Да, не пожалеет и жизни!.. Но всю дорогу до пограничной станции Вержболово, хоть он не смыкал глаз и

ночью, мужественно борясь со сном, ничего не случилось, его никто не беспокоил и никто не звал — разве что соседи по купе, расписывавшие бесконечную пульку преферанса.

В Вержболове всем пассажирам, следующим за границу, предстояло пройти полицейский контроль и таможенный досмотр.

Пассажиры змейкой просачивались мимо застекленной кабинки, в которой восседал молодой хлыщеватый жандармский поручик в голубом мундире с серебряными эполетами и кручеными аксельбантами. Поручик принимал в окошко паспорт, мельком смотрел на фотографию, а затем на владельца и, приподняв рычажок, открывал запор дверцы, которая вела в таможенный зал. Паспорт оставался у офицера — он будет возвращен в другом конце зала, после таможенного досмотра — у выхода на другой перрон, где уже поджидал своих пассажиров поезд с непривычными для взгляда россиянина небольшими вагонами с покатыми крышами. Поручик принял у Антона паспорт, глянул на него, потом посмотрел куда-то под стойку окошка и снова уставился на студента, как ему показалось — с интересом. Однако тут же потянул рычажок и механически сказал:

— Прошу-с, милстьдарь! Следующий!

Таможенный зал был перегорожен сплошным, окованным латунными полозьями, барьером. На барьере уже были расставлены чемоданы и сумки, и пассажиры подходили каждый к своим вещам. По другую сторону барьера расхаживали чиновники в форменных сюртуках и фуражках и наугад, на выбор предлагали открыть тот или иной чемодан, с брезгливым видом, двумя пальцами, ворошили содержимое. Нескольким мужчинам предложили пройти с вещами в помещение за дубовой дверью. Пассажиры возвращались оттуда с немым возмущением на пунцовых лицах. Антон исподволь наблюдал за своим подопечным — тот стоял через несколько человек впереди него. Незнакомец с козлиной бородкой благополучно миновал и поручика, и таможенку и, получив паспорт, уже вышел на перрон.

— Прошу-с, — указал таможенник на дубовую дверь и Антону.

«Вот оно! — подумал, обмирая, студент. — Начинается...»

— И... и вещи брать?

— Непременно-с.

Комната оказалась обыкновенной, канцелярской, с крашенными в грязно-голубой цвет стенами, с такой же, как в зале, только меньших размеров, стойкой да еще ширмой в углу. В комнате было два чиновника.

— Прошу-с, багаж поставьте сюда и откройте, а сами, — чиновник показал на ширму, — разденьтесь.

— Раздеться?

— Догола-с.

Антон хотел было возмутиться. Но смирился.

Из-за ширмы он наблюдал, как чиновники с застывшей на физиономиях брезгливостью перекадывают в его чемодане и сумке каждую тряпку, листают тетради конспектов, выстукивают стенки чемодана и прощупывают ткань и швы сумки, а потом так же методически и профессионально просматривают его одежду. После того как процедура с вещами была закончена, второй чиновник, до сих пор молчавший, прошел за ширму и предложил, как дантист:

— Откройте рот. Та-ак... Покажите руки, раздвиньте пальцы. Та-ак. Теперь правое ухо. Левое.. Нагнитесь... Та-ак... Все, можете одеваться.

«Ну и работенка у вас!» — хотел съязвить Антон, но придержал язык. Вместо этого спросил:

— И так каждый день? Или кого-нибудь ищете, господа?

— Не только ищем, но и кого нам надо — находим, молодой человек. Непременно-с находим, — назидательно ответил старший.

Антон наспех оделся и выскочил из комнаты.

В кабинке у выхода из зала другой жандармский офицер — чином повыше, ротмистр,

протянул ему паспорт, уже проштемпелеванный выездной визой.

— Весьма благодарен, — сказал Антон и не удержался: — Счастливо оставаться!

Ротмистр, уже взявшийся было за следующий паспорт, поднял на него веселые круглые глаза:

— Приятного путешествия, сударь. Надеюсь, скоро увидимся.

«Неужто миновало?» — ликовал Антон, располагаясь в новом купе. Оно было узкое, с сидячими, по трое с каждой стороны столика, местами-скамьями и плетеными сетками над головой для багажа.

Поезд тронулся. Вскоре за окном проплыл полосатый пограничный столб с двуглавым российским орлом. Вагон простучал по пролетам моста, и вот уже показался столб иной расцветки, увенчанный гербом — орлом прусским.

Все! Он на чужой земле...

У первого же полустанка поезд притормозил, и по вагону прошли немецкие таможенники и чины пограничной стражи. Проверка документов и досмотр на этот раз оказались самыми поверхностными: пограничник листал паспорта и тут же ставил штампы транзитных виз, а таможенники лишь пересчитывали багажные места, сверяя количество их с указанным в декларации. Они ушли, и теперь экспресс весело катил по немецкой земле, все быстрее отдаляясь от границы Российской империи.

Антон почувствовал, что зверски проголодался. Он встал. Ноги не шли. То ли затекли, то ли сказались напряжение всех этих последних суток.

«Ну-ну, не распускаться!..» На ватных ногах он направился, придерживаясь за раскачивающиеся стены, в вагон-ресторан.

Он расположился за столиком. За окном ландшафт сменялся ландшафтом, и было удивительно: отъехали от Вержболова какой-то десяток километров, а все иное: и архитектура жилищ и церквей, и дороги, и повозки на них, и одежды жителей.

Вечером — Берлин, а завтра уже и Париж. Все позади: правильно ли он поступил или неправильно? И дом, и мать, и Лена... А что его ждет впереди? Завтра он пойдет на Пер-Лашез, вступит на плиты, впитавшие в себя кровь расстрелянных коммунаров... Почему, обращаясь за примерами, мы черпаем их в чужой истории, разве мало русских великих имен?.. Но все равно, он — собрат Варлена и Делеклюза!

Он не услышал, как к его столику кто-то подошел.

— У вас свободно? Не возражаете?

Антон оторвался от окна. У столика стоял мужчина и попыхивал трубкой.

— Пожалуйста, — кивнул Антон.

Мужчина сел, расстегнул пуговицы сюртука, положил трубку в пепельницу. Острая бородка Мефистофеля уткнулась в стекло. Сам он по-домашнему откинулся на стуле:

— Далеко ль путешествовать собрались, сударь? Не по пути ли нам?

Он, щуря близорукие глаза, обвел взглядом полупустое помещение вагона-ресторана — ближние к ним столики были свободны — и, широко улыбнувшись, протянул руку:

— Разрешите представиться, — он понизил голос, — я — Лидин. А вы — товарищ Владимиров, не так ли?

— Значит, все благополучно? — пожимая его руку, сказал Антон. — Обвели этих простофиль?

Лидин поднял палец, привлекая внимание официанта, и сказал:

— А ведомо ли вам, мой друг, что слово «простофиля» происходит от латинского «профос», что еще с древнейших времен означало: военный парашник, служака, убирающий в лагере нечистоты, а также и военный полицейский чин и полковой палач? Не знали? Э, батенька, еще много предстоит вам узнать!

Он весело и добродушно рассмеялся. И когда официант откупорил бутылку и наполнил вином бокалы — поднял свой и повторил напутствие, уже слышанное Антоном от Леонида Борисовича:



— Доброго нам ветра! Для вас, товарищ Владимиров, все еще только начинается!..

Да, все только начиналось для Антона, и ему предстояло бесконечно много узнать и многое сделать.

Не знал он и того, что сидящий против него человек — один из старейших деятелей революционного движения в России, член Московского комитета партии Мартын Николаевич Лядов потому казался плотным и с брюшком, что в подкладке жилета, выглядывавшего из-за обшлагов сюртука, совершали путешествие сто тысяч рублей — в двухстах билетах пятисотенного достоинства каждый. Тех самых, которые были захвачены Камо и его группой тринадцатого июня на Эриванской площади Тифлиса и решением Большевицкого центра предназначались к обмену в Европе на валюту: деньги нужны были партии.

В выполнении и этого задания Антону предстояло принять самое непосредственное участие.

## **КНИГА ВТОРАЯ. ЖРЕЦЫ ОХРАНКИ**

### **ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ВИЦЕ-КОНСУЛ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ**

#### **ГЛАВА 1**

— Военным атташе Эквадора я уже был. А теперь буду личным и полномочным представителем короля Никарагуа, не знаю, есть ли там король, а? — Камо с серьезным видом посмотрел на Антона.

— По-моему, нет там короля, — усомнился Путко. — Нельзя что-нибудь поближе и попроще?

— Нельзя, — кавказец отрицательно повел ладонью. — Чем необычней, тем больше впечатление.

— А как же язык? Их, никарагуагский? — с трудом выговорил студент.

— То-то и дело: никто его и не знает. Вот ты и будешь у меня за переводчика. Я тебе: «Барлы-марлы-тарлы, барекам!», а ты им: «Гоните сотню револьверов и по сто патронов к каждому, приятели!» Я тебе: «Шурлы-курлы-бурлы», а ты: «И десяток пулеметов системы Манлихера заверните, платим наличными!»

Он рассмеялся:

— Сойдет?

— Шутишь? — догадался Антон.

— А почему без шуток, дорогой? Без шуток жить скучно!

Поезд шел из Парижа в Берлин. В купе они были одни и могли под стук колес говорить не таясь.

С того дня, как Антон вместе со своим подопечным вышел из экспресса на перрон вокзала Сен-Лазар, прошло неполных три месяца. Но за это недолгое время новые впечатления, калейдоскоп встреч и событий отодвинули петербургскую его жизнь в далекое прошлое.

На парижском вокзале у выхода из вагона их встретил средних лет мужчина, в котором и по первому взгляду можно было признать русского: в белой косоворотке на черных пуговицах, в картузе, надвинутом на широкое веснушчатое лицо с пшеничными рачьими усами. С Лидиным он обнялся как со старым приятелем, назвал адрес, по которому бородач должен был явиться, а студента повел пешком чуть ли не через весь город к себе на квартиру. Представился он Антону Виктором.

Путко с интересом оглядывал эмигрантское жилище, как бы вписывая себя в эти стены и в этот быт. Комната была на самой верхней лестничной площадке, с темными отклеивающимися обоями, с прокопченными углами. У стены стояла железная койка под серым одеялом, у окна стол из ящиков и два табурета, на полу и подоконнике громоздились книги.

— Шикарно? — перехватив его взгляд, усмехнулся Виктор. — А твои миллионы на какой банк переведены?

Перед отъездом мать наскребла-таки денег, Антон не смог отказаться. Сумма была скромная, но все же... Он назвал. Виктор прикинул в уме, перевел рубли на франки:

— Неплохо. По третьему эмигрантскому разряду на полгода достанет. Если, конечно, не вздумаешь пополнять гардероб и болеть. Впрочем, у нас тут свой доктор есть — на все хворобы мастер.

— А как это: по третьему эмигрантскому?

— Простота! Десять-пятнадцать франков в месяц на жилье, это около четырех-пяти рублей. Обед: шестьдесят-восемьдесят сантимов, то есть двадцать-тридцать копеек, в «популярке» можно обойтись и пятиалтынным. Многие наши обедом и ограничиваются. Конечно, без завтраков и ужинов туговато, да ничего не поделаешь: привыкнешь. Ничего, восполнять их будешь пищей для ума и сердца. Если же ты обжора, завтрак — хлеб с чаем — стоит десять-пятнадцать сантимов.

У Антона засосало под ложечкой.

— Рекомендую соблюдать режим с первого дня, иначе туговато будет. С завтрашнего. А нынче по случаю благополучного прибытия кутнем. Тут рядом есть студенческая столовка. В ней к тому же русским скидка — за то, что непривередливы.

Виктор нахлобучил картуз:

— Двинули. Заодно кой с кем из наших познакомлю.

Вдоль узкого помещения тянулись два ряда столиков, застланных пестрой клеенкой. У входных дверей парень жарил на черной чадящей сковородке картофель, в проходе сновали хорошенькие толстушки в белых чепчиках и грязных фартуках и во весь голос пронзительно выкрикивали заказы в сторону стойки, над которой возвышалась яркая блондинка с жирно блестящим носом. За спиной матроны, на стене от потолка свисал на крюке щит меню. Цифры были выведены огромными черными знаками.

— Не просчитаешься, — показал на них Виктор.

За столиками тесно сидели парни и девушки. Парни, заказывая еду, норовили ущипнуть официанток, толстушки шутливо отвешивали оплеухи. Антон увидел, что большинство посетителей уплетает огромные, подозрительного цвета сосиски.

— Что это они выкрикивают? — повел головой Антон в сторону официанток, обескураженно чувствуя, что доморощенный французский начинает подводить его.

— Эти сосиски с отрубями они называют «дурочками». Слышишь, так и заказывают: «большую дурочку» или «маленькую дурочку». Салат на здешнем языке — «хлорофилл», а

вино — «ай-ю-ю!». Что будем заказывать?

Они заказали по «большой дурочке», по порции «хлорофилла» с жареным картофелем и по стакану крепкого, самого дешевого, алжирского вина. Официантка обратилась к Антону тоже на «ты», как к завсегдатаю, и это ему польстило.

— Как они держатся!

— Что ни мордашка — прелесть, — неточно понял его Виктор. — Если приглядеться, ничего особенного, многие даже некрасивы. Но, обрати внимание, ни одной простушки. По-французски это и называется «шарм».

Антон поразил, что товарищ по партии ведет такой легкомысленный разговор. Но он и сам с удовольствием глазел по сторонам, восторгаясь каждым девичьим лицом.

— Я же говорил: кого-нибудь из наших непременно принесет! — Виктор подтолкнул его в бок и показал на вкатывающегося в столовую толстяка, который снимал в дверях мягкую шляпу. — Вот и наш эскулап. И окликнул:

— Яков, прошу к нашему шалашу!

Толстяк подошел. Виктор представил Антона:

— Сегодня принял на Сен-Лазаре. Товарищ Владимиров.

— Очень приятно, — протянул толстяк руку, оказавшуюся в пожатии неожиданно твердой и сильной. — На что жалуетесь, коллега?

— Сразу и меддопрос! — засмеялся Виктор. — Люби его и ублажай, Владимиров, это тот самый доктор, который пользуется всю российскую колонию, особенно нашего брата большевика: Яков Отцов.

«Так вот кто носит псевдоним, который хотел взять я!» Антон с особенным интересом посмотрел на невольного своего соперника. Доктор понравился ему. От всей его фигуры веяло добродушием и спокойствием. Наверное, у такого врача хорошо лечиться, всегда будешь уверен в быстром выздоровлении...

Отцов тоже заказал «большую дурочку», «хлорофилл», вино и, поглощая их, со знанием и интересом начал расспрашивать о Питере. И тоже, на удивление Антону, не о политических событиях, не о партийных делах, а о гастролях Собинова и Анны Павловой, да пошел ли по Литейному электрический трамвай, и все так ли весело на Крестовском... Неожиданно в этих расспросах Антону почудилась тоска товарища по России, по дому. И юноша понял: если и его, немолодого врача, час обеда загоняет в студенческое бистро, не так уж блестящи его житейские дела.

Тут же втроем они обсудили, чем следует заняться Антону. Виктор посоветовал, не теряя времени, записаться на факультет в Сорбонну, позаботиться о жилье. И Антон отметил про себя, что ни его добровольный опекун, ни доктор не интересуются даже, каково же его партийное задание, что привело его в Париж, помимо столь прозрачного повода «продолжать учебу», и чем он занимался в России. Это была та ненавязчивая, непоказная конспирация, которой учил его Феликс.

В тот же день Виктор помог Путко снять неподалеку от его собственного обиталища крохотную, почти без всякой мебели, комнатку под самой крышей — доподлинную студенческую мансарду с покатым потолком на улочке рю Мадам в Латинском квартале, рядом с Сорбонной и под боком у собора Сен-Жермен-де-Пре. Хозяйка, узнав, что постоялец — русский, сразу же предупредила: она и ее квартиранты не терпят песен после полуночи; появления гостей, когда дом уже спит; громких споров, бросания окурков в окна и всего прочего, что неизменно связано с представлением: «Oh, ces russes!»<sup>15</sup> Антон торжественно (но легкомысленно) обещал, что ничего подобного он себе не позволит. И началось его приобщение к эмигрантской жизни, знакомство с ее обычаями и нравами, а заодно и с Парижем.

Город бесславных Людовиков и великой Коммуны, бравых мушкетеров и гениальных

---

<sup>15</sup> О, эти русские! (франц.)

мыслителей, город сверкающих огнями Больших бульваров и кривых, как в Замоскворечье, переулков поразил его, хотя из книг, из гимназического курса классических и прочих наук, своими памятниками истории и культуры был, казалось, знаком досконально. Поразил он Антона не предметными открытиями. Действительно, Нотр-Дам, Триумфальная арка и Эйфелева башня были точно такими же, как на рисунках Бенуа, разве лишь не столь величественными, как представлялись; и треугольная шляпа Наполеона хранилась рядом с гробницей императора в подzemелье Дома Инвалидов. Но дух Парижа, сам воздух, вдыхаемый его жителями и определявший, казалось, их характер и темперамент, был как играющее солнечной чешуей море по сравнению с закованной в лед Невой. Только что премьер Клемансо подавил бунты виноградарей на юге Франции, бастовали горняки на севере и машинисты поездов метро в самой столице, — а Париж беспечно смеялся, кутил, танцевал, флиртовал, тратил последние франки в кабачках Монмартра, был весел и абсолютно равнодушен к кому бы то ни было, к чьему бы то ни было несчастью. Поистине — солнечные блики на поверхности воды, пусть ледяной и черной в глубине.

Скованная льдом жизнь на родине была суровой, но зато и определенной. Антон представил, каким бы недопустимым контрастом выглядела в режиме полицейского Петербурга жизнь эмигрантов — точно так же, как если бы стайка бразильских колибри залетела в вороний гай на деревья Измайловского сада. Но если прежде по обрывочным рассказам, просто в своем воображении Путко представлял русскую эмиграцию в Париже как некую сплоченную группу единомышленников-борцов, дружно преодолевающих невзгоды во имя общей цели, думал, что существует какой-то особый квартал в городе, где все политические живут бок о бок и чуть ли не ходят взявшись за руки, то именно в этом он разочаровался больше всего. Новый центр новой российской эмиграции только еще заполнялся прибывающим людом, вырвавшимся из царских застенков, из тюрем или с этапов. Эмигранты рассеивались по городским трущобам, и при встречах жестоко спорили меж собою, кляня и свою судьбу, и неудачную попытку поднять темную массу забитого крестьянства на великие свершения: социалисты-революционеры, анархисты, народные демократы, представители меньшевистской фракции РСДРП — каких только мастей и колеров не было в среде эмигрантов.

Среди всех уверенно в себе, поистине дружно держались лишь большевики. На сетования обозленных людей, которые кляли себя за участие в «роковом безнадежном предприятии», большевики отвечали: «Революция, хоть и потерпевшая временное поражение, — незаменимая школа борьбы. Придет час, и возьмемся снова!» Эта их уверенность и достоинство наполняли Антона чувством гордости. Он — частичка этой партии, и он готов, как и прежде, к выполнению любых ее заданий. Но вот только не забыли ли товарищи о его существовании? Почему нет вестей ни от Феликса, ни от Леонида Борисовича? А тот же круглолицый Виктор с пшеничными усами только и делает, что пожирает книжки и «больших дурочек».

Но однажды поздним вечером — как раз в тот час, когда ветхий дом на рю Мадам, населенный рано поднимающимся на работу людом, гасил огни, — ступени лестницы исполнили энергичное аллегро на ксилофоне, в дверь гулко забарабанили, послышался знакомый хриплый голос:

— Принимай, дорогой хозяин, гостей!

И в мансарду в сопровождении Виктора ввалился Камо.

Вот кому был рад Антон!

— Проходите, проходите, товарищи! — он засуетился, подставляя колченогие стулья. — Хотите чаю или кофе? Это я в момент!

— А водки у тебя нет? Эх ты, скучно живешь!

— Могу и за водкой!

— Смотри, поверил! — рассмеялся Семен. — Какой же кавказец употребляет эту гадость? Ставь бочонок имеретинского или, на плохой конец, коньяк! Нету? Пусто в кармане? Хочешь подзаработать, а? Осла позвали на свадьбу, а он говорит: «Знаю, зачем

зовут: или воду возить, или жернов крутить». Вот так и тебя!

В этом зале насмешливых шуток Антон уловил для себя что-то обидное. «Не простил он мне Куоккалы?» — подумал Путко.

— Ты не обижайся, — миролюбиво сказал Семен. — Ты же свой, да? А мне правда нужен помощник. Я тут проездом, чужому человеку нельзя доверять, а вот он, — Камо кивнул на Виктора, — не может, должен встретить одного нашего, из России. Поможешь? За три дня обернемся.

— Конечно, помогу. Что надо?

— Ах какой, сразу что да почему! По дороге все и узнаешь. Встречаемся завтра в семь утра на вокзале Бурже, у первой кассы, запомнил?

На вокзале роль Антона прояснилась. В камере хранения Семен получил два больших тяжелых чемодана, перетянутых ремнями. Их предстояло доставить в Берлин, а оттуда еще куда-то. Чем набиты чемоданы, Антон не знал. Догадывался — не побрякушками.

Вот тогда-то, в купе поезда, и зашел у них разговор об Эквадоре и Никарагуа. Камо рассказал — теперь та история быльем поросла, — как полтора года назад он вместе с Феликсом закупал оружие в Бельгии, в Льеже. Семен изображал атташе Эквадора. Часть того оружия была благополучно переправлена на Кавказ, в боевые дружины партии, все остальное покоится на дне морском — там, где наскочила на мель шхуна «Зара». Товарищ Владимиров не слышал об этой печальной истории, нет? Ну и хорошо, что не слышал. А вот теперь у партии снова есть деньги, и немалые. Товарищ Владимиров догадывается, откуда они взялись? То-то!.. И надо снова покупать оружие. Только никогда не следует повторять сыгранную роль, надо придумать что-нибудь оригинальное. Если в Никарагуа и нет короля, он, Камо, поищет, где подходящий король имеется.

Почему ему нужен непременно король, Камо не объяснил, — на короле он поперхнулся, закашлялся.

— Простыл? — участливо спросил Антон.

Кавказец отрицательно покачал головой.

— Тогда много куришь. Вредно.

Камо потер ладонью горло:

— Не курю я совсем, дорогой. Доктор тоже: «У тебя хронический катар», — знаешь нашего доктора? Хороший человек. «Конечно, катар», — говорю, зачем обижать человека? Обманул, это ведь у меня от веревки.

— Какой еще веревки?

— Ну, когда вешали, понимаешь? — Семен весело посмотрел на студента. Взгляд его был с косинкой.

— Вешали? — в ужасе переспросил Антон.

— Конечно. В декабре пятого мы подняли вооруженное восстание в Тифлисе, мои боевики в Надзаладеви держали оборону, знаешь этот район?

— Нет, я только Солалакскую, Лорис-Меликовскую, Миллионную... и Эриванскую площадь! — улыбнулся юноша.

— Не знаешь ты тогда Тифлиса. Надзаладеви — по-русски Нахаловкой называют, рабочие там живут. Там меня и схватили казаки. Ни за что бы не схватили, да без сознания был, пять дырок сделали, — он ткнул пальцем себе в плечо, руку и ногу.

Антон с удивлением разглядывал его круглое, простодушное, с круглыми веселыми глазами под темными дужками бровей лицо: трудно поверить! И говорил он весело, как о приключении.

— Один казак нос хотел отрезать, а я взмолился: «Послушай, ай мард, как же я к девушкам без носа, чего подумают, а?» Не о девушках я, понятно, а как без носа, на конспиративной работе? Нос — самая особая примета. Можно, конечно, резиновый, а вдруг в самый момент отскочит? Казак оказался добрый: «Все равно — без носа или с носом вздернуть!» Стали они меня вешать. Один раз я уже плясать на веревке начал, они сняли и снова с дурацкими вопросами: «Где твои прячутся, как зовут?» Они снова накинули веревку,

а я незаметно подбородок в петлю подсунил и вишу хоть бы хны, целую жизнь так можно висеть. Веревка и оборвалась. Они удивились, что живой, и в Метехский замок отправили, чтобы как полагается повесить, по всем правилам. А я из замка и удрал. Дырки зажили, а вот хрипота осталась. Доктор думает: катар, вот чудак, а?

«Дурака он валяет? Врет все? — в смятении думал Антон, разглядывая Камо. — А тогда, на Эриванской, среди бомб — офицером на дрожжах?.. Ну и человек!»

— А давно ты начал... так вот? Сколько тебе было?

— Длинный язык укорачивает жизнь, знаешь? Но тебе скажу: не молодым начал, девятнадцать уже стукнуло.

— А как?

— Э, и вспоминать скучно: письма носил, на собрания собирал, библиотеки устраивал. Правда, на одной демонстрации при красном знамени шел...

Антон подумал: «А мой кружок на Арсенальной, листовки и ночевки? Но до сих пор еще ничего важного, а мне уже двадцать один!»

— Да, а как листовки бросали — очень красиво получилось! — вспомнил, оживился Семен. — В театре «Гамлета» давали. В ложе сам наместник, в партере от золота глазам больно, а мы на галерке, в первом ряду. Открылся занавес: Эльсинор, площадка перед замком, часы бьют полночь — и появляется призрак! Помнишь: темно, сзади синий свет, и Горацио обращается к призраку...

Камо поднялся с сиденья, развел в стороны руки и продекламировал:

— «Кто ты, без права в этот час ночной, принявший вид, каким блистал, бывало, похороненный датский государь, — я небом заклинаю, отвечай мне!»

Семен снова откинулся на мягкую спинку:

— Все оцепенели, в этот самый момент мы и пустили в зал — как белые голуби. Что началось!

Он самодовольно ухмыльнулся.

— А еще раз, тоже на Шекспире, на «Ромео и Джульетте». Только, чтобы не повторяться, не в начале, а в самом конце, в пятом акте — зачем обижать классика, пусть посмотрят... А когда Ромео появился с факелом на кладбище у гробницы, куда засунули его возлюбленную, — Камо снова начал с чувством, нараспев: — «О смерть с ненасытной утробой, ты съела лучший из плодов земли! И вот тебе я челюсти раздвину и брюхо новой пищею набью!..» Как сказал он: «брюхо набью», мы со своей галерки и бросили. Одна пачка не рассыпалась, прямо на плешь генералу, командующему войсками, хлоп! Он чуть богу душу не отдал!

Антон слушал во все уши. Вот это биография!

— А не страшно?

Камо пожал плечами:

— Ты знаешь, все говорят и говорят: «Страшно, но все равно долг выше, в том и дело, чтобы перебороть страх». А мне, если по-честному, вот ни столько не страшно.

— Даже когда вешали?

— Тоже не было. Думал: «Не может быть такого, чтобы меня повесили, как это я жить не буду?» И вот видишь — живой. Я везучий, знаешь.

— Тьфу, тьфу, не сглазь!

— Э, дорогой, я в приметы и дурной глаз не верю. А драться я с детства люблю, на кулаках, хотя дед у меня святой человек был, от этого к моей фамилии и прибавляется «Гер».

Он осекся, будто понял, что сболтнул лишнее.

— Давай будем друзьями на всю жизнь! — с порывом воскликнул Путко.

— Давай, дорогой. Но если друзья на всю жизнь — надо в один бокал вина по капле крови твоей и моей, и до дна.

— Жалко, вина нет... — сказал Антон. — Вот приедем!..

Багаж был доставлен по назначению, в небольшую деревушку неподалеку от границы.

Домик, куда они дотащили чемоданы, стоял на краю селения, у самого леса. Камо постучал. Дверь открыл молчаливый пожилой немец, впустил их и старательно задвинул засов, повернул ключ в скважине.

Хозяин встретил Семена как старого знакомого. Провел их в комнаты, что-то проворчал. Молодой голос отозвался по-немецки, и им навстречу вышел кудрявый молодец с рассеченной бровью, в скрипучих сапогах. Молодец ослабился и на чистейшем русском, с раскатистым «о», пророкотал:

— Здорово, други!

Внимательно глянул на Антона.

— Где я тебя видел?

Одежда кудрявого, его новые сапоги с музыкой показались студенту какой-то приладкой «под народ». Антон невольно вспомнил себя во время поездки по Волге.

— Нигде ты видеть его не мог, на отсидке он еще не был, — весело ответил Камо. — Будь знаком: Владимиров, подопечный Никитича.

— А-а, — многозначительно протянул молодец и представился: — Федор. — Рука у него была цепкая.

Он легко подхватил оба чугунных чемодана и уволок их куда-то в комнаты.

— Передавай приветы, нам гостить нет времени, — сказал Семен, когда он вернулся.

— Куда теперь?

— На кудыкину гору, в гости к королю Леопольду, — ухмыльнулся Камо.

Они обнялись.

На пути в Берлин Антон не удержался, сказал:

— Не нравится мне этот кудрявый, деланный какой-то, дергается, как на ниточках.

— Поздравляю, Шерлок Холмс! — состроил физиономию Семен. — А ты, дорогой, не обратил между прочим внимания на его руки? А стоило бы. Кандалы их до кости проели. Федька и вправду деланный, наш доктор собрал его по кусочкам, когда мы выволокли его из тюрьмы. Сейчас он один из главных наших транспортников. А то, что шумный, — так у нас говорят: беги от той воды, которая не шумит и не журчит...

Приехав в Берлин, они остановились на ночь в отеле «Бремишер-Гоф».

В ресторане Путко заказал бутылку рейнского. Налил бокал до краев, уколол вилкой палец, выдавил каплю крови.

— Чего ты?

— Ты же говорил...

— А, вот оно что, — посерьезнел Камо. — Но знай: до гробовой доски.

Он тоже надрезал палец, и алая быстрая кровь заструилась по нему. Вино на мгновение помутнело, потом снова стало кристальным.

По очереди они отпили из бокала.

— Пируете? — они не заметили подошедшего мужчину в смокинге, со старательно расчесанными напомаженными усами. В мужчине не сразу можно было распознать Феликса.

— Здравствуйте, ребяташки, все в порядке? — сказал он таким тоном, будто они расстались только в обед. —

Семен рассказал о поездке: груз доставлен вовремя и теперь (он глянул на часы) уже должен быть на пути к базе.

— Хорошо, — одобрительно кивнул Феликс и повернул голову к Антону. — Привет тебе от Никитича.

— Как он? — с волнением спросил Путко. — Как его здоровье?

— Ничего, передюжил. Скоро, наверно, появится в этих краях. А ты как устроился?

Антон понял: это не праздное любопытство. Подробно рассказал обо всем, что произошло за дни после их встречи, вспомнил о случае на пляже Крестовского острова, прояснившем окончательно, кто такой его бывший приятель Олег Лашков. Рассказал и о ничем не примечательной, разве что досмотром в таможне, поездке с Лидиным. Феликс слушал молча, лишь кивая. «Мотает себе на усы», — улыбнулся про себя Путко.

— Добро, — Феликс тряхнул жесткой шевелюрой, обрамлявшей могучий его лоб. — Спасибо за помощь. Теперь возвращайся в Париж. Никитич передал: не теряй времени попусту, берись за учебу в Сорбонне.

Он оглядел стол, щелкнул ногтем по бутылке:

— Веселитесь?

Семен взял бокал, допил до дна, перевернул. Единственная капля упала и впиталась в скатерть.

— Лев сказал: «Никого не боюсь — кроме двух братьев».

— О чем ты, восточный мудрец? — не понял Феликс.

Но Антон понял и радостно улыбнулся.

## ГЛАВА 2

Экипаж Аркадия Михайловича Гартинга подкатывал к светло-зеленым воротам дома № 79 на авеню Гренель ровно без трех минут восемь. Три минуты требовались ему для того, чтобы пройти через двор, открыть английский замок малоприметной двери во флигеле, миновать комнату канцелярии и сесть в кресло за столом своего кабинета. Аркадий Михайлович отличался исключительной пунктуальностью, не позволял себе ни опаздывать, ни тем более терять время на ожидания.

Однако сегодня, 13 октября 1907 года, он изменил своим привычкам, поднялся на час раньше. Дом его был необычно безмолвен. Впрочем, на половине Мадлен по утрам всегда было тихо. И он представлял, как в постели, еще хранящей память о нем, жена с удовольствием досматривает ночные видения, и ресницы ее вздрагивают, и глазные яблоки перекатываются под веками, будто она притворяется спящей. Не в пример множеству других он берег свой домашний очаг, не скупился на жертвоприношения пенатам, дабы не оставили они покровительством его дом. Он женился поздно. Мадлен была молода и обворожительна, не говоря уже о том, что именита и богата. Это заставляло Аркадия Михайловича не допускать поблажек себе: следить за внешностью, не полнеть, не отставать от моды. Что ж, он благодарен ей и за это. Как говорят французы? «Женщине столько лет, на сколько она выглядит». Эта поговорка относится и к нему. На вид он молодой, лишь преждевременно поседевший мужчина, а резкие морщины на сухом энергичном лице и только набухающие мешки под глазами — свидетельства скорей не лет, а бурной жизни. А кого из представителей сильного пола не красят такие меты? Можно было бы отказаться и от седины. Парижские кауферы — великие искусники. В париках он совсем юноша. Но он не хотел возвращаться в свою молодость. Для этого у него были основания. Нет, Аркадий Михайлович не опасался чего-либо. И все же благородная белая шевелюра очень изменила его лицо. По утрам, тщательно выскабливая щеки, он разглядывал себя. И впрямь — мужское лето. И щеки не одрябли, и руки — не мягкие подушки и не сухой, в прожилках, пергамент: крепкие, загорелые, бугрящиеся мускулами. Выдавала возраст только шея с морщинистым старческим зобом. Но он носил высокие жесткие воротники, и даже у ночных рубах и пижам был высокий глухой ворот — и в постели Мадлен не должна чувствовать разницу их лет.

Как возраст матери определяют по возрасту ее детей, так молодят его и эти двое шаловливых малышей, Аннет и Серж. Он любит их той особой, снисходительной и восхищенной любовью, которая доступна лишь пожилым родителям, принимающим детей как чудо. К тому же он переносит на них и свое всепоглощающее чувство к их матери. Дети просыпаются рано. И, вставая, Аркадий Михайлович слышит их возню и смех наверху, прерываемые назидательными нотациями гувернантки. И это топотанье над головой, как и покойная тишина, словно бы струящаяся из спальни Мадлен, доставляют ему удовольствие и



сознание того, что это он дарует благоденствие своему дому, наполняют Аркадия Михайловича гордостью и заряжают молодой энергией на день грядущий.

Горничная с мятым от сна лицом, наспех причесанная и с провисшим подолом нижней юбки, расплескала кофе на блюдце. Швейцар, отпирая дверь, сопел и давился зевотой. Но сегодня Аркадий Михайлович пропускал все это мимо своего внимания, как и неизменно радовавшие его взор картины, когда фиакр нес его от дома с тихой авеню Капуцинов около площади Гран-Опера через Большие бульвары, Конкорд, мимо парка Тюильри, по мосту над Сенной, а затем вдоль ограды Бурбонского дворца — в район посольств и миссий, на неширокую авеню Гренель.

Сегодня Гартинг, отпустив экипаж, не вошел в ворота, а, миновав их, поднялся по ступеням к массивной, темного полированного дерева с латунными ручками, двери, нажал и долго не отпускал кнопку электрического звонка, пока за дверью не щелкнула крышка глазка, не залязгали в скважинах ключи, не забренчали цепочки и дверь не распахнулась. На пороге вытянулся, вскинув бороду и едва не преградив ею вход, привратник Кузьма в расшитой золотом ливрее и с начищенными медалями на могучей груди.

Кузьма озабоченно глянул в лицо Аркадия Михайловича, наметанным оком отметил густую синеву под глазами, которая проступала из-под слоя пудры и свидетельствовала о дурно проведенной ночи, и наспех повязанный галстук, выдающий нервное состояние его владельца, и, что уже вовсе было невиданно, нечисто выбритую щеку. Скрывая смущение, он прогудел иерихонской трубой:

— Здравьжелавьвашвысокблагодрь!

И по-уставному отступил на шаг, освобождая дорогу Аркадию Михайловичу.

Привратник Кузьма, трехпалый отставной унтер-офицер, нес службу при посольстве Российской империи с незапамятных времен. Гартинг помнил его с тех пор, когда мальчишкой-студентом впервые побывал на авеню Гренель. Держали старика не столько за усердие, сколько за эту диковинную для Парижа бороду. Сменялись послы, советники, консулы, а Кузьма все стоял на своем посту, и представить эту пядь российской территории без Кузьмы было так же немыслимо, как залу приемов — без портрета императора и Париж — без собора Нотр-Дам.

Привычно кивнув, Гартинг прошел в молчаливые комнаты. В небольшой, еще зашторенной зале на журнальных столиках уже были разложены стопки полученных ночным экспрессом газет из Санкт-Петербурга и утренних парижских изданий, рекламные проспекты, альбомы с изображениями особ царствующего дома и российских достопримечательностей.

Одна дверь вела из залы в кабинет генерального консула, статского советника Зарина, другая — в комнату вице-консула, коим и являлся в штатной росписи дипломатического представительства Российской империи в Париже Аркадий Михайлович Гартинг. Генеральный консул был в длительном отсутствии, принимал курс лечения на водах благословенного Карлсбада, и обязанности Зарина выполнял Гартинг. Он мог располагаться во внушительном кабинете генерального консула, обставленном мебелью, которая массивными своими формами как бы символизировала незыблемость самого государства.

Однако Аркадий Михайлович на сей раз не воспользовался такой возможностью. Он прошел в свою куда более скромную комнату, но не задержался и здесь — открыв малоприметную дверь в панели, Гартинг вступил в узкий коридор-тамбур. Слева и справа легкие двери вели в туалетную и гардеробную. В конце тамбура была еще одна дверь. Отперев и ее, вице-консул оказался в просторном помещении. Половину его занимал роскошный, дорогой резьбы, стол красного дерева под зеленым сукном. Сзади, над затянутым в кожу креслом, висел в золоченом лепном багете портрет Николая II, а справа, напротив окна, портрет младенца-престолонаследника, цесаревича Алексея. Дополняли обстановку напольные часы «Павел Буре», позолоченные канделябры, мраморная статуэтка в углу, диван и кресла под красным сафьяном вдоль стен и у стола, прекрасный ковер на полу. И каждая деталь свидетельствовала о значительности хозяина этого помещения и важности

дел, вершимых в этих стенах. Если у кого-либо и могли закрасться на этот счет сомнения, то они тут же и рассеялись бы, стоило только посетителю бросить взгляд на стол, где в рамку слоновой кости, инкрустированной золотом, был оправлен портрет вдовствующей императрицы Марии Федоровны — подарок хозяину кабинета с ее автографом.

И если бы кто-либо мог наблюдать за Аркадием Михайловичем, то уловил бы неприметную для него самую трансформацию, происшедшую за те мгновения, которые потратил он на десяток шагов от кабинета вице-консула до этого величественного апартамента, — трансформацию в выражении лица, в осанке и самой походке. Из холодно-учтливое лицо его приняло выражение жестко-властное, вежливый изгиб спины, столь характерный для дипломатических чиновников, приобрел генеральскую резкость. И даже ступни ног он ставил не так, как в помещении консульства — словно бы с единственным желанием не создавать лишнего шума, — а твердо, на всю подошву, как человек, которого не заботит, что могут подумать о нем окружающие.

Оказавшись в кабинете, Аркадий Михайлович оглядел его, словно бы прощупал глазами решетку окна, выходящего в тенистый внутренний двор, общий для посольства и консульства, удостоверился, что все на своих местах, и, подойдя к столу, привычно сел в кресло, облокотился о его спинку, своими вмятинами и выпуклостями давно уже приладившуюся к спине хозяина.

Там, за двумя дверями с английскими замками, в помещении консульства, Аркадий Михайлович Гартинг был всего лишь средним, шестого класса, чиновником в невысокой должности. Здесь же он являл в своем лице как бы главу сепаратного государства в государстве, имел свой, только ему подчиненный обширный штат сотрудников, своего шифровальщика и свой особый шифр для сношения с Санкт-Петербургом — но не с министерством дел иностранных, а с министерством дел внутренних, ибо Аркадий Михайлович Гартинг был заведующим заграничной агентурой, управителем одного из важнейших подразделений департамента полиции Российской империи.

Перед тайной властью заведующего ЗАГ (как сокращенно именовалась в служебных особо секретных документах заграничная агентура) трепетало само посольство, и Гартингу не указ был даже действительный тайный советник Александр Иванович Нелидов, чрезвычайный и полномочный посол империи. В системе дипломатических миссий российское посольство в Париже считалось одним из наиважнейших. Сам Нелидов, прежде чем удостоиться Парижа, долгие годы представлял империю в Константинополе, Вене, Риме. Все ведущие дипломаты на авеню Гренель были в высоких придворных чинах, камергеры или шталмейстеры. Здесь набирались опыта те, кому самой судьбой были уготованы кабинеты в посольствах, во дворцах на Сенатской или Исаакиевской. Вот и сейчас на побегушках при военном атташе были князь штаб-ротмистр Орлов и князь лейтенант флота Голицын.

Мало кто в посольстве знал о действительной роли Гартинга. Однако личность его была окружена ореолом таинственности. И хотя за его фамилией не обозначалась громкая в истории отечества родословная, но в торжественные дни на его парадном мундире сверкало столько бриллиантовых звезд и золотых с эмалью крестов, к тому же не одних российских, что этому мог позавидовать не то что сам посол, но даже и кое-кто из членов царской фамилии. Посольские побаивались Гартинга и не упускали повода выказать ему уважение, не соответствовавшее его скромной должности: бывало, что неосмотрительный насмешник, столичный ловелас, рисовавший в своем воображении радужные перспективы, вдруг получал уведомление о переводе куда-нибудь в египетскую жару. Ибо ни один смертный не лишен недостатков и хоть единожды, за карточным столиком, в дружеском кругу или в постели любовницы, да и выскажется фривольно... И в Санкт-Петербурге чиновник, глядишь, и «загнет угол» на его служебной карточке. Впрочем, Аркадий Михайлович в подобных случаях не проявлял поспешности, ибо нужно было предусмотреть тысячи сопутствующих обстоятельств: кто обрадуется освобождению штатной должности в Париже, а кто и захочет заступиться за титулованного отпрыска. В пестром клубке интриг высшего

света Гартинг прослеживал все нити.

Но, конечно, же, на заграничную агентуру возлагались куда более серьезные и обширные задачи. Среди них немаловажное место занимало наблюдение за национальными движениями в сопредельных странах, за иностранной прессой, затрагивающей вопросы внутренней или внешней политики России, за развитием международных отношений, деятельностью международных социалистических организаций и особо — Международного социалистического бюро. Но и эти задачи были лишь второстепенными в перечне писанных и неписанных обязанностей ЗАГ. Самая же главная заключалась в том, чтобы через консульства, с помощью собственных агентов и агентов частных иностранных сыскных бюро, а также используя перлюстрацию, следить за русской политической эмиграцией, изучать ее объединения и группировки, литературно-издательскую деятельность и прессу. Для этого Гартинг должен был внедрять своих осведомителей в партийные школы, организуемые за границей, и в транспортные группы, с помощью которых литература и оружие направлялись в Россию. Его обязанностью было наблюдать за бытовыми условиями жизни эмигрантов, а также не упускать из поля зрения связи между партийными ячейками в империи и их организациями за границей. Не только на территории Франции: дом на авеню Гренель был как бы штаб-квартирой, куда стекались сведения, добываемые людьми вице-консула в Вене и Риме, Лондоне и Стокгольме, Бухаресте, Белграде, Софии, Афинах и даже за океаном, в Нью-Йорке и Бостоне. Сколько их было, агентов ЗАГ, что они собой представляли — об этом знал только Гартинг. Он же был организатором царской тайной полиции за границей.

Впрочем, Аркадий Михайлович не переоценивал своих заслуг. Заграничная агентура была создана не им, хотя ныне он — старейшина ЗАГ по стажу работы. Российскую тайную политическую полицию основал в Париже, еще при Александре III, чиновник особых поручений Рачковский, и он же добился такого ее расцвета и авторитета, что президент Франции Лубэ охотнее доверял охрану своей персоны агентам Рачковского, чем своим собственным. Немало чиновников сменяли один другого в кабинете на авеню Гренель, пока Аркадий Михайлович неуклонно поднимался по ступеням охранной службы. Но вот в 1905 году он занял наконец и этот кабинет. С той поры сменилось два министра внутренних дел — Святополк-Мирский и Дурново, и правит третий, Столыпин, а никого лучше Гартинга они не смогли найти среди своих верных людей, хотя куда как заманчиво это кресло! Да, истинно: не место красит человека, а человек — место, так-то, господа!.. Аркадий Михайлович не жалеет усердия для дела политического сыска, ибо оно — его призвание. Вполне образованный и достаточно независимый для того, чтобы не принимать на веру авторитеты, он использует в своей деятельности опыт европейских политических полиций. Хотя принцип российской охранной службы решительно отличается от любого другого, ибо основание всей ее системы — не собирание улик и расследование, а внедрение секретных сотрудников-провокаторов. И все же бесполезен опыт германской политической полиции, забрасывающей как можно более густую сеть пусть и неквалифицированных агентов. Но Гартингу больше импонирует тонкий английский стиль: агентов немного, зато каждый — мастер своего ремесла; таким приходится платить больше, зато и результаты лучше. Уже сколько раз благодаря осведомленности заведующего ЗАГ сведения о важнейших антиправительственных злоумышлениях, намечаемых в самой России, департамент получал из Парижа! Сам же вице-консул был превосходно осведомлен обо всем, что происходило в Петербурге, и особенно на Фонтанке и даже при дворе.

Он знал и о переполохе, который неожиданно вызвал, казалось бы, малозначительный факт тифлисской экспроприации, и о том, какую окраску придал делу государь, как отреагировал Столыпин, в каком затруднительном положении оказался директор Трусевич. И бородач-привратник Кузьма, заметив небрежность в одежде вице-консула и синеву под глазами, напрасно подумал, что его высокоблагородие находится в дурном расположении духа. Отнюдь. Со вчерашнего дня Гартинг пребывал в том особенном, без вина хмелящем состоянии возбуждения, какое испытывает рыбак, закинувший леску на окунька и вдруг

почувствовавший, что на крючок попалась совсем иная рыбина — невероятная, огромная. Он тянет леску, подпускает, снова напрягает — и уверен, что и она не лопнет, и крючок не соскользнет, и у самого хватит сил и умения вытащить добычу. Впрочем, однажды, два десятилетия назад, на заре своей карьеры, он испытал такое же восхитительное чувство. И оно не обмануло его. Оно предсказало все: ордена, звания, состояние, положение в обществе, это кресло в центре Парижа, даже Мадлен...

Казалось бы, за эти последние сутки ничего особенно значительного не произошло: просто он сделал свой ход в игре, в которой принимают участие государь, Столыпин и Трубевиц. Может быть, игра и не стоит такой затраты эмоций. Но сейчас он полагается на свою изощреннейшую интуицию. А интуиция еще никогда не подводила его.

Аркадий Михайлович перебрал ключи на цепочке, полуобернувшись в кресле, открыл дверцу потайного сейфа, вмонтированного в стену за портретом императора, и достал тонкую кожаную папку. И снова с удовольствием, критически отмечая недостатки стиля, принялся читать копию донесения, которое вчера вечером отправил директору департамента:

«Имею честь доложить Вашему превосходительству, что на днях в Берлин прибыл некий армянин из Тифлиса, носящий кличку «Камо», настоящая же его фамилия пока агентуре неизвестна; он разъезжает по загранице с паспортом на имя австрийского подданного (из Тифлиса) Demetrius Mirsky. Названный Камо, принимавший участие в устройстве 11 типографий, 3 лабораторий бомб, в массовой доставке оружия, несмотря на свои молодые годы (24 г.), является крайне активным и смелым революционером-террористом, высоко ценимым всеми большевиками, даже Лениным и Никитичем. Правая кисть руки у Камо наполнена осколками взорвавшегося капсюля в момент приготовления бомбы, от этого же у него пострадал и правый глаз.

При ближайшем участии названного Камо кавказцами задумано крупное предприятие, при участии Меера Валлаха (Литвинова) и Никитича, по покупке оружия на экспроприированные деньги и решено таковое направлять, в целях вооружения центров, в огромнейшем количестве, при особой конспирации, на Кавказ и в большие города России, а там его укрывать с особой предосторожностью. Камо и его единомышленники рассчитывают, что, если перерыв революции продолжится года три, то за это время удастся вполне вооружить и подготовить к восстанию все большие центры России. В общем, этой организацией предположено сделать в декабре и январе закупку оружия тысяч на 50, преимущественно револьверов и патронов к ним, так как везде в организациях теперь решили не приобретать ружей и карабинов, ввиду их неудобства для революционеров; все это закупаемое оружие будет постепенно водворяться через границу в Россию.

В данное время Камо с помощью Меера Валлаха и проживающего в Льеже социал-демократа, студента Турпаева купил на 4 тысячи марок 50 револьверов Маузера и Манлихера и по 150 патронов к каждому, и транспорт этого оружия недели через две будет направлен через границу..., а затем направлен в Гродно, откуда Камо (вероятно, переодевшись офицером) его переправит на Кавказ.

Агентура рассчитывает быть своевременно осведомленной о моменте отправки этого транспорта из-за границы, о чем я не премину донести Вашему превосходительству, но при этом позволяю себе просить, в целях охранения агентурного источника и возможности захвата последующих транспортов, не задерживать первый транспорт на границе, при водворении, а лишь дать ему пройти внутрь России, благодаря чему удастся, вероятно, выяснить намеченный Камо путь для перевозки через западную границу больших транспортов на Кавказ.

По имеющимся указаниям, в военном министерстве в Болгарии служит некий инженер (фамилия пока неизвестна), близко стоящий к социал-демократии, который изобрел особое устройство бомбы, сообщающее ей страшную силу. Хотя он, в расчете получить патент, и не рассказывает секрета своего изобретения, но тайно продает революционерам приготовленные им бомбы. На днях вышеназванный Камо вместе с Литвиновым поехали в Софию для закупки 50 штук

таких бомб и двух пудов пикриновой кислоты для тифлисской лаборатории, устроенной Камо. Чемодан с этими бомбами и кислотой Камо намерен переправить в Россию через Румынию по Дунаю.

Из Софии Меер Валлах намеревается проехать в Россию...»

Гартинг кончил читать, откинулся на спинку кресла. Вроде бы донесение составлено недурно. Шероховатости стиля — на совести осведомителя Ростовцева. Аркадий Михайлович лишь немного откорректировал его донесение, не переписывая заново. Важен не стиль, а важна суть. Вот он и найден, истинный осуществитель тифлисской экспроприации: Камо! Какая удача, что провокатор Ростовцев оказался давним знакомцем этого армянина и все сведения получил — и будет получать — из первых рук.

Можно представить, какой переполох вызовет это письмо там. Снова патроны, бомбы, тайные лаборатории!.. Перст судьбы: с этого и он сам начинал. Но разве тогда был такой масштаб? А вот же взлетел, словно на взрывной волне. Без сомнения, Трусевич доложит эту депешу Петру Аркадьевичу. Не исключено, что Столыпин упомянет о ней в своем еженедельном докладе государю. Возможно, император любопытствует: «Кто сообщил?» — «Наш заведующий ЗАГ Гартинг». — «Гартинг? — у его величества отличная память на фамилии. — Это та история с мастерской бомб в Париже?» — «Совершенно верно, ваше величество», — ответит министр... Стоп! Поживем — увидим, что последует в дальнейшем, еще не было случая, чтобы обошли Аркадия Михайловича царскими милостями. Одно бесспорно: отныне следствие по делу о тифлисской экспроприации перемещается с Фонтанки сюда, на авеню Гренель. И ему, Гартингу, предстоит делать решающие ходы.

Аркадий Михайлович ощутил прилив энергии. За работу!

Он достал чистый лист бумаги, плотный, если глянуть на свет — с водяным знаком Меркурия. Итак, герои сей истории. Он начал выписывать столбцом фамилии:

«Камо (Дмитрий Мирский),  
Никитич (Красин),  
Валлах (Литвинов),  
Турпаев, студент,  
инженер — болгарин...»

И, держа листок в руке, прошел в соседнюю с его кабинетом комнату. Вторая эта комната походила скорее на отсек боевого корабля. Два окна, также зарешеченные и обращенные в дремлющий под вековыми платанами двор посольства; вдоль стен стальные шкафы, упирающиеся в потолок; обитые листовой сталью двери... В одном из шкафов — архив заграничной агентуры, рядом карточный каталог, точнее, два каталога. В одном собраны (на карточках, отпечатанных типографским способом) сведения — фамилии и приметы — без малого двадцати тысяч мужчин и женщин, в той или иной степени замешанных в революционной деятельности. В другом каталоге, на карточках, заполнявшихся от руки, зафиксированы данные о пяти тысячах русских политических эмигрантов, проживающих за пределами России и находящихся под постоянным негласным надзором ЗАГ. Отдельно хранились альбомы фотографий — основные, сводные, в каждом по несколько сот снимков, и маленькие, оперативные, предназначавшиеся для филеров. Кроме того, в стальные шкафы были упрятаны папки «агентурных листков», досье на каждого из революционеров, аккуратно подшитые розыскные циркуляры департамента полиции, в которых указаны были партийные клочки, родственные связи — даже товарищеские и любовные отношения разыскиваемых политических преступников, — и много иных бумаг, помеченных грифом «Совершенно секретно».

А в отдельном сейфе, несгораемом, с дверцей и стенками из тройного бронированного листа, с запорами, шифр которых знал лишь сам Гартинг, оберегалась святая святых, поистине сокровищница ЗАГ и всего департамента — досье на секретных сотрудников, тех

без малого ста платных осведомителей, которые угнездились в крупнейших городах Европы и Нового Света. Но и в этих досье не было ни фотографий «с. с.», ни их подлинных имен и фамилий, а лишь клички: «Пьер», «Серж», «Вяткин», «Гретхен», «Москвич», «Ростовцев»...

Кроме того, в канцелярии стояли по ранжиру конторские столы с «ундервудами». Обычно за каждым к тому моменту, когда в комнату входил шеф, уже сидели с черными нарукавниками и сосредоточенными лицами делопроизводители, и стальные стены множили сухим эхом трескотню пишущих машинок.

Сейчас комната была еще пуста. Аркадий Михайлович набрал шифр на замке и отпер дверцы шкафа с каталогом. Ловко, как кассир купюры, начал перебирать картонки. «Так... На Камо или Мирского ничего нет... Следовало ожидать... М... Н... Ни... Никитич».

На Никитича, конечно же, карточка имеется. Несколько месяцев назад Аркадий Михайлович уже сообщал о нем в департамент. Вот она, сплошь испещрена пометками:

«Никитич» — «Зимин» — «Винтер» — «Финансист»... Красин Леонид Борисович. 1870. Русский, православный. Место рождения — г. Курган. Инженер. 1891 г. — исключен из СПб Технологического института...»

Надо же, у них одна альма-матер! И он, Аркадий Михайлович, тоже вынужден был прервать обучение посреди курса. Правда, за десять лет до Красина... Гартинг бежит взглядом по строчкам, отпечатанным на карточке, по датам арестов, по приметам, по номерам розыскных циркуляров. Удовлетворенно кивает и ставит на листе рядом с псевдонимом «Никитич» жирную черту-минус. Красин, без сомнения, в этом деле фигура первой величины.

Теперь он перебирает картонки в обратном направлении: «Н... М... Л... Валлах»... Эта фамилия тоже всплывает не первый раз, осела в одной из ячеек цепкой памяти Аркадия Михайловича. Так и есть:

«Валлах» — он же «Папаша», «Феликс» — Литвинов Максим Максимович. 1876 года рождения, из Белостока, в РСДРП — с момента основания партии. Привлекался к дознанию при Киевском губернском жандармском управлении по делу о тайной типографии и складах изданий РСДРП, содержался под стражей с 17 апреля 1901 года. Совершил побег из тюрьмы 19 августа 1902 года...»

А-а, это та история с побегом одиннадцати политических из Лукьяновского замка! Вот было переполоху на всю Россию! Высокие чины из департамента даже приезжали в киевскую тюрьму. Оказалось, побег был совершен во время вечерней прогулки: часового накрыли одеялом, и пока другие политические держали его с кляпом во рту, эти одиннадцать перебрались через стену по веревочной лестнице... Среди беглых были Бауман, Пятницкий и вот этот — Валлах. Никого тогда обнаружить не удалось. И никого из них тюрьма, как и следовало ожидать, не образумила. Пожалуйста: после побега Валлах — агент «Искры», член администрации «Заграничной лиги русской революционной социал-демократии», организованной Ульяновым-Лениным в Цюрихе. Недавно, всего два месяца назад, он был замечен в Штутгарте на Международном конгрессе II Интернационала. Ни много ни мало: делегат и секретарь российской группы. Тоже — жирная черта против его фамилии. Аркадию Михайловичу льстит перспектива помериться силами с таким противником. Ну-с, кто кого?

На Турпаева карточки нет. На безымянного инженера — болгарина — и быть не может. Итак, сосредоточить усилия на выявлении личностей этих двух неизвестных, дать команду филиалам в Льеже и Софии. Но главное внимание, неусыпное наблюдение — за Камо, Никитичем, Феликсом и всеми, кто окажется в их окружении. Сегодня же он распорядится завести картограммы на каждого из этих троих. Нельзя терять ни минуты, события не заставят себя ждать.

Аркадий Михайлович вставляет, как в пеналы, длинные и узкие ящики с карточками,

тщательно запирает стальные шкафы и возвращается в свой кабинет. Удобно располагается в кресле, уходит в себя, как бы растворяется в тишине комнаты. Он смотрит не видя, слушает не слыша, он весь обнаженный нерв, обостренная мысль, на ощупь и на проблески света отыскивающая ходы в темных катакомбах. В задумчивости он внедряет мизинец глубоко в ноздрю. С детства у него привычка ковырять в носу, ставшая поистине дурной и тем более непреодолимой, как любая иная дурная привычка. В обществе ему стоит немало труда сдерживаться. Но зато, когда он остается один на один с собой, он не в силах отказать себе в таком удовольствии.

Он сосредоточенно думает.

Максимилиан Иванович получил из Парижа одновременно два пакета. В одном было письмо от «Крафта» — Гартинга. Как и предполагал Аркадий Михайлович, его сообщение о Камо произвело впечатление в доме № 16 на Фонтанке. Но Аркадий Михайлович немало бы удивился, если бы имел возможность ознакомиться с содержанием второго пакета, в котором было донесение «Данде» — секретного агента, подчиненного лично директору департамента и действовавшего в Париже независимо и в полной тайне от заведующего ЗАГ. Гартинга озадачило бы не самое присутствие у него под боком неведомого сотрудника департамента — прекрасно знающий нравы российской политической службы, он понимал, что Петербург держит под контролем и его самого. Нет, его поразил бы текст донесения, почти дословно воспроизводивший — по содержанию и стилю — письмо вице-консула.

Однако у Трусевича столь разительное совпадение вызвало лишь холодную усмешку. Оно лишний раз подтверждало его давнюю догадку, что «Данде» — он же и Ростовцев — великий пройдоха, сосущий двух маток. Максимилиан Иванович никогда не видывал этого ловкача и не снизошел бы до личной встречи с ним. «Данде» достался Трусевичу от предшественника, директора департамента Лопухина. Но подозрение, что осведомитель — двойник, хотя и работающий на одно ведомство, возникло у Максимилиана Ивановича только в самое последнее время. Теперь оно подтверждалось. Выходило, что в системе одним реальным агентом меньше. Однако сведения «Данде» — Ростовцева позволяли еще более пристально контролировать деятельность Гартинга. А заведующий ЗАГ особой симпатии у Трусевича не вызывал.

Максимилиан Иванович приказал вызвать к себе подполковника Додакова.

— Прошу, — показал директор на стул. И когда Додаков беззвучно сел, пододвинул к себе депеши. — Нами получены от заграничных служб наводки на главных участников и на соучастников по тифлисскому делу. Извольте записать исходные данные и приступить к разработке означенных лиц.

Карандаш и рабочая тетрадь были уже в руках подполковника.

За эти несколько месяцев в судьбе Виталия Павловича произошли существенные перемены. В первых числах сентября он получил новое назначение — перебрался из дома на Александровском проспекте в прокуренную, дурно пахнущую от близкого соседства с общим туалетом каморку в доме на Фонтанке. Но хотя внешние условия отличались в худшую сторону, новое назначение было ступенькой-двумя выше по служебной лестнице, ибо отныне Додаков был сотрудником особого отдела департамента, и перед ним обозначились бескрайние перспективы.

Особый, или политический, отдел был самой важной и обширной частью департамента, и сотрудники его занимались наиболее секретной и ответственной работой по политическому розыску и охране. Сфера отдела была поистине безбрежна: он следил за деятельностью легальных и нелегальных политических партий и организаций в России, за настроениями и революционными выступлениями рабочих, крестьян, интеллигенции и студенчества; за брожением в армии и во флоте; за работой различных общественных организаций — профессиональных, научных, художественных и культурно-просветительских. В компетенцию особого отдела входило освещение национального движения и многое, многое другое.

При отделе находились и библиотека нелегальных изданий, и фотоотдел. Гордостью

его была коллекция фотокарточек лиц, когда-нибудь обративших на себя внимание департамента, — иными словами, каждого россиянина, хоть единожды задумавшегося над каким-либо политическим вопросом, пусть даже в благожелательном для правительства духе. («Раз начал задумываться — до добра это дело не доведет!») И на каждого из этих «думающих» чиновник департамента мог буквально в несколько минут получить из каталога особого отдела исчерпывающую регистрационную карточку с указанием номеров дел, по которым тот «проходил». Таких карточек в здании на Фонтанке хранилось без малого миллион. Короче говоря, особый отдел был всесильным, всезнающим и всемогущим. Его карающая длань была вознесена над каждым из инакомыслящих подданных империи, и только от воли департамента зависело, когда она неумолимо обрушится на злоумышленника, чье имя указано в карточке. Эти карточки располагались по определенной системе и отличались по цвету: белые были заведены на деятелей различных легальных общественных групп, в том числе и монархических, желтые — на студентов, зеленые — на анархистов, красные — на социалистов-революционеров, а синие — на социал-демократов.

Додаков имел дело только с синими карточками — на Фонтанке он продолжал заниматься исключительно РСДРП, уже не руководителем группы, а как один из исполнителей. Хоть и рядовой исполнитель, Виталий Павлович должен был теперь заново и углубленно изучать объект своих исследований — Российскую социал-демократическую рабочую партию с самого момента ее возникновения. И, приступив к многотомным «разработкам», он обнаружил, что исходным документом «Дела о РСДРП» служило донесение его первого учителя Сергея Васильевича Зубатова. В этом донесении, совершенно секретном, датированном 29 января 1899 года, за № 259, начальник Московского охранного отделения, в ту пору еще ротмистр, уведомлял особый отдел, что «по имеющимся вполне конфиденциальным сведениям, съезд представителей нескольких местных революционных организаций, на котором было провозглашено объединение последних под общим названием «Российской социал-демократической рабочей партии», происходил в г. Минске с 28 февраля по 4 марта 1898 года... Два общих собрания участников съезда (7—8 человек) имели место вечерами 1-го и 2-го марта, в одном из домов на Захарьевской улице. Предметами обсуждения съезда были заранее составленные по особой программе вопросы: о компетенции Центрального Комитета вновь образовавшейся партии, о степени автономности местных групп, их единообразном наименовании, об отношениях к партиям «социалистов-революционеров», «народных прав», «польской социалистической» и т. д. Главнейшие постановления съезда вскоре же были опубликованы во второй части известного Манифеста Российской социал-демократической рабочей партии». Да, мудрейший человек был Сергей Васильевич! Где-то в Белоруссии, а не в столицах, собирались вечером в избе семь-восемь человек — а надо же, разглядел за ними целую партию, через каких-то несколько лет ставшую самой грозной антиправительственной силой и главной, ежечасной заботой департамента!.. Поначалу Зубатову не поверили, а потом спохватились. Вот в «деле» донесения секретных сотрудников со всех съездов и конференций, отчеты о деятельности местных организаций РСДРП на фабриках и заводах, в городах и деревнях, о военных, боевых и технических группах, складах оружия и тайных лабораториях, о фракционных группировках и внутривнутрипартийной борьбе, о наиболее выдающихся ее деятелях. Поразительная картина, если смотреть на нее отсюда, сверху. И особенно поучительная, если не забывать о прошлом. Даже теперь, по прошествии стольких лет и событий, Додаков может удивляться проницательности своего первого наставника и одновременно его непростительной близорукости.

Это он, Зубатов, еще в самом начале века, когда социалистические идеи начали широко распространяться среди пролетариата, уловил нечто неизведанно-грозное как в гуле демонстраций, так и в безмолвии забастовок.

— Мы прозевали появление нового врага, — сказал однажды Зубатов на узком совещании офицеров охранного отделения. — Надо быть честными: ни в Петербурге, в министерстве и департаменте, ни мы, в отделениях, не оценили социаль-демократического



движения. А оно, на мой взгляд, в сто крат опаснее, чем террористы «Народной воли» и анархисты, вместе взятые.

Додаков, тогда еще новичок-поручик, с недоверием слушал Сергея Васильевича. Ужасные бомбисты «Народной воли», поднимавшие руку на самих государей и высших сановников империи, обуреваемые страстью к разрушению последователи Бакунина и Кропоткина — и безобидные социал-демократы, поклонники модного бога Маркса, чьими портретами были украшены комнаты и углы студентов и курсисток! Марксизмом увлекались в России самые просвещенные круги. Да и власти, сквозь пальцы глядя на новомодное поветрие, даже поощряли его, считая марксизм как бы громоотводом, противовесом народовольчеству, устрасавшему террором. И вдруг Зубатов заявляет, что эти последователи добропорядочного немецкого ученого опаснее всех злостных и тайных врагов престола!

Теперь Виталий Павлович вспоминал, как тогда, в кабинете Зубатова, он отважился и спросил:

— Какая же особая опасность таится в социал-демократах?

— Такая, милостивый государь, — терпеливо начал разъяснять полковник, — что ежели эти идеи получат развитие, то действия целого организованного класса окажутся неизмеримо ужаснее актов самых фанатичных террористов с самыми сильными бомбами. Целью их борьбы провозглашены социальная революция и диктатура пролетариата. Нам с вами эти цели кажутся бредовыми. Но вспомним, что говорил отнюдь не простак в политике Наполеон Буонапарте: «Перевороты совершаются брюхом». Иными словами, не одиночками, а массами, гложащими черствую корку и возмечтавшими о ситнике. Социаль-демократы сеют дьявольские зерна, из коих прорастет классовая рознь, а урожаем будет темное царство безграмотных и невежественных крестьян и фабричных мужиков, царство босяков и хамов. Мы с вами грамотные люди. И вы, и я, конечно же, почитывали у социаль-демократического апостола Карла Маркса, что торжество так называемой «диктатуры пролетариата» неизбежно. Но мы с вами, милостивые государи, упустили из виду, что соединение подобных идей с миллионной гущей фабричного люда представит угрозу самому существованию российского общества. Я предвижу, что начинается новая полоса в истории революционного движения в России. Но, благодарение господу, я знаю, как с этой эпидемией бороться!..

Как в ту пору казалось Додакову и другим сотрудникам Московского отделения, Зубатов действительно знал противоядие от социал-демократической инфекции. Да, устремления фабричного люда к улучшению своего положения, условий труда и быта становилось все труднее пресекать обычными мерами департамента полиции и жандармского корпуса. Однако эти устремления рабочих к организации и сплочению оказалось возможно взять под контроль властей и ценой незначительных уступок весь грозный вал повернуть в нужное русло мирного профессионального движения.

— Социаль-демократическое руководство мы подменим руководством из Гнездииковского переулка, — давал установку полковник. — Мы выработаем особую тактику и привьем рабочему люду идеологию, которая основывается на таких доступных уму самого темного фабричного мужика постулатах: царь-батюшка поставлен богом над всеми сословиями, и ему равно дорого благоденствие каждого его верноподданного; поэтому улучшить условия жизни можно, обращаясь к царю и властям. Сейчас социаль-демократы отказываются от экономизма, но именно в сторону экономического движения мы направим рабочую массу. Существуют же в просвещенной Европе монархические пролетарские союзы. Однако задуманная мною организация будет по духу истинно российской...

И вот, сообразуясь с такой тактикой, добываясь призрачных уступок у фабрикантов, Зубатов и его сотрудники стали распространителями движения, удостоившегося имени своего вдохновителя, — «зубатовщины». Социал-демократы окрестили его «полицейским социализмом». Успехи начальника Московского охранного отделения получили высокое признание. Казалось бы, все предвещало умножение их после того, как Сергей Васильевич

был переведен в Петербург и назначен заведующим особым отделом департамента. Но вот одесские рабочие, сплоченные по методу Зубатова сотрудниками местного охранного отделения в кружки и клубы, летом 1903 года организовали дружную политическую забастовку, возглавили которую именно те недостаточно проверенные личности, кои и должны были пропагандировать «полицейский социализм». Как у каждого преуспевающего деятеля, у Зубатова было немало завистников и недоброжелателей. И когда разразилась в Одессе забастовка, они обрушились на полковника: вот, дескать, что значит способствовать сплочению и просвещению черни, обхаживать ее ласкою, а не нагайкой. Да и сам высокочтимый заведующий особым отделом — не есть ли он по убеждениям соцыялист и революционер?.. К тому же вскрылось, что Зубатов участвовал в интриге против министра внутренних дел Плеве, возможно, с тайной мыслью занять его кресло. И разгневанный министр доложил императору, что виновник одесских беспорядков — без меры возомнивший о себе выскочка, действовавший самочинно. С громким скандалом Зубатов был отрешен от должности, уволен из департамента и даже сослан во Владимир, хотя вскоре ссылка была отменена и он возвратился на жительство в город, где так блистательно и скоротечно прошла его бурная деятельность.

Позже Додаков, бывая наездами в белокаменной, непременно навещал домик в Замоскворечье, где коротал дни опальный новатор. И за самоваром он не раз хотел спросить своего наставника: может быть, провал «полицейского социализма» был вызван не только нерадивостью местных чиновников, а какими-то более глубокими причинами? Может быть, в любом случае нельзя было допускать сплывания рабочих?

По обязанности Виталий Павлович знакомился с нелегальной литературой и с интересом читал все, что писали революционеры о полиции, жандармерии и «полицейском социализме». В одном из листков «Искры» он прочел:

«Мы можем и должны добиться того, что новый зубатовский поход весь пойдет на пользу социализму».

А еще спустя некоторое время та же «Искра» торжествующе оповестила:

«...вся эта зубатовская эпопея кончилась жалким крахом, сделав гораздо больше на пользу социал-демократии, чем на пользу самодержавию: одесские события не оставили и тени сомнения на этот счет».

Неужели в поединке победили они, социал-демократы, лучше знавшие истинные интересы рабочих, чем мудрый Зубатов?..

Но теперь, сам вступив в борьбу с РСДРП, Додаков привнес в него, помимо профессиональных навыков, свою личную ненависть к рабочей партии и желание отомстить ей за поражение своего учителя. Нет, уж он-то не допустит никаких сантиментов и не поддастся никаким иллюзиям!.. Хотя и рядовой исполнитель, он, став сотрудником департамента, как бы разом поднялся над узкими интересами местных охранных отделений и жандармских управлений. Теперь ему было, в сущности, все равно, кто преуспееет больше в охоте за революционерами: его бывший шеф, угрюмый полковник Герасимов или ненавистный петербургским охранникам ретивый служака из Москвы фон Коттен — лишь бы был результат.

Переход Виталия Павловича на Фонтанку прошел не совсем гладко. В последнюю минуту неожиданно заартачился Герасимов. Скупой на проявления чувств, Василий Михайлович вдруг заявил, что весьма ценит Додакова и согласится отпустить его только при равной замене. При чем преемника должен порекомендовать ему сам подполковник. Додаков перебирал в уме претендентов, ни на ком не мог остановиться, пока не всплыла на ум цинично ухмыляющаяся физиономия Петрова (после доклада о Лисьем Носе произведенного из поручиков в ротмистры). Чем не кандидатура? Исполнителен, инициативен, изобретателен. К тому же его вульгарные манеры и хамский лексикон должны импонировать

Герасимову, добавлять последний штрих в общий рисунок мрачного здания на Александровском. Сам Додаков чувствовал себя в хозяйстве Герасимова белой вороной. А этот выученик генерал-адъютанта Орлова найдет общий язык и с шефом, и с Железняковым, и с унтерами, выбивающими показания от арестованных в подвалах охранного отделения.

Петров был срочно затребован из Кронштадтской крепости, опрошен Герасимовым и вскоре занял стол Виталия Павловича. Конечно, ротмистру предстояло еще набираться и набираться опыта, и не было у него такого несравненного учителя, как Сергей Васильевич Зубатов, и молод уж очень. Но Додаков мог предположить, что познания, приобретенные Петровым в карательной экспедиции по Прибалтийскому краю, а затем и в жандармской крепостной команде, тоже чего-нибудь да стоят. Как бы там ни было, Петров теперь вершил дела на Александровском, а он на Фонтанке, и не было сомнения, что еще не раз и не два предстоит им встречаться.

Петрову же Виталий Павлович передал всех своих секретных сотрудников, ибо чиновники департамента лично с агентами не общались: филеры и осведомители состояли в штате охранных отделений и местных жандармских управлений. Передал всех, за исключением Зинаиды Андреевны. Понимая, что совершает в некотором роде должностной проступок, Виталий Павлович не в силах был перебороть себя. Сама мысль о том, что Зиночке предстоит встречаться с Петровым на конспиративной квартире, была нестерпима. Он вспоминал, как плескался Петров в мелкой воде после казни на Лисьем Носу, видел его гладкое, в легком жирке, тело, самоуверенную физиономию и понимал, что уж этот-то прохвост не преминет воспользоваться неожиданным подарком. И всего обидней, что он-то и сможет понравиться этой сумасбродной девчонке — такие гладкие наглецы со стальными глазами и нравятся.

Нет! По крайней мере, до тех пор, пока не выявятся определенно его взаимоотношения с Зиночкой. Никакого же движения в них не было. Он предупредителен и заботлив, она настороженна и мила, и только. С переходом его в департамент служебная надобность во встречах отпала. К тому же главный интересующий его объект — инженер Красин так и не появился в правлении «Общества электрического освещения»: все пребывал в Куоккале, ссылаясь на затянувшуюся болезнь. Ко всему прочему Додаков лишился и всех своих конспиративных квартир, также принадлежавших ведомству Герасимова. Продолжать встречи с Зинаидой Андреевной без служебного повода и при ее выжидательной позиции — значило принять на себя окончательное решение, которого он, по совести говоря, побаивался. Быть на содержании она откажется — он недвусмысленно уже наводил на это. Жениться?.. А его карьера, его положение в корпусе и обществе?.. Может быть, страсть утихнет, и он оставит Зиночку без сожаления? Может быть... Но он не видел девушку всего месяц, а страдал все мучительнее. Кончить все разом — отдать ее Петрову?.. Эта язвущая самолюбие мысль ранила острее штыка. Да неужто он, подполковник корпуса, кавалер орденов, столь блистательно поднимающийся вверх, состоятельный и не урод, не дурак, не может покорить какую-то мешанку или придумать что-нибудь такое, перед чем она не устоит, какие бы дерзко-честолюбивые планы ни строило ее воображение?.. Но до сих пор он ничего придумать не мог. И единственное умиротворение находил в работе.

Цепкий и находчивый ум его был легок на конструирование отнюдь не стандартных схем розыска и наблюдения. И теперь, в пересказе директора департамента ознакомившись с донесениями из Парижа (Трусевич не назвал Додакову клички ни одного, ни другого осведомителя), Виталий Павлович мог лишь возблагодарить судьбу за свою выдержку и за парадоксальную мысль, пришедшую ему в голову три месяца назад, когда он еще нес службу на Александровском. Да, словно бы предвидел он, какая забота ляжет на него в ближайшем будущем.

Дело в том, что депеша «Данде» в одной фразе отличалась от письма Гартинга, составленного на основании донесения Ростовцева. И в этой фразе говорилось, что Камо-Мирский встретился и поддерживает постоянные контакты с недавно прибывшим из России в Париж неким Владимировым, который, судя по всему, был знаком Камо-Мирскому

и ранее. Этот молодой человек, примерно двадцати лет от роду, как удалось вывести источнику, был студентом Петербургского технологического института.

— Ваше превосходительство, — поднялся со стула, вытянулся Виталий Павлович. — Обозначенный в наводке Владимиров — без сомнения, студент Технологического института Антон Владимиров Путко, имеющий непосредственное отношение к тифлисской экспроприации. Генерал Герасимов по моему предложению разрешил студенту выезд за границу. Паспорт был беспрепятственно выдан Путко для того, чтобы, продолжая наблюдение за ним в Европе, выявить все связи злоумышленников. Тем более что Путко не подозревает о надзоре.

— Живец? — оживился Трусевич, бывший на досуге превеликим любителем тихих омутов, мормышек и блесен.

— Так точно, ваше превосходительство.

— Что ж, подполковник, представьте предложения по дальнейшему ходу расследования.

### ГЛАВА 3

Феликс и Семен встретились в Вене, в отеле «Националь».

Перед тем они вдвоем побывали в Льеже, где болгарин-эмигрант Борис Стомоняков помог им разместить заказы на оружейных заводах. Феликс остался в Бельгии, а Камо отправился в Вену, Белград и Цюрих. В каждом из этих городов он выяснял возможности закупки оружия и транспортировки его различными путями в Россию. От осведомленных людей Семен узнал, что македонский революционер Наум Тюфекчиев, живущий в Софии и даже служащий в болгарском военном министерстве, изобрел новое взрывчатое вещество огромной разрушительной силы. Камо встретился с Тюфекчиевым. После этого он и вернулся в Вену, где в «Национале» его уже поджидал Литвинов, записавшийся под именем минского купца Павла Поллачека.

В номере отеля Семен показал товарищу на сундук:

— Хорош, а?

Сундук был деревянный, с узорной латунной оковкой и литыми изогнутыми ручками.

— Так и прыгает в глаза, а? — Камо цокнул. — Если очень бросается, никто ничего не заметит.

Он повернул ключ. Замок оказался с музыкой. Прозвучала мелодичная фраза, что-то щелкнуло, и крышка приподнялась.

— На пружинах! По специальному заказу сделан, второго такого на всем свете не сыщешь!

Камо охапкой выбросил из него на пол вещи, нажал изнутри на какую-то планку, и приподнялась нижняя доска. Под ней, на потайном дне, лежали плотно уложенные капсулы, круглые бомбы-македонки, какие-то пластины и мешочки.

— Отвезу в Авчалы, попробуем, как и что, — с удовольствием еще раз обозрел он свое богатство. — Скоро пригодится, а?

— Думаю, не очень скоро, но пригодится обязательно, — ответил Феликс.

По совести говоря, сундук ему не очень понравился. Действительно, «прыгал в глаза». Но спорить с Семеном было бесполезно. Тем более что предстоял нелегкий разговор.

— Как будем дальше? — Камо побренчал мелочью в кармане.

Литвинов понял:

— Да, денег больше нет. Остались только неразменные. Но за них я опасаюсь.

Сто пятьдесят тысяч рублей из двухсот пятидесяти, захваченных группой Камо, были в мелких и, главное, уже обращавшихся бумажках с разными номерами и сериями. Почти все

эти деньги Большевистский центр предназначил для расходов на нужды партии в самой России. Те же суммы, которые были выделены на закупку оружия за рубежом, Семену и Феликсу удалось без всяких помех обменять в разных странах на местную валюту. А вот остальные сто тысяч тифлиского экса — 200 билетов пятисотрублевого достоинства каждый — были новенькими купюрами прямо из-под печатного станка. Их еще предстояло обменять.

— Опасаюсь, что это будет не так-то просто.

— Придумаем, дорогой, неужели мы с тобой и не придумаем? — широко улыбнулся Семен. — Вот вернусь с Кавказа — и придумаем!

— С Кавказом тебе придется подождать... — Литвинов сказал это легко, как само собой разумеющееся.

Но Семен сразу насторожился:

— Это еще почему?

— Что сказал тебе наш доктор? — вопросом на вопрос ответил Феликс.

— Что сказал, что сказал! Ты всегда слушаешь докторов, Феликс, дорогой? Если их слушать — ложись и помирай!

— А все же?

— Яков сказал: не совсем очень хорошо.

— Не ври. Он сказал: очень плохо, я сам спрашивал у Отцова. А если запустить — без глаза останешься, вот что он сказал!

Семен понуро опустил голову:

— Без глаза мне нельзя... Честное слово, приеду домой — вылечу.

— Пойми, Семен, в России тебе к врачам обращаться нельзя. Если охранка что-нибудь разнохала, тебя ищут. В России тебе придется каждый день менять явки, города. А тут надо недели две полного покоя. — Литвинов говорил мягко, убедительно.

— Согласен, — сказал Камо. — Вернусь с Кавказа и к какому хочешь Гиппократу пойду, пусть хоть в лечебницу кладут.

Феликс вздохнул и совсем другим тоном, жестким, не допускающим возражений, отрубил:

— Нет. Приказ: сначала вылечишь глаз и руку.

— Чей приказ? — вскинулся Камо.

— Мой. Если тебе мало: Никитича и Большевистского центра!

Кавказец с остервенением хлопнул крышкой сундука. В музыкальном замке завибрировала жалобная нота. Но он сдержался, промолчал. Литвинов же, словно ничего и не заметив, продолжил:

— Отсюда поедешь в Берлин. Вот тебе адрес. Яков со дня на день тоже туда подьедет и устроит тебя на лечение к тамошнему окулисту, лучшему в Европе.

Он с неприязнью посмотрел на сундук:

— Но таскать с собой это произведение искусства небезопасно.

— Я ведь тоже купец, — угрюмо отозвался Семен.

— Хорош товар, ничего не скажешь... Приедешь в Берлин — и как можно скорей отправь его. Или через Федора, или по морю, на Финляндию. А я подошлю тебе в помощь Владимирова.

— Подсылай, — скучно сказал Камо, поднял крышку и начал укладывать в сундук одежду. Когда запер, снова прозвучала мелодия.

— А если честно: болит? — спросил Феликс.

— А, вырвал бы и еще плюнул! — взорвался, даже топнул ногой кавказец. И неожиданно признался: — Соскучился я, понимаешь? Как там девчонки, откуда я знаю?

Вот оно в чем дело! Он скучает по сестрам. Феликс знал о семье друга, как-то Семен раскрыл душу. Рассказал, каким самодуром и деспотом был отец, богатый скототорговец, какой беззащитной и забитой была мать, отданная замуж в пятнадцать и родившая его, первенца, в шестнадцать. Семен боготворил ее и, когда подрос, всегда защищал от отца. Она

рожала детей каждый год. Из двенадцати в живых остались пятеро, он и младшие сестры. Мать умерла рано, отец разорился и бросил семью, и все заботы легли на него, старшего сына. Теперь уже и девочки подросли, старшая из них, Джавоир, — участница его боевых операций. Он здесь, но они-то там, и неизвестно, что с ними.

Литвинов взял его за плечи, прижал к себе, как маленького:

— Хорошо, вылечишься и сразу же поедешь. Но надо потерпеть, понимаешь?..

«Камо Берлине хранит своей комнате в чемодане двести капсулей бомб, заготовленных для миллионной экспроприации в России, о чем знают лишь Никитич и Валлах. Ввиду крайней трудности проследить за чемоданом, который будет отправлен на днях в Финляндию, единственный исход обыскать Камо Берлине, задержать и требовать выдачи; прошу срочно ответить, дабы я успел сейчас туда ехать для переговоров властями...»

Трусевич прочел телеграмму из Парижа и вызвал Додакова.

Протянул ему бланк:

— О миллионной экспроприации — это Гартинг цену набивает. Но обстановка осложняется. Если Камо смог обойти все наши капканы здесь, то где гарантия, что он не проведет и Гартинга?

Виталий Павлович подождал, не разовьет ли свою мысль директор, но, поняв, что Максимилиан Иванович, напротив, ждет его соображений, сказал:

— Опасения заведующего ЗАГ понятны, ваше превосходительство. Но с преждевременным арестом Мирского-Камо может оборваться нить, которая заманчиво обещала вывести нас к самым главным деятелям заграничного Центра большевиков.

— Что же вы предлагаете? — нетерпеливо потряс листком Трусевич. — Выпустить? А кто нам простит, если эти бомбы появятся в столице и, упаси бог!..

Он многозначительно вскинул глаза:

— Какими мотивами вы будете тогда объяснять нашу медлительность? К тому же Камо, бесспорно, главный в тифлисском деле, а государь уже теряет терпение.

У Додакова болезненно засосало под ложечкой: так прекрасно придуманное им и уже начавшее осуществляться предприятие рушится. Пытаясь спасти его, он начал исподволь:

— Ваше превосходительство, меня заботит: мы сможем доказать участие Камо в экспроприации?

— В нашем распоряжении лишь агентурные донесения. Конечно, на суд мы их не понесем, — вроде бы согласился директор, но тут же и отверг: — Для Петра Аркадьевича и государя этого довольно, а для суда что-нибудь придумаем.

Виталий Павлович снова повел атаку обходным путем:

— А может быть, при Камо-Мирском — и похищенные суммы?

— Сомневаюсь. Источник знал бы это, он весьма близок к поднадзорному.

— В таком случае не чрезмерно ли мы спешим, ваше превосходительство? — решился Додаков.

— Нет, — сухо ответил директор. — Постараемся выжать максимум положительного и из этой ситуации. Определенных целей мы достигнем. Как вам известно, после майского съезда социал-демократов в Лондоне большевики во главе с Ульяновым предпринимают усилия к сплочению партии. Умело организованная кампания в прессе в связи с арестом большевика-экспроприатора поможет нам углубить раскол, ибо меньшевики осуждают насильственные действия. Кроме того, бомбы в чемодане произведут нужное нам впечатление на общественность Европы.

— И заставят эмигрантов быть более осторожными. Неужели нет иной возможности, ваше превосходительство? — Додаков сопротивлялся, не щадя живота. — Осмелюсь посоветовать, ваше превосходительство, — прежде чем предпринять меры к задержанию Камо, заведующий ЗАГ должен выяснить, где хранятся деньги тифлисского экса.

Трусевич понимал, что соображения подполковника резонны, хотя и чувствовал, что в его настойчивости — какая-то иная, невысказанная цель. Это его мало заботило. Страшило другое: случись что — Гартинг окажется чист, мол, предупреждал, и не единожды. А играть на руку Гартингу директор департамента не был намерен. Этим и объяснялась резкость тона, каким он отверг резоны своего нового сотрудника:

— Обе задачи Гартинг и мы будем решать одновременно. Запросите особый отдел канцелярии заместителя о всех компрометирующих материалах на Камо. Они понадобятся при предъявлении требования об экстрадиции<sup>16</sup>. Исполняйте.

Додаков понял, что разговор окончен.

— Будет исполнено, ваше превосходительство! — четко ответил он.

В тот же день в Париж была послана директорским шифром телеграмма:

«Поезжайте Берлин. Войдите соглашение полицей-президентом».

Иными словами, Трусевич разрешил Гартингу действовать по собственному усмотрению.

Прямо с вокзала Аркадий Михайлович поспешил с визитом к полицей-президенту.

В Берлине он не был давно. И теперь, направляясь по Унтер-ден-Линден к зданию рейхстага, в правом крыле которого располагалось управление германской полиции, он с интересом смотрел по сторонам. Хотя в чопорно-монументальной картине немецкой столицы ничего нового не обнаруживалось, Аркадию Михайловичу все же казалось, что и дома, и бульвары, и сами жители выглядят иначе, чем раньше. Или все зависело от того, как он сам смотрит на них?.. Ведь этот город был знаком ему досконально. Здесь Гартинг пять лет возглавлял берлинский филиал заграничной агентуры и успехами в борьбе с эмиграцией, особенно в выявлении путей транспортировки литературы и оружия в Россию, обеспечил себе назначение в Париж, на авеню Гренель. Именно в Берлине проявились его способности в организации «внутренней агентуры». Аркадию Михайловичу удалось внедрить осведомителей во все без исключения группы русских эмигрантов, представлявших антиправительственные партии и их заграничные центры. Из первых рук он получал отчеты о всех заседаниях, конференциях, принятых решениях и намечаемых действиях.

Тогда же, в 1902 году, он завербовал и члена социал-демократической партии, получившего у него кличку «Ростовцев»; в период раскола партии прозорливо порекомендовал ему присоединиться к фракции большевиков — понял, что они-то и будут играть первую скрипку в революционном оркестре. Впрочем, еще до службы в заграничной агентуре Ростовцев состоял на содержании у германской имперской полиции, и Аркадий Михайлович просто перекупил его, дав отступного берлинским чиновникам, а ему положив на сто марок в месяц больше, чем прижимистые немцы. Тогдашний директор департамента Зволянский отметил в докладе товарищу министра внутренних дел князю Святополк-Мирскому:

«Со времени поступления на службу Ростовцева сообщения берлинской агентуры сделались особенно содержательны и интересны».

В Берлине Ростовцев вошел в транспортную группу ЦК РСДРП. Это давало департаменту не только сведения об отправляемой нелегальной литературе, но, что было еще более важным, многие адреса, явки и пароли в самой России. Ростовцева же Гартинг направил в конце 1903 года в Швейцарию — для выяснения всех обстоятельств, связанных с расколом в редакции «Искры». Этот осведомитель освещал и III съезд РСДРП. А затем,

---

<sup>16</sup> *Экстрадиция* — выдача иностранному государству лица, нарушившего законы этого государства.

когда Аркадий Михайлович перебрался в Париж, Ростовцев под благовидным для большевиков предлогом тоже переехал в столицу Франции.

Аркадий Михайлович принадлежал к типу руководителей, которые не стремятся приписать себе успехи своих подчиненных, а, наоборот, всячески поощряют их перед вышестоящим начальством, резонно полагая, что и в глазах вершителя хорош не тот должностной чин, который сам делает все, а тот, кто заставляет ревностно служить других. Из года в год Гартинг добивался у дирекции прибавки к жалованью и увеличения наградных для Ростовцева. Однако, превознося заслуги агента, Аркадий Михайлович не поступался и своими интересами. Он трезво рассудил, что осведомленности сотрудника хватило бы на двоих агентов, и зачислил этого «второго» в штат, нарек «Киевлянином» и ежемесячно получал жалованье и за него, а когда представлял к наградным, то и награжденные. Уличить Аркадия Михайловича было невозможно, так как никто, кроме заведующего ЗАГ, не знал и не имел права знать ни Ростовцева, ни его мифического двойника.

Ростовцев и вывел Гартинга на неуловимого организатора тифлисской экспроприации: сам Камо рассказал об этом осведомителе, которого в среде эмигрантов считали безукоризненным товарищем. От Камо и от других большевиков сотрудник агентуры выведал и о планах закупки оружия. Пока агенту не удалось узнать истинного имени молодого героя, а также выяснить, вывезены ли уже все деньги из России или нет. Аркадий Михайлович не собирался форсировать события: Ростовцев должен действовать с предельной осторожностью, чтобы не навлечь на себя ни малейшего подозрения. И вдруг облегчил задачу сам Камо, задержавшийся в Берлине на лечение после возвращения из Вены. При встрече с Ростовцевым он показал «верному другу» сундук с двойным дном и даже сказал, что в самое ближайшее время сундук будет отправлен в Россию. Вот простота!..

Со смешанным чувством удовлетворения и озабоченности выверял Гартинг по дороге в полицейский-президиум фразы из телеграммы директора. Они означали: «Ты знаешь это дело лучше нас — тебе и карты в руки». Или: «Принимай на себя всю ответственность, а мы потом разберемся». Что ж, чутье подсказывало ему, что сейчас надо действовать без промедления.

Взглянув на визитную карточку, поданную секретарем, полицейский-президент принял его тотчас.

— Смею вас уверить, глубокоуважаемый герр Гартинг, что имперские власти Германии озабочены деятельностью анархистов не менее, чем власти российские. Борьба с врагами монархического правопорядка — наша общая задача. Разрешение на обыск у Деметриуса Мирского, а в случае обнаружения взрывчатых устройств — и на его арест, я дам. По законам Германской империи Мирский при наличии улики будет заключен в тюрьму.

— Как вы сами превосходно понимаете, глубокоуважаемый герр президент, наше правительство будет крайне заинтересовано в выдаче преступника.

— Я полагаю, глубокоуважаемый герр Гартинг, что августейшие кузены найдут общий язык.

Они смотрят друг на друга. Холодно блестит монокль в глазу президента. Холодно и лицо Гартинга: два высокопоставленных чиновника двух дружественных государств. Но каждый знает цену другому: оба начинали карьеру с должностей мелких полицейских агентов и в том качестве, еще на заре юности, оказали один другому немало услуг, уповая на святой принцип: долг платежом красен.

Услуги услугами, но не следует и чрезмерно переоценивать их: Гартинг не намерен сообщать полицейскому-президенту, кто именно скрывается под паспортом Деметриуса Мирского, купца, австрийского подданного. При малейшей неосторожности немцев это может повредить его ценнейшему агенту.

— Как вы сами великолепно понимаете, глубокоуважаемый герр президент, нам было бы крайне нежелательно, чтобы в ваших действиях усматривалась связь с моим визитом в Берлин. Кстати, это умалило бы и заслуги подведомственного вам высокого учреждения.

Шеф германской полиции снисходительно кивает, монокль его тускло блестит, отражая



искаженное лицо Гартинга. Но в скрипучем голосе его, а главное, в произносимой этим голосом фразе звучит нотка благодарности:

— Это вполне соответствует и нашим интересам, глубокоуважаемый герр Гартинг. Как вы полагаете, когда следовало бы произвести обыск?

— Хотя я еще не получил прямого указания из Санкт-Петербурга, но считаю, что без промедления, глубокоуважаемый герр президент. И последнее, на чем хотелось бы акцентировать внимание: купец Мирский, конечно же, никакой не революционер, а чисто уголовный элемент, не так ли?

Президент кивает. Монокль выпадает. Глаз у президента искусственный. Настоящий он потерял давно, в какой-то полицейской переделке.

Виктор передал Путко, что Феликс просит его немедленно выехать в Берлин и явиться по адресу: Эльзассерштрассе, 44. В этом доме остановился австриец-торговец Деметриус Мирский, с которым студенту нужно встретиться. Кто он, зачем и почему именно Владимирову предложено ехать в Берлин, Виктору неизвестно, и сам юноша узнает обо всем этом на месте.

...Поезд прибыл на вокзал Альбертбанхофф поздно вечером. Антон не знал, ждать ли утра, переночевать где-нибудь в отеле или сразу отправляться на Эльзассерштрассе. Феликс передал: «Немедленно». Лучше идти сейчас же. Словоохотливый старожил-берлинец, снизошедший к его ломаному немецкому, объяснил, как найти улицу, благо она недалеко от вокзала.

Город был погружен в темноту. Горели редкие газовые и электрические фонари. В Париже, когда Путко выезжал, было безоблачно и тепло, а здесь накрапывал осенний холодный дождь.

Эльзассерштрассе — неширокая скромная улица — была сумрачна и пустынна, но у дома № 44 маячило несколько фигур. Мужчины в черных плащах прохаживались вдоль фасада. Тут же, в стороне от подъезда, под стриженными липами стояли две кареты с глухо зашторенными окнами. Все это Антону не понравилось. Однако же он с независимым видом прошел мимо них в подъезд, с темноты показавшийся освещенным особенно ярко. Видимо, в доме находился дешевый пансион. Тут же в вестибюле было несколько столиков. За одним из них сидел пожилой мужчина, смуглолицый, с шапкой легких седых волос, он отпивал маленькими глотками кофе и листал иллюстрированный журнал. Из вестибюля вела вверх винтообразная лестница. У нижних ступеней ее стоял парень в плаще, руки в карманах.

Антон подумал: «У кого спросить о Мирском — у парня или у старика?» — и направился было к седоголовому, решив, что он-то и есть хозяин заведения, как в это время сверху, с лестницы, послышался шум многих шагов и голоса. Парень в плаще выпрямился, как солдат на плацу, даже сдвинул каблуки.

Спускающиеся преодолели последний виток лестницы — и к ужасу своему в тесном окружении черных фигур Антон увидел Семена. Руки Камо были вытянуты вперед и перехвачены никелированными обручами. Замыкали шествие двое дюжих мужчин, с трудом несших за литые ручки большой, окованный узорной латуней сундук.

Путко сделал невольное движение к другу. Но в вестибюле он был уже не один — набежала прислуга, постояльцы. Они охали, в испуге и изумлении смотрели на полицейских.

Камо свирепым взглядом обвел помещение и словно бы ткнул им, остановил Антона. Глаза его были налиты кровью.

— Es sollen alle wissen! Das ist doch eine Provokation! Ich mu&#223; ein paar Zeilen an den Bruder schreiben! — крикнул он, лицо его искажилось гримасой боли.

— Schweigen Sie! — оборвал его криком старший, и они двинулись к дверям.

Белоголовый мужчина, сидевший за столиком, отставил чашку, долгим взглядом проводил группу и снова углубился в иллюстрированный журнал.

Антон с великим трудом пересилил желание броситься вслед за товарищем.

— Что случилось? Кого поймали? — набросились постояльцы и прислуга с

расспросами на спустившихся с полицейскими понятых. Среди понятых был и взмокший от пота, с прилипшими к лысине прядями толстяк в широких подтяжках.

— Хозяин, этот парень ограбил банк? У него в сундуке алмазы?

— Хуже! Боже милостивый, гораздо хуже!

Антон с трудом понимал, о чем они кричат. Но этот взмокший толстяк, наверное, хозяин пансиона.

— Что здесь происходит? — по-французски спросил он.

— Ужас! Ужас! Вы видели сундук? Он был полон адских машин и бомб! Страшно подумать! А если бы они у него взорвались? Боже милостивый, а такой приличный на вид господин!..

— Что он крикнул?

— Что он крикнул! Крикнул, что это провокация, что он хочет оставить записку какому-то брату. Откуда брату, если он жил тут один? О боже, какой ужас!..

«Брату!..» — болезненным эхом отозвалось в сердце Антона.

## ГЛАВА 4

Той же ночью из Берлина Гартинг отправил директору департамента полиции телеграмму:

«Получив указания, что Мирский должен сдать кому-то чемодан для перевозки в Россию и уехать нелегально в Финляндию, я был вынужден, не получив ответа на мою вчерашнюю телеграмму, просить утром полицей-президиум о его задержании. При обыске найдено более 200 запалов, много электрических препаратов для производства взрыва, коробка неизвестного взрывчатого вещества в листках... Переписки не обнаружено. Соображениями агентуры я назвал лишь фамилию Мирского, но не Камо...»

Первым же поездом он выехал в Париж. Утро застало Аркадия Михайловича в кабинете на авеню Гренель.

Усталости он не чувствовал. Наоборот, как скакун высокой породы томится в стойле и легко дышит в стремительном галопе, так и он увядал от серого мелкотемья и расцветал в дни больших дел.

С послом Нелидовым Гартинг был в сугубо деловых отношениях. Аркадий Михайлович чувствовал, что в глубине души этот сухопарый лощеный вельможа, продумывающий за сутки вперед все фразы, которые намерен произнести, презирает его за плебейское происхождение, за импульсивность и за все другое, что было ему известно, но в то же время не может не считаться ни с его положением, ни с его заслугами и связями. Гартингу же претили чванливость посла, его чрезмерная осторожность, свидетельствовавшая о робости или ограниченности. Но чрезвычайный и полномочный есть чрезвычайный и полномочный, да еще в столице Франции, да к тому действительный тайный советник, чин второго класса, в перспективе — министр или даже канцлер. По всему этому, вернувшись из Берлина, Аркадий Михайлович уведомил Нелидова об аресте Камо, отнюдь не вдаваясь в подробности, единственно ради того, чтобы посол узнал об этом от него, а не через службу министерства иностранных дел, и не остался в обиде.

Нелидов выслушал, не выказав ни малейшей заинтересованности или просто любопытства. И отчужденный его взгляд из-под полуприкрытых истонченных пленок век как бы лишний раз показал: «Не хочу мараться в вашей грязи, мое дело — высокая политика».

Аркадий Михайлович, сухо поклонившись, вышел из кабинета посла. Настроение его

не омрачилось. Наоборот, вернувшись к себе, он с воодушевлением приступил к работе. Достал из сейфа лист с водяным знаком Меркурия и вертикальной жирной палочкой перечеркнул минус против фамилии Камо. «Плюс в мою пользу или крест на судьбе злоумышленника», — подумал он. Улики налицо. Камо — в камере следственной тюрьмы. Вопрос о выдаче его российским властям — дело времени. Он, Гартинг, свою миссию выполнил. Он не сомневается, что августейшие кузены столкнутся полюбовно и «австрийский подданный» угодит на виселицу. «Молод и горяч, всего-то двадцать четыре от роду», — вспомнил он лицо арестованного в вестибюле пансиона. И ему сделалось даже жаль парня. Вот так и исчезают в небытие, еще и не начав жить, — «вкушая, вкусих мало меда, и се аз умираю», — потому что там, наверху, богиня судеб по неожиданной прихоти своей обрывает нить. В данном случае роль провидения сыграл он, Гартинг... Что этот юноша кричал о провокации и привет брату? Напрасно немцы не разрешили ему оставить записку. А хотел ли он оставлять? Кавказец достаточно опытен, хотя и чрезмерно доверчив. Может быть, этим восклицанием он хотел кого-то о чем-то предупредить? Как бы там ни было, на нем — крест, и теперь на очереди Валлах-Литвинов.

Гартинг достает белый картонный квадрат с цветными кружками — картограмму, внимательно изучает ее. Валлах и его связи достаточно ярко высвечиваются и снаружи, и изнутри, хотя здесь, в Европе, это делать гораздо труднее, чем в отечестве, где на службу полиции поставлены все ведомства. От кружка в центре — «Феликса» — россыпь кружков по всему картону: «Виктор», «Петр», «Отцов», «Дядя Миша», «Юрий»... Связи Валлаха обширны: не только почти все, за малым исключением, эмигранты социал-демократы фракции большевиков, но и многие деятели социалистических партий других стран, такие, как Либкнехт в Германии, Гюисманс в Бельгии, Жорес в самой Франции. Где он, Феликс, в настоящий момент? Бесспорно одно: в Париже он после венской встречи с Камо больше не появлялся. Иначе не миновать ему ни Ростовцева, ни тем более филеров Генриха Бэна, старшего инспектора сыскной полиции Парижской префектуры, исполняющего одновременно (конечно же, в глубокой тайне) обязанности руководителя службы наружного наблюдения в ведомстве российского вице-консула. Гартинг приказал Бэну, чтобы его молодцы в эти дни дежурили на всех вокзалах и не выпускали из-под наблюдения квартиры наиболее важных большевиков.

Но что же предпринять, чтобы и Валлах попался в сети? Конечно, самым лучшим было бы схватить его вместе с Камо. Может быть, и следовало подождать с арестом кавказца? Не хватило выдержки? Нет, медлить было нельзя. Но теперь большевики сделают выводы. К тому же Валлах отнюдь не простодушен и доверчив, да и Ростовцев совсем не в таких близких отношениях с Феликсом.

За время, пока Гартинг был в Берлине, от осведомителя поступили немаловажные сведения. В одном письме — обстоятельная справка на Камо: о его родителях, сестрах, о боевых операциях, в которых он участвовал, в том числе и подробности тифлисской экспроприации. Ростовцев пишет, однако же, что других участников Камо не называл даже в самых доверительных беседах, как не проговорился и о своем настоящем имени. Осведомитель подтверждал, что среди большевиков Камо был известен как «в высшей степени ловкий, хитрый и находчивый организатор всяких технических предприятий, что он пользовался у товарищей громадным уважением». Эпитеты Аркадию Михайловичу были ни к чему, но новые сведения, раздобытые агентом, помогли установить личность арестованного и его связи в Петербурге и на Кавказе.

В столице должны были заинтересоваться и еще одним донесением, которое подготовил Аркадий Михайлович к отправке на Фонтанку.

Директор Трусевич изучает очередную депешу, только что поступившую из Парижа:

«У большевиков в настоящее время, как достоверно известно, имеется 100 000 рублей, экспропрированных Камо в Тифлисе, которые, возможно, до сих пор сохраняются у Никитича в С.-Петербурге. Выяснение этого обстоятельства продолжается...»

Да, с этим инженером тоже пора кончать. Максимилиан Иванович делает пометку для особого отдела:

«Надо Никитича во что бы то ни стало арестовать, о чем написать генералу Герасимову».

Заведующий особым отделом подполковник Васильев со своей пометкой передает распоряжение директора подполковнику Додакову, в непосредственном производстве которого находится тифлисское дело. А Виталий Павлович, уже с третьей резолюцией, пересылает его с фельдъегерем на Александровский проспект, своему бывшему начальнику, теперь как бы оказавшемуся у него в подчинении.

У генерала Герасимова предписание с Фонтанки вызвало мстительное удовольствие. Он доподлинно знал, что Никитича ни в столице, ни в зоне деятельности петербургского отделения нет. А где он? Вот теперь пусть и попрыгает дружок фон Коттен!.. Василий Михайлович тут же настроил ответ в департамент, и днем позже его бывший подчиненный подготовил на подпись начальнику новый вариант распоряжения, на этот раз на имя начальника Московского охранного отделения:

«В департаменте полиции получены указания, что часть денег, похищенных в г. Тифлисе 13 июня с. г., находится в распоряжении фракции большевиков и сохраняется у члена Центрального Комитета Леонида Борисова Красина (Никитича), который состоит в постоянных сношениях с Меером Валлахом по приобретению за границей и водворению в Россию оружия для революционных целей.

Сообщая об изложенном, департамент полиции предлагает во что бы то ни стало арестовать Красина, который, по донесению начальника СПб охранного отделения, выехал по партийным делам в г. г. Москву и Иваново-Вознесенск, и о последующем уведомить».

У Виталия Павловича закрадываются сомнения: вряд ли честолюбивый и исполнительный Василий Михайлович хочет подбросить Коттену такую сахарную косточку. Если бы он точно знал место пребывания Красина, он бы приказал своим оперативным сотрудникам арестовать его, будь то даже у самых дверей дома на Гнездиновском. А впрочем, пусть грызутся!..

Между тем к Трусевичу начинают поступать сведения об аресте Камо уже через министерство иностранных дел и непосредственно от германских властей, приступивших к проведению следствия. Максимилиан Иванович принимает условия игры, предложенные Гартингом: о личности задержанного на Эльзассерштрассе ему ничего не известно. В таком духе он и отвечает полицей-президенту, покорнейше прося его сообщить подробности относительно обыска, произведенного у Деметриуса Мирского, а также выслать образцы найденных у него приборов. Глава берлинской полиции без замедления сообщает ему обо всех деталях ареста и прилагает фотографии арестованного анфас и в профиль.

Гартинг просматривает газеты, полученные из Берлина. На первых полосах под кричащими заголовками — сообщения об аресте опасного преступника. Версия, которую предложил репортерам полицей-президент, как нельзя более устраивает Аркадия Михайловича: в ней нет и намек на участие заграничной агентуры и тем более осведомителя: мол, сами берлинские власти выследили наконец этого человека, занимающегося закупками взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов для преступных целей. Что ж, коллеги с немецкой точностью выполняют обещание.

Но берлинский агент Гартинга (служащий в самом германском комиссариате полиции) уведомляет и о другом факте: коллеги утаили, что у Мирского была обнаружена записная

книжка с многочисленными адресами. Ну и хитрецы! Ничего, тот же агент сообщает, что снял с книжки копию.

Между тем Ростовцев попросил о внеочередной встрече в связи с чрезвычайно важными обстоятельствами. Агент зря такими словами не сорит.

Встреча состоится через три часа. Аркадий Михайлович готовится к ней с бо-льшими предосторожностями, чем если бы ему предстояло свидание с любовницей на глазах у Мадлен. Гартинг убежден, что ни одному эмигранту-революционеру не известна его истинная роль. Но как вице-консула его не могут не знать, и встреча большевика тет-а-тет с императорским дипломатом равносильна политической смерти для эмигранта. В маленькой гардеробной позади своего кабинета он надевает парик, тонирует лицо, меняет костюм, туфли и шляпу. Даже фигура, походка становятся иными. На что уж проницателен ливрейный Кузьма, но и он равнодушным взглядом провожает одного из посетителей консульства.

Они сидят в уютной комнате небольшой квартиры, которую снимает Аркадий Михайлович за счет департамента на тихой улочке Телье за Сеной. Особенность квартиры в том, что у нее два выхода — и ни один не находится под присмотром любознательных парижских консьержек. У Ростовцева и Гартинга отдельные ключи, приходят они в разное время и встречаются уже в гостиной.

Приятный, раскрепощающий час свободы, когда даже грим на лице и приклеенная борода не мешают быть самим собой, — редкая роскошь, которую Аркадий Михайлович не может позволить себе ни в консульстве, ни тем более дома. А с Ростовцевым он может держать себя открыто — они связаны неразрывно, как сиамские братья, и служат они одному богу. Разница в том, что Ростовцев еще относительно молод. Но пойдет он далеко, хотя о таких высотах, каких достиг Гартинг, ему, конечно, и мечтать не приходится: не те времена, да и, без ложной скромности, задатки не те. Вездесущ, памятливы, безукоризненно ведет себя среди «товарищей», но нет дерзости и широты, поэтического наития. Даже трусоват, пожалуй. Впрочем, оно и к лучшему: отсутствие самостоятельности он компенсирует исполнительностью.

Сейчас Ростовцев откинулся в кресле, попыхивает сигарой. Тоже наслаждается. В кругу нищих эмигрантов небось мусолит мерзкие папироски. И о «Наполеоне-Карвуазье» может лишь мечтать за стаканом дешевого алжирского. Не чересчур бы хорошо от него пахло, когда вернется к своим! Ничего, на дорогу пожует луку или чесноку...

Ростовцев пришел не ради желания увидеть своего шефа. И не ради того, чтобы уведомить о немаловажном факте: Валлах объявился в Финляндии. Это он мог сообщить и по каналам связи, не подвергая себя риску.

— Большевистский центр предложил мне срочно выехать в Россию для встречи с Никитичем, — огорошивает он Гартинга, с удовольствием пуская сизую струйку дыма к потолку.

— Вот как! А с какою целью?

— Узнаю на месте. Хотя и догадываюсь: деньги.

— Вы хотите сказать, что у Никитича — те самые злополучные сто тысяч?

— Вполне возможно. И не исключено, что он поручит вывезти их из России именно мне.

— Хм... Не хватало бы еще, чтобы вас задержали с билетами и отправили в места не столь отдаленные.

— Зато деньги были бы возвращены в казну, — иронизирует Ростовцев.

— Нет, милый коллега, вы мне дороже ста тысяч, — откровенно говорит Аркадий Михайлович. — И отпускать вас в Россию сейчас, в самый ответственный момент лишиться вашей помощи... Нет!

— Отказаться я не могу. Не имею права. У большевиков это невозможно.

— Скажитесь больным. Мне вас учить!

— Невозможно. Болезнь — не оправдание.

— Ох, уж эти Рахметовы!.. Что же придумать?

— Я поеду. Центр уже отправил телеграмму Валлаху, чтобы он не возвращался в Париж, а дожидался встречи со мной в Финляндии. Возможно, именно ему я должен буду передать деньги, полученные от Никитича.

— Вот как! Это существенно меняет дело.

Гартинг в уме перебирает варианты. У него ум и тренировка шахматиста-маэстро, привыкшего обдумывать развитие партии на десяток ходов и контрходов вперед. Польза от поездки Ростовцева в Россию становится очевидной. Аркадию Михайловичу известно о том, что департамент потерял след Никитича. Заграничная агентура поможет Петербургу — выведет на инженера. Плюс. Ростовцеву будут указаны, конечно же, новые, вряд ли известные Фонтанке явки в России. Еще один плюс. Если агент действительно получит от Никитича, а затем передаст Валлаху те самые банковские билеты и с этими билетами Валлах будет задержан в Европе, его не спасет ничто, тем более что немцы в ходе расследования уже установили контакты Валлаха и Камо: прислуга в венском «Национале» и берлинском «Бернишер-Гоф» это подтвердила. Еще один плюс. А успешное выполнение Ростовцевым задания партийного Центра еще больше укрепит его позиции в их среде. Однако реальная и угрожающая опасность: как бы не арестовали в России самого агента, да еще с деньгами. Эти болваны в Петербурге могут позариться на сто тысяч и ради них провалить лучшего осведомителя и даже упечь его на каторгу. А если и отпустят с богом, на Ростовцева ляжет пятно... Гартинг запускает мизинец в ноздрю, очищает удлинённый ноготь мизинца ногтем большого пальца.

— Что ж... Придется вам, дорогой коллега, ехать, — решает он. — Будьте исключительно осторожны... чтобы вас не сцапали в России жандармы! Ни в коем случае никому, даже директору департамента, коли доведется встретиться, не проговоритесь, боже упаси, что деньги у вас. Соответственно и я приму необходимые меры. — Он наполняет рюмки. — Решили — не мешкайте. К утру выправим паспорт, билет берите на завтра. Ваши успехи!

Потом он достает бумажник:

— Думаю, этой суммы хватит.

— Вполне, — небрежно, будто деньги имеют для него ничтожно малое значение, говорит Ростовцев, перекладывая пачку в потайное отделение своего бумажника. — Не хватит — добавлю свои.

«Школа! — улыбается Аркадий Михайлович, ласково поглядывая на сотрудника. — Достойный ученик!»

— Ну те-с, а какое впечатление произвел на большевиков арест Камо?

— Самое тяжелое. Среди нас... в нашей среде он пользовался всеобщей любовью и уважением. Можно не сомневаться, что партия предпримет самые энергичные усилия, чтобы спасти его. Я слышал, однако это еще не проверенные данные, — борьбу за освобождение Камо возглавил сам Ульянов. Когда узнаю определенно, уведомя во всех подробностях. Я, конечно же, убит этим трагическим обстоятельством, которое свершилось прямо у меня на глазах...

— Вы так и сказали им: у вас на глазах?

— Зачем же скрывать? Во-первых, многие знали, что в тот момент я был в Берлине. Кто-то мог видеть меня тем вечером на Эльзассерштрассе... Сказав, я отвел всякие возможные подозрения. Тем более что в искренности моего горя никто бы не посмел усомниться — я действительно был очень близок с юным героем.

В голосе Ростовцева звучала глубокая скорбь.

«Великолепно! — еще раз подумал Гартинг. — Талант!.. Не дай бог, если что-нибудь случится с ним в России!»

И он в третий раз щедро наполнил рюмки «Наполеоном-Карвуазье».

Утром, проверив, выправлен ли паспорт для Ростовцева, Аркадий Михайлович сел за составление обстоятельного письма в Петербург.

«Я руководствовался соображениями, что конспиративность поручения несомненно сведет агентуру со всеми, — Гартинг жирно подчеркнул слово «всеми», — секретными заправилами большевиков, ибо дело это ведет не Центр, а лишь самые выдающиеся секретные лица из него, чем еще больше упрочит его положение как хорошего исполнителя особо важных поручений... Сотрудник мною снабжен паспортом на имя Ильи Иванова Шорина, но я почтительнейше прошу Ваше Превосходительство не отказать в моей просьбе о несопровождении его наружным наблюдением из опасения, что таковое будет замечено революционерами и приведет к нежелательным выводам. Подробные сведения о результатах его поездки я немедленно буду представлять Вашему Превосходительству...»

Украшенный сургучными печатями консульства пакет тотчас же отправляется в Петербург дипломатической почтой.

А спустя час француз-агент наружного наблюдения Леруа докладывает:

— Мсье в клетчатом пальто и с черным саквояжем отбыл вторым классом берлинским поездом.

Что ж, карты перетасованы и пересданы, игра продолжается, ставки растут...

Однако срочная телеграмма из Берлина, поступившая на следующий день к вечеру, снова путает все расчеты:

«Мама неожиданно заболела. Просит остаться. Жозефина».

«Жозефина» — кличка Ростовцева, которой он вправе пользоваться в особо важных обстоятельствах. Обстоятельства действительно из ряда вон выходящие: сотрудник сообщает, что из Парижа ему приказано дальше не ехать, остаться в Берлине. Что означает этот непонятный ход Большевицкого центра? Почему — и дальше не ехать, и не возвращаться в Париж? Неужели его заподозрили и хотят изолировать?.. Что предпринять? Как вернуть его сюда, черт с ней, с поездкой в Россию? Да, напрасно он поторопился с письмом Трусевичу: там уже небось потирают ручки, предвкушая арест Никитича и все прочие удовольствия, которые сулила прогулка агента по конспиративным адресам большевиков.

Сейчас самое время — запереться в кабинете и все хорошенько продумать. Но, черт возьми, как раз сегодня он обещал Мадлен нанести визит ее родителям — и те, конечно же, ждут, собрали всех своих юродивых!

Все эти титулованные дряхлые родственники жены ненамного старше самого Аркадия Михайловича, но сама мысль, что они — люди одного поколения, кажется ему нелепой. До чего же они бездеятельны, вялы, а он полон энергии и занят важной работой; они лениво расточают в своих дворцах и загородных виллах праздные дни, а у него на учете каждый час и каждая минута, и ему кажется такой бессмыслицей тратить это богатство — время на пустые разговоры. Но ничего не поделаешь: в чужой монастырь со своим уставом не суйся. Он презирает их, хотя в глубине души и тешится горделивым чувством, что ныне принадлежит к их кругу.

Но Мадлен любит и их, и большой дом в аристократическом предместье Сен-Дени, с фамильным гербом на воротах и карнизе, с ливрейными слугами, с обтянутыми шелком комнатами, где прошло ее детство. Старики же души не чают в дочке, тем более во внучке и внучке. Однако Аркадий Михайлович знает, что чванливый и осторожный отец Мадлен в глубине души не очень доверяет чужеземцу, несмотря на его положение в обществе и ранг дипломата. Чтобы умиловить старика и не дать повода кичиться родичам Мадлен, Аркадий Михайлович является к ним с визитом как на президентские приемы — во фраке и

при орденах, какие и не снились всем этим маркизам и виконтессам.

По дороге домой он завернул к знакомому ювелиру. И вошел к Мадлен, держа в руке открытую бархатную коробочку: на золотой филигрании асимметрично рассыпаны были голубые камни — живые, яркие, как небо в весенний день. Аркадий Михайлович любил делать жене такие подарки без повода, и Мадлен радовалась этим пустячкам, как ребенок конфете, хотя сама могла бы без раздумий купить все содержимое той ювелирной лавки.

— Какая прелесть, милый! — воскликнула она, приколола брошь и благодарно поцеловала его в губы.

— Это ты прелесть, Мадлен! Сегодня ты чудо как хороша!

Она зарделась от удовольствия и шаловливо погрозила пальцем:

— Только сегодня? А вчера?

Гувернантка привела уже одетых Сержа и Аннет, и весело, шумно они расселись в карете, с шутками и смехом покатали через весь Париж. Какая счастливая, благополучная семья! Да так оно и было, и любой мог позавидовать им!..

Мажордом ударил посохом о плиту и провозгласил:

— Мадам и мсье Гартинг!

Аркадий Михайлович с удовольствием прислушался к звучанию своей фамилии, как если бы она возносилась по лестнице на крыльях почета. Дети опрометью пустились вверх по ступенькам, а они начали подниматься чинно, рука об руку. На верхней площадке их уже ждали родители Мадлен. Дочь поцеловала их, а Аркадий Михайлович приложился к дряблой руке матери и пожал сухую руку отца.

За столом разговор, как всегда, зашел о Николае, о русском государе.

— Как здоровье Николая, как здоровье инфанта? Скоро ли Николай соберется с визитом в Париж? — любопытствовал отец Мадлен и выслушал ответ, прижав перламутровый рожок к уху.

К их беседе с уважением прислушивались другие родичи жены. Не без участия самого Аркадия Михайловича в этом доме была распространена легенда, что муж дочери, хотя исполняет весьма скромную роль в дипломатических сферах, однако же высокая персона, с которой связана какая-то тайна российского двора: не случайно же он обладатель стольких высоких орденов Европы, в их числе и звезды «Почетного легиона» — а этого ордена, как известно, удостоивались лишь самые выдающиеся иностранцы за особые заслуги перед Францией. К тому же французские дипломаты не раз видели его в ближайшем окружении августейших особ во время их визитов в другие европейские страны и даже на завтраке за столом у самой вдовствующей императрицы Марии Федоровны, урожденной датской принцессы Дагмары... О, это такая же жгучая тайна, как тайна Железной Маски! И не исключено, нет, совсем не исключено, что в жилах этого веселого и остроумного господина течет царственная кровь. Уж в столице-то Людовиков (родители Мадлен в своем представлении еще жили во Франции Бурбонов, а не при вульгарной Третьей республике) знают немало историй о побочных отпрысках!.. Эти легенды в пересказе Мадлен возвращались к Аркадию Михайловичу. Жена сама была снедаема любопытством, но из деликатности не посягала на тайну. А Аркадий Михайлович не отвергал их и не подтверждал, лишь загадочно улыбался. Эта улыбка была искренна — она внешне отражала то веселье, которое он испытывал при мысли: вот бы огорошить их рассказом о своей родословной, которая, впрочем, и не была ему известна, ибо какое генеалогическое древо может быть у выходца из ничтожнейшей мещанской семьи, у беднейшего и жалкого студентика из захолустнейшего городка Пинска?.. А скажи — и ведь не поверят! Решат, что это очередная шутка вельможи. Нет, его прошлое утонуло, кануло на дно Леты.

Визит проходит безупречно. Все расстаются, чрезвычайно довольные друг другом и каждый — самим собой. Аркадий Михайлович рад и тому, что может вернуться к своим заботам.

Ночью Мадлен улавливает его настроение:

— Ты чем-то встревожен, милый?



— Нет, мое чудо. Кошунственно думать о чем-то другом, когда ты рядом.

Ей не составляет ни малейшего труда пробудить в нем желание. Боже, как она прекрасна!.. И все же мысли его там, в кабинете на авеню Гренель: что произошло с Ростовцевым?

Утром, в консульстве, он читает еще одно донесение от Жозефины:

«Папа уже здесь. Заказ на цветы переведен в Париж».

Это означает, что Валлах прибыл в Берлин и, самое главное, «цветы» — деньги уже в столице Франции.

Что делать теперь, после случившегося на Эльзассерштрассе? Слова, которые выкрикнул в вестибюле Семен, предназначались, конечно же, ему, Антону. Что они должны были означать? Кому сообщить об аресте — ведь он единственный свидетель катастрофы? Он должен как можно скорее уведомить товарищей. Но кого? Тех, кого он знал уже по Парижу? Вправе ли, известен ли им Камо? Сказать Виктору? Он привел Семена к Антону. Да, Виктору!.. А может, не следует? Мало что привел. Лидина он тоже встречал на вокзале, но ведь с тех пор у них ни слова не было о «подопечном», хотя, конечно же, Антону хотелось бы узнать, почему и зачем оберегал он в пути мужчину с мефистофельской трубкой. Кому же сказать — Виктору, Отцову?..

В эти дни Антон встретил в Париже дядю Мишу. Кого угодно, но только не бывшего своего «ученика» с Арсенальной ожидал он увидеть на французской земле. Путко знал, что дядя Миша — депутат Питерского Совета — был арестован и заточен в Петропавловку еще в декабре пятого года. Теперь, поскрипывая жесткой ладонью по седой щетине нечисто выбритой головы, дядя Миша, еще более угрюмый и нелегкий на разговор, скупов поведаль свою историю: как в страшные морозы санным путем бежал из Нарымского края, как через всю Россию пешком шел к границе — считай, без малого год заняла дорога... Антон спросил: не слышал ли старик о товарищах с Металлического. Слышал. Многие — по острогам, по северным краям. Кое-кто остался на заводе. А Захара до смерти забили в «Крестах». И всю его семью выкорчевали. Внучка Варенька померла по дороге в якутскую ссылку... У Антона не было сил слушать. Дядя Захар!.. И та белоногая девчонка: «Вы к дедушке? Проходите!..»

Сам дядя Миша очень тяжело переносил отрыв от родины. Он плохо понимал французский, не мог найти постоянной работы — то баржи разгружал, то ночами на центральном рынке корзины и туши таскал, получая за это жалкие гроши, и перебивался с хлеба на воду. Его большие, грубые, с обломанными ногтями руки тосковали по металлу, а маленькие, в сетке морщин, глаза не покидало выражение боли. Антон относился к дяде Мише с опасливым уважением, чувствуя несоизмеримость его тягот со своими. Поделиться с ним?..

К радости Антона, дядя Миша нашел его сам. Он тяжело забрался в мансарду. Был он хмур больше обычного, его усы понуро обвисли:

— Вот чего, малец... Надобно тебе в энту, как ее, в Женеву ехать.

— Ну, если надо... — Антон колебался: «Сказать ему или не говорить?» Тревога, которую он таил в себе, раздирала ему сердце.

— Ты чегой-т посерел весь? — спросил дядя Миша. И сам сказал: — О хлопчике нашем, о Камо, слышал? Беда...

Он тяжело и глубоко вздохнул:

— Не повезло сынку.

Антон вспомнил: «Я везучий...» Эх, сглазил Семен свое счастье!..

— Что теперь? — спросил он.

— Что теперь, что теперь... Сам знаешь: каменные стены... Чего об этом? — дядя Миша поскреб ногтем по доске стола. — Оханья тут ни к чему. Камо так не бросим. А ты поезжай. Вот адрес. Спросишь в архиве заведующего, Минина. Башковитый такой, знавал еще по

первой высылке... Запомнил? Чтобы не плутал, вот, товарищи велели передать, — он достал из кармана обтрепанную карту.

Ночь в пути. На рассвете засверкали, зеркальные ледяные вершины Бернского Оберленда, а еще через пару часов поезд втянулся под стеклянную крышу женевского вокзала.

Он шел и с интересом смотрел по сторонам. Вот она, Женева, город, связанный с историей России не меньше, чем Париж, но даже по первому впечатлению своим малолюдьем и степенностью столь непохожий на шумную столицу французов. Антон знал о своеобразном положении Женевы, определяющем ее характер: со стародавних времен эти улицы давали прибежище изгнанникам. Кого только не повидали эти дома, для кого только не служили кровом их черепичные крыши! Итальянские протестанты и французские гугеноты; аристократы, бежавшие от трибунала якобинцев, и коммунары, спасавшиеся от террора версальцев... Здесь жили Эразм Роттердамский и Жан-Жак Руссо, Тадеуш Костюшко и Рихард Вагнер. Но, пожалуй, особенной популярностью пользовалась Женева у русских эмигрантов. Здесь одно время издавали «Колокол» Герцен и Огарев; здесь нашли приют герои «Народной воли» и вожди анархизма Бакунин и Кропоткин. И те нелегальные брошюры, которые еще в Технологическом институте тайком, из рук в руки передавали студенты, были напечатаны группой «Освобождение труда» и «Социал-демократическим издательством В. Бонч-Бруевича и Н. Ленина» тоже здесь, в Женеве. Какие дела привели и его, Антона, в этот город?

За мостом, переброшенным через широкую и быструю Рону, он свернул направо. Теперь солнце светило ему в спину — и он шагал по своей длинной тени. Остановился. Проверил по карте, которую дал ему дядя Миша. Ага, сейчас будет рыночная площадь Плен де Пленпале.

Так и есть. Площадь уже шумела: торговые ряды, тачки, повозки, праздник осенних щедрот земли — овощей, фруктов, цветов. Антон пересек площадь и у отеля «Зодиак» свернул на тихую тенистую улочку.

Вот и бульвар де ла Ключ, дремлющий под сводами могучих каштанов. Антон отыскал дом с табличкой «57». Фасад его был увит плющом. В густой зелени уже полыхали багряные листья. Под каждым окном пестрели цветы. «Архив?.. — официальное сухое слово не вязалось с этой сонно-живописной картиной. — Не ошибся ли?..». Но увидел на двери вывеску «Bibliothèque russe» и облегченно вздохнул: здесь. Вступил в прохладное парадное. На первом этаже у двери тоже табличка, уже на родном языке: «Русская библиотека имени Г. А. Куклина».

Он постучал. Подождал и постучал громче. За дверью послышался легкий шум, звякнул замок, створка отворилась, и Антон увидел невысокую женщину. Ее фигура была перетянута в талии фартуком, а длинные черные волосы распущены по плечам.

— Мсье? — спросила она, вглядываясь в полумрак парадного, и в голосе ее прозвучали удивление и досада на столь ранний визит.

Антон замер. Рванулся к ней:

— Ольга!

— Ты?.. Вы? — воскликнула она радостно: — Какими судьбами?

— Вы сами меня приглашали, не забыли? — нашелся он.

— Приглашала? — она поправила волосы. — Однако же... — оборвала, просто и весело сказала: — Проходите. Мы только встали, будем завтракать.

— Я подожду... Зайду попозже.

— Позавтракайте с нами.

— Я уже!

— В такую рань все кафе еще закрыты, — сказала она, продолжая улыбаться. — Не стесняйтесь, входите. Я познакомлю вас с мужем. — И, обернувшись, позвала: — Валя, встречай гостя!

Из комнаты в прихожую быстро вышел мужчина лет тридцати. Он был темно-рус, у него была рыжеватая бородка и коротко стриженные усы. Металлическая дужка удерживала на переносье пенсне. «Вот он какой...» — разочарованно подумал Путко. Ему казалось, что мужем Ольги должен быть красавец, какой-нибудь Алеша Попович или Руслан. А перед ним стоял невысокий, узкоплечий, сутуловатый человек без пиджака и галстука, в подтяжках и близоруко-растерянно смотрел на него, не понимая, чему он обязан столь ранним визитом.

— Этот мальчик — мой спаситель, товарищ Владимиров, — представила Ольга.

— А-а! — обрадованно произнес мужчина и первым протянул ладонь: — Минин. — Он склонил голову к плечу. — Значит, вот вы какой. Проходите. Я предупрежден о вашем приезде. Ну-с, как там Нотр-Дам де Пари?

«Он-то знает, а она даже и не знала, что я в Париже и приеду. Не интересовалась», — с обидой подумал Антон.

Но при всем том он был обрадован и взволнован, и эта нежданно-негаданная встреча с Ольгой ослабила боль последних дней.

Они сидели на кухне; в центре стола возвышалась на подставке большая сковорода с яичницей-глазуньей и поджаренными ломтиками ветчины; Ольга заботливо подкладывала в его тарелку, и Антон чувствовал себя легко, с волнением следил за ее смуглыми руками, с трудом сдерживался, чтобы не глядеть ей в лицо, и все равно ежесекундно видел перед собой ее зеленые глаза. Как она похорошела, как помолодела, когда ушли тревоги и спало напряжение непрерывной опасности... Он прислушивался к звучанию ее голоса — и отдыхал, отдыхал, будто добрел наконец до родного дома и все странствия уже позади. Валентин ел молча и аккуратно, в такт движению челюстей поблескивали стеклышки пенсне — бабочка вот-вот готова была взлететь, но никак не могла оторваться от переносья. «Чего он молчит?..» А если бы не было ее мужа за столом? Разве осмелился бы он сказать ей это или даже просто открыто, глаза в глаза, посмотреть на нее?..

— Как вы думаете?

— О чем?

Она рассмеялась. Снисходительно сказала:

— Ну ладно, ешьте и ни о чем не думайте.

Будто и не почувствовав его смущения, начал рассказывать Валентин — он уже очистил свою тарелку и даже кусочком хлеба подобрал растекшийся желток.

— Наша библиотека называется «Русской имени Куклина», а на самом деле является собственностью ЦК РСДРП, и при ней же находится архив партии, — голос у Минина был такой же сухо-книжный, как и он сам. — Библиотеку завещал партии наш товарищ, большевик Георгий Куклин. Он умер от чахотки этой весной. Наша библиотека — весьма редкое и ценное собрание книг, включающее и все те, которые запрещены в России и отражают историю революционного освободительного движения как во всем мире, так и в нашем отечестве. Если вы намерены углубленно изучать эту проблему, можете располагать ее услугами: мы обеспечиваем книгами товарищей и в других городах и странах.

«Не изучать ли проблему прислали меня сюда? — удивился Антон. — Может, Леонид Борисович распорядился... Ничего себе, нашли время!» Но в тайниках души он был бы рад такому обороту дела.

— Мы вдвоем с Валентином и заведем «Библиотек рюсс», — сказала Ольга и положила руку на плечо мужу.

«Архивариус какой-то — и она!..» — ревниво подумал Антон.

Он вспомнил глухую улочку в Ярославле недалеко от централа, ползущий с Волги ночной туман, услышал шелест подъезжающих дрожек и увидел белое расплывчатое лицо у подножки кареты. И снова, как тогда, удивился: «Старый партийный товарищ — она?..»

— Спасибо, — отодвинул он тарелку. — Вы не знаете, зачем меня вызвали?

— Наша библиотека к тому же и место встреч товарищей. — Минин достал часы, щелкнул крышкой. — Через сорок минут подойдет Папаша — и узнаете.

— Феликс здесь? — это известие было второй радостной новостью за женевское утро.

Вот кому он расскажет об аресте побратима!

Спустя час они сидели в безоконной комнатке-боковушке. До нее надо было пройти просторный читальный зал, тесно уставленный некрашеными белыми столами, две узкие комнаты, перегороденные стеллажами, которые проседали под тяжестью книг. Здесь, в чулане, хранился архив партии и стоял запах старой бумаги и клея.

Минин остался в читальном зале, а они тесно уселись за маленький, легкий стол втроем: Антон, Ольга и Феликс. Не отрывая взгляда от товарища, улавливая смену чувств на его осунувшемся лице, Путко подробно, как требовал когда-то Леонид Борисович, рассказал обо всем, чему стал свидетелем в доме на берлинской Эльзассерштрассе.

— Да, все так, — неожиданно суммировал, потрянув черной копной, Феликс. — Там был еще один наш товарищ... Он проводил кареты до следственной тюрьмы. Теперь Семен переведен в Моабит, в самую неприступную берлинскую тюрьму — подобие наших петербургских «Крестов».

— Как же это могло случиться? — Антона все эти дни точила недоказательная, но тем более страшная мысль: перед глазами стояло простодушно улыбающееся лицо Олега Лашкова, и в ушах звучало слово: «Провокация!» — Почему немцы арестовали его? Кто-то выдал Камо?

— Осторожней, мальчик, — сделал резкое движение ладонью Феликс, как бы под корень отсекая самую эту мысль. — В газетах пишут, что немцы давно выслеживали опасного преступника. Конечно, всему, что пишут газеты, нельзя верить. Но мы не можем не верить товарищам.

— Он же сам крикнул!.. — Путко повторил свой рассказ о последней минуте.

— Наверно, ты что-то напутал — или тот немец неправильно перевел, — угрюмо ответил Феликс. — Второй товарищ не подтверждает этого. К тому же есть и другой смысл: «Арест Камо — провокация германской полиции», можно понять и так.

— Но разве не было предателей? Еще в пятом году «Пролетарий» даже печатал их фотографии.

Феликс тяжело кивнул:

— Были они — и есть. Российская охранка — «чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лай», — так, кажется, у Третьяковского? И провокация — излюбленный прием этого чудища. Но это еще не дает нам права подозревать товарищей.

Он снова подсек серпом-ладонью:

— Нет. Камо виделся всего с несколькими товарищами. Еще меньше наших знали о его задании и о том, что к было в его сундуке... И каждый сто раз проверен на партийной работе.

— Да, — поддержала Ольга, строго посмотрев в лицо Антона. — Недавно — не у нас, правда, у социалистов-революционеров — заподозрили одну женщину. Стали проверять. До нее дошел слух. Она покончила с собой. А перед смертью написала: «Будьте осторожнее с другими». — Ольга содрогнулась: — На свете нет ничего страшнее и подлее предательства!

Антон вспомнил, как отпрянула она в карете тогда на Фонтанке, и снова залился краской стыда: «Она тогда подумала, что я... И сейчас я только пришел и суюсь со своими подозрениями...» Но как больно за друга, который в эти часы там, в Берлине, в каменных стенах Моабита, ждет решения своей участи! — Что же делать? — воскликнул он. — Все возможное мы уже делаем — и сделаем, — скупой ответил Феликс. — И Семен не так прост. Трижды был приговорен к казни — и трижды бежал, два раза даже из Метехского замка. А это почище и «Крестов», и Моабита.

Он помолчал.

— Немцам не удастся узнать от Камо ничего. Он — камень. Он сам любит говорить: «Ветер от камня ничего не возьмет».

Он снова замолчал.

— Поэтому арест Семена не меняет наших планов. Наоборот, нам надо действовать более быстро и энергично. Это спутает и полицейские карты. — И повернулся к Ольге. — С

билетами все в порядке?

— Конечно, — она кивнула на полки с папками и книгами.

— Так вот: в ближайшие недели нам нужно обменять деньги на местную валюту.

Антон не понимал, о чем идет речь.

— Часть тех денег, которые Камо захватил в Тифлисе, надо обменять на франки и марки, — объяснил ему Феликс. — Эти деньги нужны и для спасения самого Семена. Вопрос: как и когда обменять.

— Пойти в банк или меняльную контору. Я так сделал в Париже с деньгами, которые дала мне мать... — сказал Антон.

— Значительную часть мы так и обменяли. Но остались банковские билеты самого крупного достоинства: по пятьсот рублей, иными словами, — каждый билет — это больше фунта золота. Меняльные конторы их не принимают — только крупнейшие банки, корреспонденты российского министерства финансов.

— Что же вы предлагаете, Феликс? — спросила Ольга.

— Это я и хочу обсудить с вами. Во всяком случае, к участию в обмене я решил привлечь вас обоих.

Вместе они стали обдумывать различные варианты. Литвинов не сказал им, что он уже обсуждал этот же вопрос с несколькими другими большевиками, которых решил привлечь к операции, — с Викторам, дядей Мишей, Отцовым. Он старался выверить каждый шаг. В конечном счете он пришел к решению: поручить дело большой группе и молодых партийцев, и ветеранов. Конечно, в целях конспирации он не раскрывал каждой группе всех участников. А план еще не был ясен для него самого: когда, как и где осуществить обмен.

— Хорошо, — сказал он, выслушав их предложения. — О порядке обмена я сообщу позднее, может быть, возьмем за основу вашу идею, мудрецы.

Ольга ушла в читальный зал — посмотреть, нет ли кого чужого.

«А Минина Феликс не позвал», — подумал Антон, провожая ее взглядом, и с тайной надеждой спросил:

— А этот... муж Ольги — кто он?

— Товарищ Валентин? Ого! Когда я в наших делах еще под стол пешком ходил, Минин уже был удостоен «царской милости» — о нем дважды докладывали самому Николаю и по высочайшему его указу гнали на север. Товарищ Валентин в партии со дня ее основания.

«Вот тебе и архивариус», — думал упавший духом Антон, шагая вслед за Феликсом через комнаты книгохранилища. Стеллажи оставляли узкий проход. Книги теснились до самого потолка. На корешках золотом проступали надписи: «Колокол», «Полярная звезда», «Искра», «Заря», «Вперед», «Пролетарий»... Подшивки газет, фолианты в коже и брошюры, папки с прокламациями и собрания сочинений выдающихся писателей и ученых. Феликс сказал, что он сегодня же должен вернуться в Париж. «Никитич спрашивал, как у тебя с учебой. Не бей баклуши. А когда понадобится, мы тебя уведомим».

«Подумаешь, обменять деньги в банке — эка важность!» Предстоящее поручение казалось Антону нетрудным. Но он был рад, что приехал в Женеву и встретился с Ольгой. Пусть ничего, кроме щемящей тоски, и не сулила ему эта неожиданная встреча.

## **ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДЕПЕША С АВЕНЮ ГРЕНЕЛЬ**

### **ГЛАВА 5**

Ростовцев уведомил Гартинга, что он уже в Париже и им настоятельно необходимо повидаться. Аркадию Михайловичу претят частые встречи с агентом: чем реже прямые контакты, тем лучше для осведомителя, да и для самого заведующего ЗАГ. Но его очень обеспокоила задержка сотрудника в Берлине. Достаточно малейшей тени подозрения со стороны большевиков — и вся карьера способнейшего работника рассыплется прахом. Поэтому Аркадий Михайлович спешил на улицу Телье с тревогой.

— Все складывается как нельзя лучше, — встретил его сияющий Ростовцев. — Я сам было всполошился. Оказалось, Центр задержал меня в Берлине для того, чтобы я помог Никитичу и Лидину организовать спасение Камо.

— Никитич в Берлине? — не удержался от восклицания Гартинг.

— Был. Приезжал по заданию самого Ульянова и добился от комиссара полиции фон Гроппе свидания с арестованным.

— Ах, черт! — Аркадий Михайлович обеспокоен. — Почему же вы не сообщили?

— Не успел. Все как снег на голову.

— О чем шла речь при их встрече?

— Я не присутствовал. А любопытствовать — сами понимаете... Никитич, в отличие даже от Папаши, крайне осторожен. Предполагаю: о линии поведения Камо на следствии.

— Черт побери этих немцев! Допустить свидание!..

— На правительство очень сильно жмут немецкие социал-демократы. Они пользуются большим влиянием и в обществе, и в рейхстаге, и министры побаиваются их. Лидин как раз и прибыл для организации «общественного мнения».

— Какое, к черту, мнение, если найден сундук с бомбами?

— Бомбы сами по себе — всего лишь товар, как зонтики или панталоны. Имеет значение лишь то, для какой цели они предназначены.

— А где этот Никитич сейчас?

— Неизвестно. Сразу после свидания с Камо он покинул Берлин. Могу предположить: поехал для доклада о результатах к Ульянову в Финляндию.

— Ленин — в Финляндии?

— Местопребывание Ульянова держится в глубоком секрете. Однако все маршруты наиболее видных партийцев-большевиков проходят через великое княжество.

Очень важное предположение. Гартинг знает, как безуспешно пытается напасть на след вождя большевиков департамент полиции. Даже такое приблизительное наведение оценится очень высоко: агентам Трусевича не составит большого труда прочесать великое княжество — губернию за губернией.

— Что еще удалось вам узнать? Особенно о «цветах»?

— Оказывается, они вывезены из России уже давно, вскоре после экса, и мои предположения, что они хранились у Никитича и их должен был доставить сюда Валлах, были ошибочны, — признает свои промашки осведомитель. И искупает их новыми сведениями: — В самое ближайшее время товарищи предполагают приступить к размену пятисотрублевых билетов. Это абсолютно достоверно.

— Где?

— Наверное, в Швейцарии. Прямо из Берлина, проводив Никитича, Валлах выехал в Женеву. Однако это лишь предположение: Валлах способен на самые неожиданные решения.

— Да, он хитер, ох как хитер! — кивает Гартинг. — Держите меня постоянно в курсе событий. Я предвижу, что наступает решающий момент.

— Разумеется, — снисходительно кивает Ростовцев.

«Черт побери, кто на кого работает — он на меня или я на него?» — сердито думает Гартинг. Но с Ростовцевым ему легко: никаких мук совести. Сам Зубатов, теоретическими

исследованиями которого пользуются все руководители агентурных служб, утверждал, что даже у лучшего осведомителя наступает критический момент, когда он осознает всю бездну своего морального падения и готов во искупление вины или открыться бывшим товарищам, или поднять руку на своего совратителя.. И нужно вовремя предугадать момент этого душевного кризиса. Немало жандармских офицеров погибло из-за того, что они не учитывали этого психологического момента. Аркадий Михайлович учитывает все. Умело использует для совращения примеры из истории, апеллируя к таким знаменитым осведомителям, как творцы «Женитьбы Фигаро» или «Робинзона Крузо». Разве отразилась на славе Бомарше или Дефо их полицейская служба? На многочисленных «Пьеров», «Сержей», «Гретхен» и «Вяткиных» эти примеры действуют. Если же, как подсказывала Аркадию Михайловичу интуиция, кризис приближался и разрыв был неотвратим, Гартинг отказывался от услуг осведомителя, в виде откупной выхлопотав для него пожизненную пенсию у департамента (кстати, несколько таких «пожизненных пенсий» на фиктивных агентов он исправно получает сам). Да, не проста обязанность заведующего ЗАГ. Но с Ростовцевым в отличие от всех других ему куда как легко. Аркадий Михайлович знает — этот не надломится. И без великой нужды не предаст его и не продаст — они очень нужны и очень подходят друг другу.

— Давайте постараемся в дальнейшем избегать прямых контактов, — напутствует на прощанье Гартинг. — Только в самых острых случаях. — И с ноткой благодарности заключает: — Как сегодня, например.

Они расстаются.

Со смутным волнением возвращается Аркадий Михайлович на улицу Гренель, сам еще не в состоянии разобраться в причине этого волнения, но предчувствуя ожидание чего-то непомерно важного. Такое состояние он испытывал месяц назад, когда отправлял в департамент первую депешу о Камо. И еще когда-то давным-давно, в юности... Может быть, наоборот, стоглазая его интуиция хочет подсказать неведомую опасность?

В кабинете, в молчаливых стенах, украшенных портретами, он обдумывает новые обстоятельства. Дело с Камо пока терпит: немцы — народ дотошный и неторопливый, следствие только начинается, и внести в ход разбирательства свои коррективы еще не поздно. На сегодня главное — «цветы», которые обещают превратиться в ягоды. Допустим, предположение Ростовцева, что большевики обменивают деньги в Швейцарии, — не блеф. В Женеве у ЗАГ шесть платных агентов. Можно подослать на подмогу еще нескольких филеров Бэна и заблокировать конторы всех центральных швейцарских банков, хотя, черт побери, ни в одной другой европейской стране нет такого обилия золотых вывесок, как в этой маленькой горной республике. Ну а если обмен состоится не в Швейцарии и Валах придумал свою поездку для отвода глаз? А если...

И тут Аркадий Михайлович застывает, как всадник, мчавшийся в галоп по широкой дороге, которая вдруг оборвалась пропастью. Постой! Сами по себе рубли в руках большевиков-эмигрантов — это ведь еще не улика, это как те же бомбы на складе льежского фабриканта: большевики могут сослаться на получение наследства, на пожертвования единомышленников, на что угодно! Как же он раньше не принял этого в расчет? Конечно, если бы их задержали там, в России... А здесь банкам наплевать, откуда у них русские билеты, лишь бы получить свой процент с финансовой операции... Все рушится, все! Все идет прахом! Обменивают — как пить дать обменивают, и пальцем их не посмей тронуть! И новые сундуки с бомбами, новые яхты, груженные пулеметами, типографскими станками и нелегальщиной, поплывут в Россию!.. Постой-ка!..

Аркадий Михайлович зажмурил глаза, как жмурят их в темноте, когда вдруг ударяет яркий свет. Но свет, до боли резкий, рвется сквозь веки. Так и мысль его, на какой-то момент погребенная во мрак как бы обломками рухнувшего здания, продирается, оживает, рвется к сверкающей точке. И вот оно, озарение! Если только... Если только!..

Он хватается лист в строчит по нему. И сам несет, чуть не бежит с депешей через комнату-отсек, оглушаемый трескотней «ундервудов», в окованную броней каморку

шифровальщика.

А потом наблюдает, как телеграфист отстукивает на ленту:

«Необходимо номера пятисотенных кредиток, экспроприированных летом Тифлисе, сообщить срочно банкам Лондоне, Париже, Берлине, Вене. Большевики пытаются менять сто тысяч рублей».

Если только известны номера билетов, можно будет... Если только известны номера...

Трусевич сразу же оценивает взрывчатую силу телеграммы Гартинга. Он налагает резолюцию: «Особый отдел — исполнить немедленно».

Часом позднее, на очередном докладе у министра, Максимилиан Иванович сообщает Петру Аркадьевичу об идее Гартинга. Столыпин тоже угадывает ее смысл с полуслова. Он тут же связывается с министром финансов Коковцевым.

К концу дня Коковцев уведомляет:

«Похищенные кредитные билеты пятисотенного достоинства имеют серию «А.М.» и номера от № 62901 по 63000 и от № 63701 по 63800. По моему распоряжению государственный банк циркулярно оповестил своих зарубежных корреспондентов о намерении злоумышленников приступить к размену похищенных в Тифлисе кредитных билетов. Примите уверение в совершенном почтении и истинной преданности».

Следующим утром Столыпин обращается к министру иностранных дел Извольскому с просьбой предупредить через российские посольства в европейских столицах правительства этих стран о возможности размена денег.

Вот он, час торжества, неотвратимо следующий за минутой озарения! Его, Аркадия Гартинга, волей подняты на ноги три министерства российского кабинета, чуть не вся Европа! Его, Аркадия Гартинга, сверкнувшая голубым клинком мысль — и сколько высших чиновников склонились над бумагами, сколько фельдъегерей понесли сломя голову, сколько тайных пружин приведено в действие!.. Честолюбие рисует ему картины поразительнее хлестаковских, только у гоголевского персонажа то были фантазии, а он, Аркадий Гартинг, воплотил все это в реальность. Случай? О нет! И разве не высшая награда для самого себя — сознавать: да, я в своем призвании велик, и те эпизоды моей биографии, которые уже дважды стали первостепенными событиями истории, — не шалости судьбы, делающей великим и гуся, а милость всемогущего, избравшего его своим земным орудием! Богу богово, кесарю кесарево, но и он, Аркадий Гартинг, червь по происхождению и роду, добившийся всего в жизни своим умом, ныне потомственный дворянин. И теперь пора уже озаботиться и о титуле, и подыскать соответствующее родовое древо, чтобы даже и за его спиной не могли кривить свои гнусные рожи родичи Мадлен. Он, как говорят англичане, «self-made man — человек, сделавший самого себя», — и он может гордиться этим, пусть постаментом ему и служит навозная куча.

Уже после того, как замкнулась цепочка донесений и распоряжений, вызванная телеграммой Гартинга, на имя директора департамента поступила из Парижа еще одна депеша — от агента «Данде».

Осведомитель-двойник сообщал во всех подробностях о перипетиях берлинской поездки, о Литвинове, Никитиче и Лидине, о возможном местонахождении Ульянова-Ленина, а также о том, что в предполагающемся обмене пятисотрублевых билетов российского банка должна принять участие большая группа политэмигрантов. Письмо «Данде» лишний раз подтверждало, что Гартинг черпает свои сведения из того же колодца. Но в донесении двойника была одна деталь, заведомо неизвестная заведующему ЗАГ, — не



очень-то значительная, но в какой-то степени предопределившая решение директора. Осведомитель сообщал, что студент Владимиров выезжал в Женеву, где в помещении «Русской библиотеки» встречался с известными департаменту Ольгой и Мининым, а также с приехавшим туда Литвиновым. Можно предположить, что говорили они об аресте Камо и обмене денег.

Максимилиан Иванович пришел к выводу: если все разыграть как по нотам, то можно одним ударом захватить большевистскую эмигрантскую колонию не только в Париже, но и во всех других странах Европы. Перспектива столь заманчива, что полагаться лишь на заграничную агентуру и на усердие самого Гартинга он не собирался. И без того чересчур много лавров достается этому выскочке. Не исключено, что сей мещанин во дворянстве метит на кресло самого директора, да Максимилиан Иванович еще не в гробу! Однако связи Гартинга весьма весомы, посему действовать надобно осмотрительно. Но действовать необходимо: для пользы государственной. И общее руководство будет осуществлено департаментом и лично им, директором. Приняв решение, Трусевич снова вызвал Додакова.

Кратко рассказав ему о новых обстоятельствах по делу о тифлисских экспроприаторах, Максимилиан Иванович высказал пожелание провести расследование параллельно с ЗАГ. Он сделал паузу, как бы подчеркивая значение задания, которое на него возлагал. Виталий же Павлович, опрометчиво решив, что директор уже закончил и теперь ждет его предложений, подтянулся и выпалил:

— Разрешите, ваше превосходительство? Если вы соизволите оказать мне столь высокую честь, я бы сам выехал в Париж для приведения в исполнение вашего замысла.

«Вот те на! — несколько опешил директор. Додаков предвосхитил именно то, что он сам собирался торжественно предложить ему. — Не на поверхности ли мое решение? Или, напротив, этот молодец так проницателен? Почему он так жаждет ехать? Было бы лучше, если бы он не хотел, а я понудил... Тут что-то не так».

Он пожевал губами:

— Что ж... Об этом, быть может, следует подумать...

«Да, — мелькнула у Трусевича мысль, — бирюк Герасимов неспроста цеплялся за него...»

— За границей — это, знаете ли, не то, что в отечестве. Да-с. И в департаменте вы недавно. — Он снова пожевал губами: — Явится завтра утром.

«Чем-то я рассердил старика», — в растерянности думал Виталий Павлович, пробираясь по бесконечным лабиринтам и железным лестницам-трапам из директорских апартаментов в прокуренный смрадный коридор особого отдела. Мысль о неожиданной возможности поехать в Париж уже захватила его. Он-то справится с любым заданием! Костями ляжет! Тем более что не только желание отличиться манит его во французскую столицу. Эту надежду, пусть не до конца осознанно, он лелеял давно. «Перед Елисейскими полями она не устоит, уж я-то их натуру знаю! — думал он, входя в свою комнату, шкафами вдоль стен напоминавшую гардеробную. — Если старик клюнет, разом разрешится все!..»

К открытию присутствия Додаков был уже в приемной директора, где по углам за столами и телефонами сидели дежурившие с ночи жандармские офицеры и чиновники для поручений.

Проходя в кабинет, Трусевич кивнул Додакову: «Входите».

— Я обдумал ваше предложение, — ворчливо проговорил он, разглядывая подполковника. Щеки Виталия Павловича горели. Это можно было объяснить или волнением, или морозцем. — Опыта у вас маловато, хотя я припоминаю и ваши московские старания, да и в столице, в дни смуты. И с Лисьим Носом — да-с, мы все помним, — он продолжал оглядывать его с холодной усмешкой. — Однако ни за границей, ни тем более в Париже вы не бывали. Но в этом именно и есть положительное обстоятельство: там вас не знают. Заведующий ЗАГ тоже с вами незнаком: в департаменте вы недавно... Поезжайте!

Додаков с трудом сдержал торжествующую улыбку. Хотя для полной радости оснований еще не было.

— Продумайте, в каком качестве вам следовало бы поехать.

— Я уже думал... — Виталий Павлович запнулся. — На тот случай, если бы вы решили в мою пользу, ваше превосходительство.

«Скор, скор, однако, — Трусевич скривил губы, — Вот она, молодежь, торопится, как рысаки, кто первым к ленточке. И не думают, что так и ноги поломать можно...»

— В каком же, подполковник?

— Лучше всего под видом инженера. В этих сферах меня и подавно никто не знает, я же, работая со студентами, порядочно набрался познаний. А деловая поездка инженера предполагает самые широкие и разнообразные контакты.

— Недурно. Подготовьте необходимые документы.

Максимилиан Иванович открыл сейф:

— Работать будете совершенно самостоятельно, более того — контролируя заведующего ЗАГ, ибо у нас есть основания сомневаться в его безупречности. Учтите, однако ж, что Гартинг — весьма многоопытный сотрудник охраны, и ухо с ним надо держать остро!

Трусевич достал из сейфа желтую, по виду старую папку, перебрал ее страницы старческими пальцами:

— В известной степени я престопаю правила, однако ваша служба предполагает полное к вам доверие. Вот «Личное дело» коллежского советника Гартинга. Ознакомьтесь, чтобы иметь о нем полное представление. Читайте, а я пока займусь спешными делами.

Виталий Павлович принял папку, раскрыл ее и с перовой страницы словно бы углубился в захватывающий роман. Он читал не отрываясь, время от времени выражая свои чувства лишь маятникообразным покачиванием головы, отчего уши его едва не касались эполет.

Мыслима ли в наш век такая карьера? Начавшаяся к тому же с прямо-таки купеческого торга:

«Готов к услугам за 1000 франков в месяц, не считая разъездных, с уплатой, в случае разрыва, 12 000 франков».

На бумаге резолюция:

«Личность ловкая, неглупая, но сомнительная. Сношения с ним полезны, но цена высокая».

Торг завершился взаимовыгодной сделкой. В папку был подшит документ:

«Бывший агент СПб-го секретного отделения, проживающий ныне в Париже под именем Ландезена, приглашен с 1 сего мая к продолжению своей деятельности за границей и поставлен в непосредственное отношение с лицом, заведывающим агентурой в Париже. Соглашение состоялось на следующих условиях:

1. С 1 мая 1885 г. Ландезен получает триста рублей или семьсот пятьдесят франков жалованья в месяц.

2. В случае поездок вне Парижа, предусматриваемых в видах пользы службы, Ландезену уплачивается стоимость проездного билета и десять франков суточных...

8 мая 1885 г.

*Директор департамента П. Дурново».*

Предполагал ли департамент, двадцать три года назад возобновляя деловые отношения с бывшим своим сотрудником, какого жреца охранной службы он приобрел в самонадеянном и нахальном студенте?

Додаков дочитал эту своеобразную книгу, где не было и не могло быть ни малейшей выдумки, где каждая страница — пронумерованный документ и в то же время породить

которую не могло бы самое причудливое воображение, и, закрыв обложку, посмотрел на директора:

— Фантастично, ваше превосходительство!

— Поэтому я и познакомил вас, так сказать — заочно, чтобы вы не сплеховали. Действовать вам придется через агента «Данде». Хотя, как бы этот агент не продал вас тому же Гартингу — по всей видимости, «Данде» трудится и на него.

— Явку возьму, но постараюсь обойтись без агента, ваше превосходительство. Использую студента Антона Путко.

— Вашу закольцованную птичку? Ну что ж...

Виталию Павловичу предстояло сделать решающий шаг, и он, как перед прыжком, даже глубоко заглотнул воздух:

— Студента Путко весьма близко знает некая девица, в недавнем наш секретный сотрудник, которая служит секретарем в «Обществе электрического освещения». Я мог бы предложить ей поехать со мною в Париж в качестве секретаря при инженере.

— Как зовут ее? Я имею в виду кличку.

— «Антуанетта».

Директор на минуту задумался. Наивен был бы Виталий Павлович, если бы решился предположить, что его собственные личные и служебные связи находились вне контроля вышестоящих начальников. Вынося оценку Додакову и определяя его исполнителем чрезвычайно ответственного задания, Трусевич тщательно изучил всю его подноготную и его окружение. Он не оставил без внимания и столь часто навещавшую офицера на конспиративных квартирах весьма пикантную девицу с коротко стриженными волосами. Не позже как вчера вечером Трусевич разглядывал ее фотографии и просматривал ее досье. И горячность молодого подполковника, а также тщательно обставленное, под самый конец разговора, как бы между прочим, упоминание о ней — ничто не ускользнуло от внимания многоопытного служителя охраны. Категорически пресечь? А почему?... «Старцы любят читать нравоучения потому, что сами уже не в состоянии подавать дурных примеров». Нет, опыт убеждает, что красивая женщина на полицейской службе весьма и весьма полезна. Пусть потешит себя Додаков, и пусть эта «Антуанетта» (директора покоробил псевдоним, и он даже поморщился) послужит душой и телом на благо отечества.

Виталий Павлович с тревогой наблюдал за директором, страхась затянувшейся паузы. И когда тот сморщил рот как от кислого, у него даже свело скулы.

— Хорошо. Пригласите и эту... «Антуанетту» для прогулки в Париж, — сухо кивнул Максимилиан Иванович. — С богом!

Фиакр вез их по Елисейским полям.

Вечер еще не наступил, но на Больших бульварах уже разгорались огни, и улицы заполнялись пестрой, шумной, веселой толпой. Только что они оставили чемоданы в отеле и теперь свободные, отрешенные от всех забот, открывали для себя Париж.

Все случилось как нельзя лучше. Виталий Павлович, как когда-то прежде, условным письмом назначил Зинаиде Андреевне встречу на квартире, той самой, в доме на Стремянной, выспросив разрешение на этот час у бывшего своего шефа генерала Герасимова. Зиночка пришла. Удивленная и, к удовольствию Додакова, уязвленная небрежением к ней: три месяца о ней никто и не вспоминал. Виталий Павлович легко объяснил причину: свой перевод в департамент и нежелание передоверить ее в чужие руки. А забыть — нет, к своему огорчению или к радости он ничего не забыл... И, глядя в ее открытое свежее личико, выжидательно поджатые губы и глаза, настороженно блестящие из-под челки, добавил как бы о незначительном:

— А теперь выявилась надобность и во встрече, и в вашей, сударыня, помощи. Не хотели бы вы поехать в Париж?

— В Па-ариж? — недоверчиво протянула она, розовея.

— Да, сударыня. По сугубо служебной причине.

Она заливалась краской все более. Додаков почувствовал, как горячи стали ее щеки, и понял, что о таком предложении она не смела и мечтать.

— А как же служба в «Обществе»? — попыталась как бы воспротивиться она, сама ставя преграды.

— После того как инженер оставил ваше «Общество» — а насколько нам известно, он возвращаться на Малую Морскую вряд ли пожелает, — надобность в вашей службе там отпала. Через директора-распорядителя Александра Карловича все будет урегулировано. Вот вам деньги на гардероб. Рекомендую магазин «Aux elegant» на Невском. Мадмуазель Гоше сама подберет, можете на нее положиться.

Он не сказал, конечно же, что бо́льшая часть этих денег была из его кармана — суммы, выделенной финансовым отделом департамента, едва хватило бы на две модные шляпки.

— А в каком качестве я должна ехать? — все еще самолюбиво сопротивлялась Зиночка.

— В том же самом. Секретарем при инженере. Инженером этим буду я.

Впервые за всю встречу она посмотрела на него без игры — долго и оценивающе:

— Ну что ж... Я согласна.

В дороге он был внимателен и учтив, навевался в ее купе поприветствовать с добрым утром, осведомиться о здоровье и проводить в вагон-ресторан. Он очень многого ждал от этого путешествия. Он испытывал мучительную радость в обуздывании самого себя. Как сказал тот англичанин: «Хочешь пользоваться плодами — не рви цветы». В этих словах и разгадка его собственного состояния. Не будь того, что случилось после Лисьего Носа, наверное, все сложилось бы иначе. Для нее ничего и не было, кроме безумного порыва, перед которым она сдалась, сокрушенная силой. А он — взял и не взял, и это было так же мучительно, как пересохшими от жажды губами припасть к запотевшему со льда стакану с ключевой водой и вдруг выронить этот стакан...

В Париже он снял номера в дорогом отеле на Трокадеро — его номер был через коридор против комнаты Зинаиды Андреевны, — осведомился, намерена она отдохнуть с дороги или посмотреть город, как бы настойчиво подчеркивая, что предоставляет все могущее случиться ее воле. Какое — отдыхать! Конечно же, на бульвары!..

И вот теперь он открывал ей Париж, очаровывал и искушал им. Он никогда не бывал здесь прежде, но достаточно знал французский, тщательно подготовился к поездке и теперь довольно легко мог быть гидом, угадать и площадь Звезды с ее Триумфальной аркой, и купол Дома Инвалидов, и Тюильри. В голове его кружилась фраза, вычитанная из какого-то путеводителя:

«Париж — второй город на свете по населению и первый — по напряженности и заразной бодрости своей жизни, по красоте, великолепию и изяществу...»

Так это или не так, но он воспринимался не в деталях, а подобно полотну, написанному широкими и дерзкими мазками. Вблизи и не разглядишь, что же изображено, но чувствуешь — нечто сказочное. Там, в Петербурге, шуршали декабрьские вьюги, а здесь клены неохотно роняли багряные листья, и меха служили лишь моде. И казалось, нет у этого сонмища людей иных забот, как беспечно и весело скоротать вечер. Город готовился к рождественским праздникам, сверкал рекламными огнями, гирляндами разноцветных лампочек. Красовались елки в витринах, и прямо на тротуарах и площадях шла бойкая торговля подарками. Зиночка, казалось, растворилась в воздухе Парижа, как кристалл в кислоте. Лицо ее было напряженным и отрешенным, нос покрыли бисеринки пота, и кончик языка облизывал пересыхающие губы. И даже глаза, всегда такие блестящие, затуманились и потемнели. Ей не надо было ничего показывать и ни о чем рассказывать: она все равно ничего бы не услышала. Она жила в своем мире, радуясь и не веря осуществившемуся чуду, не чувствуя, что сверкающий бенгальскими огнями воздух холоден, что сами золотые

нити — паутина...

В ресторане, за ужином, она пила, глаза ее блестели, она смотрела на каждого, разом на всех и ни на кого и звонко смеялась. На нее оглядывались. Но не осуждающе, а с улыбкой.

Виталий Павлович проводил ее, поддерживая, в номер.

— Ох, все кружится... — она оглядела комнату в притушенных огнях. Увидела посреди нее огромную, уже разобранный ко сну кровать под пологом, с высокой, резного дерева, спинкой и взбитыми подушками, с откинутым углом пухового одеяла, и словно бы протрезвела.

— Исполнение желаний, как в игре... Я — Мария-Антуанетта!

«Так вот она, разгадка псевдонима... Я был прав. Хотя и довольно банально...»

Зинаида Андреевна наклонила голову и исподлобья, с насмешливой улыбкой, посмотрела на него:

— Как там говорил какой-то их Людовик? «Париж стоит обедни», так?

— Не Людовик, а Генрих IV, — поправил Додаков. Она опустила на край кровати. Мягкие пружины податливо просели под ней:

— Все равно. Стоит...

## ГЛАВА 6

Утром Виталий Павлович с паспортами — своим и Зиначки — приехал в консульский отдел российского императорского посольства на улицу Гренель.

Старик привратник — борода лопатой, медали на груди — распахнул перед Додаковым двери. Чиновник, дежуривший в приемной зале, объяснил, что генеральный консул в отсутствии и по данному вопросу принимает вице-консул. И показал, в какой комнате.

Виталий Павлович вошел, профессиональным взглядом оглядел скромное помещение и направился к столу, за которым, погруженный в бумаги, сидел мужчина. Вместо склоненной головы — будто вспоротая при обыске пуховая подушка. Мужчина услышал скрип двери, поднял голову, и под копной мягких седых волос Додаков увидел смуглое моложавое лицо, холодно-вежливое, с холодными светлыми глазами.

— Разрешите? — Виталий Павлович изобразил умеренную почтительность, — Я — инженер акционерного общества «Гелиос». Приехал по делам службы в Париж. Вот паспорта, мой и секретаря.

Вице-консул принял книжицы:

— Долго собираетесь пробить здесь?

— Как дела пойдут. Еще не знаю-с. Желательно для начала разрешение на месяц.

Вице-консул аккуратно раскрыл его паспорт, перелистал:

— Бочкарев Валерий Петрович... Очень приятно. — Он привстал и протянул руку. — Гартинг. Аркадий Михайлович.

Додаков внутренне вздрогнул. Так вот он! Виталий Павлович знал, что встреча непременно состоится. После всего того, что прочел о заведующем ЗАГ в кабинете директора, он страшился ее и готовился к ней, но не ожидал, что она случится вот так, неожиданно.

— Очень приятно, Аркадий Михайлович.

Едва заметная напряженность, вдруг промелькнувшая в светлых зрачках с агатовыми, расширяющимися, как у кошки, хрусталиками, тотчас и растворилась в доброжелательном прищуре. И с мягкой интонацией в голосе вице-консул сказал:

— Документы у вас в полном порядке. На месяц так на месяц, как будет угодно.

Он лишь мельком взглянул на фотографию Зинаиды Андреевны, распорядился поставить в обоих паспортах штемпели — отметки о регистрации, затем расписался

замысловатой вязью и, возвращая соотечественнику документы, сказал:

— Приятного пребывания в Париже. Да, кстати, разрешите пригласить вас и вашу спутницу на рождественский бал. двадцать шестого. Соберется избранное общество. Где вы изволили остановиться?

Додаков назвал отель, поблагодарил:

— Сочту за высокую честь, господин консул! — и откланялся.

Он вышел из комнаты со странным чувством облегчения и в то же время разочарования: соперник оказался совсем не таким опасным. Приготовившись к напряженному поединку, он чувствовал себя как боксер, в первом же раунде нокаутировавший противника — к неудовольствию и публики, и своему собственному, ибо накапливавшиеся силы не поручили разрядки. И вот этот-то старичок — Сизиф охранной службы? Нет, будь он, Додаков, на месте коллежского советника, он держал бы себя иначе!..

Как глубоко заблуждался Виталий Павлович! В первое мгновение Гартинг, оторвавшись от бумаг и глянув на посетителя, принял было его за того, кем он и представился, — за инженера из «Гелиоса». Но уже и в то первое мгновение его насторожило и то, как посетитель осмотрел кабинет, и его выправка, не маскируемая даже легкой хромотой. А одного-единственного взмаха век, когда Гартинг назвал свое имя инженеру, стало достаточно Аркадию Михайловичу, чтобы понять: «Ага, дружок, вот ты откуда!..»

Теперь он изнутри запер дверь комнаты и через тамбур прошел в свой кабинет, достал из сейфа, вмонтированного в стену за портретом императора, коробку с небольшими карточками. Это были карточки не на поднадзорных эмигрантов, а на сотрудников самого департамента полиции. Недаром Аркадий Михайлович, подобно легендарному Жозефу Фуше, мог кого угодно повергнуть в трепет своей осведомленностью: он знал цену каждому не только в стане противника, но и в лагере своих единомышленников. Впрочем, собственных сотрудников он считал бо́льшими неприятелями, чем тех, за кем следил по долгу службы. Что могли эмигранты, революционеры? Попасться или не попасться на крючки его удочек. А эти? Эти могли оболгать, обойти заслуженными наградами и чинами, подсидеть, претендовать на его должность. О, с сослуживцами надо было быть особенно бдительным! Четверть века службы в охране многому его научили. И теперь Гартинг узнавал о том, что будоражит Фонтанку, едва ли не раньше, чем сами чиновники департамента. Конечно, прежде всего интересовали его дирекция и особый отдел, самоличности, перемещения их и назначения. Быстро перетасовав карточки, он вынул картонку, на которой были обозначены исходные данные на нового сотрудника особого отдела, переведенного из СПб ОО. Как полагается, с указанием и примет: рост 186, сухощав, кадык выступает... Хром на правую ногу... «Наше почтение, господин подполковник отдельного корпуса жандармов Додаков Виталий Павлович! С благополучным прибытием!..»

Он сунул карточку на место, запер сейф. Теперь следовало разобраться, что означает сей визит.

Прежде всего, бесспорно, — признание особой важности той акции, которую он задумал. Это главное. И второстепенное: намерение старого мерина Трусевича урвать от его славы. Ну что ж, потягаемся! Какими каналами будет пользоваться подполковник? Надо установить за ним наружное наблюдение. Оно даст Аркадию Михайловичу счастливую возможность выявить ту службу департамента, которая контролирует заграничную агентуру. Далее: отсечь псевдоинженера от всех возможных участников операции, чтобы сведения о ней исходили исключительно с авеню Гренель. И третье — параллельным информированием кого надо при дворе предотвратить прикармливание его дивидендов скудоумным Максимилианом Ивановичем. А уж самое последнее — утереть нос этому мальчишке, дабы знал впредь, с кем имеет дело. Кстати, эта девица, малышка с озорными глазами, — тоже сотрудница особого отдела или любовница Додакова? Наверно, и то и другое, уж во всяком случае — «другое».

Даже здесь, в кабинете, весь этот каскад мыслей прочертил свои зигзаги под панцирем

лба, никак не отразившись на лице Аркадия Михайловича, разве что расширяя и сужая агатовые бусины-точки его светлых зрачков, так выигрышно контрастировавших со смуглой, загоревшей под горным солнцем кожей щек.

Додаков постучал в ее номер. Она отозвалась. Он вошел. Комната прибрана. Кровать под тяжелым, в складках, покрывалом. Зинаида Андреевна сидит в кресле с книгой. Бледное чистейшее личико с легкими синими тенями под глазами, скромное платье с глухим воротом. Если бы не короткая прическа — тургеневская девушка.

Виталию Павловичу по душе, что комната не хранит никаких следов ночи. Или он так долго ждал, или сдали нервы, но эта девчонка, эта соплячка оказалась сильнее. Со стоном она отвернулась от него и замерла, и долго еще не могла успокоить себя и заснуть, он слышал по ее сдерживаемому дыханию. И чувствовал, как она презирает его. Такого с ним не бывало никогда. А нет ничего оскорбительней для мужчины, как чувствовать себя униженным в глазах женщины.

Сейчас Зиночка спокойно, со вниманием наблюдала за ним, входящим в комнату, во взгляде ее не было той издевательской насмешливости, как в тот раз, в конспиративной квартире на Стремянной, и Додаков приободрился: «Ничего, привыкнет. И я не буду как изголодавшийся щенок...» И чтобы сразу же укрепить ее расположение, он сказал:

— Я только что из консульства, отмечал паспорта. Мы получили приглашение на рождественский бал. Думаю, на нем будет цвет Парижа.

Зиночка зарделась. «Ага, вот чего ты жаждешь!»

— А пока потрудимся во славу отечества. Разрешите... те? — он пододвинул к ней стул. Принес ее пахитоски, спички, достал свои сигареты.

— Я умышленно не вводил вас в курс дела, Зинаида Андреевна, чтобы вы встретили Париж без всяких забот. Но, конечно же, мы приехали сюда не только для того, чтобы отпраздновать рождество христово.

Она склонила голову набок. Челка прикрывала один глаз. Зато другой как бы хитро подсказал: «Уж знаю, для чего приехали!»

— На нас с вами возложена весьма ответственная миссия, сударыня. Те самые злоумышленники, с которыми мы имели дело в Петербурге, ныне перебрались сюда.

Он подсел к ее креслу, достал из внутреннего кармана альбомчик с полотняными страницами и начал его листать.

— И сей господин, — Додаков ткнул в фотографию Валлаха, — и сей, и вот этот... Впрочем, он уже ликвидирован. И вот этот.

— Господин инженер? — удивленно подняла брови Зиночка.

— Да, если и не в Париже, то, во всяком случае, не в России. Наша задача — взять их всех под контроль и быть в курсе их деятельности. Осуществим мы наш план с помощью вот этого молодого человека.

Виталий Павлович перевернул несколько лоскутков и снова протянул альбом Зиночке.

— Студент? И он сюда попал?

— Совершенно верно, он самый, приятель господина первого инженера.

— Он наш сотрудник?

— Нет, к сожалению. Преступник. Поначалу мы недооценивали его. Но молодые лета отнюдь не свидетельствуют об отсутствии опытности, не так ли?

— Как преклонные — о наличии ее, — отпарировала Зинаида Андреевна. И он понял, что она ничего ему не простила.

— Впрочем, мы в департаменте давно уже отказались делать скидку на возраст, когда речь идет о революционерах, — ввел он разговор в прежнее русло. — Ныне этот юноша учится в Сорбонне, на инженерном факультете. Вам необходимо встретиться с ним, расположить его к себе.

— До какой степени?

— Не надо, Зинаида Андреевна! — взмолился он. — Не надо, я вас прошу...

Она, склонив голову, смотрела на него.

— С этим юношей, Антоном Путко, я познакомился при весьма печальных обстоятельствах, — продолжил Додаков, отведя взгляд.

Он скупко рассказал о том, как был убит молодцами из черной сотни отец Антона, как впервые увидел он студента, бросившегося к растоптанному, вдавленному в булыжник телу. Воспоминание было неприятным. Описание страшной картины должно было взволновать слушательницу.

Но она лишь спросила:

— Значит, это вы убили его отца?

— Не я, те молодцы.

— Все равно... Дальше.

— Я рассказываю все это, чтобы вы лучше знали исходные данные для изучения объекта, — резко проговорил Додаков. Дьявол ее возьми! Постель постелью, но начальник здесь он, а она его сотрудница! И, ожесточив голос, он уже сугубо деловито изложил все те сведения, которые могли пригодиться осведомительнице.

— Само же задание заключается в следующем...

И он подробно рассказал о хитроумной комбинации, придуманной им еще в Петербурге, одобренной директором департамента и на сто процентов гарантирующей успех задуманного предприятия.

— И когда приступить? — сладко потянулась Зиночка, по локоть обнажая мраморно-розовые руки.

— Теперь же. Через два часа, я узнал, заканчиваются лекции на семестре Путко. Я расскажу вам, как найти факультет — это не очень далеко, но возьмите фиакр. А сейчас у нас еще останется времени пообедать.

Додаков остановился и добавил, перейдя на «ты»:

— Через четверть часа жду тебя, Зиночка, в холле.

Он мягко улыбнулся, и от этого непривычного для мускулов его лица натяжения и сокращения лицо его, с желваками на скулах и натянувшимися перепонками от щек к подбородку, приняло вид анатомического манекена.

«На кузове — махало, на махале — зевало, на зевале — моргало», — подумала и содрогнулась Зиночка. Но ровно ответила:

— Если успею. Мне еще надо принять ванну.

— О, господин студент?

Антон глянул в сторону, на это восклицание по-русски. Голос был мягкий, с дребезжинкой.

— Вы — меня?

Он посмотрел на девушку в модной, отороченной мехом пелерине. Тембр ее голоса напомнил ему прежде, чем он разглядел незнакомку:

— Вы? Зинаида Андреевна! Да какими же судьбами?

— И вот так встреча! — она приоткрыла в улыбке рот, и Путко залюбовался ею. В меховой кокетливой шапочке она очень походила на дорогого веселого зверька.

— И слава тебе господи, не ошиблась, а то обращаться к мужчине... — она хитро-смушенно улыбнулась снова. — Надо же — встретиться и где — в Париже!

— А что вы здесь делаете? Тоже учитесь?

— О нет, — она грустно вздохнула.

— Извините, но я подумал... В Сорбонне на медицинском и юридическом учится немало девушек, это не то что в России.

— Нет, я по делам службы. Сопровождаю господина инженера.

— Леонида Борисовича? — воскликнул Антон.

— Нет, к сожалению. Разве вы не знаете: он уже не служит в «Обществе электрического освещения». И я ушла... Впрочем, какой вам интерес?



— Отчего же? Мне так приятно встретить землячку.

Антон был действительно обрадован. С Зиночкой были связаны дорогие ему воспоминания, да и сама она такая хорошенькая — какой дурак откажется пройти по улице со знакомой женщиной, на которую все оглядываются?

— Разрешите вас проводить? Вы где живете?

— Мы остановились в «Бельведере» на Трокадеро.

— Ого!

— Но сейчас я просто гуляю, люблюсь Парижем. Мы ведь только вчера приехали.

— В таком случае готов быть вашим чичероне.

— Очень мило с вашей стороны, тем более что инженер, которого я сопровождаю, тоже впервые в Париже, ничего не знает и такой нудный, как зубная боль! — она сделала выразительную гримаску. Антон расхохотался.

— Да, не повезло!

Они шли по бульвару Сен-Мишель в сторону Сены. Слева, над черепичными крышами, по серебристому небу плыл купол Дома Инвалидов.

— А надолго вы?

— И не знаю... — казалось, Зиночка не поднимала глаз под взглядами встречных мужчин, но тем не менее успевала быстро и профессионально оглядеть модниц. — Не знаю... Может быть, вам интересно: фирма, в которой я нынче служу, решила открыть в Париже бюро по сбору сведений об инженерных новинках.

— Очень полезное дело! — воодушевился студент. — Эта идея служит прогрессу, и Франция богата техническими новинками. Кому пришла такая счастливая идея?

— Ну вот, видите...

— Хотя в режиме самодержавия... — он остановился, улыбнулся. — Ладно, не буду вмешивать вас, Зинаида Андреевна, в политику.

— И не надо, упаси господи! — шутливо замахала она руками. Узкие кисти ее, затянутые в лайку, тоже были как лапки зверька.

— Как же намерена ваша фирма осуществить цель?

— Я просто секретарь для поручений, — скромно проговорила Зиночка. — Но, может статья, вы и посоветуете. Компания наша богата, на затраты не скупится. Но не посылать же сюда людей на постоянную службу — это ведь подумать только: каждого обеспечивать и жалованьем, и столовыми, квартирными, суточными и прочим! Накладно даже для нашей фирмы! — она говорила с воодушевлением, деловым тоном, и этот тон, контрастируя с ее свежим и бездумным выражением лица, как нельзя более шел к ней. — Правление решило поэтому образовать в Париже бюро из русских людей, которые живут и имеют отношение к инженерным наукам и тому подобному, я уж и не знаю... Знаю только, что директор и председатель наши весьма передовых и либеральных взглядов и не остановятся даже перед привлечением тех лиц, которые оказались на чужбине, не в пример вам, не по своей доброй воле... вы понимаете?

— Куда более. Да ведь это политика, Зинаида Андреевна, — предостерегающе-шутливо сказал Путко.

— Возможно, сударь, — если политика заключается в том, чтобы не касаться политики, — хитро отпарировала она.

«О, да эта красотка не так-то проста!» — подумал Антон.

— Не знаю, но мы рассчитываем, что желающие могут найтись: фирма будет щедра на жалованье, а жизнь здесь, видимо, сладка не для всех.

— Конечно! Эмигрантам очень туго живется, очень! — горячо одобрил идею студент. — Даже люди с университетом вынуждены здесь идти простыми рабочими, мастеровыми или носильщиками в «Брюхе Парижа», слыхивали о таком?

— Нет, — призналась Зиночка. — А что это?

— О, я вам покажу, если составите компанию. Только это надобно ночью. Потрясающе интересно — любопытнее рынка на Лиговке. И кормят там вкуснейшим луковым супом,

который стоит одну копейку.

— Луковым? — брезгливо поморщилась Зинаида Андреевна.

Они поравнялись с оградой Люксембургского сада. На золотых от опавшей листвы аллеях и меж деревьев мелькали фигурки детей, слышался визг, смех, гомон. На скамьях рядом, как куры на насестах, сидели мамы, гувернантки и бабушки.

— Любимый сад парижской детворы, — показал, вступая в роль чичероне, Антон. — Как жаль, что в Питере нет такого.

— А Летний?

У него кольнуло сердце: чересчур много было связано с Летним садом.

— Вон, посмотрите: Гаврош и маркиз. А. у нас кого в Летний пускают? У нас деление на чистых и нечистых во всем.

— Опять политика? — подняла палец Зиночка.

— Эх, да разве ж без нее обойтись? — тряхнул головой Антон. И неожиданно предложил: — А знаете что: посмотрите, как я живу, а? Это совсем рядом, только обогнуть сад.

— К вам? — заколебалась она.

— Да вы не подумайте!.. — рассмеялся он. — Посмотрите, как живет большинство русских в Париже.

— Разве я могла подумать? Вы так добродетельны, что у меня и мысли возникнуть не могло, — она посмотрела на Антона снизу, и в ее тоне ему почудилась дразнящая насмешка.

На площади Ростана они свернули с бульвара Сен-Мишель, прошли вдоль колоннады фасада великолепного Люксембургского дворца и вскоре оказались на узкой рю де Мадам.

— Обратите внимание, как называется эта улица. Я узнавал: оказывается, в честь сестры какого-то из королей. А вот и мой дом. Другим углом он выходит на улицу Цветов. Романтично, не правда ли?

Она улыбнулась.

Они стали подниматься по лестнице под многозначительным взглядом консьержки. И Зиночка подумала, что эта скрипучая лестница и запахи на ней очень напоминают ее родимый дом в Петербурге: Сердце ее на мгновение стеснилось тоской. «Боже мой, зачем я здесь, а не дома?..» Но за стенами шумел и сиял Париж, а он действительно стоил обедни.

— Не оступитесь, — поддержал ее под руку Антон. — Передохните, нам еще высоко.

Зиночка с любопытством оглядывала комнату с покатым потолком, с колченогим столом и расшатанными древними стульями. На столе, на одном из стульев, на полу и подоконнике лежали книги и тетради. Зиночка подошла к окну. Под ним в деревянном ящичке пунцово горели герани, и ей вспомнились точно такие же герани на окне в кабинете первого инженера. Отсюда виделись только крыши соседних домов, и улицы лишь угадывались узкими щелями меж ними.

— Хоромы не как у вас на Трокадеро? — весело спросил Антон и предложил: — Чаю? Или копченую селедку?

В его голосе был вызов: «Вот так мы и живем!»

— Чаю — с удовольствием!

Она скинула пелерину на узкую железную кровать со смятым суконным одеялом, посмотрела на Антона, колдовавшего у газовой плиты. Русые его вихры торчали в стороны, глаза были сосредоточены, и губы по-детски напряжены. А руки — большие, молодые, сильные — уверенно крутили, зажигали, доливали воду в щербатый чайник. «Мне было бы здесь лучше, чем на Трокадеро...» — тоскливо подумала она.

— А знаете, сударыня, меня заинтересовало ваше дело, — повернулся от газовой Антон. — Я знаком здесь с людьми весьма просвещенными и нуждающимися в постоянном источнике существования. Деньги в Париже тают, как снежный ком в кулаке, — он для выразительности сжал пальцы. — И сам бы я мог в свободное время...

— И славно. И очень даже хорошо! — она прихлопнула в ладоши. — Выходит, не напрасно меня привезли сюда. И чем искать чужих, а я вас уже знаю и могу

отрекомендовать... с самой лучшей стороны.

— Благодарю, моя покровительница.

— Только не надо терять времени, может оказаться много желающих.

— Я сегодня же поговорю с товарищами, со своими друзьями. Уверен, они согласятся.

— Вы понимаете, решаю-то не я. Вот номер господина инженера в «Бельведере».

Бочкарев Валерий Петрович.

Они попили крепкого чаю из разномастных граненых обжигающих стаканов, и Антон пошел ее проводить.

— Покажите мне дорогу к Сене, а дальше я сама найду, хочу еще на витрины поглядеть, — сказала Зиночка. — Женщине это делать лучше одной.

Он согласился — надо было подготовиться к завтрашним занятиям в университете да еще рассказать товарищам о нежданно привалившей удаче. Конечно, он расскажет только эмигрантам-большевикам.

— До встречи! — дружески протянула ему руку Зиночка у моста Карусель.

— Буду очень рад увидеть вас снова, — галантно и искренне сказал Путко, тряхнув ее руку.

«Кажется, все прошло как нельзя лучше, — думала Зиночка по дороге в отель. — Жердй придумал хитро, да и я не сплеховала». Мимолетные добрые чувства, пробудившиеся в ней при встрече со студентом, почему она и была столь естественной и искренней, уже улетучились.

Подполковник тоже остался доволен визитом Зинаиды Андреевны. По его замыслу, именно студентик должен был собрать вокруг «инженерного бюро» всю свою компанию. Додаков под видом представителя фирмы познакомится с каждым, а затем наладит наблюдение за ними. «Еще поглядим, Сизиф, кто из нас удачливей!» — думал он. Надо только не опростоволоситься перед этими беглыми инженеришками. А для этого кое-что подчитать. И он отправился в поисках литературы по книжным лавкам.

Антон пожаловал в «Бельведер» следующим же вечером. Пришел он с Виктором.

Инженер спустился к ним в вестибюль в сопровождении Зинаиды Андреевны. Девушка представила ему Антона, а он, в свою очередь, — Виктора. Бочкарев был холодно-любезен и сдержанно заинтересован: он — работодатель и желает подобрать на вакансии наиболее достойные кандидатуры. Деловые переговоры инженер предложил провести за столиком, и они чинно прошествовали в уютное кафе тут же при отеле.

Представитель фирмы обстоятельно расспрашивал претендентов о них самих, их связях, технической эрудиции — не выходя, однако ж, ни на дюйм за рамки того, что могло интересовать его как специалиста. И кажется, остался вполне доволен. Антона он расположил полностью. Из рассказа Зиночки у студента создалось представление о ее шефе как о ловце душ, высокомерном и нагловатом. А инженер оказался деликатен, умен, даже как-то меланхолично задумчив, и по отдельным, вскользь брошенным репликам — весьма прогрессивных взглядов: человек, сетующий на то, что, имея столько блестящих умов на родине, они, руководители отечественной фирмы, вынуждены искать новое на стороне... Путко восторженно придавил ногу товарища под столом.

Виктор меньше витал в эмпиреях. После того как инженер подтвердил готовность к сотрудничеству, он поставил вопрос прямо:

— Сколько фирма будет платить?

Бочкарев назвал такую сумму, что у Антона даже потемнело в глазах: месяц работы обеспечивал каждому безбедную жизнь на год и даже на два.

Однако Виктор, неприметно оттолкнув ногу студента, лишь кивнул:

— Пожалуй, можно согласиться.

Сошлись на том, что они вдвоем, Антон и Виктор, возьмут в свои руки создание технического бюро, в ближайшие дни определят число сотрудников и, встретившись с представителем фирмы вновь, оформят контракт и наметят программу ближайших работ.

— Ну? — восторженно посмотрел на товарища Антон, когда они вышли из отеля на

площадь. — Вот это привалило! Половину можно будет смело отдавать в партийную кассу!

— Погоди, — остановил его товарищ. — Рыба в реке — не в руке. Знаешь, как говорят: «Не те денежки, что у бабушки, а те, что в запазушке». Но и он был доволен.

Ростовцев уведомил Гартинга, что некий инженер Бочкарев, приехавший из России, установил контакты с несколькими эмигрантами и вовлекает их в какое-то техническое предприятие. Характер предприятия еще не ясен, вряд ли преследует он партийные цели. Но то, что участвовать в нем намереваются исключительно одни большевики, не может не насторожить. Ростовцев спрашивал: надо ли и ему принять участие в этом деле.

Аркадий Михайлович сделал из донесения агента выводы: полностью подтверждается его предположение о цели прибытия в Париж сотрудника особого отдела; проводимая Додаковым слежка лишь облегчит работу заведующему ЗАГ — не ведая того, подполковник будет работать на Гартинга. А для того чтобы сей коммивояжер не позарился на заслуги заграничной агентуры, Аркадий Михайлович в нужный момент готов будет применить и радикальное средство: хотя бы с помощью того же Ростовцева доведет до сведения большевиков, кем является на самом деле господин «инженер». А тогда либо найдется боевик, который где-нибудь в укромном местечке сведет с ним счеты, либо придется незадачливому офицеру убираться не солоно хлебавши. «Вот так-то, мил человек, не на того напали, не по зубкам-с!..»

Гартинг категорически запретил Ростовцеву вступать в какие бы то ни было контакты с инженером. И, вызвав Генриха Бэна, поручил ему установить тщательнейшее наблюдение за русским, остановившимся в «Бельведере».

— Бочкарев — крупная птица, на мякине его не проведешь. Наблюдение должно быть особенно чистым, — предупредил он добродушного толстяка, выполнявшего в Париже обязанности петербургского Железнякова.

Накануне рождества Виталий Павлович получил на адрес отеля плотный пакет с тисненым двуглавым орлом. В пакете лежал лист глянцевого картона, на котором затейливой вязью значилось, что чрезвычайный и полномочный посол Российской империи во Франции А. И. Нелидов приглашает г-на инженера с супругой (такова была формула, и менять ее не стали) на прием по случаю рождества христового.

Додаков показал бланк Зиночке и последил за тем, какое впечатление произведет на нее словосочетание «с супругой». Зиночка подержала приглашение во вздрагивающих пальцах, щеки ее зарумянились. Виталий Павлович и сам был приятно удивлен внимательностью Гартинга. Мало ли визитеров из России, не каждого же приглашают на приемы. Раз так, уж он-то в грязь лицом не ударит. Конечно, суточными и прочими статьями расходов бальное платье для Зиночки предусмотрено не было. Не беда, он выложит свои деньги.

Хозяйка мастерской была очарована юной россиянкой:

— Шарман! Шарман! Неужели все женщины так прелестны в стране зимы?..

И вот они подъезжают к парадным воротам российского посольства. Авеню Гренель уже заставлена экипажами. Стоят, приосанившись, ажаны в накидках, снуют ливрейные слуги. Подъезд залит светом, во всех окнах сверкают люстры. Распахнутые настежь двери вбирают гостей. Имена удостоенных чести быть приглашенными звучат в мраморных стенах. На верхнем марше их встречают господин посол с супругой. Зиночка ослеплена, ошеломлена, вознесена — и растоптана. Никогда в жизни она не была участницей такого пиршества роскоши. Мужчины во фраках и военных мундирах, с лентами, крестами и звездами. Женщины в необыкновенных по фантазии нарядах, с чудесными прическами, в сказочных драгоценностях. А ее платье, которому час назад она так радовалась, теперь кажется Зиночке рубищем; в контрасте со сверканием бриллиантов и изумрудов на ее пальце поблескивает тоненькое колечко с сиреневым александритом. На нее обращают внимание, но ей кажется — из-за ее жалкого одеяния. И она еще более падает духом. К тому же большинство собравшихся знакомы друг с другом, обмениваются приветствиями,

собираются группками. Только они двое — как птицы, залетевшие в чужую стаю.

— Валерий Петрович? Рад приветствовать вас!

Зиночка обернулась. К ним, лавируя меж гостей, подходил невысокий смуглолицый мужчина с копной легко вьющихся седых волос. Грудь его расшитого золотом позументов мундира украшало такое количество орденов, какое она видела разве что на портретах коронованных особ. Ей показалось, что и Додаков не сразу узнал мужчину. Но тут же лицо Виталия Павловича расплылось в улыбке. Они дружески пожали руки. Додаков представил Зиночку.

— О, вы украшение нашего собрания! — мужчина склонил голову в полупоклоне и, бережно приняв ее руку, приложил к перчатке губы.

— Вы очень любезны, — грустно сказала она, стрельнув глазами на стоявших рядом, в жемчугах и каменьях, светских дам.

Взгляд ее выдал. Гартинг придержал на мгновение руку, потом отпустил, отступил на шаг и с действительным интересом посмотрел ей в лицо:

— Чтобы украсить утреннюю розу, достаточно одной лишь росы, — он легко засмеялся. — Это не я, Зинаида Андреевна, это Лопе де Вега. Увидев вас, он непременно повторил бы эти слова.

Зиночка была покорена. И ей уже не было заботы ни до его седины, ни до обозначившихся под глазами мешков — интересный мужчина, и так приятны его глаза, так выразительны: светлые родники на смуглом лице, и такой внимательный, тонкий...

На хорах заиграл оркестр. Объявили танцы. Додаков из-за хромоты танцевать не любил. Аркадий Михайлович снова оказался подле них. И вот уже музыка понесла Зиночку в сверкающем вихре. Вице-консул танцевал молодо, легко и в то же время властно, подчиняя партнершу, неприметными движениями отдавая ей приказы. Это было восхитительно. После вальса заиграли плавную мелодию, и снова Гартинг и Зиночка танцевали вместе.

Зиночка робела, не зная, о чем и говорить с таким важным сановником, боясь показаться глупой. Единственное, что она решилась сказать, — это:

— Сколько у вас орденов!

— А, — небрежно тряхнул он головой, — Все мне некуда и вешать.

— Я такие и не видела, — сказала она.

— Просто я коллекционер, — рассмеялся он. — Эта звезда вам известна: Святого Владимира, и Святая Анна — тоже, конечно.

Он говорил таким тоном, будто само собой разумелось, что в окружении Зиночки все должны были быть удостоены Владимиром и Анн.

— А этот «Крест Виктории» — британский, «Данеборга» — от короля Дании, «Красного орла» — от короля Пруссии, «Северная Звезда», — шведский. А вот эта, — он показал на пятилучевую эмалевую, с золотом и серебром, звезду, — особо чтимый во Франции орден «Почетного легиона». Он был учрежден консулом Буонапарте, будущим императором Наполеоном Первым.

— Боже мой! — охнула Зиночка. — Столько наград! И кто же вы?

— Седой старец, проевший зубы на дипломатической службе.

— Что вы! Вы... — она запнулась.

— Благодарю, — он с чувством пожал ей руку.

Аркадий Михайлович пригласил ее еще раз — на последний танец, — перед тем как всех гостей позвали столу.

— Много вы уже успели увидеть в Париже? — поинтересовался он.

— Совсем мало, — призналась она.

— Отчего так?

— Мой патрон все занят, а одной...

— Понимаю. Вы не откажетесь, если я как-нибудь приглашу вас на экскурсию? Я знаю в этом городе самые выдающиеся места.

— Я буду только рада.

- Когда?
- Когда угодно, сударь.
- В первую неделю нового года, не возражаете?
- О да!
- Отлично! О дне, месте и времени нашей встречи я вас извещу.

Музыка смолкла. Но он еще сделал несколько па. Они остановились посреди зала последними. Им зааплодировали.

Зиночка была счастлива.

## ГЛАВА 7

Ростовцев нарушил требование Гартинга: уведомил, что им опять нужно увидеться.

Никакая осторожность не бывает излишней — годы беспроигрышной игры не притупили для Аркадия Михайловича этого мудрого, будто специально предназначенного для жрецов храма Охраны, изречения римлянина Флакка Горация. Согласившись на встречу, заведующий ЗАГ решил приструнить осведомителя — что-то уж очень он нервничает.

— Банковские билеты здесь, — сказал Ростовцев, когда они оказались один на один в гостиной.

— Вы стали повторяться, дорогой. О том, что деньги в Париже, вы сообщили мне еще из Берлина, — Аркадий Михайлович распечатал деревянную коробку, обрезал и начал раскуривать сигару, умышленно не предложив «гавану» сотруднику.

— Напрасно вы иронизируете, — с обидой сказал Ростовцев. — Общение с вами неприятно мне больше, чем вам со мной. — Он хотел сказать: «сулит мне больше неприятностей», но не поправился — он тоже был достаточно самолюбив. — Если я говорю «здесь», значит — вот они, — он вынул из кармана хрустящие серо-голубые банкноты.

— У вас? — изумился Аркадий Михайлович.

— Не торопитесь радоваться, — настал черед Ростовцева взять реванш. — Только четыре билета из двухсот.

— Каким образом?

— Валлах предложил, чтобы я выехал в Италию и там обменял их на лиры.

— Вот оно что... — Гартинг взял банкноты в руки, начал с интересом разглядывать их. Да, те самые. Новехонькие. Серия «АМ», номера 63777, 63778, 63780... — Отлично! Превосходно!

— Вы в этом уверены? А если банки Италии уже предупреждены? Меня сцапают как миленького и отправят на каторжные работы на Сицилию или, еще лучше, выдадут отечественной Фемиде. Потом выпутывайся с вашей помощью.

— Да... — мозг Аркадия Михайловича работает, как механизм рулетки в Монте-Карло. И Ростовцев следит за лицом своего шефа с таким же напряжением, как следил бы за пестрым диском в казино.

— Да, банку «Кредито итальяно» — корреспонденту российского министерства финансов — номера уже сообщены. И вас, конечно же, схватят.

— Что же делать? Не выполнить их задания я не могу.

— Валлах сказал вам, когда нужно обменять деньги?

— Да Обязательно двадцать первого.

— Сегодня, если не ошибаюсь, четырнадцатое? А когда должны обменять билеты другие участники операции?

— Не знаю. Валлах ничего об этом не говорил.

— Не знаете... Не знаете... — Аркадий Михайлович углубляет мизинец в ноздрю. — Превосходно!

Он торжествует: он нашел выход.

— Не надо отказываться от обмена, дорогой мой, не надо! — он přátельски пододвигает коробку с сигарами к Ростовцеву. — Бог с ними, с лирами, не такая уж это ценная валюта.

— Да как же я поеду в Рим? — взрывается агент. — Я же объясняю.

— Не надо объяснять, я все знаю, — Аркадий Михайлович доволен: оплатил осведомителю за его непозволительный тон. — Вам нет надобности спешить за Апеннины. Давайте сюда эти билеты. А сами отправляйтесь... — он делает маленькую паузу и с невинной улыбкой продолжает: — в Рамбуйе. Там, кажется, обитает очаровательная Аннет?

Ростовцев должен быть поражен его осведомленностью. Пусть знает: и за ним есть глаз.

— Да, мадмуазель Аннет обитает именно в Рамбуйе, — говорит он, нагибается и поднимает с ковра булавку. — Но не менее очаровательная юная брюнетка вот с такой челкой теперь, по всей вероятности, обитает здесь?

«Вот оно что! — Гартинг в ярости. — Он следит и за мной! Или просто видел меня с Зиной?.. Скорее всего видел. Где, когда? — гнев его так же быстро остыл, как и вскипел. — Это становится опасным. Пора кончать».

И Аркадий Михайлович по заслугам оценивает контрудар своего агента:

— Как говорят англичане: «хорошо не иметь пороков, но плохо не подвергаться искушениям», — не так ли?.. Да, эта леди была мила, — он делает ударение на «была» и театрально вздыхает. — Однако вспомним о делах. Когда вы вернетесь из Рамбуйе, я выплачу вам лиры по официальному курсу обмена. Но... — он снова делает паузу, подчеркивая ею значимость последующих слов, — вы отдадите лиры Валлаху не двадцать первого, а семнадцатого.

— У нас... У большевиков не принято нарушать условия.

— Не беда. Скажите: забыл, волновался, билеты жгли руки. Что-нибудь придумаете. Именно семнадцатого, так надо. Понятно?

Теперь в его голосе — жесткость приказа. В креслах сидят начальник и его подчиненный. Тем же тоном Гартинг заканчивает:

— Отдадите деньги и постараетесь выведать у Валлаха его дальнейшие планы. А вечером, скажем, в девять часов мы снова встретимся. Не здесь, а вот по этому адресу.

Семнадцатого января, когда Ростовцев возвращается из Рамбуйе — городка, расположенного в полусотне верст от Парижа, — в условленном месте его уже ждет пакет с лирами: ровно столько, сколько полагается их по биржевому курсу, за вычетом операционных расходов, даже с квитанцией банка «Джордано итальяно».

Вечером сотрудник и заведующий ЗАГ встречаются в скромном ресторанчике в Пасси — тихом, окруженном садами предместье Парижа, на берегу Сены. Ресторанчиков и кафе в столице Франции и ее окрестностях великое множество. Для того чтобы хоть однажды побывать в каждом, не хватило бы всей жизни. Гартинг взял за правило никогда не назначать деловые и интимные свидания в одном месте дважды: у владельцев подобных заведений профессиональная память на лица. Они расположились в нише за занавесью. Когда ужин был подан, Аркадий Михайлович, звякнув о вилку, предложил:

— А теперь расскажите подробно, как все получилось. Мне важна каждая деталь.

— Валлах был очень рассержен тем, что я обменял билеты раньше времени. Я сказал: расшалились нервы.

— А он?

— Сказал, что для партийца это непростительный поступок. Но потом почему-то даже обрадовался: «Может быть, оно и лучше».

— Дальше, дальше!

— Сказал: «Раз не сцапали, значит ни о чем не ведают», — и даже похвалил: «Молодец».

— Превосходно!

— Конечно, я спросил: «Что теперь делать?» Он ответил: «Ты пока из игры выходишь». Я не удержался и любопытствовал: «А вы сами?» Вопрос выглядел естественным, хотя, как опытный конспиратор, я не должен был ни о чем спрашивать. Но я ведь к тому еще и его друг.

— И он? — поторопил Аркадий Михайлович.

— Сказал, что послезавтра выезжает в Лондон. А может быть, в Швецию или Данию. Я не решился спросить — зачем. На прощанье он сказал: «Вот, припрячь хорошенько», — и протянул мне этот пакет.

Ростовцев достал небольшой плоский сверток.

— Что в нем? — насторожился Гартинг.

— Посмотрите сами.

Аркадий Михайлович развернул бумагу:

— Банковские билеты?

— Да. Сорок восемь пятачков. Двадцать четыре тысячи рублей.

«Имею честь доложить Вашему Превосходительству следующее.

Путем тщательного освещения стало известно, что размен денег предполагается в будущий вторник и его должны осуществить в один и тот же день в разных городах Западной Европы.

Выяснилось также, что Валлах настаивает, чтобы лица, отправляющиеся в разные города для обмена, ездили обязательно с какой-либо близкой женщиной, которая, живя в той же гостинице совершенно отдельно, хранила бы у себя предназначенные к размену билеты, а лицо, долженствующее осуществить обмен, имело бы при себе не более одного билета. При таких условиях в случае провала кого-либо деньги были бы спасены. По имевшемуся до третьего дня плану Валлаха 30 тысяч должны были быть разменены в Париже, 25 тысяч — в Лондоне и остальные 45 тысяч в разных городах Западной Европы. Третьего дня я узнал, что деньги эти были доставлены на квартиру дяди Миши, а затем переданы Валлаху, который съехал с квартиры, где он жил под другой фамилией, и, переменяв дважды на пути автомобиля, исчез, а затем его местопребывание было открыто агентурным путем в другом конце Парижа. Затем стало выясняться, что Валлах намеревается поехать на Ривьеру, в Италию или Швейцарию. Вчерашнего числа стало известно, что размен на континенте будет поручен лицам, мало известным агентуре, и что сам Валлах намерен выехать в Лондон для обмена, согласно вышеизложенному, некоторой суммы.

Данные условия создают положение, при котором остановить размен будет совершенно невозможно или он произойдет так, что никого задержать, вероятно, не удастся. Заручившись содействием префектуры, третьего дня я ознакомил императорского посла со всем делом и представил ему необходимость написать префекту письмо о задержании лиц, владеющих этими кредитными билетами. Префектура проявила любезность, а прокуратура согласилась поручить одному из судебных следователей возбудить дознание и подвергнуть задержанию лиц, при которых будут обнаружены экспроприированные билеты.

За Валлахом в течение трех дней и ночей учреждено неотступное наблюдение и охрана всех вокзалов Парижа, для каковой цели, кроме всего наличного состава филеров агентуры, потребовалась помощь 15 добавочных агентов префектуры. Наблюдение продолжается.

*Заведывающий заграничного агентурой...»*

Аркадий Михайлович размашисто, с удовольствием подписывает послание. Игра вступает в решающую стадию.

Трусевич в беспокойстве. Он чувствует, что нервничает и Петр Аркадьевич — через три дня его очередной доклад государю, и он ждет для этого доклада хотя бы первых



результатов задуманного предприятия, от исхода коего зависит очень многое. Кроме того, Гартинг и «Данде» дали наводку на след Ульянова-Ленина. Перебрав все восемь губерний великого княжества Финляндского, департамент сосредоточил особое внимание на одной — Выборгской. Помогло донесение того же Гартинга, который еще ранее сообщил, что Ульянов получает корреспонденцию по адресу «Finland, Terioki, herren Raavo Kakko», причем на внутреннем конверте делается пометка «Для Л-на». Этот Пааво Какко, бывший полицейский служащий, замеченный в революционной агитации, в данное время содержит в Териоках гостиницу для приезжающих с сомнительным названием «Товарищ» — постоянное место встреч многих русских революционеров, конечно же, под вымышленными именами. Если этот Какко получает письма для Ленина, значит руководитель большевиков где-то неподалеку, может быть в самих Териоках. Но с великим княжеством взаимоотношения у полицейских служб империи особые: внешне дружественные, но в то же время любое действие департамента встречает скрытое, замаскированное противодействие. Поэтому приходится дипломатничать и осторожничать. И на этот раз Максимилиан Иванович обратился к финским властям через подставное лицо — следователя одного из округов Петербурга:

«Спешное.

Господину губернатору Выборгской губернии.

Согласно ст. 189 постановления, касающегося судебных учреждений, имею честь просить господина губернатора принять меры для немедленных розысков в г. Выборге и вверенной Вам губернии потомственного дворянина Владимира Ульянова, родом из Симбирской губернии, известного под псевдонимом «Н. Ленин», обвиняемого по ст. 129 уголовного кодекса и скрывающегося от следствия.

Если он будет обнаружен, следует немедленно сообщить об этом мне...»

Власти великого княжества не торопятся с ответом. Через три недели после поступления запроса он лишь переведен на финский язык, а спустя еще невероятно долгое время поступает ответ (подумать только: на уровне помощника коронного ленсмана Выборгского округа — что-то вроде российского пристава!):

«Ссылаясь на отношение Коронного фохта № 1208 от 22 числа сего месяца, имею честь сообщить, что в здешнем округе не проживает упомянутый в отношении дворянин Владимир Ульянов...»

Максимилиан Иванович испытывает чувство холодной ярости. Попробуй поработай с такими заклятыми друзьями! А ведь Ульянов в сотне-другой верст от Петербурга!.. Близок локоть, да не укусишь, громом порази эти свободы, столь неосмотрительно дарованные финнам государем!..

Вызывает неудовольствие директора и бездеятельность Додакова. Уже почти месяц, как болтается он в Париже, а кроме «завтраков», ничего нет, идея с техническим бюро осуществляется медленно, неведь почему тормозится.

Что же положить в основу доклада министра государю?..

И лишь поступившее от заведующего ЗАГ новое письмо возвращает Трусевичу уверенность в быстром продвижении задуманной операции к финалу. Да, что бы там ни говорили, но охранная служба требует хорошей полицейской школы, а Гартинг прошел все ее ступени.

Дядя Миша зашел за Антоном и передал, что вечером, в восемь, ему надо быть в Люксембургском саду, в самом конце центральной аллеи. Зачем, для чего — Путко не спрашивал.

Январский вечер был безнадежно осенним. Фонари в венцах измороси светили тускло,

прохожие вбирали головы в воротники. И сад, такой веселый и шумный в погожие дни, был безжизненным и мрачным, с черными холодными лужами на дорожках. На скамьях бездомными птицами жались парочки.

Антон деловито шагал в глубь сада. Но мокрые деревья, светлеющие пятна мраморных скульптур и резкий запах преющей листвы всколыхнули в нем тревожное воспоминание и бросили мысли в Питер, в Летний, к «Кофейному домику». И впервые, может быть, потому, что он был теперь так одинок, Антон со жгучей горечью вспомнил разговор с Леной... Меж тем садом и этим пролегла вечность.

Вот и последняя скамья. За стриженным голым кустарником — мокрая чугунная ограда.

Ссутулившись от зябкого холода, Антон ждал.

В аллее показался плечистый мужчина в шляпе, осанкой похожий на Оноре де Бальзака. Мужчина шел, опираясь на массивную палку — горожанин, совершающий обязательный перед сном моцион.

«Не этот...»

Мужчина подошел и протянул широкую ладонь:

— Ну, здравствуй, сынок.

Антон чуть не вскрикнул от радости: это был Феликс. Вот кого он больше всего хотел увидеть! Столько накопилось вопросов, так многое тревожит.

— Очень рад, что вы приехали. Как Камо?

Феликс берет его под руку, притягивает к себе, и теперь они идут рядом.

— Ему очень трудно сейчас. Охранка добивается его выдачи. Всеми средствами добивается. А улики против него тяжелы...

Если бы Литвинов имел право и если бы это было необходимо для дела, он мог бы рассказать студенту, что в эти дни и в этот самый час Семен ведет беспримерный бой с тюремщиками. Красин во время свидания в Моабите передал ему инструкцию Большевицкого центра симулировать душевную болезнь, иначе выдача царским охранникам неизбежна, а важно как можно дольше затянуть решение по делу. И вот сейчас Семен — в общем-то мальчишка, — собрав всю свою силу и волю, борется не только с чиновниками полиции, не только со следователями, но и со светилами медицинской науки. Выдержит ли Камо такую сверхчеловеческую перегрузку, когда одно движение, одно слово могут предать, когда нельзя доверяться даже сну и приходится контролировать физиологические реакции организма умом и волей?..

— Семен выдержит, — говорит Феликс не столько Антону, сколько самому себе. — Только бы продержался как можно дольше.

Он задумывается и добавляет:

— Ничего, теперь будет полегче...

— Почему?

— Будет! — загадочно улыбается Феликс. Он не объясняет. Да и говорит это тоже больше себе, чем студенту.

Большевицкий центр в последние дни был в особенном напряжении. Через надежных товарищей-финнов стало известно, что департамент полиции ведет розыск Владимира Ильича на территории великого княжества и уже напал на какие-то следы. Хотя Ленин был тщательно законспирирован, жил по чужому паспорту и встречался с очень узким кругом особо доверенных партийцев, нельзя было недооценивать хватки охранников. Центр предложил Владимиру Ильичу перебраться из Куоккалы, с дачи «Ваза», в глубь Финляндии. Некоторое время он провел на небольшой станции Оункиля под Гельсингфорсом, в неприметном доме сестер-финок Винстен, принимавших Владимира Ильича за того, кем он себя называл, — немца доктора Мюллера. Однако и этот дом не мог долго служить надежным укрытием, тем более что надо было продолжать редактирование газеты «Пролетарий» — большевицкого органа. Она печаталась в подпольной типографии в Выборге. Получать от товарищей материалы, писать статьи, поддерживать связь с другими членами редакции и типографией... Любая ниточка, уцепись за нее охранники, могла

привести в Оункиля. И Большевицкий центр решил редакцию «Пролетария» перебазировать в Швейцарию, в Женеву, где газета выходила до начала революции. Но как выскользнуть из сужающегося кольца преследователей?.. Между Финляндией и Швецией через залив курсируют пассажирские пароходы, путь им прокладывают ледоколы, взламывающие еще тонкий, неустоявшийся наст. Нет никакого сомнения, что в крупных портах — в Гельсингфорсе, в Або дежурят филеры охраны. Появись Владимир Ильич на пирсе, его тут же схватят. Оставалась единственная возможность: пробраться на один из островов, рассеянных в прибрежных водах Финляндии; у некоторых пароходы, следующие в Швецию, делают остановки. Мало вероятности, что и на островах караулят агенты полиции. Капитан одного из курсирующих по этой трассе пароходов — «Боре-1» — свой человек. До острова, где сделает остановку «Боре-1», верст пятнадцать. Как пробраться через пролив?..

Владимир Ильич отправился по ледяному полю пешком. Его сопровождали финские товарищи, члены «партии активного сопротивления царизму», тайно переправлявшие за рубеж многих русских революционеров. Переход по льду пролива Эрфьерден, путешествие до Стокгольма, а оттуда и до Женевы — все прошло благополучно. Правда, Надежда Константиновна, когда Феликс недавно побывал у них, рассказала, что, как признался ей Владимир Ильич, во время путешествия по льду он провалился в полынью и чуть было не утонул. А потом они уже оба по дороге, в Берлине тяжело отравились и приехали в Женеву совсем больными.

Сейчас все вошло в норму. Ильич здесь, недалеко, в безопасности. Во время их встречи в новом пристанище — доме 17 на рю де-Де-Пон — Литвинов рассказал о намеченном плане размена билетов и получил «добро». Ленин уже был в курсе всех дел и забот, какими жила политическая эмиграция, прежде всего — большевистские секции, знал о Камо.

И теперь, закончив свой немой монолог, Феликс лишь уверенно повторил:

— Все будет хорошо, сынок.

Уверенный его тон подействовал на студента успокаивающе.

— Знаете вы или нет: тут приехал один инженер из Питера, предлагает интересную работу, — Путко приготовился рассказать во всех подробностях об идее технического бюро.

— И большие деньги? — перебил его Литвинов. — Я уже слышал об этом от Виктора и других товарищей. Весьма заманчиво, я бы сказал: чересчур.

— Не надо было связываться? — удивился Антон.

— Нет, почему же... — неопределенно повертел рукой Феликс. — Только уж очень заманчиво. И точно ориентировано.

— Вы хотите сказать, что... — начинает Путко и замолкает, пораженный догадкой.

— Все может быть...

— Что же нам делать?

— Переговоры продолжайте, обещайте, даже можете приступать к делу. Только ничего не болтайте о себе и других. А мы тем часом проверим в Питере, что это за представитель «Гелиоса». Вполне возможно, что дуем на воду, — усмехается Феликс. Достает из внутреннего кармана конверт. — Завтра утром поезжай в Мюнхен. В отеле «Шварц адлер» разыщешь Ольгу и передашь ей вот это. И сразу же вернешься в Париж. Здесь шесть пятацрублевков. Припрячь хорошенько.

— Отдать, и все? — Антон разочарован.

— Каждый делает свое дело.

Путко огорчен и в то же время обрадован предстоящей встречей в Мюнхене. Ему не терпится:

— Я мог бы выехать хоть сейчас, ночным экспрессом...

— Еще лучше. Вот тебе деньги на расходы.

Студент отстраняется:

— Не надо! У меня еще есть.

— Бери, бери. Что-то ты тощаешь, смотри мне! — полушутливо-полусерьезно говорит Феликс. — Не бойся, спрошу отчет за каждый пфенниг. Ну, до встречи! Завтра я уеду

деньков на пять, а когда вернусь — увидимся.

Антон придерживает его руку:

— Если вы к Леониду Борисовичу, передайте ему привет.

— Когда увижу, обязательно передам.

Юноша все еще не отпускает его руку:

— И если сможете, передайте Камо...

— Эх, сам бы хотел хоть разок на него глянуть... — с неожиданной для Антона теплотой в голосе говорит Феликс. — Нет, я сейчас совсем в другие края... А ты готовься: вернусь — возьмемся за дело, с которым не успел управиться он. Ну, счастливого пути — и привет Ольге!

Дома, заперев дверь на задвижку и занавесив окно, хотя надобности в этом и не было — его мансарда возносилась над всеми ближними крышами, Антон достал конверт и вынул из него вдвое сложенные банковские билеты. Вот они, знаменитые пятисотки! Купюры такого достоинства ему не приходилось держать никогда в жизни. Одна бумажка — годовое жалованье учителя...

Он поднес ее ближе к лампе. Большая, в половину вертикально сложенного писчего листа, плотная и хрусткая. С одной стороны — серая, с изображением Петра I в медальоне. Царь грозен: глаза навывкате, встопорщенные усы над скобой надменно сжатых губ. Волосы ниспадают на плечи...

Антон переворачивает билет. С обратной стороны он зеленовато-розовых тонов. На белом обреше — серия и номер, а по центру вязью:

«Государственный кредитный билет. Пятьсот рублей. Государственный банк разменивает кредитные билеты на золотую монету без ограничения суммы (1 рубль =  $\frac{1}{15}$  империаля, содержит 17,424 долей чистого золота)».

Справа на билете — витиеватый вензель Николая II. Путко смотрит бумажку на свет. По всему полю шахматной клеткой водяными знаками та же цифра 500, а слева на белом срезе проступает изображение Петра.

«Что, самодержцы всея Руси, думалось ли вам, на какие цели пойдут эти деньги с вашими ликами?» — думает Антон, складывает билеты и поглубже упрячивает конверт в карман.

...В полдень он уже шел по Мюнхену. Столица черного баварского пива готовилась к какому-то празднику. Дома были увешаны флагами, по улицам маршировали оркестры со штандартами цехов кожевников и гончаров. Солнце светило не по-зимнему ярко, было весело, как в рождественские каникулы.

И Ольга встретила Антона радостно, как старого друга. Ему было хорошо, только досадно, что около женщины вились два парня, примерно его возраста, чернявые, представившиеся студентами из Цюриха, с какими-то совершенно невыговариваемыми восточными фамилиями. Ольга была с ними так же доброжелательна и улыбочива, как с Путко.

Всей компанией они побродили по улицам, послушали на площади соперничающие цеховые оркестры, в старинном подвальчике отведали густого пива из тяжелых кружек с крышками. Потом студенты ушли, и они остались вдвоем.

Антон достал конверт. Ольга молча приняла его и спрятала в сумочку. Он понял, что она знает о конверте.

Юноша сидел рядом с ней и чувствовал, как все громче стучит его сердце и идет кругом голова. Эта женщина как-то странно вошла в его жизнь и заняла в ней свое место — неподвластно ему и, наверно, без всякого желания с ее стороны. А может быть, Ольга не только доброжелательно-вежлива? Таким ласковым вниманием светятся ее глаза. А как же тот, ее муж? Антон не испытывает никаких угрызений, хотя Феликс разрушил его первое впечатление об этом сутулом архивариусе со скрипучим голосом и пенсне на переносье.

Какое ему дело до архивариуса! Неужели с Мининым ее связывает большее, чем с ним? Разве могла у них быть такая ночь, как тогда, на ярославской улице, и такое путешествие по Волге?.. Дав волю воспоминаниям, он вдруг подумал, что в те недолгие дни он был счастлив, действительно счастлив. А сейчас, в этом погребке с черными сводами, за черным дубовым столом, у оконца, принимающего сияние дня, разве он не счастлив?..

Он повернулся и поймал ее взгляд:

— Оля!

Смех ушел из уголков ее губ, хотя зеленые глаза были еще веселы:

— Не надо, Антон.

— Почему?

— Не надо, и все.

Она дотронулась до его руки:

— Мы с тобой друзья?

Антону обидно до слез.

— Конечно, Оля. Я просто рад, что ты есть. Я всегда буду твоим другом. Всю жизнь.

Договорить до конца эту фразу ему стоит немалых усилий.

— А теперь мне уже пора. Через час поезд на Париж. Феликс сказал, чтобы я сразу же возвращался. А ты долго пробудешь здесь?

Она бросает взгляд на сумочку:

— Послезавтра назад. Приезжай к нам в Женеву на каникулы.

Ее слова оставляют лазейку для надежды.

— Хорошо, Оля, я приеду, — говорит он и добавляет: — Надо посмотреть, что есть в вашей библиотеке. Приеду!

Утром поезд втягивается под стеклянный свод Орлеанского вокзала.

На площади, зажатой домами, суета будничного парижского дня. С кипами газет бегут мальчишки, выкрикивая сенсации очередных выпусков. Антон не вслушивается. Просто выхватывает у разносчика подвернувшуюся «Пти паризьен». Привычно встряхивает, расправляя листы. И вдруг с первой страницы ему бросается в глаза заголовок: «АРЕСТ РУССКОГО АНАРХИСТА».

## ГЛАВА 8

Нервы Гартинга взвинчены до предела. Все сотрудники ЗАГ и пятнадцать добавочных агентов парижской префектуры буквально сбились с ног. Вчера Валлах ускользнул от филеров, и только к вечеру удалось обнаружить его в отеле «Модерн». Сегодня с утра его держали под неотступным наблюдением, но в середине дня — между двумя и пятью часами — он снова словно сквозь землю провалился. Аркадий Михайлович был уже на грани отчаяния: неужели ушел?

Но тут позвонил Генрих Бэн и простуженно просипел в трубку:

— Засекли. Объект и с ним женщина едут омнибусом в сторону вокзала Норд. Их сопровождает Леблан.

Леблан — напарник Бэна. Теперь-то уж, наверно, не упустят. С вокзала Норд отходят поезда на Гавр — порт, связывающий Францию с Англией. По расписанию ближайший поезд — через 43 минуты.

Гартинг крутит ручку телефона:

— Соедините с господином прокурором Монье. Весьма срочно. Из российского консульства.

Прокурор уже в курсе дела. Он весь день сидит, не выходя из кабинета.

— Мсье Монье? Интересующие нас лица — на вокзале Норд.

Не успевает Гартинг повесить трубку, новый звонок:

— Докладывает Леруа. Объект купил два билета до Лондона.

Аркадий Михайлович приказывает:

— Экипаж к подъезду!

И, одеваясь, одновременно снова крутит ручку:

— Прошу судебного следователя Флори. Это Гартинг. Монье уже вам сообщил?

Отлично, я тоже выезжаю.

От авеню Гренель до вокзала Норд полчаса быстрой езды — примерно по тому же маршруту, каким дважды в день курсирует Аркадий Михайлович: мимо огромного треугольного портика Бурбонского дворца, от фасада которого спускается к набережной Сены широкая лестница, через мост Конкорд, вдоль парка Тюильри. Авеню Капуцинов остается справа. Аркадий Михайлович мог бы и завернуть домой — все сделают сами французы. Как и тогда, в Берлине, никто и предположить не должен, что в этом деле замешана русская политическая полиция, боже упаси! Парижская префектура сама напала на след злоумышленников. Но все же не мешает проконтролировать. Как говорится: не доглядишь оком — заплатишь боком.

Гартинг проходит через шумный душный зал ожидания. На перроне, вдоль зеленых, желтых, красных вагонов чинно прогуливаются провожающие и уезжающие. Носильщики волокут баулы, чемоданы, коробки. Резко пахнет духами. Взволнованные голоса. Улыбки. Цветы. Из высокой, начищенной до червонного блеска паровозной трубы клубами валит густой дым.

Аркадий Михайлович останавливается в стороне, с респектабельной «Либерте» в руках. Наметанным взглядом определяет: у входа в зал ожидания, и среди толпы на перроне, и в самом дальнем конце платформы, у паровоза — мрачноватые широкоплечие парни из парижской розыскной полиции. А вон и Леблан на пару с Бэном, вот уж действительно, толстый и тонкий! — непринужденно помахивая жалкими пучками хризантем, вышагивают за коренастым широколицым мужчиной с пышными усами и миловидной женщиной в модном, туго перехваченном в талии пальто. В руках у мужчины портфель и небольшой чемодан. Дама несет легкий баул.

Усач и его спутница подходят к синему вагону второго класса. Гартинг видит, как со всех сторон платформы подтягиваются к синему вагону широкоплечие парни. Мужчина легко подсаживает даму на высокую ступеньку, поднимается следом за нею.

Через минуту они снова появляются в дверях вагона. Впереди и из-за их спин маячат фигуры парней. В их руках и портфель, и чемодан, и легкий баул. Мужчина помогает даме сойти на перрон. Брови его сердито насуплены. Женщина залилась краской, покусывает губы.

Публика на платформе не обращает внимания на эту группу. Звонко разносятся удары вокзального колокола.

Через час начальник канцелярии премьер-министра Французской республики господина Клемансо официально уведомляет российского императорского посла, что усилиями префектуры Парижа арестован опасный преступник, российский подданный Валлах и с ним также российская подданная, назвавшаяся Ямпольской. При них обнаружены билеты русского банка пятисотрублевого достоинства с номерами, соответствующими похищенным в городе Тифлисе.

Тем временем из Парижа в Петербург, в департамент полиции, уже летит зашифрованная телеграмма:

«Принятыми мерами Валлах задержан с поличным».

И пока посол Нелидов в своем кабинете изучает ноту премьера Клемансо, Гартинг

составляет текст более пространной депеши.

Напряжение схлынуло, и Аркадий Михайлович может спокойно оценить ситуацию. Он не очень доволен. Есть и изъяны. Как сообщил Ростовцев, еще вчера утром у Валлаха в руках были все билеты, за исключением сорока восьми, которые он передал на хранение. Теперь же при нем обнаружено лишь двенадцать. Значит, остальные он успел раздать в те часы — с двух до пяти, — когда филеры упустили его из-под своего наблюдения. Кому? Неизвестно.

Однако разве в этих билетах — главная цель операции? На вокзале Норд французы действовали грамотно, без шума. Если никто из большевиков не контролировал отъезд Валлаха и не поспешил предупредить других участников предстоящего размена, то все будет развиваться так, как предполагает Аркадий Михайлович. И вот тогда-то последует мат. Арест Валлаха — это лишь шах. Сейчас наступает цейтнот. Но заведующий ЗАГ вынужден лишь ждать. Следующий ход должен сделать противник...

Антон чуть не бегом добрался до дома Виктора, одним махом вскарабкался на его поднебесный этаж.

— Да, Валлах — это Феликс, — не оставил и соломинки надежды Виктор. — Опасаюсь, что полиция воспользуется этим арестом для обысков. На некоторое время я и некоторые другие товарищи должны будем покинуть город. Ты, я думаю, можешь остаться.

Антон меньше всего думал о себе:

— Что же — так и бросить Феликса? Как бросили Камо?

— Камо мы не бросили. Мы продолжаем борьбу за него.

— Но вы же сами говорили: Париж — это не то, что Берлин. А Феликса схватила парижская полиция!

— Ты в этом уверен? Нет, тут чувствуется отечественная хватка... — Виктор ходил по комнате, собирая в чемоданчик дорожные вещи. — Меня уже ждут. — Он посмотрел на часы. — А в двенадцать мы встретимся в той самой столовке с «большими дурочками».

В пустом в этот полдневный час студенческом бистро за столиком Антон увидел Виктора и дядю Мишу, с хрустом поглощавших «хлорофилл».

— Отец обо всем расскажет, а я пошел, — поднялся Виктор.

Когда он вышел, дядя Миша приступил к делу:

— По-ихнему, по-французскому, анархист — это как у нас Соловей-разбойник, одним словом, враг порядка. А наша линия такая: доказать, что Феликс — наш русский революционер, борец против самодержавия и гнета, и казна, хоть была добыта бомбами и кровью, но нужна была для поддержки всенародной борьбы против главного кровопивца. Французы-то сами знают, ихняя Коммуна у многих еще перед глазами. Мы уже говорили тут кой с кем. Французские товарищи обещают поддержку. Ты знаешь, где редакция «Юманите»?

— Знаю, — кивнул Антон.

Дядя Миша достал часы с треснувшим стеклом:

— Как думаешь, они уже при деле? Пошли!

— Куда?

— В эту самую, в «Юманите», к главному их.

— К главному редактору? — удивленно протянул Путко.

Имя редактора «Юманите» не сходило со страниц прессы: это был один из самых выдающихся политических деятелей Франции, депутат Национального собрания, лидер социалистов, блестящий оратор. Однажды Антон слышал его выступление на каком-то митинге. Накаленный страстью и энергией голос, порывистые и широкие жесты словно бы взлетающих рук заворожили битком набитый зал, и на язвительную шутку, срывающуюся с губ оратора, он отвечал дружным смехом, на гневную тираду — грозным гулом, на заключительные слова — громом рукоплесканий. И вот теперь, так запросто — к нему?

— Не робей, — провел ладонью по бритой голове дядя Миша. — Я тоже с ним не

ручкался, но, говорят, мужик простой, из наших, из рабочих. Вот бумага к нему: от нашего Центра, кто таков Феликс. Пошли. Жалко, не знаю я по-ихнему. Пошли!

Здание редакции, украшенное по фасаду огромной вывеской, обставленное фанерными щитами со свежими номерами газеты, внутри оказалось тесным, с узкими коридорами. Из распахнутых дверей выскакивали и неслись по коридорам шумные мужчины без пиджаков, в подтяжках, со свернутыми набок галстуками и взъерошенными волосами. Антон и дядя Миша заглядывали в комнаты, сизые от табачного дыма, поражались ворохам бумаг, в устрашающем беспорядке наваленных на столах и узкими полосами-змеями сползавших в корзины. Перед дверью редактора они замешкались, пораженные той стремительностью, с какой вылетали из нее красные от возбуждения молодые люди все с теми же узкими полосками бумаг в руках, напутствуемые грозными криками. Наконец на какое-то мгновение за дверью стихло, и дядя Миша подтолкнул студента. Антон вежливо постучал, не дождался ответа и вошел, ведя за собой и старика.

Кабинет оказался неожиданно просторным. Холодный воздух, врывающийся в распахнутое окно, шевелил газетные страницы, по одной приколотые гвоздиками к рейкам вдоль стен. За обширным столом с таким же неопишуемым ворохом бумаг сидел грузный краснолицый мужчина в рубахе с расстегнутым воротом и спущенным галстуком. Антон решил, что они ошиблись — оратор на трибуне был представительным, осанистым и по-парижски элегантно одетым, с огненно сверкающими глазами и ослепительно белыми крахмальными манжетами. А этот работяга, казалось, не мог оторвать от стола тяжелые, как кувалды, мясистые ладони. В правой и левой было зажато по цветному карандашу, и он что-то сердито рисовал ими на узких листках. Наконец оторвался от своего занятия, поднял на вошедших отсутствующий взгляд. И глаза у него были не жгучие и сверкающие, а маленькие, в набрякших веках и мешках.

— Ну, что там еще?

Голос его был высоким и звонким. Антон вежливо осведомился:

— Вы мсье редактор?

— Ну, я.

— Тогда разрешите вас побеспокоить, — Путько все еще не был вполне убежден, что этот взъерошенный грузный мужчина и есть прославленный деятель республики.

— Коротко и самую суть! — рявкнул редактор.

— Мы просим напечатать...

— Объявление — в отдел рекламы, второй этаж, комната три.

— Нет, не объявление. Мы пришли от имени русских политэмигрантов, от центра социал-демократов большевиков.

— А-а!.. — в глазах мужчины появился интерес. — Прошу!

Он отбросил карандаши, встал из-за стола.

— Прошу. Извините, досыл в вечерний выпуск, типография уже ждет.

Он схватил несколько разрисованных листков, вышел с ними за дверь, вернулся и облегченно, устало пригладил ладонью вздыбленные волосы:

— Всё. На пару часов. — Кивнул на окно: — Не холодно? — Хохотнул. — У кого спрашиваю: у россиян! — И сразу стал сосредоточенным и внимательным. — Я вас слушаю.

Антон рассказал об аресте Феликса, протянул письмо. Редактор углубился в листки. Кончил читать. Поднялся. Быстро прошел по кабинету из угла в угол, по диагонали. Остановился:

— Я понимаю вас. И восхищаюсь мужеством наших русских товарищей.

Он одной рукой охватил подтяжку, другую вскинул в широком жесте:

— Да, несмотря на разочарование поражения, несмотря на то, что русский народ не смог победить рутинную и слепую деспотию самодержавия, отныне река крови легла между царем и народом: нанеся удары по рабочим, царизм смертельно ранил самого себя. Решительные и трагические месяцы, которые пережил народ России, определили судьбу будущих революций, да, определили! Русский царь и царизм ныне отвержены всеми



цивилизированными нациями — и прежде всего нами, французами, ненавидящими деспотию. И мы, французские социалисты, не только приветствуем и поддерживаем вас — тех, кто продолжает борьбу против произвола и гнета, наносящих чудовищные оскорбления всему свободолюбивому человечеству, — не только поддерживаем, но и готовы помочь вам!

Он широким жестом простер к Антону и дяде Мише свою широкопалую руку. Да, теперь Путко узнал трибуна рабочей Франции, услышал в его звенящем голосе тот особый, завораживающий тембр, который подчинял себе толпу.

Но в следующее же мгновение редактор сменил позу и, снова став мужиком-работягой, подсел к ним, похлопал ладонью по руке дяди Миши:

— Мы поможем русским товарищам. Наша газета выступит с запросом к министру юстиции и председателю кабинета. Я уверен, что инициатива ареста вашего товарища исходила не от них.

Он подождал, пока Антон переведет его слова дяде Мише, и продолжил:

— Кроме того, я хочу обсудить эту проблему с коллегами-журналистами в клубе прессы. Как справедливо сказал наш соотечественник, мы, журналисты — государство в государстве, и даже наши противники вынуждены считаться с нашей силой.

Он еще раз прихлопнул ладонью ладонь старика:

— Все, что в наших силах, сделаем, товарищи!

— Понятливый человек, — сказал на обратной дороге дядя Миша. — Хоть артист, а разбирается, что к чему. Как он чувственно о Николашке: «оскорбление всему человечеству!» Правильно понял. И не обманет. Почему они схватили Феликса? Откуда узнали, что деньги у него? Чует мое сердце: есть у них здесь своя подметка, слухач... Только вот кто?

— А как же тогда с другими, с теми, которые?.. — Антон остановился. Даже дяде Мише он не вправе был говорить о задании, которое выполнил по поручению Феликса. Но думал он об Ольге.

— Подождем до утра. Наш товарищ-адвокат добивается свидания с Феликсом. Ты, сынок, ступай домой и жди. Коли чего узнаю, сам приду скажу.

«Как там в Мюнхене? — на душе у Антона становилось все тревожней. — Неужели есть какая-то связь между арестом Феликса и приездом Ольги в Мюнхен?»

Вечером дядя Миша поднялся в его мансарду.

— Товарищу не удалось добиться свидания. Феликс передал только такие слова, шифром, само собой: «Все отменить». Что это, ты не знаешь?

— Знаю!

Путко заметался по комнате, запихивая по карманам бритву, полотенце, собирая в одну кучку монетки и бумажные деньги:

— Я поехал!

— Куда?

— Не очень далеко. А вы, дядя Миша, повидайте всех наших, Виктора и всех других, и обязательно передайте эти слова Феликса. Я знаю только один адрес.

Он добрался до вокзала, когда последний поезд в сторону Мюнхена уже ушел. Оставалось ждать ночного экспресса.

Антон вернулся к себе на рю Мадам.

Продолжая жевать, будто во рту действительно что-то осталось после обильного обеда, Трусевич неторопливо изучал очередное послание Гартинга с подробностями ареста Валлаха, делал на полях пометки красным карандашом: «Доложить министру», «О досмотре вещественных доказательств срочно телеграфировать послу» и так далее. После того как бумага уйдет из его кабинета и поступит в особый отдел, эти пометки трансформируются и обретут силу приказов для соответствующих чиновников. Усыпляющая тяжесть в желудке располагала к послеобеденному покою. Но умиротворение развеялось, как дым под ветром. Сравнение это как нельзя более соответствовало действительности, ибо на департаментский

пункт международной связи обрушился шквал телеграмм:

«Мюнхен Баварский. Сегодня утром арестована студентка из Витебска, называющая себя Ольгой Кузьминой. Хотела менять билет 500 рублей серии «АМ» № 63791. Заявляет, что приехала из Женевы. Билет получила сегодня Мюнхене от неизвестного. Отказалась дать какие-либо другие сведения. Прошу узнать, должна ли Кузьмина быть задержана тюрьме. Полицейская дирекция Баварии.

*Диллман».*

Трусевич сразу же диктует стенографисту ответ:

«Задержите тюрьме Ольгу Кузьмину».

Еще одна телеграмма из Мюнхена:

«Кроме Кузьминой задержаны Тигран Богдасарян и Миграм Ходжамирян, прибывшие из Парижа. У них обнаружены семнадцать билетов по 500 рублей».

Шифровальщик принимает телеграмму из Швеции:

«Стокгольм. Здесь задержан лифляндец Ян Мастер, пытавшийся разменять пять пятисотрублевых билетов».

К черту сонливость! Доложить Петру Аркадьевичу (вот она изюминка в его завтрашний доклад государю!), связаться с министерствами юстиции и иностранных дел, уведомить особый отдел канцелярии наместника на Кавказе, ибо требования о выдаче должны исходить от судебной палаты по месту происшествия. Действовать! Действовать!

И ждать новых сообщений из европейских столиц.

Копии всех сообщений из Мюнхена, Стокгольма, Берлина и ответных распоряжений из Санкт-Петербурга начинают поступать в Париж, на улицу Гренель.

Аркадий Михайлович раскладывает листки на столе пасьянсом. Он доволен. Пусть внешне события разворачиваются как бы помимо него. Но уж там-то, в Петербурге, знают, что это он, скромный чиновник шестого класса, поднял по тревоге, привел в движение и бросил против горстки русских революционеров целую армию объединенных полицейских сил Франции, Германии, Швеции. Теперь Гартингу остается сделать последние ходы, которые уже ничего не могут изменить, а лишь придадут еще больше блеска столь виртуозно разыгранной партии.

Аркадий Михайлович не стыдится признаться себе, что он честолюбив. Причем честолюбие его не знает пределов. Для добывания почестей и монарших милостей он готов на все. И все же почести и милости нужны ему не только потому, что ласкает пальцы прикосновение к крестам и бриллиантовым звездам на мундире и все более внушительными становятся его счета в банках. Эти почести и милости как бы углубляют пропасть между его прошлым, прошлым нищего студента из Пинска, и тем, что он представляет собою ныне.

Вот и сейчас, в тишине, когда утихает суэта этого редкостно удачного дня, когда погружается в сумрак канцелярия и пора зажигать огни, Аркадий Михайлович отпирает сейф, достает тисненую папку, извлекает из нее несколько листков. Один из них — тот самый, с водяным знаком Меркурия. Два месяца назад он занес на этот лист первые имена злоумышленников: Камо, Никитича, Валлаха... Пока лист в сторону, на край зеленого сукна, поверх пасьянса телеграмм. К этому листу он еще вернется. Первым делом — оплатить услуги.

Гартинг пододвигает стопку бумаги и начинает неторопливо водить пером. Он почтительнейше испрашивает у его превосходительства, милостивого государя

Максимилиана Ивановича награды для лиц, оказавших особые услуги заграничной агентуре, — для директора розыскной полиции, главного помощника префекта Лукиана Мукена — золотые часы с бриллиантовым орлом; для начальника бригады розыска анархистов Ксаверия Гишара и главного инспектора розыска анархистов Альфреда Николя — золотые часы без бриллиантов, для агентов французской полиции, перечисленных в прилагаемом списке, — медали. Всего он представляет к различным наградам и поощрениям двадцать, два чина и агента французской полиции, оказавших услуги интересам Российской империи, а заодно и всех своих сотрудников, совершенно умалчивая о личных заслугах.

Затем он придвигает лист с водяным знаком. За эти два месяца список пополнился, уточнился. Студент Турпаев оказался при проверке инженером Петросом Турпаевым, политэмигрантом, проживающим в Бельгии и действительно занимающимся закупками оружия по поручению большевиков, безымянный инженер-болгарин — обретающимся в Софии македонским революционером Наумом Тюфекчиевым, изобретателем новых взрывчатых устройств. Все они на свободе. Зато, вписав в строчку под фамилией Валлаха: «Ямпольская», Гартинг слева, на чистом поле, рядом с обеими ставит по жирному кресту. «С такой тонкой талией, — думает он. — Каково-то ей будет где-нибудь в Якутии, на каторжных работах...»

Ниже на листе он выводит новые фамилии. Идет в соседнюю комнату, отпирает стальные дверцы шкафа картотеки. Пальцы проворно перебирают плотные квадраты бумаги. Вот она, карточка на Ольгу. Последняя пометка:

«Проживает в г. Женеве, бульвар де ла Клуз, 57, помещение библиотеки и архива ЦК РСДРП. Жена Минина...»

Кто же сей Минин? Ага, вот и он, голубчик! По донесению Ростовцева — старейший большевик. Сведений на Богдасаряна нет. На Ходжамиряна карточка тоже не заведена. Мастер Ян — и на него ничего нет... Наверно, зеленая молодежь, студенты. Но ЗАГ не обделяет вниманием и молодежь: все эти студенты — потенциальные революционеры и злоумышленники. Возможно, имена арестованных вымышленные. Не беда, выяснить подлинные не так уж сложно.

Гартинг ставит ящик с карточками в гнездо стального шкафа. К чему ему теперь все эти подробности? Участь Камо, Валлаха, Ямпольской, Ольги и всех остальных, заточенных в тюрьмы Берлина, Парижа, Мюнхена и Стокгольма, предрешена: Петербург извещает, что требования о выдаче арестованных будут предъявлены судебными властями империи в самые ближайшие дни. А затем громкий, на всю Россию, на всю Европу, процесс. Уж на Фонтанке позаботятся, чтобы были и нужные свидетели, и впечатляющие улики, и покладистые присяжные. «Дело о похищении билетов государственной казны»!..

Нет, не ради банковских билетов устроил он всеевропейский переполох. Подумаешь, сто тысяч! Ничтожная капля по сравнению с теми суммами, которые расходует департамент на борьбу с политическими злоумышленниками. Да и сам он уже выплатил на содержание агентуры, на филеров, на командировочные, разъездные, наградные и все прочее не меньше, если не больше. Полистай газеты — петербургские ли, парижские: что ни день — ограбления, взломы, убийства, кражи. Тифлиские сто тысяч — ничтожная сумма по международным и даже местным полицейским стандартам. Но взломанные сейфы и исчезнувшие слитки — забота уголовной полиции. А он, Гартинг, руководитель розыска политического. И затеянная им операция преследует совсем иные цели. Как он представляет себе дальнейшее?.. Процесс даст повод департаменту к аресту всех, кого следует, причастных и не причастных в самой России, к требованию выдачи эмигрантов, еще не попавших в сети ЗАГ, к разгрому их Заграничного центра. Вот главная цель. Не фантастичная, а реальная. Повторение однажды уже разыгранной им партии.

Странно: он тратит столько энергии и изобретательности, чтобы поймать

злоумышленников, но сам не испытывает к ним никаких чувств — ни злости, ни ненависти. Может быть, потому, что лично, с глазу на глаз, никогда не встречается с ними, разве что вот так — посмотрит со стороны, как на вокзале Норд или в пансионе на Эльзассерштрассе. В давние времена он близко знал подобных им. Но неужели бессмысленный героизм тех ничему не научил этих? Неужели в истории так заведомо повторяется все?.. Слепую и безнадежную их веру можно было бы объяснить романтизмом молодости или незнанием истории. Но большинство из них не так уж молоды и весьма образованны. Что движет ими?.. Неужели все-таки вера в то, что мир можно изменить?..

Аркадий Михайлович запирает шкаф картотеки и достает из соседнего большие альбомы с наклейками на коленкорových обложках: «РСДРП». Листает жесткие страницы, аккуратно проложенные папиросной бумагой. Сотни фотографий. Вот Ульянов-Ленин. Снимки сделаны в разные годы. Юноша-студент с задумчивыми глазами, с едва пробивающейся бородкой. А вот уже значительно старше: волосы отступили со лба, в усах и бороде седина. Но взгляд тот же. И какой невероятный лоб! А вот последний снимок. Ульянов без бороды. Глаза колючие. Губы в насмешливо-горькой улыбке. Неужели жизнь ничему не научила его?.. Вот его жена. Его сторонники... Вот и Никитич. Тонкое, интеллигентное лицо. Густые темные брови. Мягкие и внимательные глаза. И большой лоб. Выпуклый могучий лоб и у Валлаха под космами черных волос. Брови взлет, глаза сидят глубоко. Крутой подбородок свидетельствует о сильной воле... А вот и фотография Ольги. Гм... Аркадий Михайлович не ожидал, что Кузьмина так мила: огромные светлые глаза, очерченные длинными ресницами, Точеный маленький нос. Красивые губы, мягкий овал лица... Гартинг улавливает что-то общее в ее облике и запомнившимся лице Ямпольской. Порода, что ли?.. Лицо отрешенное. Именно такие лица были у тех, в парижской мастерской...

И вот это-то самое удивительное. Вместо того чтобы, отдав дань романтизму молодости, блистать теперь в обществе, занимать место, достойное их образованности, талантам или красоте, все они сознательно обрекают себя на безнадежную борьбу и неотвратимо следующие за поражением ужасы дознаний, судебных процедур, тюремных камер, этапов... По доброй воле!.. Это-то и не укладывается в голове. Понятно, когда уголовники, низколобые хрященосые неандертальцы с волосатыми руками, многие с порочной наследственностью, чудовищно безграмотные, — но эти политические... По своим дарованиям они могли бы стать министрами, дипломатами, генералами, учеными. Нет, понять их нельзя!

Аркадий Михайлович возвращается в кабинет, к столу и против каждой фамилии на листе со знаком Меркурия ставит такой же жирный крест, какие уже стоят против Камо, Валлаха и Ямпольской. Разбираться в их психологии и побуждениях — не его забота. Его дело — вот эти «кресты». С них началась его карьера, и ими, как верстовыми вешками, обозначает он свою дорогу вверх.

Да, бежит время. Когда он поставил первую вешку?.. Неужто четверть века назад?.. Да, в тот памятный день, когда нищим студентом Технологического института он был введен в кабинет жандармского ротмистра как участник народовольческого кружка, избравшего своей целью террор и свержение самодержавия... Тот ротмистр оказался не зубодробителем, а офицером со светскими манерами, с вкрадчивым отеческим голосом. И в его кабинете нищий студент решил, что бороться против самодержавной власти бессмысленно так же, как полевой мыши — против грозного орла, эту власть олицетворяющего. Зато оказать посильные услуги — это и однокашников уберечь от ереси и беды, и себе облегчить существование...

В кабинет жандармского ротмистра он вошел кандидатом в каторжники, а вышел оттуда платным осведомителем Санкт-Петербургского охранного отделения. Это перевоплощение прошло для него совершенно безболезненно. Может быть, потому, что уже в ту пору он ничего не принимал близко к сердцу. К новой своей деятельности он приступил с усердием. Но вскоре сотоварищи что-то заподозрили. Да, неопытность,

неосмотрительность новичка... Пришлось побыстрее собрать вещички, распротиться со столицей, податься в Ригу. Там, в Политехническом институте, он продолжал «освещать» инакомыслящих и опять вовремя, особым чутьем уловил — пора убираться и оттуда. Кое-какая сумма была накоплена, уже не на квасе и хлебе сидел, не на жареных пирожках, и он решил перебраться за границу. А заодно и сменить фамилию.

Прибыв в Париж, он сам отыскал в российском императорском посольстве нужного человека и предложил свои услуги на условиях: тысяча франков в месяц, не считая разъездных, а в случае разрыва отношений — двенадцать тысяч отступных. Поторговались и, в конце концов, выработали взаимоприемлемое соглашение, в котором об отступных ничего сказано не было. Да он и не настаивал, потому что собирался служить долго и верно.

Правда, в первое время работа была малоинтересной: составлял досье на каждого русского эмигранта любой политической окраски, все досконально — о его деятельности общественной и жизни интимной. Да, пришлось покопаться в дрызгах и сплетнях, в грязном белье. Но что поделаешь — работа... И терпеливое ожидание настоящего, по его уму и таланту, дела. Дождался!

Ему было известно, что департамент полиции безуспешно бьется над раскрытием тщательно законспирированных в России ячеек партии «Народная воля», образовавшихся после распада революционного сообщества «Земля и воля». Народовольцы избрали своей тактикой систематический террор, чем невиданно устроили высших чиновников империи. Но если в самой России еще можно было как-то обуздывать бомбистов повальной слежкой, то тем более опасными представлялись департаменту народовольцы-эмигранты, обосновавшиеся в столице Франции: они были свободны в своих действиях, поддерживали тайные связи с Россией. Хотя они обретались под самым боком у ЗАГ, в нескольких кварталах от авеню Гренель, но близок локоть — да не укусишь. Чины политической полиции и сам тогдашний заведующий заграничной агентурой Рачковский пребывали в бессильной ярости и могли лишь безнадежно мечтать о том, как бы заполучить в свои руки злоумышленников. Казалось бы, чего проще: по законам Российской империи беглые народовольцы — самые опасные политические преступники. Однако еще с середины XIX века в странах Европы повсеместно утвердился принцип: выдавать заинтересованным государствам преступников уголовных, но не выдавать политических. И ни одно из правительств, за исключением российского, не решалось нарушить это неписаное правило, дабы не навлечь на себя гнев и презрение общественности. Вот если бы политических эмигрантов — народовольцев подвести под разряд уголовников... Но они вели себя осмотрительно, не переходили грань.

И вот тогда-то, да, ровно двадцать лет назад, пробил час молодого агента: в его голове родилась парадоксальная идея, как заманить этих птичек в клетку. Агент заявился к своему шефу и сказал, что готов организовать в Париже мастерскую... по изготовлению бомб для покушения... на самого русского императора Александра III! Деньги на создание мастерской даст, само собой разумеется, департамент полиции. Неслыханная, чудовищная по дерзости идея!

Гартинг поворачивается к стене. За спинкой кресла — портрет императора в затейливом багете. Голова Аркадия Михайловича вровень с царским сапогом. Художник провел по голенищу белые полосы, и так ловко, что даже вблизи они похожи на стальной блеск хрома. Мастер!.. Заведующий ЗАГ задирает голову. Император одобрительно смотрит на него со своей сиятельной высоты.

Тот разговор происходил в этом самом кабинете. В кресле, откинувшись на спинку, сидел Рачковский, а он, Гартинг, стоял в двух шагах от стола, в почтительной позе. А в этой же раме висел тогда портрет Александра III. Изображение нынешнего самодержца помещалось в раме напротив, там, где сейчас портрет цесаревича Алексея...

Рачковский отнесся к идее молодого агента с опаской, с сомнением. Но все же доложил в Петербург. Тогдашний директор департамента Петр Дурново рассказал о ней, как о фантастической выдумке, министру внутренних дел, своему однофамильцу Ивану Дурново,

а министр — как об анекдоте, для увеселения, самому государю. Однако Александру III идея понравилась: уж очень боялся он террористов, отправивших на тот свет его родителя, Александра II. И неожиданно для всех (но не для молодого агента) согласие было дано.

Среди русских эмигрантов осведомитель был известен как Ландезен, изгнанник, покинувший отечество из-за политических преследований. Поэтому, когда он предложил свои услуги, ни у кого из народовольцев не возникло подозрения. Где взять деньги на организацию мастерской? «Добуду их у богатого дядюшки». Все же новые товарищи решили обсудить предложение со своими единомышленниками в России. Кому ехать? Выбор пал на инициатора. По подложному паспорту Ландезен тайно пересек границу России. В подкладке его сюртука было тщательно спрятано рекомендательное письмо от лидера эмигрантов-народовольцев. С этим письмом, открывавшим ему все тайные двери, он начал объезжать города, знакомиться с подпольными ячейками, убеждать революционеров в необходимости решительной акции. Само собой разумеется, что о каждом своем шаге он доносил в департамент, нижайше прося лишь об одном: не громить ячейки раньше времени, дать осуществить замысел. Поездка в Россию оправдала надежды. Местные организации одобрили создание мастерской в Париже и подготовку покушения на царя. Акции Ландезена в глазах эмигрантов поднялись. По возвращении он стал во главе предприятия.

Мастерская была создана. Работа в ней закипела. Оборудование, взрывчатые вещества, оболочки для метательных снарядов — все раздобыто. Руководитель воодушевляет всех своей энергией. Он сам начиняет бомбы, сам испытывает их в лесу Ранси под Парижем... И вот подготовка завершена. По уговору Ландезен должен ехать в Россию во главе первой группы террористов. Он — их кумир и герой.

За день до намеченной даты отъезда он исчезает со своей квартиры. Заграничная агентура, день за днем и час за часом следившая за мастерской и за каждым народовольцем, через российского посла сообщает об «опасных преступниках» французскому правительству. Правительство дает распоряжение об их аресте. Местная полиция хватает заговорщиков. Мастерская и уже упакованные чемоданы с бомбами — неопровержимые улики уголовного преступления. На следствии выясняется, что инициатор всего — некий Ландезен. Конечно же, ЗАГ не раскрывает перед французскими властями его истинной роли. Да этого и не требуется — сам Ландезен уже вне досягаемости, он укрылся в Бельгии, снова сменил фамилию. Отныне он Гартинг. Аркадий Михайлович Гартинг.

Тем временем народовольцы предстают перед судом. Ландезен заочно приговорен к пяти годам каторги. Остальные его товарищи выданы русскому правительству. При обыске у них захвачены документы, обширнейшая переписка с единомышленниками в России. Впрочем, многие явки и фамилии благодаря агенту были уже известны на Фонтанке. По городам империи прокатывается волна арестов. Более шестидесяти человек отправлены на виселицу, на каторгу, заточены в тюрьмы. Деятельность партии «Народная воля» заглохла.

Александр III доволен. На докладе министра внутренних дел он выводит:

«Весьма дельно и ловко вели все это дело».

Инициатора «дела» Ландезена-Гартинга монарх удостоивает звания «потомственного почетного гражданина города Пинска». Кроме того, по высочайшему повелению ему отныне и пожизненно назначается ежегодная пенсия в тысячу рублей...

Теперь, с вершины лет, Аркадий Михайлович понимает, что царь-батюшка мог бы оценить его радение и щедрее: Гартинг вправе полагать, что, возможно, благодаря ему и его мастерской бомб началось улучшение отношений между Россией и Францией — услуги, оказанные департаменту, и выдача этих революционеров Петербургу изменили отношение Александра III к Французской республике, которую до того император считал гнездилищем бунтовщиков и смутьянов.

С той поры началось и стремительное восхождение Аркадия Михайловича. Способности молодого агента произвели на государя такое сильное впечатление, что отныне

он стал поручать Гартингу охрану своей священной особы во время заграничных путешествий. Аркадий Михайлович сопровождал в поездках и молодого императора Николая II, и императрицу Марию Федоровну, и других августейших особ. А что ни поездка, то новая звезда или крест на грудь, царский подарок, сумма на банковский счет. В 1900 году он был назначен заведующим берлинской агентурой — филиалом ЗАГ, и тоже весьма преуспел. Он неустанно добивался, чтобы его фамилия каждый раз фигурировала в докладах министра. Как говорится, память в темени — мысль во лбу. И не ошибся в расчете. В разгар русско-японской войны император вспомнил о Гартинге и возложил на него специальную миссию по охране эскадры адмирала Рожественского, которую Николай решил перебросить через полмира, с Балтики на Дальний Восток, чтобы разгромить японский флот, спасти осажденный Порт-Артур и добиться перелома во всей кампании.

Аркадию Михайловичу вспоминается, как осенью четвертого года приехал он в Либаву, где была собрана перед отплытием вся эскадра, и с благоговением слушал напутствие государя: «Надеюсь, братцы, вы отомстите дерзкому врагу, который нарушил спокойствие нашей матушки-России!» Гартингу предстояло единоборствовать с полковником Акаши — бывшим атташе Японии в России, разведчиком хитрым и изворотливым. Аркадий Михайлович понимал, что Акаши сделает все возможное, чтобы помешать продвижению эскадры, и поэтому решил держать в постоянном бдительнейшем напряжении департамент полиции, адмиралтейство и самого Рожественского. Агенты Гартинга засыпали Петербург и радиостанцию флагмана донесениями о том, что Япония закупила во всех странах, мимо которых предстояло идти эскадре, множество миноносцев, что нападения в пути неминуемы, что диверсии готовятся... Аркадий Михайлович справился со своей миссией блестяще. Настолько, что чуть было не вовлек Россию в войну с Великобританией: запуганный его донесениями адмирал Рожественский, проходя Северным морем и повстречав у Доггер-Банк флотилию английских рыбацких судов, принял их за японских диверсантов и приказал своим броненосцам открыть огонь. Одно из суденышек было потоплено, несколько других пострадали, заодно получил повреждение и российский крейсер «Аврора», подставивший борт под шальной снаряд. Нападение эскадры на мирных ловцов сельди вызвало бурю негодования на Британских островах. Только благодаря вмешательству Франции удалось предотвратить военный конфликт и урегулировать инцидент — конечно же, с возмещением Россией всех убытков.

Теперь Аркадий Михайлович вспоминает об этом эпизоде с удовольствием. Но тогда, в разгар всевропейской бури, он не на шутку перепугался: не переусердствовал ли? Оказалось, напротив: в награду за бдительную службу он был награжден орденом Владимира, давшим ему право на потомственное дворянство и фамильный герб, а следом получил назначение на пост заведующего всей заграничной агентурой. С этого поста, согласно традиции, следующая ступенька — кресло директора департамента, если и не выше... Мечтания? Пусть так. Почему бы и не помечтать? Мечты проницательных людей — это их планы. Дважды он собственной персоной оказывал некоторое влияние на ход истории. Чутье подсказывает ему, что и нынешнее дело войдет в ее анналы. Однако в любом предприятии мать успеха — усердие. Отдыхать он будет потом. А сейчас надо сделать последнее усилие: кое-что подчистить, уточнить.

Аркадий Михайлович бросает взгляд на лист, лежащий перед ним. Да, кресты и головы. Ему уже не раз видится и даже оживало во сне: копыя с бунчуками из конских хвостов, как во времена Батыя, и на копьях — головы. Головы тех, из парижской мастерской: Вани Кашинцева, Антона Гнатовского, Алеши Теплова, Саши Дембского и той миловидной девушки, как ее звали? Да-да, Мария... У нее была такая же тонкая талия, как и у этой, у Ямпольской... Да и Кузьмина, если судить по фотографии... Аркадия Михайловича охватывает легкая, прозрачная грусть. Да, милые головки на покачивающихся копьях... Помнится, у Марии была толстая золотистая коса. Однажды девушка неосторожно окунула косу в студень с гремучей ртутью, и все смеялись, что теперь Маша — сама хорошенькая бомба.

Что ж, он никогда не бывает с женщинами жесток и груб и о каждой хранит добрые воспоминания. И о Зинаиде сохранит. Она чем-то похожа на Анни, что живет в Рамбуйе и сейчас приставлена им к Ростовцеву. Простак думает, что познакомились они случайно и Гартинг случайно узнал об их связи. Вот бы показать ему ведомость, по которой Анни исправно получает жалованье в ЗАГ...

Ростовцев работает отлично. Когда Аркадий Михайлович перекупил его у немцев, он положил ему триста марок. А теперь агент загребает по тысяче в месяц. Грех и скупиться: в прошлом году осведомитель присутствовал на съезде РСДРП в Лондоне, на заседаниях Центрального Комитета их партии в Женеве. Гартинг получал отчеты из первых рук, как тогда, когда Большевицкий центр посылал этого «товарища» в Россию по явкам для восстановления связей. Если бережно к нему относиться, далеко пойдет!..

А как далеко? Что-то скребнуло в душе Аркадия Михайловича. Нет, ему лично агент не опасен. Не обскачет. Пожалуй, надо снова прибавить ему жалованье. Он, Гартинг, согласен с сэром Уилсингемом, шефом секретной службы при королеве Елизавете: «Нужные сведения никогда не стоят слишком дорого». мудро сказано. И надо представить Ростовцева к единовременному вознаграждению. Если кто-то на Фонтанке попытается подсидеть: мол, чужими руками Гартинг жар загребает, он ответит: «Извольте-с, всем сестрам по серьгам!..»

Ну на сегодня хватит. Гартинг поднимается. Ему надо завершить еще одно, щекотливого характера дельце. Через час у него свидание с Зинаидой в доме на авеню Телье. Как ни бодрит Аркадия Михайловича юная секретарша «инженера», однако же надо знать меру. Вот и эта дурацкая булавка... Плевать ему на Ростовцева, никто не смеет контролировать заведующего ЗАГ в личной жизни. К тому же держать любовницу — это вполне в парижских правилах. Но Зинаида своей жадой наслаждений и глупой восторженностью уже утомляет его. Верить тому, что он ей обещал! Вот простушка!.. Нет, Аркадий Михайлович предназначил ей другую роль. Ну и посмеется же он над недотепой подполковником с Фонтанки!

Она ни о чем не догадывается. Шалит, как ребенок. Ее ноги по щиколотки утопают в ворсе ковра, и Аркадию Михайловичу представляется, что это сама вечно юная Афродита, выходящая из пены морской. Глядя на нее, он даже начинает колебаться. Но нет, «будь мягким в приемах и сильным в достижении целей». Получайте, сударь! В следующий раз будете знать, с кем имеете дело!..

Гартинг протягивает руку к сброшенной на кресло одежде.

## ГЛАВА 9

Додаков пребывал в состоянии все более гнетущего неудовлетворения. Его натуре потребно было действие, а он будто попал в трясины. План с инженерным бюро неожиданно затормозился. Поначалу эмигранты воодушевились, сами прибегали на встречи, выкладывали предложения и проекты. Потом как ножом срезало. Что-то разнюхали? Быть того не может. Решили перепроверить в Питере? Виталий Павлович предусмотрел и это. Свои люди в компании «Гелиос» только подтвердили бы версию о заграничном предприятии. В чем же дело?.. Тем временем операция, осуществляемая ЗАГ, стремительно развертывалась. Подполковник из газет узнал об аресте Валлаха и понял, что это — сигнал к началу атаки. Он сам отказался включить в игру осведомителя «Данде» и теперь очутился в незавидной роли одиночки-любителя, хотя тут же под боком действовал отлаженный механизм российского политического сыска. Конечно, пребывание Додакова в Париже в этот момент сулит ему лавры соучастника — ради этого и послал его сюда директор департамента. Но Виталию Павловичу претили почести не по заслугам. Он чувствовал в себе



достаточно энергии, чтобы добиваться успехов собственным умом и своими руками. Именно чувство бессилия более всего и тяготило.

К тому еще он примечал странные перемены в Зиночке. Вроде бы все было как и прежде. Она исправно делила с ним ночное ложе, была восхищена Парижем, безотказно выполняла агентурные поручения. И все же он чувствовал, что женщина что-то утаивает от него. Эти участвовавшие после Нового года отлучки — не ночью, нет, во второй половине дня. Казалось бы, что тут такого? Бродит по улицам, по магазинам. Но после этих прогулок он ловил на себе ее взгляд — странный, будто оценивающий. И в постели он чувствовал какую-то новую, не от него исходящую умелость ее равнодушных ласк. Может быть, все это домыслы, пробужденные угнетенным состоянием? Может быть, сам сладострастный Париж открывает в Зиночке нечто до поры дремавшее, а видения беспечного богатства рисуют миражи?.. Он старался быть с ней предупредительней, внимательнее. Вот и сегодня приготовил сюрприз — билеты в Оперу. Зиночка запаздывала с прогулки, он нервничал, досадливо мямл папиросы и курил одну за другой.

Если она сию минуту не придет, в лучшем случае они успеют на второй акт. Из окна номера на втором (по-русски — третьем) этаже Додакову была видна площадь и сверкающий огнями подъезд отеля. Подъезжали фиакры, пары спешили в ресторан и мюзик-холл. Ходить по городу одной, да еще вечером... Надо будет предупредить, и поостроже. Да, поостроже. Как-никак он за нее отвечает... И даже ограничить в деньгах. И без того растрянжирено сверх всякой меры!

Наискосок через площадь катилась коляска. Додаков обратил на нее внимание лишь потому, что верх ее был откинут. Коляска остановилась у отеля. С нее ловко соскочил невысокий господин в накидке с пышным меховым воротником. Он предложил руку даме. Движение, каким дама приняла руку, сама фигура ее почудились Виталию Павловичу необыкновенно знакомыми. Мужчина и женщина направились к подъезду, остановились в самом круге света. Мужчина снял шляпу и поднес руку дамы к губам. В этом не было ничего необычного, если бы не поцеловал он ее в ладонь — так целуют руку любовницы. Женщина тряхнула головой, наверное, засмеялась, подняла лицо.

Додаков узнал Зиночку. И в ту же секунду понял, кто этот седоголовый господин. И разом все замкнулось в единую цепь: бал в посольстве, разгоряченно-счастливое лицо женщины, и ее исчезновения, перемены, холодность. Поменяла — и на кого!.. А он — так нагло, к подъезду, мол, что там церемониться с инженершкой!

Додаков оцепенел от ненависти. Но не мог оторвать взгляда.

Вот Гартинг отпустил руку Зиночки. Она отошла, еще раз обернулась, приветливо махнула рукой, и козырек навеса над подъездом скрыл ее. Вице-консул помедлил, потом повел глазами по этажам. И на его лице, подставленном свету фонарей, Додакову почудилась язвительная насмешка. Потом Гартинг вернулся к коляске, вольно откинулся на подушку, и лошадь быстрой рысью понесла его прочь.

В коридоре уже слышались легкие шаги, зашаркал ключ в двери. Скрип. Хлопок...

Волна гнева вышвырнула Додакова из его комнаты и втолкнула в комнату Зиночки. Женщина лениво-усталым движением снимала шляпку и встряхивала волосы, увлажненные на концах снежинками.

— Ты, Виталий? — удивленная его приходом без стука, повернула она голову к двери.

— Где ты... Где вы были? — его дыхание перехватил спазм.

— Я обязана давать отчет? Ну, гуляла...

— С этим старым негодяем?

Он готов был убить ее этим выкриком. Зинаида Андреевна вздрогнула, распрямилась и заносчиво вскинула подбородок. Раньше она казалась ему маленькой, но сейчас была неожиданно высока, тонка, напряжена, как тетива.

— Вы забываетесь, сударь! Да, я была у Аркадия Михайловича. У моего будущего мужа.

Додаков остолбенел.

— Му-ужа? — только и смог в первую секунду протянуть он. — Мужа? — злорадно прокричал он во вторую. — Он обещал на вас жениться? Этот любитель клубнички со сметаной, этот старый подагрик и развратник?

— Не забывайтесь! — оскорбленно прервала она.

— Жениться? — с издевкой продолжал Додаков, не обращая внимания на нее. — Да у него же семья, жена и куча детей, у этого старца!

Зиночка побледнела. Потом стала медленно заливаться краской:

— Не правда, не верю! Я была у него дома, он живет один... — почувствовала, что будто оправдывается, зло топнула ногой. — Как вы смеете! Вы, вы! Жандарм! У вас руки в крови по локоть! А он, а Аркадий Михайлович, он дипломат, он гордость России!..

— Дипломат? — протянул Додаков. — Гордость России?

И вся ярость, весь гнев, все унижение, вызванные отступничеством Зиночки, рухнувшие мечтания прорвались исступленным, торжествующим смехом.

— Дипломат! Гордость! Ха-ха-ха! — Виталий Павлович корчился в конвульсиях. — Он такой же дипломат, как ты Мария-Антуанетта! Ваш кумир — мелкий департаментский сыщик! Польстились на его ордена? А знаете, за что он их нахватал? Выдавал своих сотоварищей-студентов в Питере и Риге, здесь, в Париже, донес на своих друзей-народовольцев и любимую женщину! Гордость России!.. Им — петли на шею, а ему — ордена на грудь!.. Дипломат! Ха-ха! Да его в наш корпус даже унтером бы не взяли!

Он выбросил вперед свои руки:

— Это у меня по локоть?.. А у него? А ты? Чиста и непорочна?

Злоба душила, слепила его. Он шагнул к ней, занося руку. Остановился, но хлеще удара выкрикнул:

— Вон, потаскуха! Беги к своему дипломату! В его дом! Только не в тот, где он спит с такими, как ты, а на авеню Капуцинов, одиннадцать, к его жене и деткам! Вон!..

Зиночка, ошеломленная его грубостью, его пылающими глазами, перекошенным лицом и машущими, как сухие ветви, руками, выскочила из комнаты.

«К нему! К Аркадию Михайловичу! Всё ложь! Он сотрет этого офицеришку в порошок!» — мстительно стучало в ее голове.

Она выбежала из отеля, не обратив внимания на изумленные лица кельнера и швейцара, едва успевшего распахнуть перед нею дверь.

Снегопад усилился. На тротуаре отпечатывались темные следы. Шляпка ее осталась в номере, и снежинки вуалью покрывали волосы, холодили пылающие щеки.

Женщина окликнула фиакр. Только когда приехала на авеню Телье и сошла у дома, спохватилась, что нет с собой сумочки. Слава богу, в кармане оказалось несколько монеток.

Входная дверь была заперта. Окна темны. Зиночка долго звонила. Звонок отдавался где-то наверху, в пустоте. Она озябла... Вспомнила, что Аркадий Михайлович, провожая ее, сказал, что ему нынче надобно много работать дома. Где же он? Почему не дома?.. Дома?.. А если этот жердьяй сказал правду? Нет, нет!.. Но в голове ее уже крутилось, ускоряясь: «Улица Капуцинов, одиннадцать, Капуцинов, одиннадцать, Капуцинов... Капуцинов... Не может быть!..»

Она остановила карету, медленно тащившуюся по улице, забралась под полог. Ее колотила дрожь. «Не может быть!..» И все же тревога, просачивающаяся словно бы в щель, заставляла ее обмирать. Ей уже чудилось что-то неправдивое в манерах Гартинга, в тоне, каким нашептывал он ей обещания... «Нет, нет! Подлый жердьяй! Своим прикосновением ты убиваешь все дорогое!» Зачем Аркадий Михайлович так открыто привез ее к гостинице, если не для того, чтобы подтвердить свое решение? Он предал свою любимую ради крестов? Он не блистательный дипломат, а такой, как Додаков, если не хуже?.. Нет!.. Нет!..

И все же, когда она сошла с коляски на тихой, погружившейся в сон улочке Капуцинов, она уже была готова ко всему. За оградами светились окна особняков. На этой авеню жили богатые люди. Дома были с лепными фасадами, в бронзе украшений. В палисадниках подстриженные деревья и кусты. Газовые фонари освещали эмалевые таблички. Вот дом

номер девять. А следующий — одиннадцать. Зиночка шла как на Голгофу. Фасад дома подступал к самой ограде, а два крыла-флигеля уходили вглубь, за деревья. Зиночка подобрала юбку, ухватилась за прутья ограды. По чугунным завиткам ее взобралась к окну. Мелькнула мысль: «Увидел бы ажан, что бы подумал?..»

Окно было зашторено лишь наполовину. Сверкала люстра. В первое мгновение брызги хрустала ослепили женщину. Потом она пригляделась. И то, что она увидела, едва не заставило ее закричать. Аркадий Михайлович в пушистом длинном халате, точно таком же, какой был у него на улице Телье, полулежал в кресле-качалке с высокой спинкой. На коленях у него сидел малыш. Тут же стояла молодая женщина. Она что-то говорила, Аркадий Михайлович ей отвечал, привычно удерживая и лаская ладонью головку малыша. Слышно ничего не было.

Зиночка не смогла удержать слез. Она спрыгнула с ограды, ударила кулаками в прутья. Боль обозлила ее. Ей захотелось схватить камень и запустить в это зеркальное стекло. Чтобы зазвенело, загрохотало, чтобы все рухнуло! Ворваться в этот дом, крикнуть ему, этой женщине!.. Что крикнуть? Что?.. Что она, дура, польстилась на его звезды? Что сама бросилась в его руки?.. Он сделает удивленное лицо и скажет: «Кто вы, мадемуазель? Я вас знать не знаю!..» Так что же делать?..»

И вдруг она поняла, что попала в западню. В чужом городе, чужой стране, без крыши над головой, без сантима — она отдала извозчику последнюю монетку... Вернуться к Додакову? Нет, нет!..

И тут она вспомнила: студент, этот вихрастый парень. Он приводил ее к себе. Его улица называлась... Да, рю де Мадам, на углу улицы Цветов. Это где-то не очень далеко. Когда ехала сюда, она переезжала Сену. Значит, надо к реке, через мост, а там найдет... Она придет к нему — и что же?. И тут мстительная мысль обожгла ее: «Я отплачу вам всем, господа с безукоризненно отмытыми руками! Я отплачу!..»

Она ускорила шаги. Снег сеялся все гуще. Но было неморозно, снег оседал, подтаивал. Туфли Зиночки промокли, в них хлюпало, пелерина отсырела, и мокрой была голова. «Заболею, простужусь и умру прямо на улице», — думала она, и ей было горько. То ли никогда прежде в этот час не оказывалась она одна на парижских улицах, то ли сами эти улицы не были так неприглядны и мокры, но теперь ее взгляд улавливал не праздничный блеск веселья и богатства: жались в подъездах и методично прохаживались от фонаря до фонаря, как хищные бескрылые птицы, женщины в шляпках с перьями и нарочито большими сумками; на решетках метро, на кипах рваных газет примасивались на ночь бездомные; из сумрачных дверей погребков до нее доносились грубые голоса и нестройное пение. Ажаны волокли, выламывая руки, бродягу в лохмотьях, а он вырывался и страшно ругался... И к ней то и дело приставали какие-то хлыщи с мерзкими рожами. Боже мой, зачем она здесь?

На мосту Сольферино, через который перебежала Зиночка, толпился народ, внизу на набережной суетились фонари, полицейские что-то кричали с парапета вниз, под мост. Там, на черной воде покачивались две большие лодки. Она догадалась, что ищут утопленника...

До улицы Мадам оказалось далеко. Она устала, еле волочила ноги. Вот и дом на углу. Слава богу, наружная дверь еще не заперта. Зиночка пробежала мимо консьержки, пробормотав что-то невразумительное, и ступеньки запричитали под ее ногами.

Она боялась не застать Антона или, что еще хуже, застать у него кого-нибудь из друзей, особенно женщину. Студент был один. На колченогом столе лежал распахнутый чемоданчик. На кровати поверх одеяла была брошена одежда.

Перед тем как переступить порог, Зиночка взяла себя в руки: женщина не должна представлять перед мужчиной слабой и униженной — мужчины любят самоуверенных и счастливых женщин. И она вошла в мансарду с приветливой улыбкой, как к доброму знакомому, к которому вдруг, по неведомой прихоти, заскочила на огонек.

Увидев ее, Антон оторопел. Он мог ожидать появления кого угодно, но только не Зинаиды Андреевны, да еще в столь поздний час.

— Прощу! — он забежал по комнатке, сгребая и рассовывая по закуткам вещи,

освобождая стул, подпоясываясь, пряча ноги в драных шлепанцах. — Чем обязан, сударыня?

— Вы недовольны? — она состроила шутливо-обиженную гримаску.

— Что вы, что вы! Садитесь, вот сюда, я сейчас вскипячу чайку, не возражаете? — но в голосе его чувствовались растерянность и озабоченность.

Он зажег газовую плиту. Потянуло теплом.

— Я гуляла... Честно скажу, заплутала. Увидела ваш дом — решила забежать, — начала Зиночка.

— В такую пору-то и одной по Парижу? — укоризненно покачал он головой и повернулся к ней. Внимательно посмотрел. Перевел взгляд на ее ноги. Выглядывавшие из-под юбки чулки ее были мокры, а туфли, предназначенные отнюдь не для улицы, являли совсем уж жалкое зрелище. Он поднял глаза на ее набухшую от сырости пелерину, на меховой воротник, жалко взъерошенный, как шерсть ободранной кошки, на ее лицо, на которое стекали с волос струйки, поглядел в ее провалившиеся глаза и ужаснулся:

— Зинаида Андреевна, что с вами? Что случилось?

В его голосе было столько тревоги, столько искреннего участия, что она вскрикнула, слезы брызнули, и она спрятала лицо в ладони.

— Что с вами? Не плачьте! Не надо плакать!.. Что случилось? Зинаида Андреевна, Зиночка!

Антон в растерянности остановился посреди комнаты. Потом подошел к ней, осторожно дотронулся до мокрого жалкого плеча, начал поглаживать, похлопывать, как ребенка:

— Ну же, не надо! Что случилось?

Она разрыдалась еще пуще. Он отошел, отвернулся, давая ей успокоиться. Налил крутого чаю:

— Вот выпейте, согрейтесь. Вы вся насквозь, хоть выкручивай. Я могу уйти, да мне уже скоро и уезжать, а вы оставайтесь. Там моя пижама, халат.

«Халат!..» Она захлебнулась слезами. И вдруг успокоилась. Достала платок. Высморкалась. Нос ее стал синевато-красным. Она пригладила волосы, поправила на лбу челку. Обхватила пальцами обеих рук раскаленный шербатый стакан, с удовольствием вбирая жар.

— Спасибо. Извините.

Антон озадаченно смотрел на молодую женщину.

— Мой приход... И мое поведение... требуют объяснения...

— Нет, если не хотите, не надо!

— Нет, я не случайно пришла к вам. И неспроста. Я хочу сказать вам немаловажные вещи, касающиеся вас лично и ваших сотоварищей.

— Меня и товарищей? — недоверчиво переспросил студент.

— Да. Всех большевиков-эмигрантов.

— Откуда вы знаете само это слово: «большевики»?

— Вы и вправду считаете меня дурочкой, — досадливо сказала Зиночка, отбрасывая всякую игру. — Инженер Бочкарев, с которым я познакомила вас, совсем не инженер и не Бочкарев. Это Додаков Виталий Павлович из департамента полиции, жандармский подполковник.

— Жандармский? Из департамента полиции? — лицо юноши вытянулось.

— Да, — подтвердила она. И с каким-то саднящим ее самое злорадным чувством начала рассказывать все, что знала о Додакове, даже вспомнила, что он сам поведал ей о гибели отца Антона, профессора Путко. И с тем же злорадным чувством она наблюдала, как сереет, ожесточается лицо стоящего перед ней студента, как нервная дрожь начинает пробегать по его пальцам.

— И сюда он приехал с заданием выследить вас всех и схватить при удобном случае.

Ей показалось мало этих разоблачений, и она, мстя уже Гартингу, пересказала и то небольшое, что услышала от Додакова об Аркадии Михайловиче.

— Вот какой он дипломат-консул! Просто агент, как... — она оборвала себя.

Антон раскачивался, будто маятник. По стенам скользила фантастическая уродливая тень.

— То, что вы рассказали, чудовищно... Это так важно... Спасибо, что предупредили... — проговорил он глухим, каким-то не своим голосом. — Не знаю, как благодарить. Вы нас спасли. А этот инженер... — гримаса боли обезобразила его лицо. — Надо предупредить товарищей. А мне уже пора на вокзал...

Он остановился. С ноткой недоверия спросил:

— А как вам удалось узнать обо всем этом? Вы не ошиблись?

— Я? — удивленно посмотрела на него Зиночка. — Я это давно знала.

— Откуда?

— Да ведь и я тоже сотрудница охранного отделения, — как о само собой разумеющемся, сказала она. И добавила: — Была сотрудницей.

— Вы?

— Да, — она кокетливо оправдала волосы.

Студент отступил, словно бы для того, чтобы лучше разглядеть ее всю:

— И давно?

В его голосе ей почудилось что-то странное, будто треснуло на морозе дерево. Но Зиночка уже не могла остановить себя:

— Года два как на жалованье. Со студентами работала, потом с социалистами-революционерами, а уж год — как с социал-демократами.

— И в «Обществе электрического освещения»? — как бы подсказал Путко.

— Само собою разумеется, освещала господина первого инженера, на него отделение обращало особенное внимание.

Охотно отвечая, она не столько каялась в содеянном, сколько хвасталась своими способностями: вот, мол, вы меня дурочкой-простушкой считали, а я как ловко вас, мужчин, за нос водила — секретарша в батистовых кофточках! Она не ведала о последствиях своей полицейской работы, а если даже и догадывалась о них, то умозрительно, отвлеченно — точно так, как если бы читала об арестах, военно-полевых судах, ссылках и казнях в газетах. Нравственно слепая, развращенная всем укладом ее теперешней жизни, она видела свою службу в охранном отделении просто как спектакль, как игру, и ее успехи в этой игре должны признаваться и теми и другими, точно так же как всеми признаются женская красота и женские капризы и прихоти. И только.

Но Антону все представлялось совсем иначе. Эта женщина — и раздавленный сапогами его отец на мостовой у Техноложки; она — и гибель Кости; она — и изможденное лицо Леонида Борисовича, и арест Камо, и Феликс в тюрьме, и страшная опасность, вновь нависшая над Ольгой... Все закружилось в его голове в огненно-черном вихре.

— Что вы? Я же к вам... Я вам все!.. — она что-то поняла, она сообразила, что не следовало ей признаваться. Но уже было поздно.

— Уходите!

— Что вы! Что вы, сударь! — она испуганно смотрела на него, не узнавая в этом человеке с искаженным ненавистью и болью лицом того мягкого, открытого юношу, каким помнила еще с первой летней встречи на Малой Морской. И, все еще надеясь, что не может он так внезапно измениться, взмолилась: — Пощадите меня! Что я вам сделала? Я же предупредила... И мне некуда теперь идти. Пощадите!

Она готова была упасть перед ним на колени:

— Если я виновата, я искуплю свою вину!

Но в его сердце не было жалости. Эта женщина олицетворяла все несчастья, которые обрушились на его товарищей и его страну.

Он подошел к двери и с силой распахнул ее.

— Уходите!

## ГЛАВА 10

Столыпин ехал в Царское Село на свой еженедельный доклад.

Воспринимая эту регламентную обязанность как неотвратимую повинность, привыкнув встречать в кабинете Николая глухую враждебность, порождаемую — Петр Аркадьевич превосходно понимал — не тем, что он негоже ведет государевы дела, а неизменным чувством зависти, — на этот раз он предвкушал триумф.

Бодрые рысаки резво несли коляску по расчищенной обледенелой дороге. Сзади и спереди ровной рысью шли одномастные кони жандармского эскорта. Кругом было белым-бело, низкое красное солнце висело меж замершими в сиреновом инее ветвями деревьев. Деревушки при дороге были закутаны в снежные шубы, над крышами изб ровно струились синие дымы. И Столыпин подумал, что зима, мороз и низкое солнце — наиболее естественное состояние Руси, отличающее ее от всех иных земель.

Тратить несколько часов на дорогу было для премьер-министра немислимым расточительством. Можно было вчетверо сократить расход, воспользуясь он роскошным «делоне-беллвилем» — десяток таких золочено-лакированных чудовищ был закуплен недавно для нужд двора и высших сановников, и фирма прислала даже своих шоферов. Но Петр Аркадьевич не любил этих рыкающих «пожирателей пространства», как окрестила их публика, и мерзкого, одурманивающего чада бензина. Он опасался бешеных, в тридцать верст за час, скоростей. И, главное, ему нравилось на кожаных подушках, под медвежьим пологом, под мягкое покачивание рессор, дробный перестук копыт и монотонное шуршание встречного ветра думать неторопливо, спокойно. Долгая дорога, отрыв от суеты столицы настраивали на философски-созерцательный лад. Можно было без спешки взвесить, как идет крестьянская реформа, не менее значительная для отечества, чем реформа Александра II, и обещающая войти в историю под его, Столыпина, именем; удовлетворенно оценить положение в стране. Да, огнем и мечом смута искоренена, держава приведена в успокоение повсеместно. И новая, третья по счету, Дума именно такова, какой видел ее он, Петр Аркадьевич, в своих расчетах.

И все же, хотя «порядок и спокойствие» наведены им на Руси, кое-что Петра Аркадьевича удручает. Стяг монархической триады, на котором начертано: «Вера, престол и отечество», собрал вокруг, на кого ни посмотри, бездарей и невежд, стяжателей и лихоимцев. И даже те, кого Петр Аркадьевич в прежние годы считал благородными слугами трона, отдались во власть пороку. Будто охмелевшие от крови упыри, все устремились в лоно стяжательства и разврата. А в результате трещит казна, повсеместно идет чумное пиршество победителей. Эх, если бы мог он разогнать этих хищников и невежд! Да где ж взять иных — чтобы были они не слабонервны, да к тому еще не вольнодумцы, не богохулы, служили не порочным идеалам социального преобразования общественной жизни, а единственно возможному на Руси установлению — самодержавию, даже если на этом отрезке отечественной истории олицетворено оно в фигуре бездарного Николая?.. Неужто и не осталось их вовсе — искренних, преданных бессребреников? Или неукротимая энергия, способность к самопожертвованию и подвигу — достояние лишь врагов трона и святой отчизны? Что ж, мир таков, каков есть, хотя и не соответствует желаемому. И если хочешь править в этом мире, действуй по принципу: «Oderint, dum metuant! — Пусть ненавидят — лишь бы боялись!» Да, лишь бы боялись!

Экипаж уже въезжал в Царское Село. Этот небольшой городок в полусотне верст от столицы вот уже два столетия был одной из царских резиденций. Здесь, среди парков, красовалось немало ценнейших творений зодчества, произведений ваяния и живописи. Но как в Петергофе Николай вместо роскошных анфилад над фонтанными каскадами предпочитал невыразительный особняк в самом углу парка, так и здесь, в Царском Селе, он

избрал местом пребывания относительно небольшой Александровский дворец. Поговаривали, что суеверная и мистически настроенная Алис боялась пышного, возведенного гением Растрелли в стиле русского барокко Екатерининского дворца, якобы населенного «теньями предков». Только просторный плац перед этим дворцом использовался для излюбленных государем и государыней войсковых смотров и парадов. Хотя никто из венценосных предков со времен самой Екатерины не жаловал Царское Село вниманием, нынешний император Николай сделал его излюбленным зимним обиталищем. В год восшествия на престол он повелел разрушить левый флигель и вместо зала, хранившего фантазию и пропорции великого Кваренги, соорудить комнаты спокойно-казарменного типа, а в главном парадном зале посреди инкрустированного пола поднять деревянную горку, с которой можно было кататься, подстилая коврик.

Столыпин оглядывал дворец и парк профессионально-внимательно, с удовлетворением отмечая среди сугробов и на расчищенных дорожках папахи дежурных конвойцев, а в аллеях — меланхолические фигуры сотрудников второго делопроизводства департамента полиции, одетых в партикулярные шубы. Государь еще первому из предшественников Петра Аркадьевича повелел закрыть доступ в Александровский парк всем обитателям Царского Села, тем паче простолюдинам, и даже в отсутствие его самого и членов царской фамилии пускать в эти аллеи по специальным пропускам только избранную публику. Билеты не давали права прохода к самому дворцу и в окружающий его сад. Здесь, у ограды, круглосуточно стояли посты, лежали в кустах секреты и совершали круговой объезд конные конвойцы. Для сообщения с Петербургом служила специальная «царская ветка» железной дороги, конечная станция которой находилась тут же, на окраине парка. Петр Аркадьевич ничего чрезмерного в этих предосторожностях не находил: береженого бог бережет. К тому же, как показывала практика, в нынешних ситуациях никакие меры не гарантируют от опасностей. Уж на что, казалось, строго охранялась его собственная летняя резиденция на Аптекарском острове, а и она взлетела на воздух. Слава всевышнему, Петр Аркадьевич находился в тот момент в дальней комнате, и его не задело. Однако в этом обилии стражи в Царском Селе было нечто показное, а Столыпин любил дело. К тому же сам государь принимал заботы об охране собственной персоны чересчур близко к сердцу, выявляя лишний раз свой характер. Петр Аркадьевич же был храбр и презирал в других мужчинах отсутствие этого качества. Впрочем, государь есть государь...

Карета остановилась у парадного входа. Адьютант спрыгнул первым, опустил подножку, отворил дверцу, помог премьер-министру сойти на землю.

Столыпин прошел в приемную — обширную залу с деревянными панелями, где под взорами отца-императора и Александры Федоровны, величественно глядевших с портретов, дожидались аудиенции сановники. Тут же к стене был приколот отрывной календарь. Николай любил сам поутру, до приема, отрывать листки, которые он прочитывал и коллекционировал. Часы пробили одиннадцать, и Петр Аркадьевич был приглашен в кабинет.

Николай — свежий, только что с прогулки, — доброжелательной улыбкой приветствовал премьер-министра, предложил сесть, подчеркнув тем самым право Столыпина и свою щедрую волю, даже осведомился о здоровье и самочувствии близких. «Или уже что-то знает, или много ворон с утра настрелял?» — подумал Петр Аркадьевич и приступил к докладу.

Доклад был составлен весьма хитро, недаром от недели до недели корпело над ним целое делопроизводство департамента полиции, подбирая и сортируя факты, а потом еще директор, а затем уже и сам министр, руководствуясь высшими соображениями, шлифовал и полировал его, а точнее — украшал, как мастер-кулинар украшает торт, прежде чем подать к столу: там — орешек, тут — розанчик, а вот сюда — и самую изюминку. Слепленный из отдельных кусков, доклад в совокупности своей являл стройное произведение бюрократического искусства и был пропитан, как бисквит кагором, идеей ревностной службы министерства во благо престола и отечества.

Так, Петр Аркадьевич доложил, что в Москве, в Кремле завершаются работы по сооружению памятника на месте убиения революционером великого князя Сергея Александровича (намек на то, что предшественник Столыпина не уберег любимого дядюшку государя); что в Одессе обнаружена фабрика фальшивых золотых и серебряных монет (все имущество поступило в казну); под Севастополем, в Хабаровске и Красноуфимске раскрыты и захвачены склады бомб, оружия и прокламаций; что повсеместно продолжаются аресты, но не массовые, а выборочные; что там-сям произошли опустошительные пожары, два поезда сошли с рельсов — и так далее и тому подобное. В целом же по империи спокойствие и благоденствие и повсеместно соблюдение законности и порядка. Последнее утверждение звучало как рефрен, и сам тон, каким докладывал Петр Аркадьевич, был спокойным.

Николай слушал с удовлетворением, молчаливо кивая. И думал: неужто и вправду наступает пора умиротворения, как при незабвенном батюшке? Называли же недобрые люди годы царствования Александра III эпохой всероссийской спячки. Эх, долше бы длился этот безмятежный сон!..

Однако Столыпин не дал монарху поблагодарить:

— В целях профилактических, ваше величество, позволю ходатайствовать между тем о высочайшем утверждении на продление положения усиленной охраны в Симбирской, Киевской и Таврической губерниях, Керчь-Еникальском градоначальстве и в городах Вильне и Гродне; чрезвычайной охраны — в губерниях Пермской, Херсонской и Екатеринбургской.

— За этим дело не станет, — согласился царь и протянул перо к уже пододвинутому листу. И пока выводил буквицу «Н», пока тянул витиеватый хвостик, вспомнил. — Гофмейстер Извольский полагает необходимым наш визит в дружественные страны Европы. Какие соображения на этот счет у вас, Петр Аркадьевич?

Предложение министра иностранных дел оказалось как нельзя кстати. Оно дало повод для перехода к главному блюду, которое Столыпин и сам намеревался подать как бы на десерт, между прочим, будто вовсе и не придавал ему особого значения (тем самым косвенно оправдывалась и длительность операции, которой государь уже устал интересоваться):

— Ваше величество, представляется возможность проверить дружественное расположение правительств тех государств, которые вы намерены осчастливить своим визитом. Только третьего дня и вчера во Франции, Германии и Швеции произведены аресты российских эмигрантов-революционеров.

— Аресты? — оживился Николай.

Столыпин рассказал об операции, задуманной по его ведомству и связанной с давним, прошлогодним делом о тифлисской экспроприации.

— Осуществив этот план, ваше величество, мы сможем разгромить центр чрезвычайно опасной политической эмиграции — социал-демократической. Кроме того, операция позволит нам выявить связи эмигрантов с ячейками этого преступного сообщества. Ячейки партии, безусловно, существуют и в самой империи, но они тщательно замаскированы, — закончил он.

И, понимая всю значимость фразы, как бы между прочим добавил ее — хотя заранее и не раз взвесил в ней каждое слово и отрепетировал самую интонацию:

— Эта операция в какой-то степени походит на предприятие, осуществленное вашим батюшкой, его императорским величеством Александром III, однако же превосходит ее по масштабам и ожидаемым последствиям.

Удар попал в самую точку. О, как много значили эти слова для Николая! Вот он, счастливый момент самоутверждения! Батюшка хитроумным планом разгромил гнезда террористов-народовольцев и на годы добился политического затишья на Руси. А он, Николай, уничтожит социал-демократов, которые, как показали столь недавние события, куда более опасны для империи, чем народовольцы.

— Весьма, весьма похвально, — резюмировал государь с улыбкой. — Отличившиеся будут щедро награждены. Кто, милостивый государь, Петр Аркадьевич, непосредственный исполнитель вашей идеи?



— Директор департамента действительный статский советник Трусевич, ваше величество, а на театре действий, в Париже, — заведующий заграничной агентурой Гартинг и прикомандированный от департамента подполковник Додаков.

— Додаков... Додаков... — Николай перебрал в памяти. — Докладчик о Лисьем Носе, если не ошибаюсь?

— Так точно, ваше величество.

— Весьма исполнителен и энергичен... Подполковник, говорите? Достоин и полковника за свое усердие, вы не находите, Петр Аркадьевич?.. И желал бы видеть его при дворе, в нашей свите. Хотя и предвижу, как трудно вам будет расстаться с таким достойным офицером.

— Доверить охрану нашего государя можно лишь самым достойным, — склонил голову министр.

— А Гартинг — уж не тот ли, который отличился при незабвенном батюшке?

— Он самый, ваше величество.

— Жалую ему орден и генерала.

— Это невозможно, государь, — осмелился возразить Столыпин. — Гартинг числится по гражданскому ведомству. Он чиновник шестого класса, коллежский советник.

— Тогда жалую ему действительного статского.

— И это невозможно, ваше величество. Никто не может быть произведен через чин или минуя чины низшие прямо в высшие, — смиренно напомнил Петр Аркадьевич неукоснительное, введенное еще Петром I положение табели о рангах.

— Так и невозможно? — строптиво вскинул голову царь, и в его холодных глазах зажегся недобрый огонь. — И нам невозможно?

Но он сдержал себя, не дав недоброжелательству к сановнику проявиться из-за такой мелочи:

— Будь по-вашему. Сегодня же представьте к статскому, а в следующий доклад — и к действительному. Он заслужил и наше монаршее благоволение, передайте ему в Париж.

Столыпин в согласии склонил голову. Он озяб в выхоленном кабинете и хотел, чтобы аудиенция закончилась поскорее.

— А теперь не желаете ли ознакомиться с проектами нового обмундирования и снаряжения чинов отдельного корпуса жандармов? — значительно проговорил Николай, и радостная дрожь в голосе выдала его страсть.

«Чем бы дитя ни тешилось...» — подумал Петр Аркадьевич, поежившись и невольно глянув на распахнутую форточку. Но предложение принял с поклоном.

Николай взял картонки, лежавшие у кресла, под рукой, и начал по одной выставлять их перед Столыпиным, поднимая папиросные листки, прикрывавшие рисунки, и комментируя:

— Для рядовых — мундир темно-синего сукна по образцу уланского, каково? Воротник же — сукна светло-синего. Аксельбант более тонкий, наконечники не оловянные, а медные, никелированные. А портупея, темляк, поясной ремень, кобура, сумка не из белой кожи, как нынче, а из красной юфти с никелированным набором. На погонах все знаки различия из золотого галуна.

Николай перечислял со вкусом, с удовольствием и тонким знанием предмета:

— Для офицеров мундир такой же, но галунные петлицы шитые, по образцу петлиц, присвоенных нами старшим адъютантам в штабах. Аксельбант серебряный, какой при батюшке был. На голове шапка с султаном. Но не как нынешний, из белого волоса, а из страусовых перьев, по образцу генеральского гвардейского. Как у гусар, но несколько уменьшенный. Для офицеров белые страусовые перья, для генералов корпуса трехцветные: белые, красные и черные. Каково?

Султаны изображены были отменно, художник постарался вырисовать каждое перышко.

— Что скажете, Петр Аркадьевич?

— Такой мундир, ваше величество, должен пробуждать в народе еще большие

благолепие и трепет, — с чувством проговорил Столыпин. — Кто автор этого прекрасного проекта? Корпус жандармов не поскупится на премию.

Бледные щеки Николая порозовели от удовольствия:

— Довольно с автора и того, что ему удалось выразить свое расположение к ревностным охранителям трона.

И, заботливо опустив картонки, он предложил:

— Если нет нужды срочно возвращаться в город, прошу вас, Петр Аркадьевич, отобедать с нами.

Это была высочайшая честь. И хотя Столыпин намеревался тотчас после доклада вернуться на Фонтанку, он с поклоном принял приглашение.

Перед обедом они вышли прогуляться в парк. Государь прихватил неизменную свою винтовку, легкий «манлихер», подарок бельгийского короля Леопольда. Время перевалило за полдень. Зимний северный день был короток и уже поглощался сумерками, хотя солнце на выстуженном небе сверкало еще высоко, и во всем, что недвижно цепенело окрест, безмолвно боролись два непримиримых цвета — блистающее золото и густая синева, не оставляя места для главного цвета зимы — белизны. Деревья в парке стояли, как гвардейцы на смотре. Разве что от напряжения вздрогнет кивер — легкий комок, развеиваясь, спадет с ветви...

В дальней аллее Петр Аркадьевич увидел резной возок — расписной, с запряженной в него низкорослой лошадей, — и признал в кучере матроса Деревенько, дядьку при цесаревиче. Значит, в возке на мягких подушках наследник. Неужто не оправдаются прогнозы врачей и в свое время воссядет на трон бессильный, пораженный гемофилией продолжатель династии? Зачем тогда все труды, все хлопоты?

Столыпин шел, отставая на шаг и левее государя — согласно этикету, но так, чтобы Николай, не утруждая себя, мог беседовать с ним. Однако царь молчал. Он ступал мягкими, на меху, сапогами осторожно, с пятки на носок, как заправский охотник, зорко всматриваясь в замаскированные снегом кроны деревьев, высматривая ворон. Он слышал за плечом поскрипывание ботинок Столыпина и досадовал, что этот резкий звук может преждевременно испугнуть осторожную птицу.

Ворона в ветвях взмахнула крылом. Царь замер. В ту же секунду вскинул винтовку, нажал на спусковой крючок. Вместе с черной распростертой птицей на аллею рухнул с ветвей легкий светящийся снегопад.

От неожиданности, от выстрела, грянувшего над ухом, Петр Аркадьевич вздрогнул и отшатнулся. Николай весело рассмеялся.

— Знаю я, в чем причина всех смут, — доверительно сказал он, досылая новый патрон в ствол. — В инородцах и иноверцах. Уж больно много их всяких в нашем отечестве.

Он снова зорко оглядел макушки деревьев. Но они были недвижны: ожидать еще одной птицы было безнадежно — недаром говорится, что стреляная ворона куста боится. Разве что чужая залетит... Николай перекинул винтовку через плечо:

— Передайте от меня гофмейстеру Извольскому, чтобы уведомил Нелидова в Париже, а также посла в Берлине, посланников в Мюнхене, Стокгольме и иных, что мы ждем их усердия в деле о заговорщиках, которые должны быть непременно выданы России.

Петр Аркадьевич понял, что царь не упускает из головы недавнего доклада и мысли его кружат, как ястребы, выглядывающие лакомую добычу, над делом о тифлисских экспроприаторах.

Колокольчик возвестил, что пора к обеду.

В этот день к обеду, помимо Петра Аркадьевича, приглашены были немногие. Кроме Алис и старших детей, были министр двора барон Фредерике, обер-егермейстер граф Пален и дежурный по дворцу князь Волконский. Присутствовать за столом в таком узком и высоком кругу было лестно для Столыпина, хотя и шута Фредерикса, и Палена, а заодно и Волконского он считал болванами и неучами.

Стол выглядел отменно: украшенный тюльпанами из Амстердама и розами из Марселя,

с меню, рисованным придворными художниками. Подавали устриц из Болоньи, стерляжью уху, бифштексы с кровью по-английски. Петр Аркадьевич наблюдал: Николай не дотрагивался до очередного блюда прежде, чем не откушает его кто-либо из сидящих за столом. По этикету первым полагалось снимать пробу дежурному. Петр Аркадьевич как бы неприметно опережал князя Волконского. И это было замечено царем и, что еще важнее, Александрой Федоровной.

Разговор за столом политических вопросов не касался. Но по задумчивости государя, по улыбке, скользившей по его губам и часто встречающимся с ним, Петром Аркадьевичем, взглядам, он догадывался, что расчет оказался верным: Николай оценил значение полицейской операции, которая разворачивается в Европе, мысль о ней тешит его самолюбие.

Из Царского Села Столыпин уехал только под вечер, сетуя на бесцельно растроченное время и все же довольный первыми итогами.

Высоко был оценен этот день и Николаем, что нашло отражение в записи, оставленной им вечером в очередной тетради дневника, обтянутой шагреновой кожей:

«Ясный день при 15° мороза. Принял доклады. Погулял. Удачно стрелял ворону. Обедали: Пален, Фредерике, Волконский (деж) и Столыпин. Занимался. Читал Алис вслух. Вечер провели вдвоем. Очень рады оставаться на зиму в родном Царском Селе...»

Столыпин вернулся в столицу поздно. И все же, прежде чем ехать домой, приказал завернуть на Фонтанку.

Директора департамента уже не было. Но дежурный по министерству, чиновник для особых поручений доложил, что из Парижа получены телеграммы о новых арестах эмигрантов-большевиков, на этот раз в Швейцарии, в Женеве.

## ГЛАВА 11

Виталий Павлович испытывал чувство опустошения — словно бы он превратился в некую оболочку, трубу, через которую со свистом дует холодный ветер. Неужели все? Надежды — как перетертые жесткими пальцами высохшие листья? И этот гнусный старик насмехается над ним в своем кабинете на авеню Гренель!

В ту ночь все, о чем он догадывался, с чем соглашался или что отвергал, приобрело ясность, будто он самую душу Зиночки вдруг разглядел под увеличительным стеклом. Оказалось, что тот давний шантаж — угроза высылки в связи с арестом возлюбленного — как нельзя более соответствовал ее собственным, пусть в ту пору еще и не осознанным устремлениям. Служба в охранном отделении, как до того связь с анархистом-бомбистом, привлекла ее таинственностью и риском. Но стать секретной сотрудницей она согласилась и по холодному расчету — она решила сделать карьеру собственными руками, занять то место в жизни, на которое не могла претендовать по своим иным возможностям. А тут еще и Париж, и дипломатический мундир Гартинга... И голова ее пошла кругом. Что ж, она руководствовалась девизом «цель оправдывает средства». Разве она одна? А он сам? Чем он лучше Зиночки? Не он ли так же расчетливо осуществлял план, используя и служебное положение, и даже средства департамента? Не он ли искушал ее этим городом, своей сдержанностью, предупредительностью, ежечасно подсказывая ей единственный путь?... «Париж стоит обедни...» Он, он методично и устремленно развращал ее, чуть было не взял силой, а потом оплел сверкающими паутинами, более прочными, чем стальные тросы... И он еще осмелился поднять на нее руку и выгнал на улицу, на дождь, в какой хозяин и собаку не выгоняет!.. Что сейчас с ней, где она? А вдруг с отчаяния отдала себя какому-нибудь

развратнику или — на мост и в Сену?.. Он содрогнулся. Он готов был простить ей все, он готов был сам на коленях выпрашивать у нее прощение...

Сон не шел. Пробило и два, и три. На площади погасили фонари, и спальня, прежде исчерченная полосами света по стенам, погрузилась в темноту, будто все провалилось в преисподнюю.

И в этой черной тишине он уловил приближающиеся по коридору шаги, словно кто-то с трудом волочил сам себя. Шаги замолкли у двери напротив. Потом тягуче и жалобно проскрипело. Додаков вспомнил, что, уходя из номера Зиночки, он забыл запереть дверь. Неужто она вернулась?

Он вскочил с постели, накинул халат и, веря и не веря, бросился из комнаты, вбежал в дверь ее номера. С вечера свет был не выключен, и он увидел посреди комнаты жалкое существо. Неужто это была Зиночка? Волосы ее, всегда такие пышные и уложенные, облепляли неожиданно маленькую птичью головку и сосульками свисали на воротник накидки. Она так промокла, что с подола капало, а ноги — о ужас! — были в одних чулках с продранными пятками, и вокруг ног на полу набегало темное пятно. Святая Магдалина, да и только!

— Зинаида Андреевна, Зиночка, боже мой!

Она подняла на него лицо. Казалось, что черты растворились в огромных страдальческих глазах, обведенных черными ободьями кругов.

— Отдайте мне паспорт, и я уеду в Питер... Сегодня же утром, — устало и как о решенном проговорила она.

— Немедленно в горячую ванну! Я сейчас приготовлю! — засуетился Додаков.

— Нет. Я решила.

— Хорошо, хорошо, потом поговорим об этом. А сейчас вам надобно согреться.

Он вбежал в ванную, включил краны, потом бросился в свой номер, схватил бутылку с водкой.

— Раздевайтесь, я вас разотру.

— Нет.

— Не надо, Зинаида Андреевна, сейчас я как врач. И, будто действительно врач, он помог ей раздеться и стал жестко, энергично растирать ее ледяные ноги, всю ее, холодную и словно бы исхудавшую за эти несколько часов, с кожей, покрывшейся пупырышками. Она лежала на животе, вдавливаясь в пружины дивана под нажимом его ладоней, постанывая — и все еще напряженная. И вдруг размякла и разрыдалась, закусывая зубами подушку и не в силах сдерживать горькие всхлипы.

— Не надо, Зиночка, не надо! Не казните себя и меня тоже. Я во всем виноват, и я искуплю свою вину, — бормотал он, совершенно убитый ее истерикой. — Бедная! Где ты провела столько часов?

— Я была... на улице Капуцинов... У него... жена и дети... — всхлипывая, как обиженная девочка, начала выдавливать из себя она. — Он обманул... потом я была... у студента, у Путко... И он тоже меня выгнал... Хоть с моста в реку...

— У студента? — Додаков замедлил движения ладоней. — И он выгнал? Почему?

— Я сказала, что я сотрудница отделения.

— Сказали? — он продолжал методично и жестко массировать ее тело, уже становящееся горячим. — А еще что сказали?

— Что этот... Гартинг — никакой не дипломат... а бывший провокатор... студентом сотоварищей выдавал... а теперь в заграничном сыске... все сказала! — она всхлипнула, успокаиваясь.

Додаков почувствовал, как каменеют его руки.

— И обо мне сказали? — понудил он.

При всей своей подавленности Зиночка уловила в голосе Виталия Павловича что-то такое, что заставило ее насторожиться и удержать правду:

— Нет, не сказала...

— Но о Гартинге все?

— Да! — в ее восклицании звучало мстительное торжество.

— Ванна уже готова, — он накинул на нее халат. — Идите.

Подполковник проследил за ее бесформенной фигурой, за узкими щиколотками, мелькавшими из-под полы халата, и с удивлением подумал, что не испытывает к этой женщине никакого влечения. И одновременно ощутил смутную тяжесть еще до конца не осознанной опасности.

Шум струй в ванной смолк. Послышались легкие плескания. И опять Додаков равнодушно представил, как нежит себя Зиночка в горячей воде.

Она соврала. Она сказала студенту обо всем. Этим же утром об истинной роли Додакова узнают все единомышленники Путко. И задание рухнуло... Но это еще не главная беда. Самое страшное: они узнают о Гартинге — не только о его настоящем, но и о тщательно законспирированном прошлом. О тайне, которая была доверена Додакову директором департамента. Виталии Павлович был не прочь отомстить подлецу чужими руками. Но если на Фонтанке станет известно, от кого они узнали, это крах. Конец карьере, в шею из корпуса, из департамента, а то еще суд и каторга. Ибо нет более тяжкого должностного преступления, чем разглашение агентурной тайны!..

Действовать! Действовать — и немедленно, не заботясь о последствиях, которые в любом случае несоизмеримы с реальной опасностью!..

Додаков приоткрыл дверь в ванную. На него пахнуло сырой духотой. Он увидел раскрасневшееся лицо Зиночки, по подбородок погруженное в пену. Женщина блаженно улыбалась.

— Отдыхайте. Поговорим утром, — деловито сказал он. — Спокойной ночи.

И вышел из номера, предусмотрительно заперев дверь снаружи.

У себя в комнате он быстро скинул халат, облачился в костюм. Достал из чемодана пистолет, привычным движением вынул обойму, проверил, заряжена ли, и так же привычно, ладонью, вставил ее в рукоять, послал патрон в ствол, поставил боек на предохранитель. На всякий случай проверил и второй пистолет. Натянул ненюшеные перчатки и уже в них оттер пистолеты специальным раствором, снимающим дактилоскопические отпечатки пальцев. Положил пистолеты в карман. И, надев пальто с высоким воротником и шапку, тихо вышел из комнаты. Отель он покинул через черный ход.

Ночной фиакр довез его до Люксембургского сада. Оттуда до рю де Мадам было рукой подать. Как Додаков и предполагал, на всей улице ни души, все окна темны.

Консьержка долго не отпирала, охала, ворчала за дверью, и по ее голосу Додаков определил, что она немолода. Тем лучше: отжила свое — ведь придется убрать и ее, чтобы не было свидетелей. Он надвинул шапку на самые глаза.

— Что угодно, мсье? — выглянула она наконец в парадное.

— Разбудите, пожалуйста, жильца — русского студента и попросите его спуститься вниз.

— Вот еще! — старуха собралась захлопнуть дверь. — Буду я ночью таскаться по лестницам!

Додаков пересыпал из горсти в горсть серебряные монеты и протянул их в ладони консьержке:

— Передайте студенту: срочные известия от Красина. Запомнили? Красин.

Старуха спрятала монетки.

— Кра-син, Кра-син... Китаец, что ли?.. Так кого позвать?

— Студента. Студента из России, который живет наверху, в мансарде. Его фамилия Путко.

Она постояла, что-то соображая спросонья, ушла в каморку. Додаков услышал, как она выкладывает там его серебро и что-то бормочет. «Какого черта?.. Может, там кто-то есть? Муж?... Это уже лишнее...»

Консьержка вернулась:

— Так нет же его, студента верхнего. Час, как уехал. Просил всю его почту собирать, — она повертела у носа Додакова запиской. — Я со сна-то и запомнявала.

— Куда уехал?

— А мне откуда знать?

«Все погибло...» — Виталий Павлович отступил от двери и вышел на улицу.

На Париж обрушился мощный антициклон, прорвавшийся то ли с севера, со стороны Гренландии, то ли с востока, из России. Понятие «антициклон» было в ходу только у метеорологов, а для всех остальных оно означало невиданный мороз, пронзительное ясное небо и обжигающий ветер. Дороги покрылись коркой наледи, пар поднимался от Сены, и выхолодило дома, чьи стены больше были приспособлены для защиты от жары и духоты, чем от стужи. Словом, Париж был застигнут врасплох, и ничто, начиная от каминов и кончая модой, не в силах было противостоять ему.

Гартинг сидел в кресле, стараясь не прикасаться к холодным подлокотникам и спинке. Голландка не могла обогреть кабинет. Аркадий Михайлович велел подать кофе, добавил в чашку ликеру и теперь, просматривая утренние газеты, маленькими глотками попивал согревающий напиток.

Заведующий ЗАГ предвидел, что без огласки не обойтись. Как он имел осведомителей в каждой группе эмигрантов, так и отделы скандальной хроники столичных газет располагали платными инкогнито-информаторами и в парижской полиции, и в префектуре, и в прокуратуре. Конечно, он предпочел бы всю операцию провести шито-крыто. Но, понятное дело, свобода печати, конкуренция и прочее.

Насторожило его другое: все газеты, за исключением самых правых — «Либерте» и «Л'Эклер», рассказывая об аресте на вокзале Норд, называли Валлаха русским революционером и дружно утверждали, что он и его дама схвачены парижской префектурой по наущению российской политической полиции. А в заметке, помещенной в «Ле Журналь» под заголовком: «РУССКИЙ ВАЛЛАХ. Его искали в течение 2-х лет!» даже говорилось:

«Мсье Бэн, помощник начальника русской политической полиции в Париже, дал знать своему правительству о местопребывании Валлаха. Этот последний закупап для революционеров снаряды, бомбы, ружья и револьверы...»

Гартинг пришел в ярость: в первой же строке заметки оглашались сведения, какими французские власти располагать не могли. Утечка информации шла из самой ЗАГ.

Прежде всего необходимо было выяснить, кто этот подлый предатель? Им может оказаться любой из всей этой своры подонков, окружающих Гартинга: стоит повертеть у их носа пачкой хрустящих бумажек. Ростовцев? Нет, сам себя он продавать не будет... «Пьер», «Серж», «Вяткин»?.. Они не в курсе дела, да и сейчас не в Париже. Скорее всего, кто-то из штатных сотрудников. Кто же?.. Не может быть, чтобы не обнаружилось нечаянного следа... Есть след! Вот она, зацепка к разгадке, — вот эта строчка в «Ле Журналы», где старший наблюдательный агент Генрих Бэн назван «помощником начальника русской политической полиции». Конечно же, она написана неспроста. Это попытка опорочить услужливого Бэна. Кому же выгодно столкнуть его?

И тут Гартинг вспомнил, что на место старшего агента претендовал филер Леруа. Он, кстати, и недолюбливает Генриха, и, как доносили заведующему, водит знакомства с журналистами. Инспирируя эту заметку, Леруа, конечно же, предполагал, что Гартинг припишет ее хвастливости Бэна, уволит его — и должность освободится. Нет, милый! Вон! В шею!..

Он уже готов был отдать распоряжение. Но тут же взял себя в руки. Если Леруа выгнать сейчас, он разболтает газетчикам и о многом другом. Да и вообще, существуют лишь два способа избавления от чересчур много знающих сотрудников. От них или откупаются щедрой пенсией, или их у б и р а ю т. Пенсии филер не заслужил. Значит, убрать? Пожалуй... Дело об убийстве затмит на газетных страницах дело о банковских

билетах. Но те же дружки Леруа, чего доброго, свяжут это с разоблачением Бэна, помянут русскую полицию. Нет, такой вариант не годится. Надо воздержаться и от увольнения. Лучше всего немедленно откомандировать его куда-нибудь подальше, а когда о деле Валлаха все забудут, позаботиться о дальнейшем.

Приняв решение, Гартинг несколько успокоился. Теперь предстояло обдумать все возможные последствия столь непредвиденных выступлений газет. Конечно, завтра о Валлахе никто ничего писать не будет — сенсация живет от силы два дня. Но само упоминание, что Валлах революционер и что за ним охотилась русская полиция, крайне неприятно. Любая политическая окраска может помешать быстрой выдаче злоумышленника властям Российской империи. Отсюда вывод: нужно спешить. Прежде всего надо узнать, как относятся к огласке французские власти.

Аркадий Михайлович позвонил следователю Флори и пригласил его отобедать тет-а-тет. Нет, конечно же, не на Больших бульварах, а за городом, в укромном кабинете.

За рюмкой «Камю» Флори успокоил Гартинга: Валлах и его дама будут немедленно выданы России, как только из Санкт-Петербурга поступят документы об их личном участии в разбойном нападении на транспорт казначейства.

— Пусть даже эти документы будут... — Флори рассматривает густо-коричневый напиток на свет, — ну, скажем, не совсем безукоризненны с точки зрения мадемуазель Фемиды — кстати, по-моему, она была девицей? Ха-ха!.. И, безусловно, никакого упоминания о политической деятельности этого разбойника. У нас в Париже, знаете ли, не любят разбойников, но очень любят политические скандалы.

После обеда со следователем Аркадий Михайлович навещает еще нескольких нужных людей и, возвратившись в свой кабинет, садится за составление очередного донесения в департамент. Нет, дела не так уж и плохи, хотя и обнаружались — черт побери эти газеты! — некоторые мелкие изъяны. Трещины, кои необходимо как можно скорее замазать.

И он пишет в Петербург, Трусевичу:

«Из частных бесед мне стало известно, что нынешний президент французского совета министров Клемансо в данное время крайне недружелюбно настроен по отношению к русским революционерам и в принципе ничего иметь не будет против экстрадиции Валлаха; однако экстрадиция Валлаха может не осуществиться, если его адвокату удастся доказать на суде, что в *момент экспроприации он был за границей и что кредитные билеты ему, Валлаху, переданы за границей лицом*, — Гартинг подчеркивает последние строчки, — *которое он назвать не пожелает*. Ввиду той роли, которую Валлах играл в революционном движении, допустимо, что найдутся революционеры, которые под присягой дадут показания в пользу Валлаха, дабы спасти его...»

Заведующий ЗАГ нарочито сгущает краски: пусть и там, на Фонтанке, поволнуются, а то привыкли получать все готовеньким. Конечно, в любом случае Валлах будет выдан властям империи — Гартингу обещали это совершенно определенно. Но лучше бы поскорее развязаться с делом, перестать трепать нервы и отдохнуть: они с Мадлен, как правило, две-три недельки зимой проводят в Интерлакене, у подножья Юнгфрау, в уютном отеле «Спленид».

Да, не забыть еще и о следующем:

«Из только что полученных сведений усматривается, что задержанные в Мюнхене, помимо Кузьминой, Ходжамирян и Богдасарян находились ранее в сношениях с Камо (Мирским) и виделись с Валлахом при его последней поездке, и несомненно, что отобранные у них кредитные билеты были им переданы Валлахом.

Прошу Ваше Превосходительство принять уверения в моем глубоком уважении...»

Запечатывая сургучом пакет, Аркадий Михайлович вдруг вспоминает, что утром, торопясь на службу, он забыл поцеловать Мадлен. Наверное, она обиделась. Надо обязательно по дороге домой заехать за цветами или за какой-нибудь безделушкой.

Два дня Зиночка провела одна, в постели. Еду ей подавали в номер. Горничная подкатывала столик на колесиках к самой кровати и ухаживала за нею, как за тяжелобольной. Зиночка и действительно чувствовала себя больной, опустошенной и обессиленной, хотя не было ни жара, ни простуды.

Виталий Павлович не появлялся. Однако дверь отпирали и запирали снаружи, и Зиночка чувствовала себя как в заточении. У нее было достаточно времени, чтобы и пожалеть себя, и всплакнуть над своей горькой судьбой, и все обдумать. Но мысли были вялые, тягучие, расплзающиеся в разные стороны, как гусеницы. Она не чувствовала уже особой обиды на Гартинга. Даже явись сейчас Аркадий Михайлович в эту комнату, она, наверное, не нашла бы никаких горьких и хлестких слов. Пусть у него жена и дети, но и с нею он был так ласков и пылок, и для него их встречи не прошли бесследно — она была убеждена в этом. Вся беда в том, что встретились они поздно. В этом и оправдание его обману. Да, да, в этом!.. Такая мысль была мучительна и в то же время успокоительна. Зиночка почувствовала себя как бы вдовой, скорбящей о былом — прекрасном, невозвратном. И она всласть поплакала, осушая глаза подушкой.

О студенте она вспомнила лишь мельком — и не только простила за его жестокий отказ в помощи, но даже и поблагодарила за него: что бы она делала, если бы студент согласился помочь ей? Пить чай из шербатовых чашек и есть по утрам и в обед селедку с черствым хлебом? Сохрани боже! Нет, это не для нее. Лестниц, пропахших кислой капустой и луком, с нее довольно было и в родительском доме...

Но что же делать теперь? Она понимала, что совершила тяжелый проступок, и отныне прежняя, легкая и веселая служба-игра ей заказана. Искать новую службу? Какую?.. Что она может? Пойти в учительницы? В гувернантки?.. И то и другое ей претило. Да никто и не возьмет. Сама в гимназии едва вытянула на аттестат и не любит маленьких. Оставалось одно: домой, в хлопоты по хозяйству, в жадное ожидание жениха, которого подкинёт судьба... И это после Парижа!.. Она снова поплакала.

Зиночка не думала плохо и о Додакове. Он был ей безразличен. Она понимала, что он должен быть зол на нее — она сорвала его служебное задание. Ну да ладно, переживет! Такой жердяй и камень проглотит — не подавится...

Так она томилась в постели, дремала, полистывала журналы, удивляясь, сколько красивых женщин на свете, и ждала, что же будет с нею дальше.

Утром третьего дня в дверь комнаты постучали.

— Да? — Зиночка застегнула халат и наспех поправила волосы.

— Доброе утро, Зинаида Андреевна! — на пороге стоял Додаков. — Можно? Да ты еще не готова?

Виталий Павлович сказал это таким тоном, будто ничего меж ними не произошло. Зиночка с удивлением посмотрела на Додакова. Он был тщательно выбрит, напудрен, безукоризненно одет — ни малейшего намека на случившееся. Неужели действительно простил?

— Одевайся. Через полчаса жду тебя к завтраку. А потом... — он остановился. Но это «а потом» произнесено было таким таинственным тоном, словно бы он приготовил ей сюрприз.

И действительно, когда кончали завтрак, Додаков легко и виновато дотронулся до ее руки:

— Прости меня, я был несправедлив и несдержан... Отныне и во искупление: весь Париж твой. Все, что ты хочешь. Что ты хочешь?

— Не знаю... — растерялась она.



— Не сдерживай себя в желаниях. Все, о чем смела бы ты возмечтать, будет твое. Разве только не королевский титул и Нотр-Дам в придачу! — засмеялся он.

— Не знаю...

— Тогда начнем с прогулки по городу. Одевайся потеплее, на улице морозище!

Она не знала, что подумать. Но потом сквозь смутные догадки пробилась торжествующая мысль: он боится потерять ее и поэтому зачеркнул все! И ей надо держать себя не виноватой, а, наоборот, празднующей победу. Не он верховодит ею, а она над ним, и тогда вернется все: и место ее в жизни, и Париж, и планы на будущее. Еще недавно она сама была готова на любое унижение, лишь бы сохранить хоть частицу того, что имела, чтобы отдалить возвращение в безысходную прежнюю жизнь. Но сейчас она тряхнула головой, будто освобождаясь от гадкого сна, и прежним, заученным, действовавшим всегда неотвратимо метко взглядом снизу, из-под челки, дерзко и насмешливо посмотрела на подполковника:

— Да, в город! Я чуть не задохнулась взаперти!

Они ехали по Парижу, и он, сверкающий и холодный, открывался ей иначе, чем в тот огненно-таинственный вечер их приезда. Теперь он был куда более красив и значителен. Ей все было хорошо, даже мороз, а может быть, особенно мороз. Ей, северянке, он был ничем.

Фиакр был дорогой, крытый черным лаком, с медными фонарями, с меховым пологом. И кучер на облучке — здоровенный краснолицый весельчак, тоже не боящийся мороза и ветра.

— Куда, сударыня?

— К Нотр-Дам де Пари!

От стен собора веяло каменным холодом. Под растворяющимися в выси сводами шла служба. У входов и внутри монахи бойко торговали крестиками, свечками, изображениями божьей матери. Зиночка и Додаков немного постояли, смиренно склонив головы. Потом она захотела подняться наверх. Винтовые каменные ступени в своем сумраке хранили, казалось, память о Квазимодо и Эсмеральде. Они поднялись на крышу собора, где была устроена смотровая площадка. С карниза меланхолично и надменно взирали на Париж химеры. Отсюда, сверху, весь город был голубым. Голубой была Сена, обтекавшая остров Ситэ, на котором находился собор. Голубыми были крыши домов и деревья, обрамлявшие набережные. Сена дымилась. Она не замерзла, лишь у берегов белели ледяные корки. Отсюда, сверху, превосходно просматривались линии Больших бульваров, лучи улиц, расходящиеся от площадей, и характерные купола Пантеона, соборов Сен Жермен де Пре и Сан Северин. Сену перехлестывали голубые мосты.

Зиночка куталась в шубку. Ей было тепло.

— А теперь куда?

— На бульвары!

Словно бы движение волшебной палочки — и вот уже они катят по бульварам. Виталий Павлович, как заправский гид, объясняет, заставляя ее смотреть то направо, то налево:

— В этом дворце проходят выставки «Салона», обязательно надо побывать... Обрати внимание, какой вид отсюда на купол Дома Инвалидов!.. А это, как ты уже, конечно, знаешь, Лувр. Кстати, он строился тем самым Генрихом IV, который сказал, что Париж стоит обедни, — прорывается у него намек, но Додаков тотчас переходит к другим достопримечательностям. — А этот дворец, Пале-Рояль, был построен для великого Ришелье. После смерти кардинала здесь жили принцы королевской крови.

— Это что-то из «Трех мушкетеров»? — догадывается Зиночка.

— Да, конечно, — соглашается он.

Единственное, что ее раздражает, — это Эйфелева башня. Зиночка невзлюбила ее в первый же день и все время старалась не замечать. Но ей кажется, что это фантастическое, жестокое суставчатое чудище неотступно следит за нею, вышагивает за нею, куда бы она ни

направлялась. Вот и сейчас у нее вызывают отвращение эти вульгарно расставленные ноги башни, а шпиль на маковке кажется вознесенным жалом, изготовленным для удара. В морозном воздухе он как раскаленная игла. Зиночка отворачивается.

Они проезжают мимо ювелирного магазина. Додаков читает вывеску и переводит:

— «Мишель Фонтене предлагает постоянный выбор изящных новостей: изделия из драгоценных металлов, бриллианты, жемчуга и изумруды».

И как бы между прочим предлагает:

— Воспользуемся приглашением? Заглянем? Зинаида Андреевна с удивлением смотрит на него. Приказчик распахивает дверь. Хозяин, сам Мишель

Фонтене, выставляет лоток с украшениями. Сокровища Али-Бабы!..

Раньше, гуляя по городу, она проходила мимо ювелирных магазинов быстро, чтобы не мучить себя недоступными соблазнами. И на дам, украшенных камнями, она могла смотреть лишь с бессильной завистью. Она вспомнила бал в посольстве, и свое унижение, и то, как хитро воспользовался им Гартинг. Нет, не она виновата, а они, эти подлые мужчины, — они привыкли и хотят покупать, потому что имеют кошельки и знают их неоспоримую силу. Ну, а раз так...

— Прелестное кольцо! — повела она мизинцем в сторону невероятного сооружения из золотых нитей и камней, распростершегося по черному бархату.

— *C'est fait pour vous, madame!*<sup>17</sup> — хозяин с готовностью придвинул зеркало. Она сбросила шубку. Виталий Павлович взял ожерелье двумя руками и приложил к ее шее.

— *Splendide!*<sup>18</sup> — восхищенно проговорил Фонтене, молитвенно закатывая глаза. Это не было лишь профессиональной уловкой, она сама видела: камни горят, передавая свое мерцание коже и превращая всю ее в некую королеву.

Додаков помедлил, подождал, пока она насытится своим отображением в зеркале, потом протянул кольцо хозяину, что-то сказал ему по-французски. Фонтене закивал. «Неужели мое?»

— У меня нет с собою столько наличными, завтра его доставят в отель, — небрежно проговорил Додаков. — Но чтобы не тяжело было ждать, какой из этих перстней тебе нравится?

Хозяин поставил перед нею еще один лоток. Глаза Зинаиды Андреевны разбежались:

— Вот этот. Нет, тот!.. Хотя вот этот красивей, пожалуй!

Она остановилась на тонком девичьем: на золотом листке алмаз — как капля росы.

— Не надо снимать.

Неужели была та ночь, те крики, мост и фонари с набережной?..

Потом они обедали в ресторане — играла музыка, все было необычайно вкусно. Виталий Павлович заказал шампанское. Она поднимала бокал, в хрустале пузырились жемчужные нити, на пальце рядом с жалким александритом сияло новое кольцо... Нет, то просто было ночным кошмаром!

Они снова ехали по городу. Лучшего дня в своей жизни Зиночка не могла и припомнить, хотя рядом сидел жердьяй, а позади все шагала и шагала ненавистная Эйфелева башня. Почему она не отстает? Зачем осыпает щедротами жердьяй? Что ж, она незлопамятна. Тем более что нет другого выхода. А ради таких вот дней она готова на все. Даже если он предложит ей руку, она согласится. А он-то, оказывается, богач!..

Она испытующе посмотрела на Виталия Павловича. Что-то произошло с Додаковым за эти дни, пока она его не видела: он стал еще суше, острее и холодней стали его глаза. И ей вдруг пришло на ум, что он, как Эйфелева башня, составлен из металлических перекладин, скрепленных болтами. Только поверх натянута кожа. «Стоят вилы, на вилах короб, на коробе

---

<sup>17</sup> Это специально для вас, мадам! (франц.)

<sup>18</sup> Очаровательно! (франц.)

махало, на махале зевало...» — пела в ней присказка, слышанная в детстве. Зиночка рассмеялась, и смех ее в морозном воздухе был звонок.

— Ты довольна?

— Вполне.

— Может быть, прокатиться нам куда-нибудь в пригород? В Булонский лес или в Венсенский?

Его голос звучал как-то напряженно. «Он хочет сделать мне предложение на лоне природы», — догадалась Зиночка.

— Охотно!

Теперь они ехали к площади Этуаль, и приближалась, все росла впереди Триумфальная арка. В пролет ее закатывалось солнце. Оно было ярким, красным, сулило мороз и на завтрашний день.

Они ехали быстро. Но все равно путь был дальним. Под сводами леса их застали уже легкие сумерки. Окрестные Парижу леса-парки — любимые места прогулок горожан и в праздники, и в будни. Но неожиданные холода изгнали их отсюда к каминам и газовым печкам. И сейчас лес был пустынен, тих, только потрескивали в кронах сучья.

Зиночка спрыгнула с коляски. Сапожки ее по голенища погрузились в жухлую листву. Странная зима: с морозом, но без снега...

Додаков что-то весело сказал кучеру, спрятал портмоне, тоже спрыгнул и предложил ей руку:

— Куда направимся?

— Да хоть туда... Или туда. Все равно. Как здесь хорошо!

— Да.

Она глубоко вздохнула. Воздух пьянил и грел ее. Они пошли по аллее-просеке в сторону от дороги. Тропка полого спускалась с холма.

— Может быть, к той беседке? — предложил Виталий Павлович.

«В беседке... По всем правилам... — она усмехнулась про себя: — Извольте, сударь».

Внизу, как фарфоровое блюдо, голубело озеро.

— Побежали? — молодо крикнул он. — Кто быстрее? Даю фору десять шагов!

— Побежали!

Она рванулась вперед, поддерживая обеими руками юбки. Она была молода и сильна, и ноги быстро несли ее. Пусть знает, что не так-то просто ее поймать!..

Беседка, которая, казалось, стояла на берегу, в действительности была сооружена на острове, в нескольких саженях от берега.

Додаков бежал позади, настигал.

— Здесь озеро! — огорченно крикнула Зиночка.

— Не бойся, лед выдержит! — отозвался сзади он.

Лед был гладкий и блестящий, как только что залитый каток. О, как любила она в Питере кататься на коньках; как любила звон стремительных лезвий, игру огней, музыку, разгоряченные морозом лица; особенно на рождественские праздники, когда обряжены елки и полны народом катки на застывших озерах в Таврическом саду, на Крестовском, на Неве и Невках!.. Вот бы сейчас коньки!..

Она спрыгнула с невысокого берега на лед и побежала, удерживая равновесие, чтобы не оскользнуться, к беседке. Лед был под ногами темным, непривычно пружинил и потрескивал. Но впереди он надежно белел матовой толщиной. До беседки оставалось несколько шагов. Зиночка уверенно ступила в белизну и вдруг почувствовала, что стремительно уходит вниз. И когда лицо обожгло, поняла — в воду!

Она рванулась. Одежды, разом пропитавшиеся, тянули ее. Но она была сильна. Она вырвалась из проруби, охватила руками ее край. Лед под пальцами ломался. Он был тонкий и острый, как стекло. Она уже хлебнула ледяной воды и не могла передохнуть, не могла закричать, хотя ужас криком рвался из всего ее существа. Она обернулась к берегу и прошептала, хотя ей казалось, что она кричит на весь лес, на весь мир:

— Виталий Павл... Виталий!

Он стоял на берегу у самой кромки, вытянувшись, как сгоревшее дерево.

— Виталий!..

Голос ее прервался.

— Сейчас... Сейчас... — мучительно медленно говорил он, не шевелясь.

Она пыталась выбраться на лед. Тонкий наст подламывался и крошился, ее пальцы были изрезаны, кровоточили и уже немели.

— Виталий! — в ужасе хрипела она.

А он стоял на берегу и все шептал:

— Сейчас... Сейчас...

Она разжала онемевшие пальцы и в то же мгновение ушла под воду. Вырвалась вновь. Волосы ее черным шлемом были облеплены вокруг синюющего лица, а глаза, огромные, как чаши, полны ужаса. Борясь за свою жизнь, за спасение, она уже ничего не видела, ничего не понимала, ее разрывал страх, черная пучина тянула ее. И когда она снова повернулась лицом к берегу, она уже не узнала Додакова. Ей почудилось, что это встала на берегу ненавистная Эйфелева башня. Зиночка навалилась на кромку.

Лед обломился. И с этим обломком она ушла на дно, в последний миг почувствовав, как от огненной тяжести лопается ее сердце.

— Сейчас... Сейчас... — все еще шептал Додаков, хотя черная вода уже сомкнулась и разошлись последние круги, прибившие к рваному краю проруби шляпку с намокшей меховой опушкой.

— Сейчас...

Потом он разжал кулаки, стиснутые с такой силой, что ногти через перчатку до синяков вдавились в ладони, оглянулся и, осторожно ступив на лед, сделал несколько шагов к полынье. Потом, удерживая равновесие, пробил лунку одним ботинком, сделал еще шаг — пробил другим, опустился на лед, немного прополз по пороше — и вернулся назад, на берег.

Он проделал все эти манипуляции методично и расчетливо, как подготовленный заранее урок. И так же расчетливо проверил, надежно ли укрыта пешня, оставленная им здесь еще со вчерашнего вечера.

Он делал все заученно и точно, но с каждым движением будто что-то вымерзло в нем. И эта внутренняя стужа вымораживала и боль, и любовь, и жалость к Зиночке и к самому себе, все чувства, свойственные живому человеку, даже страдание и ненависть. И он, убивший собственными руками то единственное, чем действительно дорожил, превращался в металлическую конструкцию, в механизм, годный для какого угодно применения. Он шел, все яснее видя под ногами дорогу, шел знакомым путем, все тверже ставил ноги, и в сожженном его мозгу в такт шагам звучало одно и то же слово: «Сейчас... Сейчас...»

Утром Додаков был первым посетителем в консульском отделе.

— Прошу отметить паспорта. Компания срочно отзывает меня в Россию.

— Отчего же так быстро? — дружелюбно осведомился вице-консул. — Успешно было ваше пребывание в Париже?

— Да. Весьма.

— Желаю доброго пути, господин Бочкарев. Мои самые искренние приветы вашей очаровательной секретарше.

Даже и эти слова не ранили его. Но, глядя в светлые глаза Гартинга, он подумал: «Погоди, ты отплатишь мне за все».

И вышел, будто не заметив протянутой ему для прощанья руки.

## **ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. СИГНАЛЫ НА ВЫШКЕ**

## ГЛАВА 12

Заведующий заграничной агентурой заблуждался, когда предположил, что упоминание о русской политической полиции в связи с делом Валлаха — результат лишь болтливости завистливого филера Леруа. И ошибся, решив, что назавтра газеты уже забудут о русском революционере. И непростительно доверился мнению высоких французских чинов, выразивших готовность действовать в интересах России. Иными словами, он не учел самого главного: решимости большевиков, опирающихся на поддержку социалистических кругов Франции и других западных стран, дать бой реакционным силам, чтобы спасти от расправы своих товарищей по партии.

Уже через день после происшествия на вокзале Норд Ростовцев сообщил Гартингу: по поручению Ленина адвокатом для защиты Валлаха и Ямпольской приглашен один из крупнейших парижских юристов, депутат парламента от социалистической партии Вильмс.

В самом парламенте лидер социалистов Жан Жорес выступил с гневной речью против премьера Клемансо, а газета «Юманите» обрушила на министра юстиции Бриана и весь кабинет залп язвительных запросов: по какому праву был произведен арест двух русских революционеров-эмигрантов?

Другая левая газета — «Ла петит Републик», — риторически спрашивая:

«По каким причинам продолжается следствие и держат под замком двух обвиняемых? Не является ли это результатом требования экстрадиции, исходящего от русского правительства?» — сама же и отвечала: «Речь идет о чисто политическом выступлении. Французское правосудие и полиция не будут содействовать усилиям тайной полиции, которую Россия содержит в Париже для преследования политических эмигрантов, приехавших во Францию в поисках убежища».

Читая все это, Гартинг испытывал чувство замешательства: чем объяснить, что традиционно столь лояльные к России французы теперь ополчились на русское посольство, объединились для защиты этих никому раньше не ведомых злоумышленников — и в их хоре тонут голоса двух-трех газет, поддерживающих действия правительства (и, кстати, регулярно получающих из Санкт-Петербурга негласные субсидии)?

Едва различимые трещинки-паутинки в монолите возведенного им здания стремительно разрастались, превращаясь в бреши, способные все разрушить. Но Гартинг еще верил, что в этой политической игре в его руках остались крупные козыри, что если «рельефно очертить» факты, если поднажать всей имперской мощью, если увеличить ставки подкупа, то шансы на успех есть.

А в это же самое время в других кабинетах Парижа, в министерствах и в кабинете самого Клемансо расчетливо взвешивали все «за» и «против». Собственно, никаких «за» не было, только «против»: если выдать революционеров России, разразится буря возмущения во Франции; если освободить — расшвыряет двуглавый орел... Дьявол их побери, этих иностранных резидентов! Вечно втравливают они французские власти в пакостные истории, из которых не выпутаешься! Нет ли какого-нибудь третьего варианта, чтобы можно было и невинность соблюсти, и политический капитал не растрести?..

Взбешенный Аркадий Михайлович через час диктовал шифровальщику прямо на ленту:

«По политическим соображениям секретно решено освободить и выслать Валлаха и Ямпольскую из Франции до получения требования экстрадиции. Высылка Англию состоится ночью... Посол предупрежден лишь мною».

Тотчас из Петербурга отстучали:

«Благоволите задержать освобождение. Судебные требования о выдаче предъявляются».

«Задержать невозможно. Решение принято».

«Сообщите, кем решено и чем объясняется. Директор...»

Гартинг в изнеможении опустился на стул. Чем объясняется? Тем, что здесь социалисты разгуливают на воле и даже заседают в парламенте, что после расстрела 9 января пятого года и подавления революционных волнений, сотрясавших минувшие годы Россию, эти французы-республиканцы ненавидят самодержавие и самого российского императора. «Сообщите!..»

Аркадий Михайлович проходит в кабинет, бросается в кресло. Столько усилий, столько нервов, столько мечтаний! И вдруг — крах!..

Но через некоторое время он успокаивается. Нет, еще рано предаваться отчаянию. Не крах, а неудача. Большая неудача, но отнюдь не по его вине. В таком роде и нужно обрисовать ситуацию.

И Гартинг приступает к составлению депеши.

В дверь кабинета постучали.

— Войдите.

Делопроизводитель проскользнул в комнату и бесшумно положил на зеленое сукно бланк только что поступившей и расшифрованной телеграммы из Петербурга:

«Провожайте Валлаха наблюдением Лондон и дальше, давая знать о его пути департаменту для задержания...»

Аркадий Михайлович горько усмехнулся: они еще надеются! Напрасно. И на сей раз этот неуловимый Валлах ускользнул. Преследовать его бессмысленно. Гартинг с сожалением посмотрел на лист бумаги с водяными знаками, на котором он поспешил поставить жирные кресты у фамилий Валлаха и Ямпольской.

Нет, лучше он сам завтра же утром выедет в Мюнхен, а оттуда в Берлин. Он не пощадит сил, он не остановится ни перед какими расходами, лишь бы Россия могла заполучить хотя бы головы Ольги, Ходжамиряна, Богдасаряна и других большевиков, попавших в его сети.

Еще не все потеряно. Игра продолжается!

Минин обходит комнаты библиотеки, убирает со столов подшивки газет, книги, раскладывает, расставляет их на свои места на стеллажах. Сгребает обрывки бумаги, оставленные посетителями.

После возвращения в Женеву часто бывает в библиотеке Владимир Ильич. Минин знает: сейчас Ленин более всего озабочен возобновлением выпуска газеты «Пролетарий». Издававшаяся до осени пятого года здесь, газета затем выходила в Финляндии. Но недавно работу там пришлось свернуть — охранка напала на след редакции. Сейчас налаживать выпуск газеты Владимиру Ильичу помогает и Николай Семашко, тоже лишь совсем недавно вырвавшийся из России, ускользнувший из-под самого носа у жандармов.

К огорчению Минина, Владимир Ильич лишь урывками занимается в библиотеке. Как и прежде, у него свой ключ и свой стол не в общей комнате, а в стесненном шкафами помещении архива. Вот здесь... Ольга и этот влюбленный в нее студент из Парижа,

Владимиров, совещались в этой комнате с неугомонным Феликсом. А потом Ольга уехала...

Минин задерживается в архиве. Устало разбирает вечернюю почту. Срывает обертки с бандеролей... Ему не хочется идти на другую половину, в комнату, где он живет. В пустую и выхоложенную. На душе его тоскливо.

Ольга возвратилась из России буквально за несколько дней до приезда Ильича. Два года! Два года безвестности, опасений, тревог, два года тоски, доходящей до отчаяния. В тысячу раз легче ему было бы там, в подполье или на баррикадах, чем в этой опостылевшей Женеве. Но партия оставила его здесь — оберегать документы ЦК, и он не мог отказаться от поручения. Ольга приехала возбужденная: «Разгром. Страшный разгром. Но мы еще поборемся!..» Как он устал без нее, истосковался по ней!.. За эти годы она словно бы помолодела, стала еще красивее.

Когда появился Феликс, Минин понял: что-то готовится!

А позавчера Ольга собрала дорожный саквояж. Прощаясь, сказала:

— Все будет хорошо.

— Конечно, — ответил он.

Парижские газеты приходят в Женеву с опозданием на сутки. «Юманите», «Ла петит Репюблик», «Л'Эклер» за 19-е он получил только вчера вечером. Но еще раньше прибежал в библиотеку товарищ-большевик:

— Слышал? В Париже арестован Папаша!

«Боже мой, Ольга!» — похолодел он.

Сегодня в библиотеку снова пришел Ильич. Он сказал, что не надо нервничать. Будет сделано все, чтобы спасти Максима Максимовича него помощницу. Для этого партия не пожалеет ни сил, ни последнего франка. Он верит, что французские товарищи-социалисты помогут.

Минин не решился спросить его. Но Ленин почувствовал, как он встревожен, сказал сам: «Надо надеяться, что с ней будет все хорошо. Вот же ездили в Рим — и комар носа не подточил...»

Он немного успокоился.

Ильич занимался в библиотеке допоздна. Ушел, как обычно, последним, попросив к завтрашнему дню подобрать книги, журналы и газеты вот по этому списку.

Ленин ушел, и снова охватила тоска.

Он опять развернул «Юманите». На странице — крупный заголовок: «Арест русских революционеров».

Во входную дверь постучали.

«Вернулась!»

Нет, не она. У нее свой ключ. Кого еще несет?

— Откройте, экспресс-почта!

Бывает: когда срочный пакет, приносят и так поздно.

Минин открыл дверь, В проеме трое мужчин. Оттесняя его, решительно входят в переднюю. Один протягивает бланк с изображением обрамленного лавровой ветвью щита — герба Женевы и типографски отпечатанным текстом:

«Департамент юстиции и полиции кантона Женева. Ордер на арест...»

Нетерпеливо ждет, пока заведующий библиотекой дочитает до конца, а потом ловко, профессионально защелкивает на его запястьях наручники. И ведет следом за другими мужчинами, уже вошедшими в комнату:

— Нам необходимо произвести обыск, мсье.

Увидев тесно заставленные книгами стеллажи, один из полицейских присвистывает:

— Тут не управиться и за год!

— Это не мое имущество, господа, — по-французски говорит Минин. — Это общественная читальня и библиотека русской колонии. Производить обыск здесь вы не

имеете права. Арестован я, а не библиотека. Моя комната — там.

Женевские полицейские — строгие блюстители закона. Их отнюдь не прельщает перспектива перетряхивать бесчисленные книги и журналы.

Минина точит мысль: как дать знать товарищам, что он арестован? И как бы узнать, в чем причина его ареста? И что с Ольгой?..

Он не знает, что Ольга уже схвачена в Мюнхене и брошена в тюрьму. И что в эти же минуты мучается безвестностью тоже арестованный Николай Семашко.

Гартинг приехал в Мюнхен. Нет, он костыми ляжет, но этих остальных из списка с крестами не выпустит! Поставлены на кон и его самолюбие, и престиж Российской империи, если уж на то пошло!

Он уверен, нет, теперь он может только надеяться, что в Германии достигнуть цели ему будет проще, чем в этой взбалмошной Франции — стране республиканцев и социалистов. Хвала господу, в Германии тоже империя, да и Николай II и Вильгельм — родственники. К тому же по опыту своей работы в берлинском филиале Аркадий Михайлович помнит: у имперской полиции хватка железная, никаких сантиментов.

Но ни минуты самоуспокоенности, никаких воздушных замков: действовать! И тотчас по приезде в Мюнхен он спешит в полицей-президиум, к советнику фон Крузе — давнему знакомцу, в прошлом тоже агенту, а ныне — магистру юриспруденции, руководителю тюремного ведомства.

— Ну и штучка, эта ваша русская! — от тучного фон Крузе даже поутру разит, как из пивной бочки. — Не успели водворить, как тут же заявляется петушок, то ли жених, то ли брат. Мы не деспоты. Мы, немцы, знаете ли, сентиментальны: женщина все-таки. А она, чертовка, на свидании записочку ему!..

— На свидании? — изумленно восклицает Гартинг. — Вы позволили свидание? До начала следствия?

— Позволили, позволили, — сокрушается фон Крузе. — Да записочку-то перехватили! А в ней: адресок в Женеву и, мол, так-то и так-то, примите меры. Мы и приняли: сообщили в Берн, в федеральную полицию Швейцарии.

— А этого... жениха-братца? Кстати, никакого брата у нее от роду не было, а в Женеве — муж, такой же революционер и социалист, как она, — Аркадий Михайлович с трудом скрывает раздражение. — Где этот «жених»?

— Отпустили. Да, да! Ну, он-то никакого касательства, и паспорт в порядке, не фальшивый, уже мы-то проверили.

— Не ожидал, не ожидал, герр фон Крузе. — Гартинг с издевкой делает ударение на «фон». — Как хоть звали его?

— Все в протоколе, милейший, — советник ворошит бумаги. — Вот, Путко Антон Владимиров, паспорт за номером 7129, выданный канцелярией Санкт-Петербургского генерал-губернатора 12 июля 1907 года. Ваши и выдавали, любезнейший!..

«Эти олухи в Петербурге! — думает про себя Гартинг. — Что еще за Путко? Надо разобраться. Но сейчас прежде всего Кузьмина и эти двое студентов».

— Герр советник, прошу вашего разрешения на осмотр личных вещей... — Аркадию Михайловичу приходит в голову заслуживающая осуществления идея, — ...и на свидание с арестованной.

— Никаких возражений, никаких возражений! — добродушно, так что сонные пьяные глазки тонут в подушках щек, улыбается фон Крузе. — Никаких возражений, герр Гартинг!..

В тюремном цейхгаузе при подслеповатом свете лампы Гартинг перебирает вещи Ольги. Там, в камере, она в холщовой рубашке, в парусиновом белье. Здесь Аркадий Михайлович вытряхивает на стол из брезентового нумерованного мешка ее кружевное белье, высокие ботинки на шнуровке, платье. От шелковых тканей, от кружев — легкий запах духов. Аркадия Михайловича подташнивает. «А кому я могу доверить?» — успокаивает он



себя.

Он прощупывает сухими пальцами каждый шов, каждую складку, подпарывает подкладку, отдирает стельку в ботинках, простукивает каблук. «Ничего... Ну что ж, испробуем и это средство».

От койки — два настороженных огромных глаза.

«Светятся, как у кошки... — усмехается про себя Аркадий Михайлович. — Молода и недурна... Впрочем, это можно было ожидать и по белью».

На чистейшем берлинском диалекте представляется:

— Инспектор полиции-президиума... — фамилию он произносит неразборчиво. — Ваши жалобы, пожелания?

Он выслушивает ее жалобы, вбирает в себя дрожь ее голоса. Обещает: адвокату свидание разрешат, бумагу и книги дадут, прогулки предоставят. Потом, после долгой паузы, спрашивает:

— А вы... вы реально представляете себе свое положение? Все последующее? Через неделю, максимум — через месяц вас, согласно договору об экстрадиции, непременно выдают России — и тогда...

Он видит, как она вбирает голову в плечи.

— И тогда...

Он видит, как ужас расширяет и без того огромные ее глаза.

— И мы ничем не сможем помочь: никаких смягчающих обстоятельств. Через неделю. Максимум через месяц.

Она повержена, раздавлена. Она вся — комок отчаяния.

— Единственная, последняя возможность...

В глазах ее — всплеск надежды.

— Минувшие события показали всю бессмысленность вашей самоотверженности и ваших жертв. Представьте: мышь-полевка — и орел, видели вы когда-нибудь в открытой степи?... Поверьте, я от чистого сердца...

Она вся обращена в слух — даже распрямилась, даже напряглась шея. «Когда-то, на заре юности, и меня вот так...» — с сожалением думает он. То ли с сожалением о безвозвратно ушедших годах, то ли перед будущим, которое уготовил он ей.

— Но пока еще не поздно, последний шанс: чистосердечное признание — и самая незначительная, необременительная помощь в дальнейшем. С единственной благородной целью — отвлечь от подобного ужаса ваших друзей.

Аркадий Михайлович обводит глазами камеру и снова возвращается взглядом к ней.

Но что это? Перед ним на тюремной койке сидит совсем другая женщина: с высокомерно вскинутой головой, с сузившимися глазами.

— Мышь-полевка в открытой степи? — на чистейшем русском говорит она. — Банально. Слыхивали. Уже изволили прибыть, господин-не-знаю-как-называть?..

Она встает, отходит к окну. Свет контуром очерчивает ее фигуру, стройную и тонкую даже в бесформенной тюремной рубашке.

— Постыдитесь своих седин. И не тратьте понапрасну времени. Я вас не задерживаю.

«Немедленно высылайте требование судебного следователя о привлечении к ответственности Кузьминой, известной большевички, а также Богдасаряна, Ходжамиряна. Необходимо указать, что они привлекаются вследствие соучастия в преступлении, соединенном с многочисленными убийствами, помощи участникам, укрывательстве денег. Здесь полагают, что они будут нам выданы...»

Максимилиан Иванович накладывает на телеграмму резолюцию:

«Необходимо, чтобы документы поступили в Мюнхен не позднее 25 января».

Новая телеграмма от Гартинга:

«В пятницу истекает срок предварительного заключения, предусмотренный конвенцией с Баварией».

Директор департамента тоже начинает нервничать. Он ставит в известность Петра Аркадьевича. Конечно, все было бы куда проще, если бы само министерство внутренних дел могло фабриковать документы. Но оно вынуждено запрашивать министерство юстиции, а то, в свою очередь, пересылать требования через министерство иностранных дел. Сколько бумаг, сколько лишних слов!

Министр иностранных дел гофмейстер Извольский уведомляет:

«Требование о выдаче русских подданных... направлено министерством юстиции 20-го числа сего месяца в МИД вместе с постановлением судебного следователя об аресте вышеуказанных лиц. Указанная переписка поступила в МИД сего числа и сего же числа направляется почтою в Мюнхен. По расчету МИД, постановление судебного следователя должно прибыть в Мюнхен своевременно».

Директор тут же сообщает Гартингу:

«Требование выдаче послано Мюнхен понедельник».

В запасе четыре дня. Документы должны поспеть.

Но у Аркадия Михайловича нет больше возможности задерживаться в Баварии: в Мюнхен ему переслано из Парижа срочное сообщение, исходящее от швейцарских властей. В нем говорится, что в Женеве задержаны некие Минин и Семашко. Поводом к аресту послужила перехваченная немцами записка Кузьминой.

Богатая добыча! Досье Минина Аркадием Михайловичем изучено досконально. Прекрасно известна ему и личность Николая Александровича Семашко — руководителя вооруженных выступлений пятого года в Нижнем Новгороде и Сормове, одного из старейших членов РСДРП, наиболее близких к Ульянову-Ленину.

Надо спешить в Швейцарию.

Приехав в Женеву, Гартинг в тот же день связывается с Петербургом:

«Поспешаю уведомить вас, милостивый государь, что предварительное задержание Минина, арестованного в Швейцарии, может быть продолжено лишь в том случае, если в течение трех недель со дня задержания швейцарским властям будет сообщено постановление наших подлежащих властей о взятии его под стражу».

И снова закрутилось колесо: из департамента — министру внутренних дел, от него — в министерство юстиции, из министерства юстиции — в Тифлис, по месту следствия...

Казалось бы, здесь не должно произойти осечки. Но Аркадий Михайлович учитывает разницу между Германией и Швейцарией. Там, в Мюнхене, удовлетворятся самим требованием о выдаче. Здесь, в кичащейся своей демократичностью и самостоятельностью Женеве, могут и порыться в документах: «А обоснованны ли требования, а безукоризненны ли улики, а уголовные ли это преступники, не политические ли?» Упаси господь, если и здесь возобладает мнение, что политические! Женева с давних пор — Мекка политических эмигрантов, они чувствуют себя здесь вольготнее, чем даже в республиканском Париже.

Все же и сугубо щепетильные женевские полицейские власти допускают заведующего российской заграничной агентурой к обследованию вещей и документов, обнаруженных у Минина и Семашко. Но как усердно ни ворошит бумаги Аркадий Михайлович, как ни старается уловить нечто между строк, как ни прощупывает подкладки их бумажников,

ничего нужного ему обнаружить не может. И в шифровке на Фонтанку он вынужден признать:

«Осмотр мною их бумаг в Женеве ничего интересного не обнаружил, очевидно, очищены заранее. Швейцарские власти будут вынуждены их освободить, если в департаменте нет против них других данных сего дела».

Неужели не смогут что-нибудь там сочинить? Поубедительнее, пострашнее? Он тут один мается, а на Фонтанке — целый аппарат, тысячи чиновников, свои и фальшиводокументщики, и фальшивомонетчики, и лжесвидетели, и кого только нет еще!..

Что бы предпринять?.. Прямых улик против Семашко и Минина нет. А косвенные? Скажем, если убедительно доказать, что они совсем не революционеры, не политэмигранты? Если они не политические, кто же они? Зачем тогда тайно покинули пределы своей страны?..

Нудно тянется время в тюрьме. Но, в общем-то, если бы не грязь, не вонь, не тошнотворная баланда вместо супа, а более остального — не соседи по камере, наглые уголовники, беспрестанно грызущиеся и затевающие драки, жить можно было бы. Угнетает безвестность. Что там, как там, неужели отправят в зарешеченном вагоне в Россию?.. Допрашивали один только раз, больше не вызывают. Вскоре после ареста, на прогулке, Минин увидел Николая. Показать, что узнал, или равнодушно пройти мимо? Скрывать бессмысленно. Любому известно, что оба они — члены фракции большевиков.

Звоном наручников поприветствовали друг друга (на прогулку надевали наручники только им — «от этих русских всего можно ожидать!»). Перекинулись словами. Семашко в полнейшем недоумении:

— За что арестовали? За «политику» в России? За это в Женеве вроде бы не должны. А швейцарские законы я не нарушал!..

И Минин тоже не нарушал. Но тем горше ему. Догадывается: что-то стряслось с Ольгой.

Однажды во время очередной прогулки Николай шепнул: в продовольственной передаче «с воли» прислали записку. Сообщают, что Ильич занялся их делом:

— Пишут: «Не робей!»

Через некоторое время такую же записку получил в передаче и заведующий библиотекой. Конечно, Владимир Ильич предпримет все возможное, чтобы их вызволить. И, как бы оно ни было, хорошо уже то, что самого Ильича не тронули.

Тянулись дни, наполненные тоской по работе, по товарищам и партийному делу. И все растущей тревогой за судьбу Ольги.

В послеобеденный «мертвый час» заскрежетал замок, лязгнул засов, взвизгнула на несмазанных петлях окованная листовым железом дверь.

— Русский, с вещами на выход!

«Все... — сжалось сердце. — Выдали Петербургу...»

Минин неторопливо собрал в узелок нехитрый свой скарб. Соседи-уголовники проводили его равнодушными взглядами.

В сумрачной канцелярии тюрьмы он увидел и Николая Семашко — тоже с узелком в руках. Товарищи переглянулись. «А как же библиотека? — подумал Минин. — Ничего, управятся... — И еще подумал: — Прощай, Оля...»

Чиновник департамента юстиции кантона Женевы, сухопарый, официальный, в черном смокинге, белоснежной сорочке и черном галстуке, легким кашлем прочистил горло и, поглядев на увенчанный гербом — щитом, обрамленным лавровой ветвью, — лист, не без торжественности в голосе изрек:

— Мсье, за отсутствием улик и недоказанностью обвинения, а также за истечением срока предварительного заключения, предусмотренного статьей 10-й швейцарско-русской экстрадиционной конвенции 1873 года, следственное дело в отношении вас прекращено и вы от ареста освобождены с правом предъявления иска за понесенные убытки к правительству

Российской империи.

Гартинг вернулся в Париж.

Им овладела апатия, тяжелая, гнетущая. Равнодушно проходил он по утрам через канцелярию в свой кабинет, и сам этот кабинет, поблескивающий бронзой канделябров, стал для него постылым.

«Я сделал все, что мог, кто может больше — пусть сделает больше», — повторял про себя Аркадий Михайлович, однако и в самом этом изречении, он понимал, древние римляне затаили признание в поражении. И кто нанес это поражение — нет, не только лично ему, а всей представляемой им могучей и грозной империи! Какая-то горстка беглых революционеров! Окажись они в пределах России, одного движения мизинца Столыпина было бы достаточно, чтобы превратились они в прах, в безымянный могильный холм где-нибудь в таежной глухомани. А здесь, в Европе...

Его состояние было таким мрачным, что новый удар — известие из Женевы об освобождении Минина и Семашко — уже почти не подействовал. Заведующий ЗАГ лишь снова достал из сейфа тисненую папку, положил перед собой на зеленое сукно белый лист с водяными знаками и замарал жирные кресты еще против двух фамилий.

Итак, возведенное им стройное здание рассыпается, как карточный домик... Совсем неясны дела и в Стокгольме с лифляндцем Яном Мастером. Осталась надежда только на Германию, где в Берлине, в тюрьме Моабит находится Камо-Мирский, в тюрьме Зульцбаха — те два студента-армянина, сотрудники большевистского журнала «Радуга», и в крепости Амберга — Ольга Кузьмина. Но и эти четверо все еще не в России, не в руках департамента. А как эта Кузьмина посмотрела тогда, в камере: царица!.. «Я вас не задерживаю...» Это она-то, арестантка! «Постыдитесь своих седин!» А он в ее белье... Воспоминание об этом было особенно ненавистно.

Но даже если свести всю операцию к исходному, к злополучным банкнотам тифлиского «экса», и тут получается... Гартинг занялся арифметикой. Тут же, на листе, рядом с фамилиями, он начал столбиком вписывать цифры. Четыре билета взяты у Ростовцева (и, кстати, полностью оплачены большевикам), двенадцать — у Валлаха, один — у Кузьминой, семнадцать — у Богдасаряна и Ходжимиряна, пять — у Яна Мастера. Итого: 39 билетов из двухсот, иными словами, у большевиков осталось 80 500 рублей! Даже пачку, которая хранилась у Ростовцева, он вынужден был, чтобы не провалить агента, отдать. Фиаско! Полнейшее фиаско! Уж не посмеиваются ли над ним сотрудники посольства? Не готовят ли расправу на Фонтанке?

Нет. В посольстве очень немногие были осведомлены об участии вице-консула в сенсационных событиях последнего времени. И из Петербурга вскоре пришел объемистый пакет с золотыми и серебряными медалями, с золотыми часами, украшенными бриллиантовым орлом и без орла — для награждения чинов и агентов французской полиции, оказавших услуги интересам России. А следом — и распоряжение директора о том, что заведующий ЗАГ может выплатить сотруднику Ростовцеву, в целях поощрения на дальнейшее, две тысячи рублей наградных. И сам Гартинг получил милостивое уведомление, что ему досрочно присвоено звание действительного статского советника. Что ж, хоть ни нового ордена, ни новой должности, но и на том спасибо. Значит, продолжают ценить его в Петербурге; значит, понимают, что вряд ли кто иной сделал бы на его месте больше.

А что касается самой истории, то из нее надобно сделать необходимые выводы, чтобы в будущем опять не оказаться в таком же дурацком положении. Ни минуты самоуспокоенности, ни на йоту благодушия, никакого уныния и растерянности. За работу!

Снова мил Аркадию Михайловичу белый свет. Не жалеет он времени и рвения на работе, заново проверяет и отлаживает весь вверенный ему механизм. Филера Леруа, на которого все-таки пало подозрение (дыма без огня не бывает!), отправляет подальше из Парижа, в Сербию, и тем же часом заготавливает приказ об отчислении его со службы с выплатой всех причитающихся пособий. Ходатайствует перед департаментом о

значительном усилении женевского филиала:

«Поступающие данные о деятельности русской эмиграции свидетельствуют, что наиболее активные ее силы сосредоточиваются в Швейцарии и преимущественно в Женеве, и в сих видах представляется своевременным, принять меры к обеспечению вполне правильного и всестороннего освещения деятельности означенных революционных центров, причем для достижения этих целей необходимо усилить действующий во вверенном моему наблюдению районе агентурный состав».

А новое сообщение из Петербурга, поступившее на авеню Гренель, возвращает надежды, что начатое им дело отнюдь еще не закончено:

«9/22 марта 1908 года на территории великого княжества Финляндского, в местности Куоккала, Выборгской губернии, арестован член Центрального Комитета РСДРП Красин Леонид Борисов. Немедленно представьте имеющиеся материалы причастности Красина к вооруженным действиям для революционных целей...»

## ГЛАВА 13

Итак, снова тюрьма. Какой уже раз? Четвертый, если не считать московского казуса. Не многовато ли?..

Красин мерил шагами комнату по диагонали. Как все-таки удивительно устроен человек, как легко он приспосабливается к обстоятельствам. Там, за красно-кирпичной стеной, он досадует, если нет под рукой папирос, озабочен, не смята ли складка на брюках, да какая на дворе погода, да не забыть бы о том-то и о том-то. Он любит строгий порядок на рабочем столе и непременно высокие потолки, низкие его гнетут. Отгородила от прежнего мира стена, и оказывается, что он вполне может удовлетворяться оловянной кружкой и сальной миской, крепко спать на соломенном матрасе под грубошерстным, пахнущим карболкой одеялом. И этих шести шагов от угла до угла и обратно ему вполне достаточно, чтобы мысли текли в привычном русле.

Итак, четвертый, и, если не произойдет чуда, последний... Может статься, что и московский арест был не случайностью и вписывался в неведомую для него закономерность. Как бы там ни было, но время еще есть: пока выдадут, пока суд. Впрочем, какой нынче суд! Как тех товарищей с Васильевского... Благо еще, что арестовали в Финляндии, а не схватили в Питере или в первопрестольной: дело с участниками Хаапальской лаборатории финны все еще тянут, товарищи все еще не выданы охранке. О себе ладно, о себе он еще успеет и подумать и пожалеть. Но что же случилось там: в Париже, Мюнхене, Женеве?

Уже из Лондона Феликс прислал «химическое» письмо. Рассказал обо всех обстоятельствах своего ареста на вокзале Норд. Он предполагает, что не обошлось без провокатора. Пусть бы выследили и схватили его одного. Но почему арестованы и Ольга и другие? Допущена ошибка? В чем?.. Неверен был сам план? Но ведь товарищ благополучно обменял билеты в Риме. Откуда же охранке все стало известно буквально через два дня после операции в Италии и до отъезда Феликса?.. Непонятно... Непонятно... Хорошо еще, что все так благополучно кончилось для него и Ямпольской, для Минина и Семашко. Но над Ольгой, двумя студентами, над парнем из Стокгольма, над Камо висит занесенный меч. И чутье конспиратора подсказывает: кто-то рядом, среди них, кто-то жандармская «подметка». Кто? Провокация — самое гнусное, самое страшное зло. Кто-то, кому веришь как самому

себе, кого считаешь другом и братом... Кто?.. Феликс перебрал в уме всех, с кем довелось встречаться при подготовке обмена, и никого не решился заподозрить: у каждого в биографию вплетены десятки рискованных дел, умело осуществленных опасных революционных заданий. Красин мысленно, будто лучами Рентгена, тоже попытался высветить каждого. И ни в ком не обнаружил темных злокачественных пятен.

Как бы там ни было, но товарищи из социалистических партий Европы оказались на высоте: вот подлинная солидарность! Как дружно обрушились они на свои правительства — что во Франции, что в Швейцарии! Это вселяет веру в будущую победу. Ради этого стоило жить, ради этого стоило драться... даже если... Он отогнал от себя эту мысль.

...Они заявили девятого марта, в воскресенье, ранним утром, что-то около семи. Затарабанили в дверь. Он сразу узнал характерный стук. Вскочил, выглянул в окно. Увидел, что дача окружена констеблями. Спальня на втором этаже. Ясно — не уйдешь. Будут стрелять. А здесь Люба и в соседней комнате дети. Он разбудил Любу. Сказал: «За мной пришли». Она спросонья не поняла. Потом испугалась, охватила его за шею. «Не надо, Любаша! В доме у нас ничего нет. А деньги... Какие бы деньги констебли у тебя ни нашли, говори, что это твои, поняла?..»

Внизу горничная уже отворила входную дверь, уже слышались требовательные голоса. Леонид Борисович быстро оделся. Спустился. Финские полицейские, увидев его на лесенке, впилась глазами в руки, отпрянули. «Думают, у меня в каждой руке по «смит-вессону»...»

Навстречу ему выступил териокский ленсман — Красин знал его в лицо:

— Антекси, герре, извините, господин: вот предписание на обыск и арест всех обнаруженных на даче.

— Кем предписано?

— Герре выборгским губернатором бароном фон Троиль, — отчеканил ленсман.

— Олкаа хювя... пожалуйста. Не могу перечить.

Он увидел стоящего в стороне высокого сухопарого мужчину в штатском пальто с бобровым воротником. Из-под меховой шапки нелепо торчали в стороны хрящеватые уши. Мужчина внимательно, с нескрываемым интересом разглядывал его. «Этот — главный», — решил Красин.

Когда обыск был закончен и ленсман составлял протокол, в котором значилось, что у арестованного найден «кошелек, содержащий деньги на сумму 344 руб. 5 коп., а также расписку петербургской конторы Императорского банка о приеме в залог ценных бумаг на 8500 рублей за номером 15507 на имя домашней учительницы Анны Ивановны Умновой» и что жена арестованного заявила: «Деньги ее, а Умнова оставила ей расписку на хранение при отъезде за границу», — чиновник в штатском сказал:

— Непременно укажите в протоколе серии и номера каждого билета.

Что означает эта фраза? Сокрыта ли в ней связь с тифлисским делом? Если охранке удалось установить эту связь, «столыпинский галстук» ему обеспечен...

Под усиленной охраной, в наручниках Красина препроводили на станцию, в отдельном купе, набитом констеблями в черных лакированных касках с шишаками, довели до Выборга, и вот он в камере губернской тюрьмы. По тому, что в канцелярии весь эскорт встретил сам директор тюрьмы, Красин понял: его считают важной персоной. Однако, насколько позволяли Леониду Борисовичу познания в финском языке, он увидел, как писарь, заноса его фамилию в черную, с желтыми кожаными уголками и с синими наклейками букв алфавита объемистую книгу «Список заключенных за 1908 год» и проставляя очередной номер «375» в графе «За что арестован», пометил: «За бродяжничество».

«Что-то новое», — усмехаясь про себя, подумал Леонид Борисович. И тут же официально потребовал предъявления обвинения по всей форме закона.

— Видите ли, господин инженер, — развел руками директор тюрьмы, — вы не являетесь арестованным в собственном смысле этого слова. Вы пока что лишь задержанный.

— На каком основании?

— На основании циркуляра Императорского Финляндского сената от 17 ноября 1906

года за номером 1642.

— Что означает этот циркуляр?

Директор тюрьмы покосился на чиновника в пальто с бобром и уклончиво ответил:

— Согласно циркуляру, коронные власти великого княжества имеют право на задержание некоторых лиц до последующих распоряжений.

Но Леонид Борисович сам превосходно знал содержание этого документа: Петербург требовал от финских властей преследования тех, кто в пределах России совершил государственные преступления и искал убежища в великом княжестве.

Формально Красин был не арестованным, а лишь «задержанным», поэтому его поместили не в основном здании тюрьмы, не в камере, а в помещении лазарета, расположенного отдельно во внутреннем дворе. Здесь и комната — «покой» — была просторней, и окно хотя и зарешеченное, но большое. И не под потолком. А главное, ему разрешено было принимать посетителей. Правда, непременно в присутствии тюремных служителей.

Приехала из Питера мать, привезла целую корзину яств. Погладила по голове. Она все еще считает его маленьким и никак не может понять, что он уже едва не старик. Он был весел, беспечно улыбался, убеждал ее, что этот арест — недоразумение, «ерунда на постном масле». Как в прошлом году, разберутся и выпустят, да еще будут нижайше извиняться. Она верила и не верила, и он знал, как болит ее сердце. «Прости, мама, — думал он, продолжая шутить и рассказывать что-то легкое. — Прости, что обрушил на тебя столько тревог. Но ведь дети рождаются на свет не только для того, чтобы беречь покой своих родителей. У детей своя дорога, которую они выбирают сами... Прости...»

А Любе он сказал прямо:

— Будь мужественной. И береги детей. Когда они вырастут, расскажешь, что им не надо стыдиться отца.

— Зачем ты так, Леня?

— С часу на час меня должны выдать Петербургу. А ты сама знаешь, как пирует нынче Столыпин.

— Не может быть!

— Может, Люба.

— Кхе, кхе... Господа! Прошу вас соблюдать дистанцию, — вертел головой в тугом френче помощник директора тюрьмы. — Вы злоупотребляете моей снисходительностью. Время вышло.

— Неужели это последний раз?

— Будь мужественной, прошу тебя.

После свидания с женой он сам почувствовал: отпустил вожжи — и кони понесли... Нет, не надо! Ни к чему... Если даже и подведена черта, то разве так уж ничтожен итог? Что он успел в жизни? Он успел хорошо, до седьмых потов поработать: и землекопом, и десятником, и техником, когда строил железные дороги на Украине, в Центральной России и за Байкалом. Разве этого мало? Он построил большую электростанцию под Баку и дал электрическую энергию нефтяным промыслам. Он построил самую лучшую станцию в Орехово-Зуеве и осветил добрую половину Петербурга. Разве этого мало? Да, он хотел увидеть преображенной всю страну, всю Россию. Какой он представлял ее?.. Опоясанной линиями передачи электрической энергии. Электрическая энергия — чудо века, великое торжество людей в познании таинств природы. Люди в борьбе с природой воспользовались ее же могучими стихийными силами. Чудо-энергия преобразит труд на фабриках, заменит громоздкие трансмиссии моторами, поведет на невиданных скоростях поезда, озарит яркими лампами ночь! И сами люди в залитом новой энергией мире должны будут жить иначе, по-новому, ибо познание идет рука об руку с нравственностью, он убежден в этом! Энгельс, мудрейший человек, еще четверть века назад, когда попытки передачи электроэнергии на расстояние были лишь первыми робкими опытами, предугадал: дело это имеет чрезвычайно революционный характер. Производительные силы благодаря этой энергии примут такие

размеры, при которых они перерастут руководство буржуазии. Значит, и он, Красин, строя электростанции, работал на революцию. Пусть он не увидит этот преображенный мир. Разве предшествующие поколения верили, что все, к чему они стремились, во имя чего боролись, свершится на их глазах? Галилей, Бруно, Ломоносов, Чернышевский... Смешно причислять себя к этим именам, но равняться на них должно. И счастье не в беспечном самодовольстве, а в сознании нужности своей жизни и того, что ты успел сделать за отпущенные тебе судьбой годы. Но все равно это успокоение шло от ума. А все существо его восставало от мысли, что больше ничего не будет: вот когда чувствуешь, сколько живых нитей связывает тебя с жизнью... Нет, он будет бороться! Будет драться до последнего!..

Антон ехал через Швецию. В Стокгольме его встретил товарищ, дал явку в Гельсингфорсе. Прибыв в столицу великого княжества, Путко получил Выборгский адрес. И вот уже плывут за окном вагона гранитные валуны и постройки Выборгского фортштадта. Проблескивает меж скал залив, справа по ходу поезда проступает на каменном острове, соединенном перемычками мостов, суровая башня-замок.

Антону дано ответственнейшее поручение. Ничего подобного ему еще не доверяли. Он умрет, но выполнит его. Он опускает руку в карман и ощупывает через пальто лежащий в кармане брюк браунинг. Никогда прежде у него не было в руках оружия. Теперь — полная обойма, семь патронов с тупыми обтекаемыми головками. Еще один заслан в ствол, и ударник поставлен на предохранитель... Целую неделю перед отъездом Виктор в глухом подвале на Монмартре учил его стрельбе с руки и навскидку, пока ни одна пуля не стала уходить «за молоком». Все дни после Мюнхена юноша жил в каком-то другом измерении. Он и думать забыл о Сорбонне. Беда, разом обрушившаяся на дорогих ему людей, опасность, приблизившаяся к нему самому, напрягла до предела нервы, сделала его осторожным.

Тогда, приехав в столицу Баварии и бросившись в отель, где остановилась Ольга, он узнал от портье, что она и двое ее спутников арестованы. Пока он расспрашивал портье, из комнатки за стойкой появился мужчина с лошадиной физиономией и моноклем в глазу и любезно-официально полюбопытствовал, кто он и почему расспрашивает.

Антон хотел послать его к черту и уже подбирал подходящие выражения в своем небогатом немецком словаре. Мужчина отогнул лацкан сюртука и блеснул жетоном. Тогда Путко, набравшись смелости, заявил, что он жених арестованной и требует немедленного с ней свидания. Полицейский перелистал его паспорт, сделал какие-то выписки и предложил следовать за собой. Путко посчитал, что и он арестован, и даже почувствовал горькую радость: по крайней мере, хоть это сближало его с Ольгой; может быть, и камера, в которую его заточат, будет рядом с ее камерой.

Однако получилось все иначе, хотя агент действительно и препроводил его в тюрьму. Там, в канцелярии, Антона радостно, как дорогого гостя, приветствовал заплывший жиром, необъемный, словно бочка, пропитавшийся пивом господин. Он представился комиссаром фон Крузе. Сочувственно выслушал требования юноши и тут же отдал распоряжение. Студента проводили в узкую длинную комнату, перегороденную двойной сеткой, и туда, за сетку, из узкой двери ввели Ольгу.

— Оля! — прижался к сетке Антон. — Оля, боже мой!

Она была в нелепой грубой рубаше, из рукавов которой торчали беспомощно тонкие руки и ворот обнажал тонкую шею.

В узком проходе между двумя сетчатыми преградами стоял надзиратель и в упор равнодушно поглядывал то на нее, то на него.

— Nur deutsch sprechen!<sup>19</sup> — предупредил он.

Антон от волнения забыл и те слова, какие знал. Понял только, что Ольга просит его не волноваться, что все будет хорошо. Просит его непременно прийти и завтра — это очень

---

<sup>19</sup> Говорить только по-немецки! (нем.)



важно.

Видимо, комиссар действительно поверил, что Антон — жених. К тому же комиссар был добродушен и сентиментален. Он разрешил свидание и на завтра. Во время второй встречи, когда надзиратель на миг отвернулся, Ольга попыталась перебросить через решетки записку. Записка не долетела... Что она в ней писала? А может быть, все эти милости комиссара и делались для того, чтобы подстроить ловушку?

Больше он не видел Ольги. Его самого допросили, составили протокол. Однако отпустили. Он понимал, что оставаться в Мюнхене бессмысленно. Надо что-то делать, надо предупредить кого можно. Кого? Хотя бы мужа Ольги, Минина. Проездом, в Берлине, он узнал, что полиция произвела в городе налеты на квартиры русских эмигрантов, арестованы несколько человек. А приехав в Женеву, увидел дверь на бульваре де ла Клуз и ставни наглухо закрытыми. Никаких иных адресов в Женеве у него не было. Он вернулся в Париж. Нашел дядю Мишу, рассказал обо всем. Виктор, уехавший после ареста Феликса, все еще не возвращался. Дядя Миша велел обождать, пока не переговорит с товарищами, с кем — Антону было неведомо.

В один из этих же дней, все в той же студенческой столовой в Латинском квартале Антон встретил Отцова, «колониального эскулапа». Доктор расспросил его о здоровье — не приличия ради, а как врач, отвечающий за самочувствие пациента. А потом, склонившись над тарелкой с жареным картофелем и «хлорофиллом», передал, что в Мюнхене, Стокгольме, Берлине и Женеве производятся аресты и что надо быть очень осторожным. Антон не в силах был сдержать себя — столько всего накопилось за эти стремительно мчащиеся дни! И необходимо было поделиться с товарищем по партии. Он рассказал Отцову все, начиная с неожиданного ночного визита Зиночки и кончая случившимся в Мюнхене.

Доктор выслушал с волнением и участием. «Хорошо, что вы сказали, мой молодой друг, мы предпримем необходимые меры, чтобы вывести на чистую воду и «инженер-жандарма» Бочкарева-Додакова, и российского вице-консула! — он с удовольствием потер руки. — Очень хорошо!.. Но только прошу об этом не говорить больше никому!..» Да Антону и не с кем было разговаривать на эту тему. Вот окажись здесь Леонид Борисович или Феликс!..

Вскоре Путко узнал, что Феликс выдворен из Франции. А тут появился и Виктор. Товарищи начали разворачивать кампанию за вызволение других арестованных. Однако новое известие потрясло колонию: в Финляндии выслежен и схвачен Красин.

Дядя Миша снова сам пришел к Антону. Передал: Большевистский центр поручает студенту задание чрезвычайной важности — отправиться в Выборг и принять участие в освобождении Леонида Борисовича. На месте Владимирову помогут товарищи-боевики и финские революционеры. Выбор Центра остановился на Антоне потому, что он «чист» — может выехать в великое княжество по своему паспорту, а у других большевиков паспортов нет. Кроме того, он знает Финляндию. Его задача: передать решение Центра товарищам, помочь им в осуществлении плана и вместе с Красиным выбраться из Финляндии.

Стокгольм, Гельсингфорс... И вот он с дорожным саком уже проходит гулкой аркой с перрона в вокзал, из вокзала, облицованного полированным красным гранитом, — на оживленную маленькую площадь, где снуют носильщики, скрипят рессорами экипажи. День ослепительно солнечный и сухой, под ногами ломается ледок.

Справа от вокзала, в полусотне метров — набережная залива Салакалаhti. Ему так и объяснили: идти по набережной, мимо замка, до Рыночной площади, потом мимо старинной, времен Густава Вазы, приземистой башни. На углу гостиница «Рауха». Если свернуть налево, на Епископскую, — третий дом от угла...

У вокзала дома были новые, красивой архитектуры, с лепными фасадами — сплошь отели, рестораны, магазины, мастерские златокузнецов и салоны мод. Рынок, заставленный возками и тележками, пестрел и шумел. Как в каждом северном городке, даже в начале апреля продавали много живых цветов. А здесь, за рынком, улицы теснились, круто поднимались на холм и сбегали с холма, к набережной залива; дома были обшарпанные,

подслеповатые, средневековой постройке.

Антон предполагал, что и здесь за ним могут следить, хотя с самого Парижа принимал все меры, чтобы не подцепить «хвоста», не навести шпики на явочные квартиры. Поэтому он побродил по набережной, даже спустился на насыпной мост, ведущий к замку, поглазлел не без интереса на рыболовов, согбенных над лунками и потряхивающих лесками. Улов — окуньки — лежал тут же на льду, еще не уснувшие рыбки били хвостами. Окончательно удостоверившись, что ни вблизи, ни издали никто за ним не следит, Антон начал подниматься по Епископской.

На условный стук открыл заспанный паренек года на три-четыре моложе студента, круглолицый, с белесыми волосами и веснушками — их было так много, будто обрызгали паренька коричневой краской.

— Здравствуйте, я от Эрикссона, — представился Путко.

— А-а, пяйвяя! — закивал парень, широко распахивая дверь и жестом приглашая войти. — Олкаа хювя... Посалуйста, товари. Я есть Хейно, товари Феликсо! — он смутился. — Пиени юставя... Маленькая друг Феликсо!

Они вошли в комнатку, сумеречную даже в сверкающий день.

— Я плоха говори... русски... Тиеден кайки... Я все знай. Другие товари знай... Антеме иломелин... Рады будем помогай.

«Трудно нам будет договариваться, — подивился его чудовищному русскому Антон. — И я, кроме «пяйвяя» — «здравствуй» и «някемийн» — «до свидания», сам ни слова по-фински...»

Но вечером, когда Хейно привел его в маленькую кофейню и показал на столик в углу, где сидели еще двое, все разрешилось наилучшим образом. Эти двое, Карл и Эйвар, парни ненамного старше Хейно, совсем неплохо говорили по-русски. Хейно работал смазчиком, Карл — сцепщиком, а Эйвар — кочегаром паровоза на дороге Гельсингфорс — Петербург. Кочегар держался как старший.

Еще раз выспросив у Путко, кто он и откуда и по чьей рекомендации приехал, Эйвар сказал, что они — члены «партии активного сопротивления царизму», сторонники взглядов большевистской фракции. И что они готовы участвовать в освобождении инженера Красина. Они трое и другие товарищи по партии уже не раз помогали русским, переправляли из Финляндии в Швецию. Зимой, в декабре, они сопровождали по льду залива на пароход одного революционера — он скрывался под видом немца, доктора Миллера. Антон не знал, о ком шла речь, но проникся к парням уважением: глядя на их круглые простецкие физиономии, и не скажешь, что они такие опытные подпольщики и конспираторы.

— В Выборг, на эту же явку, должны были прибыть товарищи из Питера, — сказал Антон.

— Еще нет никого, — Эйвар отрицательно качнул головой. — Приедут — хорошо, не приедут — мы сами справимся, товари.

— Но как освободить Леонида Борисовича? Понимаете, дорог каждый день, каждый час!

— Кюлля, кюлля! Да-да! — закивали парни. — Есть у нас один план. Кесителькеми товари... Давай, товари, обсудим...

Карл и Хейно на следующий день были заняты, а Эйвар, только накануне вернувшийся из поездки, свободен. Он и повел в полдень Антона на Папуланпуисто — скалу, полого поднимавшуюся на противоположной от станции стороне. Это дикое бесчинство природы — обкатанные, ледниками и ветрами глыбы красно-черного гранита и материковой породы, хаотичное нагромождение стотонных камней — оказалось вблизи ухоженным парком с дорожками и со скамеечками меж сосен. Над плоской вершиной поднималась металлическая трехъярусная обзорная вышка.

Полдненное апрельское солнце согревало освещенный склон. Снег на гранитных лбах подтаивал, обнажая рыжий мох. Под снегом хлюпало, бурлило, как из незавернутых водопроводных кранов, над ручейками сверкали иглы льда. Вода скользила и по глыбам, и

они, обращенные к солнцу, сверкали до боли в глазах. А в тени был хрусткий морозец. Меж расщелин торчали редкие сосны с обломанными ветром вершинами и такие же неприхотливые дубы, похожие на вытрепанные метлы. Воздух был тих, свеж, небо чисто. Мороз и горячее солнце.

Народу на Папуланпуисто собралось немало, кто с лыжами, кто с санками. Антон вслед за Эйваром взобрался на вышку. Здесь, на самой верхней площадке, дул резкий ветер, никого, кроме них, не было. С вышки открывался великолепный вид на Выборг, на полуразрушенные валы его бастионов, на форштадты, на рваные берега, шхеры, утыканные черными соснами, на заливы, соединяющиеся вдаль с главным — Финским. А где-то там, за горизонтом, за скалами, были просторы Балтийского моря. Лед и снег еще сковывали поверхность воды, сглаживали контуры берегов. Только кое-где на белой равнине темнели первые проталины и разводья. Но наст в заливе Салакалаhti был взломан ледоколами — пароходы между Выборгом, Гельсингфорсом и Стокгольмом курсировали и зимой. Вот и сейчас один «торгаш» разворачивался, пыхтя, в заливе.

С вершины Выборг казался распластавшимся крабом с разверстыми клешнями. Над городом дымили трубы. Фабричные — черно, клубисто, домовые — рассеянно и бело. Тянулись маковки церквей, колокольня ратуши, посреди залива высилась башня Святого Олафа, венчавшая древний замок. Видны были вокзал и станция с жилками путей. По ним сновал маневровый паровозик. Доносились его жалобные гудки и клацанье вагонов. С вершины Папуланпуисто к заливу спускалась накатанная лыжня.

— Это бобслей-гора, — показал Эйвар. — Посмотри прямо по лыжне, потом через залив. Не надо показывать рукой, товари. Видишь на том берегу кирпичную ограду-восьмигранник, а за оградой дом?

— Да, странный какой — в виде креста!

— Это и есть губернская тюрьма. Инженер там.

Антон впился глазами в мрачное сооружение. Сейчас, против света, тюрьма казалась черной, только скат острой крыши и одна из граней стены кроваво алыми под солнечными лучами.

— Раньше арестованных держали в замке, — кочегар кивнул на башню Святого Олафа. — Этот «крест» построили не так давно.

— Где там Леонид Борисович? — продолжая неотрывно смотреть на тюрьму, спросил Путко.

Окна отсюда темнели лишь маленькими черточками.

— Нам все известно. Тюремный писарь Юхан тоже член нашей партии. Инженера держат в помещении лазарета, во-он третье окно слева, на первом этаже.

— Да, да, вижу!

— Юхан нам поможет, товари, — финн подошел к поручням площадки с другой стороны. — Теперь смотри вон туда. Видишь на том берегу Папуланлахти домики? Тоже третий с краю. Там живет топарь Аугуст Хилтунен. Запомнил? Значит, так: инженер спрятан у него. С берега я тебе, товари, дал сигнал. Ты по льду перешел залив. Потом мы проводили вас на острова, а оттуда!.. — он махнул в сторону Финского залива и Балтики.

О только еще замышлявшемся деле Эйвар говорил как уже о свершенном, будто Антон и Красин уже плыли в Швецию. Этот его тон вселял уверенность. Одно только не нравилось Путко: опять его собственная роль оказывалась незначительной, третьестепенной.

— Может быть, я там, с вами?

— Нет, товари, ты сможешь только помешать. Ты не знаешь всех тропинок от тюрьмы. И надо, чтобы кто-то подал нам отсюда сигнал: «все в порядке». За стеной нам будет не видно.

— Ладно, — неохотно согласился студент. Конечно, главное — освобождение Красина. Он лишь спросил: — Сколько понадобится на подготовку?

— Мы готовы хоть сегодня. Но Юхан говорит, что самое лучшее время — воскресенье: половина стражников уходит по домам, нет ни директора тюрьмы, ни его помощника. В

воскресенье!

«Значит, ждать целых три дня...»

В пятницу Леонид Борисович почувствовал первые знакомые симптомы. Его начало знобить, пересохло во рту, разболелась голова. «Этого еще не доставало!» — с раздражением подумал он. Спасительные порошки хинина остались на даче в Куоккале. Леонид Борисович постучал в дверь, потребовал, чтобы вызвали врача.

— Юхан, одна нога здесь, другая у доктора Фредерикссона! — приказал писарю директор тюрьмы Бруно Брейтхольц.

Директор весьма уважительно относился к новому заключенному. В камерах «креста» сидела всякая шушера: нарушители закона торговли спиртным, мелкие мошенники, один подделыватель векселей... А тут — первый инженер знаменитой петербургской фирмы, сын надворного советника, опасный революционер! Брейтхольц испытывал перед ним даже некоторую робость.

Доктор Фредерикссон меланхолично прощупал селезенку узника, его печень, осмотрел склеры глаз и определил:

— Начало приступа тропической малярии. Хинин, аспирин, полный покой.

Юхан на несколько мгновений задержался в камере. Прошептал:

— Товери, надо бежать! Передам тебе вечером кое-что!

«Провокация? — насторожился Леонид Борисович. — Вряд ли... Попытка побега ничего не прибавит, не убавит... Но как же бежать?.. — Он подошел к окну. Голова кружилась, перед глазами плыло и острой болью сдавливало, виски. — Фу, как некстати!..»

Над тюремной стеной голубело весеннее небо. А во внутреннем дворе была еще зима. За долгие месяцы нанесло много снега, его не расчищали, и он поднялся почти вровень с окном — метра на полтора. И край ограды, утыканный шипами, приблизился. До гребня метра два с половиной, не больше. Если бы веревка и крюк, перемахнуть через такой — пара пустяков. Но как выбраться из камеры? И что там, за стеной?..

Через час дверь отворилась. В сопровождении надзирателя в комнату вошел писарь.

— Герра директор велели передать лекарство от доктора. Принимать четыре раза, через два часа! — громко оттарабанил он, подходя к столу и выкладывая пакетики. И одновременно, загородившись спиной от стражника, вынул из-под сюртука небольшой сверток.

Красин спрятал сверток под мышку, отвернулся к окну:

— Спасибо.

Когда дверь затворилась, он, стоя спиной к дверному глазку, развернул тряпицу. В ней оказались две стальные пилки, кольца и ручка для крепления, веревка с рыбацким якорьком-кошкой на одном конце, банковский двадцатипятирублевый билет и записка.

В записке говорилось, что в воскресенье, в десять часов вечера, все будет подготовлено к побегу. Леониду Борисовичу надо лишь перепилить решетку окна и перебраться через забор. Свет в камере гасят в девять вечера. Когда решетка будет перепилена и Красин будет готов, он должен зажечь листок и поднести его к окну, дважды махнуть им. С обзорной вышки на Папуланпуисто ему ответят двумя вспышками электрического фонарика. Это значит, что за стеной Леонида Борисовича ждут.

Красин посмотрел на гору за заливом, освещенную последними лучами солнца. На темнеющем небе проступали переплетения вышки. Ему показалось, что он даже видит на верхней площадке маленькую фигурку. «Как некстати приступ!..» Он сжал кулаки, пальцы были вялыми. Усилием воли он заставил напрячься мускулы. «Ничего, еще посмотрим, кто кого!..»

Он закурил. Посмотрел на блеклый огонек спички. Надо сжечь записку. Но у него нет больше ни клочка бумаги. Увидят ли огонек спички с горы? Вряд ли... Он сохранит бумажку и ею подаст сигнал. Леонид Борисович спрятал записку в щель между стеной и подоконником, веревку с кошкой — в подушку. «Жестковато, да не беда. Теперь некогда

будет спать».

Он собрал пилку. Подошел к окну. Прутья решетки на окне лазарета были не очень толстыми, не то что в других камерах. Но чтобы пролезть сквозь них, надо перепилить и отогнуть два горизонтальных и один вертикальный. Он осторожно провел пилкой по пруту. Раздался скрежещущий звук. На пруте обозначилась щербинка. Пилка закалена хорошо, сталь отличная, а решетка мягкая. Леонид Борисович произвел в уме нехитрый расчет. Получилось: в день по три часа, и все будет в порядке. Но звук? Переполошишь всю тюрьму. Надо место перепиливания обернуть мокрой тряпичей и пилку тоже. И держаться за прут рукой, тогда звук будет поглощаться. Но надзирателю в коридоре может показаться подозрительным, что арестованный все время торчит у окна. Да и наружный часовой обратит внимание. Надо потребовать у директора какую-нибудь книгу.

Леонид Борисович почувствовал, как к горлу подкатывается дурнота, режет глаза. Во рту была нестерпимая горечь хинина. Ничего, ничего... Надо взять себя в руки!.. Удачно, что створки окна распахиваются наружу, а решетка по эту сторону, перед стеклом. Днем он сможет открывать окно; мол, ему необходим свежий воздух, пусть и холодно... Тогда звук пилы будет отчасти поглощаться внешними шумами.

Он стоял у окна, вполоборота. В левой руке — книга, лицо обращено к страницам. А правая, только кисть правой, как будто он что-то раскрашивает, методично водит по пруту. Две минуты... пилка тонет в рукаве, Он переворачивает страницу. И снова — как кисточкой с краской.

Перерывы на прием пищи, на прогулку в глухом, огороженном треугольнике двора (во время прогулки он старается определить, где лучше перебраться через тюремную стену, за какой из шипов на ее гребне надежней зацепить кошку), короткий сон — и снова к окну.

Его бил озноб, захлестывали волны жара, обливал липкий пот. Ноги делались ватными, подкашивались. Сверхчеловеческим усилием воли, в котором концентрировалось все — и жажда жизни, и стремление продолжать борьбу, и закалка всех лет подполья, он заставлял себя стоять у окна. Только бы не потерять сознание. Только бы не потерять!..

Пик приступа миновал. Он почувствовал себя лучше. Только не было силы в руках и кружилась от резкого спада температуры голова.

Хватит ли у него сил, чтобы вскарабкаться по веревке на стену, перевалить через забор?..

В субботу к вечеру были разрезаны уже два горизонтальных прута и он заканчивал перепиливать третий, вертикальный. Чтобы отогнуть их, понадобится лишь несколько минут. Он нажмет всем телом.

Перевернута страница. Пилка выскользнула из рукава. Ж-жик... ж-жик... ж-жик...

Что-то звякнуло. Глазок на двери?.. Он остановился, прислушался. Нет, за дверью, в коридоре лазарета — тишина. Сегодня и завтра — облегченные наряды. Половина служаек разошлись по домам. Тихо. Просто сдают нервы.

Он перевернул страницу. Бросил взгляд в окно, на Папуланпуисто, на вышку, и снова: ж-жик... ж-жик...

Дверь разом распахнулась. В проеме несколько человек: директор, надзиратели, еще кто-то.

— Руки! Руки вперед!

«Записка! — обожгло его прежде всего. — Ах, черт!» Он выколупнул из щели записку и неприметным движением выбросил ее в распахнутое окно. Неторопливо, с удивленной улыбкой, понимая, что все пропало, обернулся к ворвавшимся в камеру:

— В чем дело, господа?

— Руки вперед! Отойти от окна!

**«Губернская канцелярия № 734  
23 марта/5 апреля 1908 г.  
Его Высокопревосходительству  
Финляндскому генерал-губернатору**

Имею честь донести Вашему Высокопревосходительству следующее:

В субботу 22 марта (4 апреля) с. г. около 9 час. вечера сторож лазарета при Выборгской губернской тюрьме доложил начальнику тюрьмы, что содержащийся в тюрьме инженер Леонид Красин, из Империи, пилит железную решетку перед окном в своей камере и, таким образом, подготавливает себе побег из тюрьмы. Начальником тюрьмы немедленно были приняты меры к пресечению попытки: к лазарету были поставлены караульные, а Красин был подвергнут телесному осмотру. При осмотре найдены рукоятка, сделанная из никелированной стальной проволоки, и пильное лезвие, длиною в 12 сантиметров, шириною в 1,5 сантиметра, два маленьких стальных кольца для прикрепления пильного лезвия к рукоятке, кредитный билет 25-рублевого достоинства.

Под окном камеры Красина найден кусок бумаги, исписанный шифром, но при детальном ознакомлении удалось установить, что в записке обозначена система световых сигналов между тюрьмой и находящейся на горе Папула башней. Об этом сообщено городской полиции, откуда высланы агенты сыскного отделения в Папулаский парк для наблюдения за башней. В то же время усилена полицейская охрана у тюрьмы.

Красин переведен в третий этаж тюремного здания, в камеру-одиночку.

***Выборгский губернатор  
барон фон Т р о и л ь».***

Антон пришел в парк Папуланпуисто днем. Над бобслей-горой стоял веселый гомон, вниз неслись пестро одетые лыжники, вихрили влажный снег сани с закрученными будто в бараньи рога полозьями. Неподалеку от смотровой вышки находился ресторан. Как исключение из правил, неукоснительно соблюдавшихся во всей Финляндии, здесь подавались и «крепкие горячительные напитки».

Студент заказал обед поплотнее (когда и где еще придется перекусить в другой раз) и коньяку. Налил в рюмку, поднял, мысленно произнес тост за успех, за встречу с Леонидом Борисовичем. Кажется, подготовлено все, продумана каждая мелочь. Дело только за Красиным. Но уж он-то!..

В субботу Путко сам обошел район тюрьмы, ужаснулся высоте и неприступности глухой стены, заодно проложил в уме маршрут к хибарке Хилтунена. Эти хибарки гнездились на берегу, среди валунов, меж темных щелей в скалах. Эйвар объяснил, что эти места — самые надежные укрытия. В катакомбах целый полк констеблей никого не найдет.

Антон откинулся в кресле, нащупал в одном кармане фонарик, в другом — браунинг. «Напрасно тренировал меня Виктор, и на этот раз не понадобится...» — подумал он. Но все же прикосновение к теплему тяжелому металлу придавало смелости.

Снег еще больше подтаял, на открытых местах сошел вовсе. И даже в расщелинах его толща была предательской. Антон ступил и погрузился по щиколотку в ледяную воду, залившую туфлю. Мальчишки лазили по склонам и поджигали пучки сухой травы на проталинах. Огонек струился вверх. На солнце его не было видно, только тянуло дымком костра. Было жарко, хоть снимай рубаху. А рядом с гиканьем и хохотом неслись вниз с горы лыжники. Антон походил меж скал, намечая себе от башни дорогу, по которой придется спуститься в темноте.

К вечеру выборжцы стали покидать парк. Лишь редкие парочки искали уединения. Юноша взглянул на часы. Пора! Он договорился с парнями, что для проверки сигнализации он раньше условленного времени помигает с вышки фонариком, а они ответят. К тому же сигналы с противоположного берега будут означать: «Все готово».

Путко подошел к вышке. Ветер гудел меж конструкций. Лесенка была как трап. Чувствуя пружинистую веселую силу в мышцах, Антон начал подниматься, подтягиваясь на

перилах. С нижней смотровой, площадки оглядел гору, уже одетую в сумрак. Слева, у спуска, парочка. Юноша усаживает девушку на санки. Как бы не разбились в темноте. Понеслись! Вскрики, хохот. Здорово!

Недалеко от вышки маячила темная одинокая фигура. Студент поднялся на вторую площадку. Внизу матово светился снег залива. Уже растворившийся во тьме, в редких первых огнях газовых фонарей, лежал город. «Крест» вон там...

На верхней площадке мерз на ветру мужчина в легкой шляпе. Посторонний ни к чему. Ишь, любитель свежего ветра! Впрочем, Антон может посемафорить фонариком и со второй площадки.

Он спустился, достал фонарик, облокотился о перила. Нажал кнопку, отпустил, снова нажал. Снизу послышалось восклицание. Сверху, с площадки, начал торопливо спускаться тот, в шляпе. И восклицание, и топот по лесенке насторожили Антона. Он спрятал фонарь, вынул из кармана браунинг, спустил предохранитель. Соскользнул по перилам на склон. К вышке торопились, оскальзываясь на покрытых ледком камнях, какие-то люди. Сверху грохотал подковками сапог «любитель ветра».

Антон вспомнил маршрут, мысленно проложенный еще днем, быстро зашагал вниз. «Может, просто гуляки? А я струсил!» — но сердце колотилось, грохотало, как барабан. Услышал: за ним идут следом. Вдруг из-за камня выскочил еще один.

— Сейс! — обрывающимся голосом крикнул он.

Антон продолжал идти?

— Сейс!

— Что такое? — как можно резче спросил он.

— Стой! Стой!

Мужчина был в нескольких шагах. В сумерках блеснул шишак на лакированной каске. «Констебль!..»

Путко выхватил из кармана руку и нажал спусковой крючок. Полицейский закричал. Антон повернулся, выстрелил наугад в преследователя и бросился вниз, скользя, падая, ударяясь о камни. Позади слышались крики, голоса. Затрещали выстрелы. Вот и берег. «Бежать к насыпному мосту, ведущему на ту сторону, в город? Там тоже может быть засада. Остается одно: по льду залива, напрямик!..»

Он бросился через залив, чувствуя, как потрескивает под ногами лед. Голоса отдалились. Полыхнуло еще несколько выстрелов. Вот и берег. И хижины меж скал и сосен. Он побежал к третьей с краю.

— Руки вверх!

Он замер, прижав к груди пистолет. Откуда кричат?

Послышался тихий смехок:

— Не пугайся, товари! Это я, Хейно.

— А-а, так тебя!.. Дурак! Я мог бы убить!

— А где я?

Антон не понимал, откуда доносится голос. Послышался звук обрушивающегося тела.

— Олен оллут сиелле!.. Я, товари, тама! — сказал смазчик, вырастая перед Путко и показывая вверх, на крону сосны. — Я тама, ку-ку!

— Что с инженером?

— Все плохо... Идем!

В каморке топаря Хилтунена уже сидели Эйвар и Карл и еще один, представившийся Юханом. Антон догадался: это тюремный писарь. Кочегар рассказал о происшедшем в тюрьме. Юхан, оказывается, отпросился на субботу, чтобы отработать в воскресенье, в день побега, и не знал, что все провалилось накануне. Он сумел предупредить товарищей только два часа назад. Поэтому они и не попались в руки констеблей, хотя тюрьма и все окрест оцеплено полицией. Но уведомить Антона уже не было никакой возможности. Да он и сам молодец — не растерялся.

— Молодец, молодец, — досадливо проговорил студент. — Что же теперь делать?

— Давай думать, товари.

Через два дня Антон снова пришел в хибарку Хилтунена. Домик топаря был выбран не случайно — именно потому, что он ютился под самым боком у тюрьмы. Как говорится в пословице: «Под свечкой всегда темно» — будут искать злоумышленников везде, но только не в сотне шагов от «креста».

Накануне студент узнал, что в Выборг приехали наконец товарищи-боевики из Питера. Теперь у Аугуста Хилтунена встретились они все — и новые его друзья-железнодорожники, и писарь, и трое питерских товарищей. Одного, Германа Федоровича, Антон уже однажды видел — этот осанистый мужчина прошлым летом давал ему явку в Ярославле и организовывал освобождение Ольги. Двое других боевиков, представившиеся как «Лад» и «Вано», были кавказцами, по виду ничуть не старше самого Антона, и чем-то походили на Семена. У студента сжалось от боли сердце. Знают ли они Камо, известна им его судьба?.. Конечно, спрашивать он не стал. Но подумал: наверно, его друзья.

Герман Федорович выслушал рассказ Путько и финнов о неудавшемся побеге и неодобрительно покачал головой:

— Поторопились. Мы ведь тоже не сидели без дела, подготовили план освобождения Никитича.

Он рассказал, что боевики решили инсценировать выдачу Красина русским жандармам. Для этого они достали в Питере полное жандармское унтер-офицерское обмундирование и оружие, уже привезли все в Выборг. Предполагали, что наряд «жандармов»-боевиков в сопровождении финского полицейского комиссара, роль которого должен был играть сам Герман Федорович, явится в тюрьму и вручит приказ о выдаче арестованного. Соответствующий документ будет составлен по всем правилам... Оказывается, и они, боевики, и Антон со своими финскими друзьями действовали параллельно. Теперь же, конечно, в тюрьме переполох, надзиратели не спускают с инженера глаз, не так ли?

Писарь подтвердил: да, даже на прогулку арестованного выводят под ружьем, охрана внутри и извне усилена, вокруг тюрьмы расставлены дополнительные посты.

— Да, теперь они все будут настороже... — задумчиво проговорил Герман Федорович. — Вот к чему приводят несогласованность действий и ненужная поспешность. Но все равно — освободить Никитича надо во что бы то ни стало.

— Только когда будут вывозить, — сказал Эйвар.

— Вряд ли, — возразил писарь. — Жандармы приедут с арестантским вагоном. А от тупика до тюрьмы — полверсты по открытому шоссе.

— Все равно должны, — повторил Герман Федорович. — Это прямое задание Ильича. В Питере Никитича ждет только одно — «столыпинский галстук».

Антон не знал, от кого получил «прямое задание» Герман Федорович — сам студент выполнял поручение Большевицкого центра. Но каждый час промедления увеличивал его тревогу за жизнь Леонида Борисовича.

— Да, во что бы то ни стало надо освободить его! — воскликнул он.

— Кюлля, товари тейден оп!.. Да, должны! Я идет в одно место. Там есть много бомба. Менен эреснен... я беру, — согласно кивая, проговорил Хейно.

— На самый крайний случай придется и с бомбами, — согласился Герман Федорович, а молчаливые Вано и Лад» оживились, тихо перебросились словами на гортанном языке.

— И все же, может быть, испробуем и наш способ: «получим» арестованного раньше настоящих жандармов. Только теперь придется спросить согласия на этот план у Никитича. Можно будет это сделать?

Он повернулся к писарю.

— Да, да, конечно, — Юхан что-то сам обдумывал, пощипывая белесые брови. — У меня тоже есть одна мысль... По тюремным документам инженер считается не арестованным, а задержанным. В предписании Финляндского сената есть какое-то условие: сколько можно задерживать. Я точно не знаю, но слышал, как директор обсуждал с



тюремным врачом.

— Ну что ж, — кивнул Эйвар. — У нас есть мудрый человек по этой части. Обсудим с ним.

Следующим вечером Эйвар и Антон стояли у домика на улице Серого Братства, и кочегар стучал молоточком в массивную дверь.

Дверь приоткрылась. Парень что-то сказал служанке в крахмальной наколке. Девушка скрылась, потом вернулась и, сделав книксен, пригласила войти. Путко уже знал, что это дом адвоката Омикайнена — тоже члена «партии активного сопротивления царизму».

В кабинете старика адвоката был хаос, стол завален папками, купчими, контрактами. Эйвар не стал объяснять, какое именно дело привело его и русского товарища в столь поздний час на улицу Серого Братства. Он попросил лишь растолковать смысл предписания сената. Старик порылся на столе, потом на полках, сплошь заставленных фолиантами, снова среди бумаг на столе и наконец нашел. Поднес к лампе лист и углубился в него, глядя поверх очков:

— Могу прочесть и перевести.

— Да, будьте настолько любезны! — попросил Путко.

— Циркулярное предписание гражданской экспедиции Императорского Финляндского сената всем губернаторам края от 17 ноября 1906 года, — сухо начал старик, будто выступал в суде. — «Согласно полученным сведениям, русские уроженцы, совершившие в пределах Империи преступление и подлежащие поэтому привлечению там к следствию и суду, за последнее время все в большем числе стали искать убежища в Финляндии. Вследствие сего Императорский Сенат на основании действующих постановлений и правовых принципов предлагает Вашему Превосходительству: по письменному требованию подлежащей власти Империи об арестовании и выдаче таковых лиц, для привлечения их к судебной ответственности, беззамедлительно оказывать требуемое содействие, если к требованию приложено удостоверение о том, что властями Империи, от которых зависит сделать распоряжение о задержании обвиняемого, постановлено о задержании обвиняемого по поводу определенного преступления. В случае предъявления такого требования по телеграфу, не выжидая получения выше означенного удостоверения, на законном основании, временно арестовать обвиняемого, который, однако, должен быть освобожден из-под стражи, если удостоверение это не поступит в тридцатидневный срок со дня получения телеграммы». В тридцатидневный срок! — с особенным ударением повторил адвокат. — А дальше идут уже детали, мало вас заботящие.

Он поверх очков перевел хитрые глазки с Антона на Эйвара и снова на Антона:

— Я полагаю, цель вашего ночного визита — не оказать содействие властям империи в выдаче обвиняемого, а наоборот, не так ли?

Путко растерялся. Но Эйвар кивнул:

— Вы правы, дядюшка Хильмар, вас не обманешь.

— Меня! — старик воздел глаза к потолку. — В таком случае обратите внимание именно на тридцатидневный срок.

Он откинулся в кресле:

— Запомните, ни на день, ни на час дольше. Ваш «некто» имеет право требовать. А когда он был арестован?

— Двадцать второго марта, на рассвете.

— Инженер Красин? Меня не проведешь. Значит... — адвокат взял со стола картонку с календарем. — Значит, он должен быть освобожден на рассвете двадцать первого апреля. Если до того не поступит официального требования о его выдаче.

Оставалось несколько дней. Хейно привез из одного ему известного места несколько круглых, как кегельные мячи, бомб-«македонок» и спрятал их в расщелине скалы около домика Хилтунена. О предстоящей операции Эйвар оповестил других товарищей по партии.

Они обследовали дорогу, наметили, где и кто будет стоять, куда бросать бомбы. Антон живо вспомнил Тифлис, Эриванскую площадь. Разве Семен действовал не так же дерзко?.. Но здесь, в окружении жандармов, будет Леонид Борисович. Как бы он не пострадал от взрыва.

Однако иного выхода не было. Еще в Париже студента предупредили: ни в коем случае Красин не должен быть вывезен в Петербург.

Между тем и писарь Юхан, воспользовавшись случаем, шепотом объяснил Леониду Борисовичу смысл предписания. Инженер с усталой улыбкой кивнул:

— Спасибо, я знаю.

Юхан рассказал Красину и о проекте, предложенном Германом Федоровичем.

— Передай: я категорически возражаю. В нынешней обстановке он обречен на провал. Попытка приведет только к лишним жертвам.

Писарь передал решение инженера Герману Федоровичу.

— Что ж, остается одно: ждать, — вынужден был согласиться тот.

День шел за днем. Все находились в предельном напряжении: требование могло поступить каждую минуту.

И вот девятнадцатого апреля утром в хибарку топаря ворвался Юхан:

— Товарищи, получена телеграмма из Петербурга. Офицер с документами и арестантский вагон прибывают двадцатого! Завтра, дневным поездом!

Вечером все единомышленники снова собрались у Хилтунена.

— Дьявол побери, не хватило суток, чтобы обойтись без бомб, — с досадой проговорил Герман Федорович.

Антон внимательно посмотрел на каждого. Через два дня кого-то из них может не быть в живых. Никто не струсит?.. На Германа Федоровича, на Ладо и Вану можно надеяться, одно слово — боевики!.. А вот финны?..

— Айкаа он лиен веген... Время совсем мало... Много-мало, меньше, — угрюмо выговорил Хейно. — Юна... поезд ходит Выборг келло колме... три часа. Путу кууситойста тунтия... Не хватает сестнадцать часа...

— Шестнадцать... Шестнадцать... — какая-то мысль вертелась в голове у Антона. — Ты говоришь, поезд приходит в три часа?.. Идея, друзья! Мне пришла в голову идея!..

Утром двадцатого апреля инженер Красин потребовал лист бумаги и перо для подачи официального прошения губернатору.

Директор тюрьмы Бруно Брейтхольц не на шутку струхнул: может быть, его подчиненные допустили нарушения в обращении со столь важным узником? Он сам принес в камеру инженера лист и чернильницу — и с волнением наблюдал, как сын надворного советника водит пером по бумаге. Тут же, не выходя из камеры, директор спросил разрешения ознакомиться с письмом.

— Будьте любезны, — кивнул Красин, понимая, что и без его ведома директор прочтет послание.

Брейтхольц прочел, и улыбка облегчения осветила его взмокшее лицо:

— Сию минуту будет препровождено, герра инженер! Сию же минуту!

Он выкатился из камеры, и из-за запертой на три оборота двери донесся его голос:

— Юхан! Куда он запропастился?

Выборгский губернатор барон Биргер Густав Самуэль фон Троиль был ревностным администратором. Он любил и соблюдал порядок и терпеть не мог каких-либо осложнений. Ничто так не радовало его, как возможность в конце месяца уведомить Гельсингфорс, что во вверенной ему губернии «никаких замечательных происшествий не произошло».

К сожалению, все последние месяцы, да что там месяцы — годы барон лишен был такого удовольствия: Выборгская губерния стала средоточием всевозможных казусов, «ближней эмиграцией» преследуемых Россией злоумышленников, центром местных финских ниспровергателей, таких, как «партия активного сопротивления». Впрочем, барон

предпочитал не разжигать страсти. Будучи служакой, он не простирает свои устремления дальше Гельсингфорса. И превосходно знал, что в столице великого княжества, в сенате господствуют националистические настроения. Сенат понимает: малейшее нарушение законов самоуправления во вред империи может повлечь со стороны Петербурга неприятности. Но, не нарушая буквы царских законов, мешать петербургским властям как только возможно — дело национальной гордости. Нет, сенаторы — отнюдь не члены «партии активного сопротивления». Они, упаси боже, не разделяют социалистических взглядов. Но внутренние дела финнов — их дела, и пусть Петербург не сует в них носа. Поэтому строжайше соблюдать букву, не переноса духа.

Губернатор был в досаде на инженера Красина. Ну что это: побег, стрельба, погоня!.. Роман в духе Дюма-старшего. А внешне такой элегантный господин, такая логичная ясная речь, такая эрудиция! После попытки побега фон Троиль пожелал лично побеседовать с узником. Допрос в канцелярии тюрьмы превратился в дискуссию о проблемах современности. Первый инженер крупнейшего электрического общества! И таких людей глупый император обрекает на виселицу... Нет. Биргер Густав Самуэль фон Троиль готов сделать все возможное, чтобы этот опальный дворянин избежал грозившей ему участи. Сделать, однако, лишь в рамках параграфов. К сожалению, к великому сожалению, это не удастся.

Он не спеша прочел бумагу, только что доставленную писарем тюрьмы. На гербовом листе было выведено:

#### **«Господину губернатору Выборгской губернии.**

Я был арестован у себя на даче в Куоккале г-ном териокским ленсманом 22 марта с. г. в 8 часов утра и в тот же день доставлен в выборгскую тюрьму, где по сей час нахожусь. Так как в марте месяце 31 день, то тридцать полных суток нахождения моего под арестом оканчиваются к восьми часам утра вторника 21 апреля.

В бытность Вашу в тюрьме 6-го апреля Вы изволили разъяснить мне, что я буду содержаться под арестом 30 дней и, если за это время от имперских властей не поступит определенно сформулированного обвинения, — по истечении этого срока выпущен на свободу. То же самое было подтверждено мне 9 апреля г-ном прокурором Сената при посещении меня в тюрьме.

Так как полные 30 дней моего ареста оканчиваются завтра, 21 апреля к 8 часам утра, то я покорнейше прошу Ваше Превосходительство сделать распоряжения об освобождении меня из-под стражи утром, во вторник, 21 апреля.

*Инженер Леонид Красин  
20 апреля 1908 года».*

Как деловито, мужественно, без всяких униженных слов. Благородный человек!

И барон фон Троиль отдает распоряжение по канцелярии:

— На основании предписания сената в восемь часов утра двадцать первого апреля Красина из-под ареста освободить!

Он подписывает это распоряжение с тяжелым сердцем, потому что оно не имеет никакого значения. Из только что полученной телеграфной депеши он знает: чиновник департамента полиции империи с документами о выдаче инженера уже выехал из столицы и прибудет в Выборг через полтора часа, в три пополудни.

Додаков прошел по узкому коридору. Купе в этом вагоне были превращены в камеры: с глазками, с дверями на запорах, с решетками на окнах. И коридор преграждали решетки, отделявшие охрану от арестантов. Сейчас камеры пустовали. И весь вагон совершал путешествие туда и обратно по Финляндской дороге ради одного человека. Но он был настолько важным злоумышленником, что для сопровождения его одного командировался удвоенный наряд солдат и жандармских унтер-офицеров.

Виталий Павлович вышел в тамбур. На откидном стульчике, ссутулившись, обхватив винтовку, как палку, дремал солдат. Додаков схватил его за ворот шинели, тряхнул и, ошалелого от сна и неожиданности, наотмашь ударил в лицо:

— Не спать, сволочь! На посту не спать!

Сдернул окровавленную перчатку, бросил ее на пол и вернулся в свое купе.

За окном проплывали станционные постройки. На вывеске по-фински и по-русски: «Мустамяки». Поезд притормозил, остановился у аккуратной платформы с деревянным резным навесом и пустыми вазами для цветов. По платформе пробежали пассажиры, опасно поглазев на зарешеченные окна арестантского вагона.

«Сволочи... Озираются...» — подумал Виталий Павлович.

Он был в дурном расположении духа, хотя вроде бы поводов для такого состояния не было. Напротив, лично для него все складывалось в последние недели как нельзя лучше. По возвращении из Парижа, томимый недобрыми предчувствиями, он припелся на Фонтанку и, к удивлению своему, узнал, что по личному указанию государя произведен в полковники. Феерическая карьера: за неполный год перескочить через две ступеньки! О Зинаиде Андреевне никто не вспомнил, будто ее и на самом деле никогда не было. «И не было», — решил для себя Додаков.

Сослуживцы встретили его как победителя: все уже знали о международной полицейской акции, развертывающейся в Европе, и следили за ее перипетиями, как за гонками на ипподроме. Даже посыпавшиеся одно за другим сообщения о провале операции неожиданно обернулись для новоиспеченного полковника благом: вот, пока Додаков был в Париже, все шло как по маслу, а стоило ему уехать, и Гартинг все испортил!

В таком виде и изложил свою точку зрения любезно принявший Виталия Павловича директор департамента. Максимилиан Иванович поинтересовался мнением полковника о заведующем ЗАГ, и Додаков, в душе мстительно наслаждаясь, сухо и деловито ответил:

— Самовлюбленный и недалекий чинуша, ставящий свои личные интересы выше интересов империи.

— Я рад, что наши мнения совпадают. Пора, давно пора подыскать ему замену.

Трусевич выразительно посмотрел на полковника, но Додаков сделал вид, что не понимает прозрачного намека. «Нет уж, увольте... Хватит с меня Парижа!..»

Вскоре Додаков был вызван к Петру Аркадьевичу. Не без трепета входил он в апартаменты премьер-министра. Он видел Столыпина много раз и прежде, но еще не удостоивался личного внимания премьера и министра внутренних дел.

— Рад познакомиться, — любезно показал полковнику на кресло Петр Аркадьевич. — Весьма наслышан и весьма вами доволен.

— Я солдат. И лишь выполнял долг... — даже растерялся Виталий Павлович.

— Похвально. Весьма и весьма сожалею, что вынужден буду расстаться с таким энергичным и исполнительным офицером. Однако же надеюсь, что и на новом месте применения ваших способностей вы будете верны традициям корпуса и не порвете дружбы с министерством.

Додаков не понимал, куда он клонит, и предпочел промолчать.

— Государь хочет вас причислить к свите. Остаются незначительные формальности: на какую должность.

У Додакова заколотилось сердце:

— Готов на любую у стоп нашего великодушного монарха.

— Отрадно слышать. Подберем вам достойную. Не возражаете: офицером личной охраны государя?

— Не смел и мечтать о такой чести!

Столыпин тоже поинтересовался парижскими делами, спросил о Гартинге. Додаков понял, что министр крайне озабочен плохими вестями. Виталий Павлович слово в слово, с тем же наслаждением повторил фразу, произнесенную в кабинете директора департамента.

— И этому прохвосту мы вынуждены были дать действительного статского... — как бы

вслух подумал Петр Аркадьевич.

Додаков догадался: «Даже премьер не решился испросить у императора отмены решения».

В Европе провал следовал за провалом. Но здесь, в Петербурге, генерал Герасимов расстарался — выследил-таки инженера Красина. Получив донесение с Александровского, Виталий Павлович сам изъявил желание принять участие в аресте неуловимого революционера.

Теперь он ехал, чтобы вручить требование о выдаче: аргументированное, неуязвимое даже для самого придирчивого суда. Член ЦК преступного сообщества, руководитель боевых групп социал-демократической партии, непосредственный организатор тифлисской экспроприации — и прочее и прочее. Высока честь для инженера — сам жандармский полковник едет за ним. Можно было поручить любому ротмистру, тому же Петрову. Но Додаков взялся доставить Красина сам. Он начинал — он и закончит. Это последнее его дело по департаменту. С будущей недели он переезжает в Царское Село, офицером свиты...

...Все складывается так блестяще. Но почему-то в душе пустота, все постыло, и как от оскомины сводит челюсти. Не попадись под руку тот заклевавший носом солдат, он беспричинно избил бы любого другого. Сейчас приедет в Выборг, заполучит этого инженеришку — и сразу же назад. Вечером будет уже в Петербурге. И напьется, напьется до положения риз!..

За окном набегали и уходили назад сосняки и ельники. Поезд притормаживал на станциях. Названия одно нелепей другого: Усикирко, Перкъярви, Кямьяря... Додаков сверился по карте. Сейчас Сяйние, а следом уже и Выборг.

Состав постоял на станции две минуты. Ударил колокол. Дал гудок паровоз. Поезд начал набирать ход. Слева потянулся темный глухой ельник. Додаков посмотрел в окно напротив. По другую сторону полотна стеной стояли березы. Проплыл домик-куб путевого обходчика. На белой стене черные цифры: 176. Дорога пошла петлей — наверно, в обход топи. Из купе был виден чуть ли не весь состав: первыми за паровозом желтые вагоны, потом синие, за синими зеленые. Его арестантский вагон был последним...

Они прибыли на место, когда уже стемнело. Предупрежденный Эйваром машинист сбавил ход у поста 176, и они спрыгнули на насыпь. Товарняк прогрохотал, подмигнул на прощанье красным глазом стоп-фонаря. Все они были в промасленных, пропитанных гарью робах железнодорожников, с тяжелыми сумками, полными инструментов, с ломami и кувалдами.

Обходчик, тощий мужичонка с выщипанной бородой, понял их сразу.

— Только просит, чтобы связали и засунули в рот кляп, — перевел Эйвар. — Скажет: «Лесные братья напали». А то прогонят с дороги.

— Ладно, свяжем, — согласился Антон.

На этот раз при осуществлении операции студент был признан главным — он предложил план, такой неожиданный и смелый. Конечно, может сорваться и этот. Тогда осуществят прежний, с нападением на конвой по пути от тюрьмы к вагону, Герман Федорович, Ваню, Ладо и другие боевики вместе с финскими товарищами. Если сорвется этот...

Домик обходчика был внутри еще меньше, чем казался снаружи: всем и сесть-то негде. Да и некогда было рассиживаться. Вынув из сумок инструменты, они вышли на полотно.

Даже днем на линии Териоки — Гельсингфорс движение было небольшим, а ночью поезда вообще не ходили. Парни выбрали участок пути на самом крутом повороте дороги и приступили к работе. Если бы кто и посмотрел со стороны: рабочие-путейцы ремонтируют полотно.

— Юкси... одна рельса мало, — сказал Хейно.

— Да, — поддержал смазчика Карл. — Смогут отогнать на станцию и перевести на встречный путь.

- Тогда надо один рельс спереди, один сзади.
- А успеем? Если увидят, будут стрелять.
- Надо успеть. Трое впереди сбросят, а двое сзади, у них будет больше времени.
- Так нас же всего четверо.
- Попросим и обходчика подсобить. А потом свяжем.

Хейно переговорил с мужичонкой. Тот закивал бородой.

Костыли сопротивлялись, не желая вылезать из промасленных крепких шпал. Антон вырывал костыли, отвинчивал тяжелым ключом соединительные болты. Стер в волдыри, в кровь руки, взмок, хотя ночью приморозило. Звезды светили по-зимнему высоко и колюче.

— Сколько должно пройти с утра составов? — спросил Антон. — Если оставим по два костыля и по болту, выдержат?

— Кюлля! — кивнул, выслушав перевод, обходчик. — Кюлля!

Снег на насыпи стоял. Но в кюветах и в лесу он был глубокий, зернистый.

— Надо наломать еловых лап — прикрыть место, куда сбросим! — по ходу вносил уточнения Путко.

— А вдруг они решат — по шпалам или по лесу!

— А это, товари, зачем? — улыбнулся от ушей до ушей Хейно, доставая из сумки круглую черную бомбочку.

— Молодец, друг! Я не учел.

Закончили с одним рельсом, отошли на несколько сот шагов назад и на встречном пути принялись за второй. К рассвету все было подготовлено. Мужичок вернулся в свою будку, а они забрались подальше в лес, разожгли костер, вскипятили чаю, испекли картошку. И стали ждать, вслушиваясь.

Прошел товарняк, груженный углем и лесом. Тяжелый, удары его колес заставляли стонать рельсы. Потом протарахтел утренний пассажирский. Обходчик проверил, как держат рельсы, прикрепленные к шпалам вместо полусотни костылей всего на пяток. Проследовали встречный гельсингфорский, еще несколько товарных. Карл, на ходу вскочив на подножку товарняка, шедшего из Выборга, уехал на станцию Сяйние. Там он должен был подсесть на петербургский поезд — тот, с арестантским вагоном.

Время шло. Если петербургский не опаздывает, через четверть часа...

Со стороны Сяйние послышался приглушенный расстоянием гудок.

Пора!

Хейно и Эйвар ушли вперед. Антон остался один. От волнения у него шумело в ушах. Он то и дело высовывался из-за дерева: не идет ли?

Над лесом за клубил, приближаясь, растягиваясь шлейфом, густой дым. Показался паровоз. Антон начал пробираться сквозь лес, проваливаясь в рыхлый снег, ближе к домику обходчика. Поезд шел по высокой насыпи. Студент увидел, как по крышам к арестантскому вагону бежит Карл. Вот он достиг предпоследнего тамбура и скрылся, будто нырнул. Хорошо, что на подножке нет часового.

Состав уже миновал место, где стоял Путко. Паровоз скрылся за поворотом. Вслед за ним стали втягиваться и вагоны. А последний, будто притомившись, замедлил бег и, все еще продолжая катиться, отделился от состава и стал отставать. Но вот и он скрылся за поворотом.

Антон выбрался на насыпь и что было духу побежал к будке обходчика. Мужичонка уже торопился ему навстречу. Сопя, кряхтя, отдуваясь, они, каждый со своего конца, начали откручивать болты, крепящие рельс, вырывать из гнезд оставшиеся костыли. А потом подцепили ломом, как вагами, стальную, неподъемной тяжести полосу и сдвинули ее со шпал. Рельс подался, потом прянул с откоса, сбивая гравий, и погрузился, потонул в снегу. Теперь забросать сверху, чтобы не было видно, где он похоронен, воткнуть ветви, будто это поросль елок, и бежать к будке.

В будке Антон крепко, по рукам и ногам, связал обходчика, сунул ему в рот тряпку, опрокинул стол, табуретки и выскочил, оставив распахнутой дверь.

Ели за окном уходили назад все медленней, перестук колес доносился все реже, тише. Какая еще остановка? Додаков недоверчиво покосился на карту. Никакой станции от недавней Сяйние и до самого Выборга обозначено не было. Полковник посмотрел в окно. Только ели. А в противоположном окне только березы. И дугой уходит за лес стальная сверкающая колея. Но впереди, на повороте, ни паровоза, ни вагонов нет! Что за наваждение?

Он побежал в тамбур. Солдат испуганно вскочил, вытянулся, взял на караул.

— Отпирай, дурак!

Додаков выскочил на ступени.

Арестантский вагон один-одинешенек стоял в окружении молчаливого леса. Тишина была такая, что звенело в ушах.

— Прапорщик! Поднимай всех на ноги! — крикнул Додаков начальнику наряда. — Наш вагон отцепился от состава!

— Слушаюсь, вашвысокблагородь! — прапорщик был молодой, ревностный. — Прикажете послать на пост? Там должен быть телефон.

— Да, одно отделение вместе со мной на пост. Второе вперед, пусть осмотрят путь!

В домике поста Додаков увидел связанного, с кляпом во рту, обходчика. Мужик задышался, из глаз его катились слезы.

— Что произошло? Отвечай, негодяй!

Он что есть силы тряхнул мужика. Тот испуганно залепетал.

— А, проклятье! Тарабарский язык! Кто понимает этого олуха?

— Он говорит: «Напали лесные братья».

— Когда успели? Только что его рожа торчала с флажками! Тут что-то не так. Тащите его в вагон. Где телефон?

Он яростно покрутил ручку. В трубке была ватная глухота.

— Линия оборвана, вашвысокблагородь!

— На встречных путях тожа само, вашвысокблагородь, нема рельса!..

Виталий Павлович злобно и растерянно покрутил головой, будто вывинчивая шею из ворота. Кадык его ходил вверх-вниз.

— Сволочи! Делали с головой: вперед ни по этой, ни по той колее... Только назад.

Он пошел к вагону. По дороге осмотрел насыпь с выкорчеванным рельсом на встречном пути. «Рассчитали, что паровоз можно на стрелке перевести на встречную колею... Где он, паровоз? Докричишься! Хоть беги в Териоки или в Белоостров...»

Он зашагал мимо вагона, осмотрел разобранный путь впереди, оглядел ров, усаженный елочками. «Сюда его сбросили, рельс. Не вытащишь. Да без костылей и инструментов и не установишь».

Додаков поднялся в вагон. Приказал:

— Привести обходчика.

Оглядел его холодным, скребущим взглядом:

— Ну!.. Спросите, сколько отсюда до Выборга.

— Он грит, верст двадцать... Дороги нет, по лесу аль по насыпи.

«По насыпи... — подумал Додаков. — А «лесные братья» там, — он с тоской посмотрел на глухой ельник. — Снимут по одному...»

— Когда пойдет следующий поезд или встречный?

— Он грит: вечером, вашвысокблагородь. Затемно.

«Все учли!..»

— На участке имеются запасные рельсы, костыли, подкладки, инструмент?

— Он грит, никак нет. На станции, как ейную... Сяй... яй... тьфу, в глотке застряло.

— Сколько до станции?

— Десять верст.

— Та-ак... Скажи, что сейчас я этого подлеца вздерну на сосне!

Мужичонка выслушал, понуро опустил голову. Крупные слезы катились из его глаз на усы и редкую бороденку.

«Вздернешь — потом не расхлебашься с их сенатом, вой поднимут на всю Европу. Эх, не наша это земля, чужая!.. — Додаков отвернулся. — Но что же делать? Если даже и пешком, доберешься до Выборга к ночи. Если доберешься... Как ни крути, надо ждать следующего поезда».

Он поглядел на портфель, лежавший на багажной полке. «А куда, собственно, торопиться? Времени в запасе довольно. Никуда инженер не денется».

— Выбросьте этого хама вон из вагона! — распорядился он и, задвинув дверь купе, растянулся на скамье. Ноги его не помещались, он согнул их циркулем.

Прикрыл глаза: окровавленные тонкие руки на снегу, пальцы судорожно ломают лед. «Сейчас... Сейчас...» Нет, не лед — это она среди булыжников, раздавленная сапогами. Лицо превратилось в месиво. На месиве только безумные, выкатывающиеся из орбит глаза. «Сейчас!.. Сейчас!..» Да нет же, она висит на веревке. Лесной сумрак, ели и березы. Да, да, как это он не обратил внимания: с одной стороны поляны — только ели, а с другой — только березы. Она висит на веревке и пляшет. Нет, не бьется, а танцует. Так ножкой, так!.. А деревья сверкают огнями, как на балу. Где был тот бал? На ее пальчике сиреневый александрит. И чья-то ухмыляющаяся смуглая рожа... Нет, это она на веревке. Она танцует в воздухе. «Сволочь! — кричит поручик Петров. — Сволочь!» Как грубо! Петров бросается к ней, обхватывает ее за ноги и повисает на них. А она насмешливо улыбается, только глаза полны безумного ужаса. «Сейчас... Сейчас...»

Виталий Павлович открывает глаза. Опять, опять все тот же сон, как наваждение. Этот сон преследует его. Но Додакову даже не хочется признаться самому себе — он больше не пугается сна. Наоборот, он готов смотреть его снова и снова с каким-то черным мстительным удовольствием. Сон доставляет ему наслаждения больше, чем воспоминания о ночах, проведенных с Зиночкой. «Не становлюсь ли я параноиком?» — думает он и снова закрывает глаза.

«Бора-1» отдал швартовы и теперь как спросонья, нехотя разворачивался в заливе. Утро было свежее и солнечное. Впереди по носу поднималось красногранитное здание вокзала, за ним, будто надвигаясь, — гора Папуланпуисто с вышкой на маковке. Пароход плыл вдоль набережной. На станции, на путях, дымил паровоз со свитой разноцветных вагонов: первый поезд на Петербург. Сновали маневровые крикуны. В дальнем тупике темнело зеленое пятно арестантского вагона.

Антон и Леонид Борисович стояли на верхней палубе, опершись о поручни, и смотрели на город.

Студент вернулся в Выборг под утро. Ровно в восемь Красин был приглашен в тюремную канцелярию.

Сейчас они стояли и молчали. Антон искоса поглядывал на Леонида Борисовича, на его изможденное, с запавшими щеками лицо, неровно остриженную бороду и черные провалы под глазами, на белые виски. И его сердце теснилось болью, любовью и торжеством. Красин вопросительно поглядел на студента. Путко смутился и отвел взгляд.

По набережной шла группа. Впереди — высокий офицер в голубой жандармской шинели. Чуть поотстав — еще один, чином, видать, пониже. А уже за ними — несколько солдат и унтеров. Что-то знакомое почудилось Антону в фигуре высокого офицера. Он перегнулся через поручни. Палубу и набережную разделяло меньше полусотни метров. Офицер полуобернулся к идущему позади, теперь его лицо было обращено к пароходу. Костлявое, обтянутое на скулах, с прорезью тонкого жесткого рта, с хрящеватыми ушами.

— Он! — крикнул Путко. — Это он!

— Кто? — спросил Красин, проследив взглядом.

— Убийца моего отца! Я застрелю его!

Холодная черная вода отделяла пароход от берега. «Бора» начал медленно



разворачиваться, полынья расширилась.

Красин схватил юношу за руку.

— Я убью его! — снова крикнул в отчаянии Антон. И, будто прорвало, начал рассказывать Леониду Борисовичу обо всем, что произошло за эти месяцы — и с ним, и с его товарищами, и с Ольгой; рассказал о ночном приходе Зиночки, о ее признании, о Додакове и вице-консуле Гартинге.

— Возьми себя в руки, мой мальчик, — задумчиво и ласково проговорил инженер, положив руку на плечо юноши. Прикосновение было добрым, отцовским. Антон почувствовал, как защипало в носу.

— Ты еще встретишься с этим Додаковым и сведешь с ним счеты. Обязательно встретишься. А что касается Гартинга... Ты даже представить не можешь, как это важно. Хотя надо все хорошенько проверить и перепроверить. В Париже есть великий специалист по такого рода личностям. И если это правда!... — он недобро усмехнулся и потер указательным пальцем переносье. — Как говорит наш Семен: «И из яда змеи делают лекарство».

— Из змеи! — воскликнул студент. — Сколько змей, как в террариуме! Разве это все случайно: с Ольгой, и с Феликсом, и с Семеном?

— Да, чувствую, заполз гад в наши ряды. Но кто? Я не имею права никого подозревать, пока не буду уверен. Мы должны верить друг другу.

Леонид Борисович подставил лицо ветру. Бриз трепал его волосы:

— Но когда узнаем — страшен будет наш суд.

Он повернулся к Антону:

— Ничего, мальчик, ничего... На Руси не все караси, есть и ерши! — он вспомнил слова Феликса и усмехнулся. — Ничего они сделать не смогут, эти гады под ногами. Ничего! Они хотели бы погрузить Россию во мрак. Но нет — ночь не наступит!

Он обнял студента. Притянул к себе. Антон был выше Леонида Борисовича.

— А ты молодец, сынок! Ты стал настоящим революционером и боевиком. Помнишь, у Шиллера: «Лишь час опасности — проверка для мужчины».

Пароход втягивался под створы разведенного моста, соединяющего Выборг с замком. Впереди лежали черно-синие воды Балтики.

В эти минуты Додаков, оставив сопровождающих в вестибюле, поднялся по мраморной лестнице на второй этаж, приказал адъютанту доложить о прибытии офицера из Санкт-Петербурга. Адъютант подобострастно распахнул дверь:

— Губернатор уже ждет! Он рад вас принять, господин полковник!

Барон Биргер Густав Самуэль фон Троиль был любезен до слащавости. Вышел из-за стола, приказал принести коньяк и кофе.

«Ишь, коньяком угощает!.. Хочет загладить вину за эту историю на дороге, — подумал Виталий Павлович. — Ну уж нет, ночь в вымерзшем вагоне я тебе не прощу...»

Додаков встал, открыл портфель и, свысока поглядев на барона, выложил перед ним украшенные печатями с двуглавым орлом бумаги:

— Господин губернатор, вот соответствующим образом оформленное требование о выдаче инженера Красина Леонида Борисова.

— Да, да... — рассеянно посмотрел на гербы и печати фон Троиль. — Все в полном порядке. — Барон ногой отодвинул от стола кресло, прижался к спинке его и, не скрывая насмешки, оглядел полковника: — Но инженера Красина Леонида Борисова у нас уже нет.

— Простите, не понял: как это нет?

— В соответствии с предписанием Императорского Финляндского, сената от 17 ноября 1906 года, по истечении тридцатидневного срока ареста, за неполучением вышеозначенных документов, — он показал на гербовые бумаги, — на законном основании сын надворного советника инженер Красин освобожден. Сегодня, в восемь часов утра.

— Как вы посмели! — взорвался Додаков. — Неслыханно! Срок истекает завтра!

— Весьма сожалею, полковник. Но у вас в Санкт-Петербурге ошиблись, видимо, в счете. В марте тридцать один день.

Додаков смотрел на губернатора ненавидящими глазами.

Но барон фон Троиль не боялся. Он знал, что там, в Гельсингфорсе, в сенате, им будут довольны.

Пароход «Бора-1» уже выходил в Балтийский залив.

## ГЛАВА 14

Известие принес все тот же Ростовцев. Он как-то странно, искоса поглядел на шефа и осторожно сказал:

— Я был у своих и услышал разговор. Один из эмигрантов сказал: «С этим Гартингом пора кончать». Другой кивнул и подтвердил: «Да, только как? Втихомолку?»

— Вот оно что!.. — Аркадий Михайлович невольно покосился на окно. — Каким же путем «кончать»?

— Об этом речи не шло. Просто: кончать, и все.

Заведующий ЗАГ задумался. Потом спросил:

— Как говорилось? Кончать с вице-консулом?

— Нет. Была названа ваша фамилия.

«Откуда они узнали? Ну, Генрих Бэн, чье имя попало на страницы газет, — куда ни шло. А как они разузнали о моей деятельности? — Аркадий Михайлович с опаской посмотрел на осведомителя. — Подвоха можно ожидать от каждого. Нет, Ростовцеву было бы невыгодно... Надо снова перетрясти всю агентуру. И принять некоторые меры».

— Благодарю вас, — Гартинг изобразил на лице беспечную улыбку. — Эти угрозы меня мало пугают. Моя главная забота — пресечение деятельности политической эмиграции.

Гартинг не без ехидства вспомнил, как только на днях отправил в Петербург донесение:

«Имею честь доложить Вашему Превосходительству, что известный социал-демократический деятель, носящий кличку «Никитич», а фамилия настоящая Красин, прибыл в Париж и активно включился в работу большевистской группы ЦК...»

Да-с, и вы там, в столице, не очень-то расстарались!..

Он посмотрел на Ростовцева:

— Да, моя первая задача — политэмигранты. И подготовка к предстоящему посещению Европы его величеством государем императором.

Он сделал паузу:

— Хотя, конечно, прошу более конкретно разузнать и о планах злоумышленников против меня, мой дорогой друг.

Гартинг посмотрел Ростовцеву в лицо. Что-то не понравилось Аркадию Михайловичу то ли в выражении его глаз, то ли в интонации голоса.

Интуиция и на этот раз готова была прийти Аркадию Михайловичу на помощь. Действительно, Ростовцев знал куда больше, чем говорил. Но он рассудил логично: если хитроумный Гартинг избежит опасности, он не забудет учесть, что первым предупредил о ней не кто иной, как он, Ростовцев. Если ловушка захлопнется, ну что ж, поделом! Ростовцеву осточертело пренебрежение и высокомерие шефа, не устающего напоминать, что Ростовцев был перекуплен им у немецкой осведомительной службы. Для Гартинга он все еще в коротких штанишках, хотя не может сетовать на жалование и награды. Не беда, без Ростовцева не обойдется ни один будущий заведующий ЗАГ!.. И, простодушно глядя в лицо своего начальника, Ростовцев сказал:

— Можете на меня положиться. Как только узнаю, сразу сообщу.

Гартинг же не прислушался к внутреннему голосу, сигналившему об опасности. Не прислушался прежде всего потому, что был поглощен в эти дни иными заботами: посол Нелидов уведомил весь аппарат, что в ближайшие недели предполагается официальный визит государя во Францию. Аркадий Михайлович по своим каналам был еще ранее предупрежден, что Николай намерен, помимо Парижа, осчастливить своим посещением также Великобританию и Германию. Заведующему ЗАГ необходимо принять свои меры к обеспечению безопасности царя.

Эта работа была по натуре Гартингу. К тому же результаты ее сулили заслонить недавние неудачи: за визитом императора, как в былые времена, должны были последовать награждения и чины...

Все же без торопливости Аркадий Михайлович в числе второстепенных отправил на Фонтанку донесение, в котором пересказал сообщение Ростовцева об угрозах ему лично. И попросил посла принять его для конфиденциальной беседы.

Ночью, уже дома, Аркадий Михайлович, прежде чем пройти на половину Мадлен, задержался в кабинете.

Что означает оброненное эмигрантом слово «кончать»?.. Он понимает, что опасность постоянно угрожает чинам департамента — уже в силу самой их деятельности в стане врагов. А ему разве не угрожала — и тогда, в институтах или в мастерской бомб, если бы «сотоварищи» узнали об истинной его роли?.. Но чем выше поднимаешься вверх, тем условней становится эта опасность, тем больше различных сил готовы ее предотвратить. Его персону защищают и дипломатический иммунитет, и престиж империи, и окружающая его незримая охрана.

Он достает из внутреннего кармана маленький браунинг с перламутровой рукояткой. Игрушка. Дамский. Из такого можно убить, выстрелив только в упор, да и то точно прицелившись в висок или в сердце. Аркадий Михайлович отжимает пружину, пальцем выдавливает на зеленое сукно маленький латунный патрон с никелированной головкой — пулей. Неужели такого блестящего кусочка металла размером в полногтя достаточно, чтобы разом оборвалось в с е: Мадлен, дети, этот кабинет?.. Какой-нибудь негодяй в упор... Чушь, невозможно!.. Да, расшалились нервы в последнее время. Надо попросить директора об отпуске. Конечно, после поездки императора. Проводит государя — и туда, на Лазурный берег, к благословенному морю! Мадлен уже наскучило в Париже. Да и ему самому осточертели непременные визиты к ее старикам. Сейчас, в постели, они обсудят предстоящее путешествие.

В один из следующих дней Гартинга пригласил посол. Нелидов был приветливо-холоден, как всегда. Хорошо, он при ближайшем удобном случае поделится слухами о подготовке покушения на вице-консула с президентом совета министров Клемансо, чтобы тот принял к сведению. Непременно. Однако, к сожалению, Клемансо в последнее время несколько изменил свое отношение к послу. Видимо, его напугала та история с арестами эмигрантов, он боится Бриана, Жореса и всей этой газетной свистопляски. Да еще заботы с предстоящим приездом его величества... Нет, безусловно, безопасность личной персоны вице-консула будет обеспечена. Посол непременно поставит президента совета министров в известность.

Прошло еще несколько дней. Ни от Ростовцева, ни от других осведомителей не поступало подтверждения нелепым слухам. И чувство тревоги развеялось.

Этим утром, проспав — нервы, все нервы! — а потому отказавшись от непременного кофе, Аркадий Михайлович спешит в посольство.

Привратник Кузьма, выпятив грудь и вскинув бороду, распахивает перед вице-консулом дверь. Но смотрит ему в лицо со странным любопытством. «Хам, — думает Аркадий Михайлович. — Негладко выбрит я, что ли, или на щеке след от помады?..» Однако

не достаивает его вопросом.

Но и в канцелярии почтительно вскочившие из-за столов делопроизводители тоже обращают на шефа странные взгляды, он чувствует их на спине, четким шагом проходя в кабинет.

На зеленом поле стола лежат, как всегда, приготовленные к просмотру газеты. Он прочно усаживается в кресло и протягивает руку к стопке. «Юманите», наиболее интересующая его социалистическая газета, лежащая всегда сверху, почему-то развернута. Аркадий Михайлович берет ее, и первое, что бросается ему в глаза, как хлыстом — наотмашь, в кровь, ударяет его по лицу, — крупный, жирный заголовок:

«Ландезен-Гартинг... Студент-провокаатор... Мастерская бомб... На виселицу... орден Почетного легиона... Каторжник — начальник русской политической полиции...»

В глазах Аркадия Михайловича потемнело. Показалось, остановилось сердце. Он втянул в себя воздух. Минуту ошалело, вдавив тело в мягкую спинку кресла, оглядывал кабинет. Потом нашел в себе силы, распрямился, снова взял в руки газету, начал читать.

Газетная заметка была не такой уж и большой, и заголовок не таким уж и броским. Но помещена она была в центре страницы так, что каждый обратит внимание. И в заметке этой сухим языком протокола излагалась вся его биография — как если бы кто-то день за днем вел эту летопись. С того момента, когда он — нищий студент — вошел в кабинет жандармского ротмистра-следователя свободолюбивым народовольцем, а вышел платным осведомителем Петербургского охранного отделения. Ничего не было опущено: ни его доносы на однокашников в Петербурге и Риге, ни бегство за границу и поступление на службу в берлинский филиал ЗАГ. Но особенно подробно рассказывалось об инспирированной Ландезеном мастерской бомб в Париже, результатом чего была выдача на растерзание царизму десятков революционеров. Очень кратко говорилось о роли Гартинга в деле Валлаха. Зато в конце заметки безвестный автор спрашивал: неужели французскому правительству не известно или безразлично, что вице-консул российского императорского посольства в Париже — начальник русской тайной политической полиции и что этот человек, кавалер множества российских и иностранных орденов, в том числе ордена Почетного легиона, которого могут быть достаиваемы лишь самые выдающиеся из иностранцев за особые заслуги перед республикой, — не кто иной, как Ландезен, приговоренный судом французской исправительной полиции к пяти годам каторги?

Откуда узнали? Как посмели? О, как он ненавидит этих газетчиков, этих социалистов! Дай ему волю, он бы их!.. Сжег, колесовал, задушил каждого своими собственными руками!.. Но слово не птица... Что же делать?

Первая мысль метнулась к дому. Если узнает Мадлен, если прочтут ее родители... Хвала господу, уж «Юманите»-то они не читают.

А здесь, в посольстве? Судя по рожам этих писаришек, уже смакуют. Послу, получающему ежедневно обзор печати, доложат непременно. Надо увидеть посла еще до того, как он прочтет обзор и составит свое собственное мнение.

Гартинг вышел из кабинета и, сурово глядя прямо перед собой, не замечая ничьих повернувшихся в его сторону лиц, прошел через двор в апартаменты Нелидова.

Посол был уже в своем кабинете. Перед ним лежала «Юманите», причем заметка была жирно очерчена красным карандашом.

— Ваше превосходительство, разрешите мне...

Посол движением руки оборвал Гартинга и, глядя поверх его головы, холодно сказал:

— Я не желаю вдаваться в подробности, но в целом это выступление в печати я рассматриваю как крайне недружественный акт по отношению к посольству Российской империи накануне высочайшего визита, и я приму необходимые меры, дабы пресечь его. Через час мне назначен прием у премьер-министра Клемансо. Я больше не задерживаю вас, милостивый государь.

«Еще не все потеряно... Не все... Не все... — успокаивал себя Аркадий Михайлович, нервно вышагивая по ковру своего кабинета, — Неужели возможно вот так, одним ударом... Нет, нет! Посол сразу поставил правильный акцент: тут дело престижа всего государства, всей империи!»

Посол вернулся от Клемансо. Председатель совета министров сам крайне обескуражен. Он попытается выяснить и по возможности принять меры. Но следует учесть, что Франция — не Россия, и он имеет очень малое влияние на прессу.

Чистоплюи! Что их премьер, что сам посол! Не могут нажать, пригрозить!.. Гартинг решил принять меры по собственным каналам. Он позвонил прокурору Монье.

— Одну минуту. Кто спрашивает?

— Гартинг из русского посольства.

— Одну минуту...

И после затянувшейся паузы:

— Просим прощения, мсье, Монье нет и сегодня не будет.

Аркадий Михайлович звонит следователю Флори.

— Кто спрашивает? — и после паузы: — К сожалению, соединить не можем — нет и сегодня не будет.

Гартинг снова крутит ручку аппарата:

— Мне — директора розыскной полиции мсье Мукена.

— Нет и сегодня не будет.

«Сволочи! — он бросает трубку на вилки рычага. — Небось часы с бриллиантами в кармане... Сволочи! Затаились! Ждут, что будет дальше».

Он едет домой. По дороге думает: «Рано или поздно могут узнать... Как-то нужно подготовить... Господи, пронеси!..»

Дети только вернулись с прогулки, шалят на парадной лестнице, хохочут, не обращая внимания на увещевания гувернантки.

Аркадий Михайлович проходит на половину Мадлен. Жена переодевается в гардеробной. Ее изображение множится в зеркалах, расположенных под углом друг к другу. Он целует ее в плечо. Кожа Мадлен пахнет свежестью. Во множестве зеркал много мужчин целуют женщин.

— Ты не забыл, милый, мы приглашены...

— Я очень устал, дорогая. И у меня неприятности на службе. Небольшие, правда. Ваши местные социалисты решили, как у нас в России говорят, бросить тень на плетень...

— Не хочу слушать ни о каких делах! — шаловливо зажимает ладонями уши жена. — Оставь заботы на завтра. Едем!

«Боже, как с тобой хорошо! — думает Аркадий Михайлович, глядя на жену. — Пусть будет по-твоему, оставим заботы на завтра».

Назавтра разражается буря. Фамилия Гартинга — на первых страницах всех газет. Не только в заголовках — в аншлагах, аршинными буквами. Такого политического скандала в Париже не было давно. Каждая газета изощряется на свой лад, но все — от прогрессивных до архиправых, от респектабельных до бульварных, даже до тех, кому он, Гартинг, из рептильного фонда ежемесячно анонимно переводил немалые суммы — даже они! — все сходятся в одном: из-за попустительства нынешнего правительства и лично Клемансо Париж превратился в пристанище иностранных резидентов, в их числе и таких беспринципных отъявленных негодяев, как беглый каторжник — он же кавалер ордена Почетного легиона — Аркадий Гартинг!

На следующий день сенсация уже в центре внимания газет всей Европы. Самые правые и те всхлипывают: неужели русское правительство не могло найти шпиона из «порядочных», а не навязывать Франции уголовного преступника, потребовав для него вдобавок Почетного легиона? А в самом Париже, в парламенте с запросом по поводу Гартинга и вообще о существовании бюро тайных политических полиций других стран на территории Франции

выступает депутат, лидер социалистов Жан Жорес. Имя Гартинга он связывает с «царем-убийцей, подкрадывающимся на корабле-призраке к европейским берегам».

Премьер-министр Клемансо торжественно заявляет, что отныне и на будущее он не допустит деятельности иностранных резидентов на территории Франции. Относительно же Гартинга-Ландезена правительство республики уже направило ноту России с требованием исчерпывающих объяснений.

В тот день, когда его имя стало мишенью всей французской прессы, Аркадий Михайлович домой не поехал.

Утром первый телефонный звонок был от тестя, отца Мадлен.

— Я не верю всей этой несусветной чуши, конечно же, эти голодные шелкоперы врут, — с одышкой сипел в трубку старый аристократ. — Муж моей дочери — каторжник и сыщик! Ха-ха, веселые штучки!.. Вы должны выступить с заявлением и подать на всех этих прохвостов в суд!

— Да, да, непременно, — ответил он. — Однако начинать перебранку с борзописцами — ниже моего достоинства. В самое ближайшее время я жду из Петербурга официального заявления правительства Российской империи.

Его энергичный ответ вроде бы удовлетворил старика. Но что будет дальше? Конечно же, Петербург выступит с решительным демаршем, затронута честь не лично его, Гартинга: поставлен под угрозу приезд императора. Но скорее бы, скорей, пока скандал не разросся до катастрофических размеров!

Он заперся в кабинете, на звонки не отвечал, а вечером, отпустив экипаж, пошел в город. Как простолюдин, как бездомный, пешком, до изнеможения бродил по улицам, пока не свалился обессиленный на кровать в каком-то отеле.

Трусевич получил из Парижа от «Данде» лаконичное донесение:

«Шум, поднятый в связи с разоблачением Гартинга в прессе и всех без исключения кругах французской общественности — от социалистов до роялистов — ставит под угрозу не только визит государя в Париж, но и сами отношения между Францией и Россией. Необходимо срочно предпринять меры на самом высоком уровне. Позволю себе высказать свой взгляд на характер этих мер...»

Максимилиан Иванович пробежал последние строчки и, на что уж был искушен, содрогнулся: он-то знал наверняка, что этот самый «Данде» — не кто иной, как ближайший помощник и обласканный сотрудник Гартинга. «Каин! Иуда, вскормленный на груди!» Но дамоклов меч навис и над самим Максимилианом Ивановичем. И ему ничего не оставалось, как доложить о донесении «Данде» Петру Аркадьевичу.

Столыпин испросил внеочередной аудиенции у государя.

Николай принял его, стоя у распахнутого окна, с любимым «манлихером» в руке, не предложив сесть и лишь мельком взглянув на вошедшего. Взгляд его цепко выискивал в ветвях ворону.

Стараясь смягчить обстоятельства, Петр Аркадьевич сообщил о происшествии в Париже.

— Гартинг?.. Гартинг?.. Какой еще Гартинг?..

На мгновение Николай скосил на премьера глаза, и они блеснули сталью.

Столыпину стало зябко.

Царь уже сам знал все доподлинно — отнюдь не от служителей департамента.

Увидев наконец птицу, он вскинул винтовку, прицелился и выстрелил.

После дурно проведенной ночи в отеле, побрившись в какой-то парикмахерской, чувствуя себя разбитым, постаревшим на сто лет, Гартинг все равно прибыл на службу без

трех минут восемь.

И тотчас был вызван к послу.

Нелидов, как и во время предыдущей беседы, глядел поверх головы Аркадия Михайловича. За его креслом, как и в кабинете заведующего ЗАГ, висел портрет царя в полный рост.

Посол, не подав руки, не пригласив сесть, а, наоборот, встав сам, левую руку откинув за спину, а правой держа перед подслеповатыми глазами лист телеграфного бланка, ледяным голосом сказал:

— На ноту правительства Республики Франции, потребовавшего объяснений относительно вашей персоны, премьер-министр Российской империи в соответствии с монаршей волей ответил следующее:

«Правительство России само было в данном случае введено в заблуждение, так как настоящая самоличность действительного статского советника Гартинга была ему неизвестна».

Единственный островок в этом море ненависти — его дом, его жена, его дети. Мадлен все поймет и простит. Они сегодня же уедут из Парижа, уедут подальше, хоть на край света.

Дверь открывает молчаливо-услужливый камердинер. Едва вступив в дом, Аркадий Михайлович чувствует, что он пуст.

— Где швейцар, где люди?..

— Госпожа рассчитала всю прислугу... — склоняет седую голову старый служака.

Гартинг взбегает по парадной лестнице, чувствуя, как обмякают ноги, как петлей душит одышка. Он бросается на половину жены. Распахнуты двери, пусты комнаты, перевернуто всё в гардеробах — будто взвод жандармов производил обыск. Пусто и в детской. Полосатые матрацы кроваток — как халаты каторжников.

Тяжело шаркая, он идет к себе. Дверца одежного шкафа приоткрыта. В глубине шкафа мерцают на парадном мундире золотые кресты и бриллиантовые звезды. Он со злобой щурит глаза и проходит дальше. Его домашний кабинет — уменьшенная копия рабочего кабинета в посольстве.

Он входит в кабинет и еще от двери видит на сукне стола белый лист. Мгновение ему чудится, что это тот самый — с водяными знаками, с черными крестами и головами.

Он пересиливает себя. Подходит к столу. Да, лист из той же пачки, с тем же водяным знаком Меркурия. Но на белом поле, от края до края, наискосок, почерком Мадлен, одно только слово:

«П р е з и р а ю!»

У него темнеет в глазах. Он хватает пальцами завитушку резьбы, обрамляющей доску стола. «Все... Это конец...» По какому-то второму каналу сознания его расчетливый ум подсчитывает: ордена отберут — ими был награжден не он, Ландезен, а мифический Гартинг; банковский счет арестуют, его самого схватят... пять лет каторги... скряться?.. конечно, уже следят... он стар, чтобы начинать все заново... он нищ, он беднее, чем тот золотушный студент из Пинска, решивший сделать блестящую карьеру... Расчетливый ум суммирует, подытоживает, а все его существо, каждая клетка, каждый нерв в нем отчаянии кричат: «Неужели все?..»

Он достает из бокового кармана пистолет — браунинг. Одна перламутровая пластинка, та, что была прижата к его груди, теплая. Он оттягивает затвор. Пружина обоймы подает в камеру латунный патрон. Маленькая никелированная пуля тупым носом входит в ствол.

Аркадий Михайлович поднимает браунинг и упирает ствол в висок. В сумеречном его сознании вдруг устремляются прямо на него косматые степные кони, и страшные всадники с гиканьем сотрясают копытами, развеваются на ветру бунчуки, и с ужасом видит он, что

вместо наконечников на копьях — головы.

Но он медлит, медлит... Он трусит? Неужели так дорога ему бесславно кончившаяся жизнь?.. А почему кончившаяся? Все — и преступление, и наказание — имеет срок давности... Срок давности... И если он истек... Но даже если истек, стоит ли все начинать сначала?..

Стеклообразным невидящим взглядом Гартинг обводит свой кабинет. Палец его костенеет на спусковом крючке браунинга.

## ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Долго не стихал в Европе политический скандал, вызванный делом Гартинга-Ландезена.

Буря пронеслась и над Петербургом, оставив свой след: ушел в отставку начальник столичного охранного отделения генерал Герасимов, так и не успевший свести счеты с ненавистным московским фон Коттенем. Распростился со своим директорским кабинетом на Фонтанке Трусевич. Но этот крупнейший провал международной полицейской акции, направленной на разгром большевистской эмиграции, и завершившийся неслыханным политическим скандалом, почти не отразился на самой системе полицейского сыска Российской империи — лишь на смену одним пришли другие «самоличности».

И после непродолжительной паузы, по одобрению министерством иностранных дел Французской республики необходимых документов, прибыл в посольство Российской империи новый вице-консул — он же чиновник особых поручений с Фонтанки Красильников — и сел в мягкое, обтянутое мерцающей кожей кресло в кабинете ЗАГ.

Правда, пришлось отказаться от официальных услуг кое-кого из лиц, чьи имена всплыли во время шумной газетной кампании. Например, от услуг старшего наблюдательного агента Генриха Бэна. Но отказаться лишь официально. С момента увольнения ему была положена ежемесячная пенсия в четыреста франков. На деньги департамента бывший старший филер открыл собственное бюро, на вывеске которого значилось: «Бэн и Сабмен. Дознание, розыск, частные наблюдения», и с прежним рвением продолжал выполнять задания российской охраны. (Стоит привести такую любопытную справку: уже после Февральской революции сыщик-ветеран обратился к Временному правительству с ходатайством об увеличении пенсии с четырехсот до пятисот франков «за свою 36-летнюю безукоризненную службу».)

Ушел в небытие Гартинг, но остались завербованные им секретные сотрудники «Пьер», «Серж», «Галкин», «Гретхен» и другие, и в их числе — провокатор Ростовцев, который и при новом шефе продолжал «освещать» работу заграничного Большевистского центра. На средства департамента полиции Ростовцев открыл в Париже издательство медицинской литературы. Прикрываясь деятельностью издателя, он мог, не вызывая подозрений у членов партии, совершать различные вояжи по заданию Петербурга и более свободно тратить деньги, заработанные предательством. И остались те же самые, только все более усложняющиеся задачи слежки за политическими эмигрантами, в первую очередь — за социал-демократами большевиками. Задачи эти и составляли существо деятельности заграничной агентуры. В том числе остались Красильникову в наследство от Гартинга и новому директору департамента в наследство от Трусевича дело о тифлисской экспроприации и пятеро арестованных: Ян Мастер, Ольга Кузьмина, Богдасарян, Ходжамирян и Камо.

В борьбе за спасение каждого из товарищей непосредственное участие принимал Владимир Ильич Ленин. Все, кроме Семена, так и не были выданы России. Спустя разное время под нажимом общественности этих стран, благодаря настойчивым требованиям



социалистических кругов местные власти вынуждены были их освободить.

Однако, несмотря на самые героические усилия, не удалось вызвать на свободу отважного Камо. 4 октября 1909 года по распоряжению прусского полицей-президента он был тайно доставлен на границу Германии с Россией и передан жандармским чинам империи.

А чем же завершилась история с пятисотрублевыми банковскими билетами? Из ста тысяч рублей российской полиции удалось заполучить всего лишь семнадцать с половиной тысяч. Иными словами, в руках большевиков остался 161 банковский билет на сумму в 80 500 рублей, помимо четырех пятисотенных, «обмененных» в Италии. По предложению Красина номера билетов были переделаны. Только с одним билетом произошел казус: первая цифра получилась меньше остальных. Леонид Борисович забраковал купюру, но в шутку сказал:

— Вы ее не уничтожайте. Спрячьте и сохраните для будущего Музея Революции!

Товарищи свернули билет, засунули в зеленый полуштоф, залили горлышко сургучом и закопали. Все остальные деньги были благополучно разменены и израсходованы на партийные цели.

Забегая вперед, скажу, что уже через много лет после победы Великого Октября бутылка эта была найдена. Ныне она — зеленоватого стекла, с глубоко вдающимся дном — выставлена в Музее Великой Октябрьской революции в Ленинграде. Тут же — банковский билет достоинством в 500 рублей под серией «АМ» № 66374. Первая цифра 6 действительно меньше остальных.

Антону так и не удалось окончить курс Сорбонны.

Однажды вечером по скрипучей лестнице в мансарду дома на рю де Мадам поднялся элегантный, по последней парижской моде одетый господин. Он постучал в дверь набалдашником палки и вошел, на пороге сняв мягкую шляпу.

— Леонид Борисович! Как я рад!..

Инженер бросил палку, скинул пальто.

— Так и живешь на селедке и чае?

— Ничего, уже привык, по третьему эмигрантскому! — улыбнулся студент.

— По дому не соскучился?

— А что? — насторожился юноша.

— Садись. Слушай. Надо ехать в Тифлис. Нужно помочь Семену бежать из тюрьмы. Ты теперь большой специалист по этой части! — Красин усмехнулся и потянул Антона за вихры. — Поедешь?

— Готов хоть сегодня!

— Вот и славно. Теперь уже, конечно, поедешь не по своему паспорту, товарищ Владимиров.

## ПОСЛЕСЛОВИЕ

Роман В. Понизовского посвящен одному из наиболее драматических эпизодов того периода в истории России, который наступил после поражения первой русской революции. К середине 1907 года царскому правительству удалось на время погасить вспышки народной борьбы. С особенно жестокими репрессиями обрушилось самодержавие на рабочий класс и его революционную партию — партию большевиков. В этот период были разгромлены многие крупные большевистские организации и профессиональные союзы пролетариата. Характеризуя разгул контрреволюции, разгул насилия и бесправия в годы столыпинской реакции, В. И. Ленин писал:

«Еще сильнее стал гнет капиталистов над рабочими, еще наглее беззакония и произвол чиновников в городе и особенно в деревне, еще свирепее расправа с

борцами за свободу, еще чаще смертные казни. Царское правительство, помещики и капиталисты бешено *мстили* революционным классам, и пролетариату в первую голову за революцию, — точно торопясь воспользоваться перерывом массовой борьбы для уничтожения своих врагов»<sup>20</sup>.

Однако и в этих невероятно тяжелых условиях партия продолжала работу по перегруппировке своих сил, по революционному воспитанию масс. Жестокий режим реакции затруднял деятельность большевиков. Их ряды стали покидать колеблющиеся или случайные «попутчики», примкнувшие к партии в разгар революции 1905 года. Но борьба продолжалась.

Духовное опустошение, идейный разброд, особенно в среде интеллигенции, вызванные неудачей революции, искусно использовались царскими охранными отделениями и жандармскими управлениями для вербовки шпионов, для насаждения в революционных организациях агентов-осведомителей и провокаторов.

Противоборство большевиков и охранников в период разгула столыпинской реакции и явилось основной, главной темой романа «Ночь не наступит». Автор романа В. Понизовский сумел, на мой взгляд, выпукло и ярко подать материал, используя для этого многочисленные исторические источники, в том числе и мало известные мемуары, архивные документы, письма. Автор показал события той поры глазами революционеров, выдающихся большевиков Л. Б. Красина, М. М. Литвинова, С. А. Тер-Петросяна — «Камо» и других, познакомил читателя с жизнью студентов Технологического института, в котором учился юный герой романа Антон Путько. Технологический институт выбран писателем не случайно: это учебное заведение было застрельщиком революционного движения среди петербургского студенчества; здесь боевая студенческая дружина охраняла первые заседания Петербургского Совета рабочих депутатов в октябре 1905 года, и здесь же в декабре состоялось заседание ЦК РСДРП(б) с участием В. И. Ленина.

Эти же события мы видим и глазами царских министров, охранников, жандармов. Автор ведет читателя по коридорам Бутырской тюрьмы и по темным лабиринтам полицейских учреждений, раскрывает двери кабинетов директора департамента полиции Трусевича, премьер-министра Столыпина и Николая II в Петергофе и Царском Селе. Художественными средствами писатель раскрывает внутреннюю сущность «душителей», их постоянную конкурентную вражду между собой. Он показывает ту особенность режима, о которой выразительно сказал предшественник Столыпина на посту премьера, Витте:

«Столыпинский режим уничтожил смертную казнь и обратил этот вид наказания в простое убийство, часто совсем бессмысленное, убийство по недоразумению. Одним словом, явилась какая-то машина правительственных убийств, именуемых смертными казнями».

В то же время автор убедительно показывает, как постепенно происходило и распадение личности тех, кто каждодневно занимался ремеслом жандармов и провокаторов, кто приводил в исполнение смертные приговоры.

Основой сюжета для первой книги романа послужил захват большевиками казенных денег в Тифлисе — так называемый «тифлисский экс». Между царским правительством и большевиками шла война не на жизнь, а на смерть, и деньги в этой борьбе могли спасти товарищей от петли и каторги, давали возможность купить оружие для будущих битв на баррикадах, позволяли достать оборудование для подпольных типографий и наладить выпуск большевистских газет. Деньги эти, отнятые у классового врага, который, собирая их с эксплуатируемого трудового населения, использовал для дальнейшего угнетения народа,

---

<sup>20</sup> В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 20, стр. 72.

после экспроприации шли в кассу партии, на борьбу за народное освобождение. В романе «Ночь не наступит» ситуация обострена еще и тем, что в данной конкретной обстановке деньги срочно понадобились для самой благородной цели — для спасения от смерти арестованных и осужденных на казнь товарищей. Именно это соображение и вынуждает руководителя боевой технической группы при ЦК РСДРП Л. Б. Красина дать М. М. Литвинову и Камо разрешение на «экс», хотя Красин понимает, что при нападении на охрану могут быть жертвы. Но идет война, классовая война, а на войне жертвы неизбежны.

Вторая книга романа посвящена борьбе, завязавшейся вокруг попытки большевиков-эмигрантов разменять захваченные деньги в иностранных банках. Обстоятельства привели к тому, что большевики оказались вынуждены занять «оборонительные позиции» против козней, хитростей, провокаций «жрецов охраны», и только в самом конце повествования большевики неожиданно переходят в наступление и наносят сокрушительное поражение самому талантливому из охранников — заведующему заграничной агентурой департамента российской полиции Гартингу. (На самом деле, конечно, у подполья была своя очень действенная служба борьбы с провокаторами: достаточно напомнить, как Л. Б. Красин раскрыл некоего Федора, агента полковника Герасимова, проникшего в подпольную типографию. И таких фактов было немало.)

История борьбы заграничной охраны с русскими революционерами, с большевистской эмиграцией в художественной литературе до настоящего времени почти не освещалась, поэтому книга В. Позднеевского является, по сути дела, открытием для молодого читателя.

Во второй половине романа постепенно на первый план выдвигается фигура известного провокатора, одного из сотрудников русского посольства в Париже, Аркадия Гартинга. «Всепоглощающим» у Гартинга было чувство сыска и провокации, интриги и шантажа. Конечно, он мог быть в то же время и сентиментальным отцом семейства — сентиментальность вообще нередко встречается у отпетых негодяев, палачей и садистов. Невольно вспоминаются столь же чувствительные, как у Гартинга, взаимоотношения в семье хотя бы того же Гесса, коменданта Освенцима, убийцы четырех миллионов человек. Несомненно, Гартинг был талантлив в своем полицейском рвении. Но главное и определяющее — это то, что он был провокатором и предателем, человеком ничтожным по своим моральным качествам, авантюристом и негодяем. Достоверно — исторически и психологически — выписан автором и образ секретной сотрудницы Зиночки. Хотя он создан творческим воображением писателя, но существовал ее реальный прототип, кстати, тоже «Зиночка» — Зинаида Гернгрос-Жученко. Неразборчивая в целях авантюристка, мечтавшая выбиться в светские дамы, эта «героиня» была типична по своему характеру для изображаемой эпохи.

На протяжении всего повествования автор старается быть точным в воспроизведении исторических событий 1907—1908 годов, давая волю своему воображению лишь в тех случаях, когда в его распоряжении нет исторических документов. Так, изобразив деятельность группы, которая готовила побег Красина из Выборгской тюрьмы по заданию В. И. Ленина, писатель тем не менее вступил в спор с самим своим героем, который историю своего освобождения излагал так:

«К большому нашему удивлению, жандармы и питерская прокуратура не смогли в месячный срок приготовить сколько-нибудь доказательного материала, а выборгский губернатор оказался достаточно законником, чтобы, не получив по прошествии этого срока мотивированного требования о моей выдаче выпустить меня из тюрьмы. Не желая далее искушать гражданскую и служебную доблесть финских чиновников, я безотлагательно и не совсем прямыми путями удалился в Гельсингфорс, а через несколько дней уже плыл на пароходе из Або по дороге в Берлин и Париж»<sup>21</sup>.

---

<sup>21</sup> Л. Б. Красин («Никитич»), Годы подполья. М., 1928 стр. 45.

Писателю такое разрешение конфликта показалось видимо, неубедительным, и он воспользовался своим правом на домысел, включив в повествование эпизод с нападением на поезд, в котором жандармский полковник Додаков направлялся в Выборг за Красиным. Что ж, такие нападения в истории революционного движения имели место. Могло оно произойти и в данной ситуации — большевики под руководством В. И. Ленина делали все чтобы освободить своего товарища, спасти его от неминуемой расправы.

Подводя итог, могу сказать, что роман В. Понизовского «Ночь не наступит», посвященный весьма драматическим событиям из истории первой русской революции 1905—1907 годов, рисующий картину напряженной борьбы большевиков с наступающей реакцией, читается с неослабевающим интересом. Он может дать молодому читателю яркое представление о некоторых эпизодах той великой битвы, которая завершилась победой большевиков в Октябре 1917 года.

*С. С. ВОЛК,  
профессор, доктор исторических наук*

## **Об авторе**

Владимир Понизовский родился в 1928 году в городе Ростове-на-Дону. Во время Великой Отечественной войны, в четырнадцать лет, стал «сыном полка» — воспитанником одной из воинских частей, связным по доставке срочных пакетов на пункты сбора донесений. С войсками прошел от Курской дуги до Дрездена.

*С отличием окончил факультет журналистики Московского университета. Работал корреспондентом в газете «Советская Кара-Калпакия», обозревателем Госкомитета по радиовещанию и телевидению, последние десять лет — специальным корреспондентом и заведующим отделом газеты «Комсомольская правда».*

*Много ездил по стране, неоднократно бывал за рубежом.*

*Первая книга автора — сборник очерков о Кубе «Алая жемчужина Антил» — была опубликована в 1964 году. В последующие годы он написал документальные повести «Рихард Зорге» в соавторстве с С. Голяковым и «Шаг в темноту» — с В. Кудрявцевым. Его перу принадлежат также повести «Посты сменяются на рассвете», «Улица царя Самуила, 35» и «Время «Ч», вышедшие в издательстве «Молодая гвардия», сборники очерков «Имя на крыльях» и «Солдатское поле» и другие. Книги его переводились в Болгарии, Чехословакии, Польше, Румынии, Югославии, Италии и Франции.*

*«Ночь не наступит» — первый роман В. Понизовского и первое его произведение на историко-революционную тему.*